

ISSN 0130-7673

Н О В Ы Й  
М И Р

12



1989



# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1925 г.

№ 12

Декабрь, 1989 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВАРЛАМ ШАЛАМОВ. «НОВАЯ ПРОЗА». Из черновых записей 70-х годов. Публикация И. П. Сиротинской	3
ЕЛЕНА БЛАГИНИНА — О берегу милом, стихи	72
ЗУФАР ГАРЕЕВ — Когда кричат чужие птицы, рассказ	75
ДРУГОЕ ВРЕМЯ ГОДА — Дмитрий Пригов, Вадим Степанцов, Владимир Ивелев, Сергей Терентюк, стихи	85
Е. АНДЖЕЕВСКИЙ — Страстная неделя, повесть. Перевела с польского С. Тонконогова. Предисловие С. Ларина	89
БЛАГОДАРЯ СТИХУ — Виктор Василенко, Моисей Цетлин, Лев Горнунг, стихи	155

### ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

АНАТОЛИЙ МАРЧЕНКО — Мои показания, главы из книги. Подготовка текста и публикация Л. И. Богораз	159
--	-----

### ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

«Я ВЕРЮ В СИЛУ СВОБОДНОЙ МЫСЛИ...». Письма В. И. Вернадского И. И. Петрункевичу. Публикация и комментарии доктора философских наук И. И. Мочалова	204
---	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ПОСТАВАНГАРД: СОПОСТАВЛЕНИЕ ВЗГЛЯДОВ — Михаил Эшштейн. Искусство авангарда и религиозное сознание; А. Л. Казин. Искусство и истина; И. Роднянская. Заметки к спору	222
--	-----

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
Андрей Зорин. Насылающий ветер. Вячеслав Сербиненко. «Словом, все было по-хорошему».	250
<b>ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ</b>	
В. ТРОСТНИКОВ — Научна ли «научная картина мира»?	257
<b>КОРОТКО О КНИГАХ:</b>	
О. Майорова. — А. С. Хомяков. О старом и новом. Статьи и очерки. ♦	
В. Хорольский. — Поэзия Ирландии. ♦	
Л. Айзерман. — Е. Н. Ильин. Путь к ученику. Раздумья учителя-словесника	264
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	267
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1989 ГОД	268

---

# ВАРЛАМ ШАЛАМОВ. «НОВАЯ ПРОЗА»

*Из черновых записей 70-х годов*

*Почему я пишу рассказы?*

1. Я не верю в литературу. Не верю в ее возможность по исправлению человека.

*Опыт гуманистической русской литературы привел к кровавым казням двадцатого столетия перед моими глазами.*

2. Я не верю в возможность что-нибудь предугадать, избавить от повторения. История повторяется. И любой расстрел тридцать седьмого года может быть повторен.

3. Почему же я все-таки пишу?

*Я пишу для того, чтобы кто-то в моей очень далекой от всякой лжи прозе... читая, мог рассказать свою жизнь такой же в любом пласте [плане? — нрзб]. Человек должен что-то сделать...*

*Тут дело не в обыкновенной, а в нравственной ответственности. Этой ответственности у обыкновенного человека нет, а у поэта она обязательна. Не знаю, только ли для России это требование.*

*Конечно, главная проблема — это жизнь. Личное бессмертие. В своем неудовлетворительном решении — вся философия пессимизма. Террор сделал эту проблему не главной. Вся философия терроризма — личности или государства — в высшей степени оптимистична.*

*Есть какая-то глубочайшая неправда в том, что человеческое страдание становится предметом искусства, что живая кровь, мука, боль выступают в виде картины, стихотворения, романа. Это — всегда фальшь, всегда. Никакой Ремарк не передаст боль и горе войны. Хуже всего то, что для художника записать — это значит отделаться от боли, ослабить боль — свою, внутри, боль. И это тоже плохо.*

## ЛЕША ЧЕКАНОВ, ИЛИ ОДНОДЕЛЬЦЫ НА КОЛЫМЕ<sup>1</sup>

**Л**еша Чеканов, потомственный хлебороб, техник-строитель по образованию, был моим соседом по нарам 69-й камеры Бутырской тюрьмы весной и летом 1937 года.

Так же, как и многим другим, я как староста камеры оказал Леше Чеканову первую помощь: сделал ему первый укол, инъекцию эликсира бодрости, надежды, хладнокровия, злости и самолюбия — сложного лекарственного состава, необходимого человеку в тюрьме, особенно новичку. То же чувство блатные — а в вековом опыте им отказать нельзя — выражают в знакомых трех заповедях: не верь, не бойся и не проси.

Дух Леша Чеканова был укреплен, и он отправился в июле в дальние колымские края. Леша был осужден в один и тот же день

<sup>1</sup> Публикуемая проза Шаламова входит в последнюю книгу его колымских рассказов — «Перчатка, или КР-2». Этих книг шесть: «Колымские рассказы» (1954—1963), «Очерки преступного мира» (1954—1960), «Левый берег» (1959—1965), «Артист лопаты» (1959—1965), «Воскрешение лиственницы» (1966—1967), «Перчатка, или КР-2» (1970—1973). «Новая проза» — это определение самого В. Т. Шаламова. Он писал, что колымские рассказы «вместо мемуара... предлагают новую прозу, прозу живой жизни, которая в то же время — преображенная действительность, преображенный документ».



со мной, осужден по одной статье на одинаковый срок. Нас везли на Колыму в одном вагоне.

Мы мало оценили коварство начальства — из земного рая Колыма должна была к нашему приезду превратиться в земной ад.

На Колыму нас везли умирать и с декабря 1937 года бросили в гаранинские расстрелы, в побои, в голод. Списки расстрелянных читали день и ночь.

Всех, кто не погиб на Серпантинной — следственной тюрьме Горного управления, а там расстреляли десятки тысяч под гудение тракторов в 1938 году, — расстреляли по спискам, ежедневно под оркестр, под туш читаемым дважды в день на разводах — дневной и ночной смене.

Случайно оставшийся в живых после этих кровавых событий, я не избежал своей, намеченной мне еще в Москве, участи: получил новый десятилетний срок в 1943 году.

Я «доплывал» десятки раз, скитался от забоя до больницы и обратно и к декабрю сорок третьего оказался на крошечной командирке, которая строила новый прииск — «Спокойный».

Десятники, или, как их называют по-колымски, — смотрители, были для меня лицами слишком высокого ранга, с особой миссией, с особой судьбой, чьи линии жизни не могли пересечься с моими.

Десятника нашего куда-то перевели. У каждого арестанта есть судьба, которая переплетается со сражениями каких-то высших сил. Человек-арестант или арестант-человек, сам того не зная, становится орудием какого-то чужого ему сражения и гибнет, зная за что, но не зная почему. Или знает почему, но не знает за что.

Вот по законам этой-то таинственной судьбы нашего десятника сняли и перевели куда-то. Я не знаю, да мне это и не нужно было знать, ни фамилии десятника, ни нового его назначения.

К нам в бригаду, где было всего десять доходяг, был назначен новый десятник.

Колыма, да и не только Колыма, отличается тем, что там все — начальники, все. Даже маленькая бригада в два человека имеет старшего и младшего; при всей универсальности двоичной системы людей всегда делят не на равные части, двух людей не делят на равные части. На пять человек выделяется постоянный бригадир, не освобожденный от работы, конечно, а такой же работяга. А на бригаду в пятьдесят человек всегда бывает освобожденный бригадир, то есть бригадир с палкой.

Живешь ведь без надежд, а колесо судьбы — неисповедимо.

Орудие государственной политики, средство физического уничтожения политических врагов государства — вот главная роль бригадира на производстве, да еще на таком, которое обслуживает лагеря уничтожения.

Бригадир тут защитить никого не может, он сам обречен, но будет карабкаться вверх, держаться за все соломинки, которые бросает ему начальство, и во имя этого призрачного спасения — губит людей.

Подбор бригадиров для начальства — задача первоочередная.

Бригадир — это как бы кормилец и поилец бригады, но только в тех пределах, которые ему отведены свыше. Он сам под строгим контролем, на приписках далеко не уедешь — маркшейдер в очередном замере разоблачит фальшивые, авансированные кубики, и тогда бригадиру крышка.

Поэтому бригадир идет по проверенному, по надежному пути — выбивать эти кубики из работяг-доходяг, выбивать в самом реальном физическом смысле — кайлом по спине, и как только выбивать становится нечего, бригадир, казалось бы, должен стать работягой, сам разделить судьбу убитых им людей.

Но бывает не так. Бригадира переводят на новую бригаду, чтобы не пропал опыт. Бригадир расправляется с новой бригадой. Бри-

гадир жив, а бригада его — в земле. Кроме самого бригадира, в бригаде живет еще его заместитель, по штатам — дневальный, помощник убийцы, охраняющий его сон от нападения.

В охоте за бригадирами в годы войны на «Спокойном» пришлось взорвать аммонитом весь угол барака, где спал бригадир. Вот это было надежно. Погиб и бригадир, и дневальный, и их ближайшие друзья, которые спят рядом с бригадиром, чтоб рука мстителя с ножом не дотянулась до самого бригадира.

Преступления бригадиров на Колыме неисчислимы — они-то и есть физические исполнители высокой политики Москвы сталинских лет.

Но и бригадир не без контроля. За ним наблюдают по бытовой части надзиратели в ОЛПе, те несколько часов, которые заключенный оторван от работы и в полузабытьи спит.

Наблюдает и начальник ОЛПа, наблюдает и следователь-уполномоченный.

Все на Колыме следят друг за другом и доносят куда надо ежедневно.

Доносчики-стукачи испытывают мало сомнения — доносить нужно обо всем, а там начальство разберется, что было правдой, что ложью. Правда и ложь — категории вовсе не подходящие для осведомителя.

Но это — наблюдения изнутри зоны, изнутри лагерной души. За работой бригадира весьма тщательно и весьма официально следит его производственное начальство — десятник, называемый на Колыме по-сахалински смотрителем. За смотрителем наблюдает старший смотритель, за старшим смотрителем — прораб участка, за прорабом — начальник участка, за начальником участка — главный инженер и начальник прииска. Выше эту иерархию я вести не хочу — она чрезвычайно разветвлена, разнообразна, дает простор и для фантазии любого догматического или поэтического вдохновения.

Важно подчеркнуть, что именно бригадир есть точка соприкосновения неба и земли в лагерной жизни.

Из лучших бригадиров, доказавших свое рвение убийц, и вернутся смотрители, десятники — ранг уже более высокий, чем бригадир. Десятник уже прошел кровавый бригадирский путь. Власть десятника для работяг беспредельна.

В колеблющемся свете колымской бензинки, консервной банки с четырьмя трубочками с горящими фитилями из тряпки, — единственный, кроме печей и солнца, свет для колымских работяг и доходов — я разглядел что-то знакомое в фигуре нового десятника, нового хозяина нашей жизни и смерти.

Радостная надежда согрела мои мускулы. Что-то знакомое было в облике нового смотрителя. Что-то очень давнее, но существующее, вечно живое, как человеческая память.

Ворочать память очень трудно в иссохшем голодном мозгу — усилие вспомнить сопровождалось резкой болью, какой-то чисто физической болью.

Уголки памяти давно вымели весь ненужный сор вроде стихов. Какая-то более важная, более вечная, чем искусство, мысль напрягалась, звенела, но никак не могла вырваться в мой тогдашний словарь, на какие-то немногие участки мозга, которыми еще пользовался мозг доходяги. Чьи-то железные пальцы давили память, как тубик с испорченным клеем, выдавливая, выгоняя наверх каплю, капельку, которая еще сохранила человеческие свойства.

Этот процесс припоминания, в котором участвовало все тело, — холодный пот, выступивший на иссохшей коже, и пота-то не было, чтобы мне помочь ускорить этот процесс, — закончился победой... В мозгу возникла фамилия: Чеканов!

Да, это был он, Леша Чеканов, мой сосед по Бутырской тюрьме, тот, кого я избавил от страха перед следователем. Спасение явилось в мой холодный и голодный барак — восемь лет прошло с тех пор, восемь столетий, давно наступил двенадцатый век, скифы седлали коней на камнях Колымы, скифы хоронили царей в мавзолеях, и миллионы безымянных работяг тесно ложились в братские могилы Колымы.

Да, это был он, Леша Чеканов, спутник моей светлой юности, светлых иллюзий первой половины тридцать седьмого года, которые еще не знали предназначенной им судьбы.

Спасение явилось в мой голодный и холодный барак в образе Леша Чеканова, техника-строителя по специальности, десятника нашего нового.

Вот это было здорово! Вот этот чудесный случай, которого стоило ждать восемь лет!

«Доплывание» — позволяю заявить приоритет на этот неологизм или, по крайней мере, на его временную форму. Доходяга, тот, кто «доплыл», не делает этого в один день. Копятся какие-то потери, сначала физические, потом нравственные, — остатков тех нервов, сосудов, ткани уже не хватает, чтобы удержать старые чувства.

На смену им приходят новые — эрзац-чувства, эрзац-надежды.

В процессе «допływания» есть какой-то предел, когда теряются последние опоры, тот рубеж, после которого все лежит по ту сторону добра и зла, и самый процесс «допływания» убыстряется лавиноподобно. Цепная реакция, выражаясь современным языком.

Тогда мы не знали об атомной бомбе, о Хиросиме и Ферми. Но неудержимость, необратимость «допływания» была нам известна отлично.

Для этой цепной реакции в блатном языке есть гениальное прозрение — вошедший в словарь термин «лететь под откос», абсолютно точный термин, созданный без статистики Ферми.

Потому-то и была отмечена в немногочисленной статистике и многочисленных мемуарах точная, исторически добытая формула: «Человек может доплыть в две недели». Это — норма для силача, если его держать на колымском в пятьдесят — шестьдесят градусов холоде по четырнадцать часов на тяжелой работе, бить, кормить только лагерным пайком и не давать спать.

К тому же акклиматизация на Крайнем Севере — дело очень непростое.

Потому-то дети Медведева и не могут понять, почему так скоро умер их отец — здоровый мужчина лет сорока, если первое письмо он прислал из Магадана с парохода, а второе из больницы Сеймчан, и это больничное стало последним. Потому-то и генерал Горбатов, попав на прииск «Мальдяк», сделался полным инвалидом в две недели, и только случайное отправление на рыбалку на Олу, на побережье, спасло ему жизнь. Потому-то и Орлов, референт Кирова, ко времени своего расстрела на «Партизане» зимой 1938 года уже был доходягой, который все равно не нашел бы места на земле.

Две недели — это и есть тот срок, который превращает здорового человека в доходягу.

Я все это знал, понимал, что в труде нет спасения, и скитался от больницы до забоя и обратно восемь лет. Спасение наконец пришло. В самый нужный момент рука Провидения привела Лешу Чеканова в наш барак.

Я спокойно заснул крепким веселым сном со смутным ощущением какого-то радостного события, которое вот-вот наступит.

На следующий день на разводе — так называется коротко процедура развода по работам, которая делается на Колыме и для десятников, и для миллионов человек в один и тот же час дня по звону рельса, как крику муэдзина, как звону колокола с колокольни Ивана

Великого — а Грозный и Великий синонимы в русском языке, — я убедился в своей чудесной правоте, в своей чудесной надежде.

Новый десятник был действительно Леша Чеканов.

Но мало узнать самому в такой ситуации, надо, чтоб и тебя узнали в этом двустороннем взаимном облучении.

По лицу Леша Чеканова было ясно видно, что он меня узнал и, конечно, поможет. Леша Чеканов тепло улыбнулся.

У бригадира он тут же осведомился о моем трудовом поведении. Характеристика была дана отрицательная.

— Что же, блядь, — громко сказал Леша Чеканов, глядя мне прямо в глаза, — думаешь, если мы из одной тюрьмы, так тебе и работать не надо? Я филонам не помогаю. Трудом заслужи. Честным трудом.

С этого дня меня стали гонять более усердно, чем раньше. Через несколько дней Леша Чеканов объявил на разводе:

— Не хочу тебя бить за твою работу, а просто отправлю тебя на участок, в зону. Там тебе, бляди, и место. В бригаду Полупана пойдешь. Он тебя научит, как жить! А то, видишь, знакомый! По воле! Друг! Это вы, суки, нас погубили. Все восемь лет я тут страдал из-за этих гадов — грамотеев!

В тот же вечер бригадир увел меня на участок с пакетом. На центральном участке управления прииском «Спокойный» я был помещен в барак, где жила бригада Полупана.

С самим бригадиром я познакомился на следующее же утро — на разводе.

Бригадир Сергей Полупан был молодой парень лет двадцати пяти, с открытым лицом и белокурым чубом под блатаря. Но блатарем Сергей Полупан не был. Он был природный крестьянский парень. Железной метлой Полупан был сметен в тридцать седьмом году, получил срок по пятьдесят восьмой и предложил начальству искупить свою вину — приводить врагов в христианский вид.

Предложение было принято, и из бригады Полупана было оборудовано нечто вроде штрафной роты со скользящим, переменным списочным составом. Штрафник на самом штрафняке, тюрьма в тюрьме самого штрафного прииска, которого еще не было. Мы и строили для него зону и поселок.

Барак из свежих бревен лиственницы, сырых бревен дерева, которое, как и люди на Крайнем Севере, бьется за свою жизнь, а потому угловато и суковато, и ствол у него перекручен. Эти сырые бараки не прогревались печами. Никаких дров не хватило бы, чтобы осушать эти трехсотлетние, выросшие в болоте тела. Барак сушили людьми, телами строителей.

Здесь и началась одна из моих страстей.

Каждый день на глазах всей бригады Сергей Полупан меня бил: ногами, кулаками, поленом, рукояткой кайла, лопатой. Выбивал из меня грамотность.

Битье повторялось ежедневно. Бригадир Полупан носил телячью куртку, розовую куртку из телячьей шкуры — чей-то подарок или взятка, чтобы откупиться от кулаков, вымолить отдых хоть на один день.

Таких ситуаций я знаю много. У меня самого не было куртки, да если бы и была, я бы не отдал ее Полупану — разве только блатари вырвали бы из рук, сдернули с плеч.

Разгорячившись, Полупан снимал куртку и оставался в телогрейке, управляясь с ломиком и кайлом еще более свободно.

Полупан выбил у меня несколько зубов, надломил ребро.

Все это делалось на глазах всей бригады. В бригаде Полупана было человек двадцать. Бригада была скользящего переменного состава, учебная бригада.

Утренние избиения продолжались столько времени, сколько я пробыл на этом прииске, на «Спокойном»...

По рапорту бригадира Полупана, утвержденному начальником прииска и начальством ОЛПа, я был отправлен в Центральное северное управление — в поселок Ягодный, как злостный филоном, для возбуждения уголовного дела и нового срока.

Я сидел в изоляторе в Ягодном под следствием, завелось дело, шли допросы. Инициатива Леша Чеканова обозначилась достаточно ясно.

Была весна сорок третьего, яркая колымская военная весна.

В изоляторе гоняют следственных на работы, стремясь выбить хоть один рабочий час из транзитного дня, и следственные не любят этой укоренившейся традиции лагерей и транзиток.

Но я ходил на работу не затем, конечно, чтобы попытаться выбить какую-то норму в ямке из камня, а просто подышать воздухом, попросить, если дадут, лишнюю миску супа.

В городе, даже в лагерном городе, каким был поселок Ягодный, было лучше, чем в изоляторе, где пропахло смертным потом каждое бревно.

За выходы на работу давали суп и хлеб, или суп и кашу, или суп и селедку. Гимн колымской селедке я еще успею написать, единственному белку арестанта, — ведь не мясо же на Колыме сохраняет белковый баланс. Это сельдь подбрасывает последние поленья в энергетическую топку доходяги. И если доходяга сохранил жизнь, то именно потому, что он ел сельдь, соленую конечно, и пил — вода в этом смертном балансе не в счет.

А самое главное — на воле было можно разжиться табаком, курнуть, понюхать, когда товарищ курит, если уж не покурить. В злобность никотина, в канцерогенность табака ни один арестант не поверит. Впрочем, дело может объясняться ничтожным разведением этой капли никотина, которая убивает лошадь.

«Дыхнуть» — курнуть раз, все-таки, наверно, мало яда и много мечтательности, удовлетворения.

Табак — это высшая радость арестанта, продолжение жизни. Повторяю, что я не знаю, жизнь — благо или нет.

Доверяя лишь звериному чутью, я двигался по улицам Ягодного. Работал, долбил ямки ломом, скреб лопатой, чтоб хоть что-нибудь выскрести для столбов поселка, известного мне очень хорошо. Там меня судили всего год назад — дали десять лет, оформили «врага народа». Этот приговор десятилетний, новый срок, начатый так недавно, и остановил, конечно, оформление нового дела отказчика. За отказы, за филоновство срок добавить можно, но когда новый срок только начат — трудно.

Водили нас на работу под большим конвоем — как-никак мы были люди следственные, если еще люди...

Я занимал свое место в каменной ямке и старался разглядывать прохожих — мы работали как раз на дороге, а зимой новые тропы на Колыме не пробиваются ни в Магадане, ни на Индигирке.

Цепочка ямок тянулась вдоль улицы — конвой наш, как ни велик, растянут был вне положенного по инструкции предела.

Навстречу нам, вдоль наших ямок, вели большую бригаду или группу людей, еще не ставших бригадой. Для этого надо разделить людей на группы по количеству не менее трех и дать им конвой с винтовками. Людей этих только что сгрузили с машин. Машины стояли тут же.

Боец из охраны, которая привела людей в наш ОЛП Ягодный, что-то спросил у нашего конвоира.

И вдруг я услышал голос, истощный радостный крик:

— Шаламов! Шаламов!

Это был Родионов из бригады Полупана, работяга и доходяга, как я, с штрафняка «Спокойного».

— Шаламов! Я Полупана-то зарубил. Топором в столовой. Меня

на следствие везут по этому делу. Насмерть! — иступленно плясал Родионов.— В столовой топором.

От радостного известия я действительно испытал теплое чувство. Конвоиры растащили нас в разные стороны.

Следствие мое кончилось ничем, нового срока мне не намотали. Кто-то высший рассудил, что государство мало получит пользы, добавляя мне снова новый срок.

Я был выпущен из следственной тюрьмы на одну из витаминных командировок.

Чем кончилось следствие об убийстве Полупана, не знаю. Тогда рубили бригадирских голов немало, а на нашей витаминной командировке блатари ненавистному бригадиру отпилили голову двуручной пилой.

С Лешей Чекановым, моим знакомым по Бутырской тюрьме, я больше не встретился.

## ТАЧКА I

Золотой сезон короток. Золота много — но как его взять. Золотая лихорадка Клондайка, заморского соседа Чукотки, могла бы поднять к жизни безжизненных — и в очень короткий срок. Но нельзя ли обуздать эту золотую лихорадку, сделать пульс старателя, добытчика золота, не лихорадочным, а, наоборот, замедленным, даже бьющимся чуть-чуть, чтобы только теплилась жизнь в умирающих людях. А результат был поярче клондайкского. Результат, о котором не будет знать тот, кто берется за лоток, за тачку, кто добывает. Тот, кто добывает — он только горняк, только землекоп, только каменотес. Золотом в тачке он не интересуется. И даже не потому, что «не положено», а от голода, от холода, от истощения физического и духовного.

Завезти на Колыму миллион людей и дать им работу на лето трудно, но возможно. А что этим людям делать зимой? Пьянствовать в Даусоне? Или Магадане? Чем занять сто тысяч, миллион людей зимой? На Колыме климат резко континентальный, морозы зимой до шестидесяти, а в пятьдесят пять — это рабочий день.

Всю зиму тридцать восьмого года актировали, и арестанты оставались в бараке лишь при температуре пятьдесят шесть градусов, с пятьдесят шестого градуса Цельсия, разумеется, не Фаренгейта.

В сороковом году этот градус был снижен до пятидесяти двух! Как колонизовать край?

В 1936 году решение было найдено.

Откатка и подготовка грунта, взрыв и кайление, погрузка были связаны друг с другом намертво. Было рассчитано инженерами оптимальное движение тачки, время ее возвращения, время погрузки в тачку лопатами с помощью кайла, а иногда лома для разбора скалы с золотым содержанием.

Каждый не возил на себя — так делалось только у старателей-одиночек. Государство организовало работу для заключенных иначе.

Пока откатчик катил тачку, его товарищи или товарищ должен был успеть нагрузить новую тачку.

Вот этот расчет — сколько надо людей ставить на погрузку, на откатку. Достаточно ли двух человек в звене или нужно три человека.

В этом золотом забое тачка всегда была сменная. Своеобразный конвейер безостановочной работы.

Если приходилось работать с отвозкой на грабарках, с лошадьми, это использовалось обычно на «вскрыше», на снятии торфов летом. Сговоримся сразу: торф по золотому — это слой породы, в котором нет золота. А песок — слой, содержащий золото.

Вот эта летняя работа с грабаркой, с лошастью, была по вывозке торфов, обнажению песка. Обнаженный песок возили уже другие бригады, не мы. Но нам было все равно.

Грабарка была тоже сменная: мы отцепляли у коногона порожнюю тележку, цепляли груженую, уже готовую. Колымский конвейер действовал.

Золотой сезон — жороток. Со второй половины мая до половины сентября — три месяца всего.

Поэтому для того, чтобы выбить план, продумывались все технические и сверхтехнические рецепты.

Забойный конвейер — это минимум, хотя именно сменная тачка лишала нас сил, добивала, заставляла превращаться в доходяг.

Никаких механизмов не было, кроме канатной дорожки на бесконечной лебедке. Забойный конвейер — берзинский вклад. Как только выяснилось, что рабсилой каждый прииск будет обеспечен любой ценой и в любом количестве — хоть сто пароходов в день будут привозить пароходы Дальстроя, — людей перестали жалеть. И стали выбивать план буквально. При полном одобрении, понимании и поддержке сверху, из Москвы.

Но что золото? Что на Колыме есть золото — известно триста лет. К началу деятельности Дальстроя на Колыме было много организаций — бессильных, бесправных, боящихся переступить какую-то черту в отношениях со своими завербованными работягами. На Колыме были и конторы «Цветметзолото» и культбазы — все они работали с вольными людьми, вербованными во Владивостоке.

Берзин привез заключенных.

Берзин стал не искать путей, а строить дорогу, шоссе колымское сквозь болота, горы — от моря...

## ТАЧКА II

Тачка — символ эпохи, эмблема эпохи, арестантская тачка.

Машина ОСО —  
Две ручки, одно колесо.

ОСО — это особое совещание при министре, наркомом ОГПУ, чьей подписью без суда были отправлены миллионы людей, чтобы найти свою смерть на Дальнем Севере. В каждое личное дело, картонную папочку, тоненькую, новенькую, было вложено два документа — выписка из постановления ОСО и спеуказание — о том, что заключенного имярек должно использовать только на тяжелых физических работах и имярек должен быть лишен возможности пользоваться почтово-телеграфной связью — без права переписки. И что лагерное начальство должно о поведении заключенного имярек сообщать в Москву не реже одного раза в шесть месяцев. В местное управление такой рапорт-меморандум полагалось присылать раз в месяц.

«С отбыванием срока на Колыме» — это был смертный приговор, синоним умерщвления, медленного или быстрого в зависимости от вкуса местного начальника прииска, рудника, ОЛПа.

Этой новенькой, тоненькой папке полагалось потом обрасти грудой сведений — распухнуть от актов об отказе от работы, от копий доносков товарищей, от меморандумов следственных органов о всех и всяческих «данных». Иногда папка не успевала распухнуть, увеличиться в объеме — немало людей погибло в первое же лето общения с «машиной ОСО, две ручки, одно колесо».

Я же из тех, чье личное дело распухло, отяжелело, будто пропиталась кровью бумага. И буквы не выцвели — человеческая кровь хороший фиксаж.

На Колыме тачка называется малой механизацией.

Я — тачечник высокой квалификации. Я катал тачку в открытых забоях прииска «Партизан» золотой дальстроявской Колымы всю осень тридцать седьмого года. Зимой, когда нет золотого сезона, промывочного сезона, на Колыме катают короба с грунтом — по четыре



человека на короб, воздвигая горы отвалов, снимая торфяную рубашку и обнажая к лету пески — слой с содержанием золота. Ранней весной тридцать восьмого года я снова взялся за ручки машины ОСО и выпустил их только в декабре 1938 года, когда был арестован на прииске и увезен в Магадан по «делу юристов» Колымы.

Тачечник, прикованный к тачке, — это эмблема каторжного Сахалина. Но Сахалин — не Колыма. Около острова Сахалин — теплое течение Курисио. Там теплее, чем в Магадане, чем на побережье, тридцать — сорок градусов, зимой снег, летом всегда дождь. Но золото — не в Магадане. Яблонувый перевал — граница высотой в тысячу метров, граница золотого климата. Тысяча метров над уровнем моря — первый серьезный перевал на пути к золоту. Сто километров от Магадана и дальше по шоссе — все выше, все холоднее.

Каторжный Сахалин — нам не указ. Приковать к тачке — это было скорее нравственной мукой. Так же, как и кандалы. Кандалы царского времени были легкими, легко снимались с ног. Тысячеверстные этапы арестанты делали в этих кандалах. Это была мера унижения.

На Колыме к тачке не приковывали. Весной тридцать восьмого года несколько дней со мной в паре работал Дерфель, французский коммунист из Кайенны, из каторжных каменоломен. Дерфель был на французской каторге года два. Все это совсем не похоже. Там было легче, тепло, да и не было политических. Не было голода, холода адского, отмороженных рук и ног.

Дерфель умер в забое — остановилось сердце. Но кайеннский опыт все же помог ему — продержался Дерфель на месяц дольше, чем его товарищи. Хорошо это или плохо? Этот лишний месяц страданий.

Вот в звене Дерфеля я катал тачку самый первый раз.

Тачку нельзя любить. Ее можно только ненавидеть. Как всякая физическая работа, работа тачечника унизительна безмерно от своего рабского, колымского акцента. Но как всякая физическая работа, работа с тачкой требует кое-каких навыков, внимания, отдачи.

И когда это многое твоё тело поймет, катать тачку становится легче, чем махать кайлом, бить ломом, шаркать подборной лопатой.

Трудность вся в равновесии, в удержании колеса на трапе, на узкой доске.

В золотом забое для пятьдесят восьмой статьи есть только кайло, лопата с длинным черенком, набор ломов для бурения, ложечка железная для выскребывания грунта из бурок. И тачка. Другой работы нет. На промывочном приборе, где надо «бутарить» — двигать взад-вперед деревянным скребком, подгоняя и размельчая грунт, — пятьдесят восьмой места нет. Работа на бутаре — для бытовиков. Там полегче и поближе к золоту. Промывальщиком работать над лотком пятьдесят восьмой было запрещено. Можно работать с лошадьёю — коногонов берут из пятьдесят восьмой. Но лошадьё существо хрупкое, подверженное всяким болезням. Паек ее северный обкрадывают конюхи, начальники конюхов и коногоны. Лошадьё слабеет и умирает на шестидесятиградусном морозе раньше, чем человек. Забот лишних столько, что тачка кажется проще, лучше грабарки, честнее перед самим собой, ближе к смерти.

Государственный план доведен до прииска, до участка, до забоя, до бригады, до звена. Бригада состоит из звеньев, и на каждое звено дается тачка, две или три, сколько нужно, только не одна!

Здесь скрыт большой производственный секрет, каторжная тайна колымская.

Есть еще одна работа в бригаде, постоянная работа, о которой мечтает каждый рабочий утром каждого дня, — это работа подносчика инструмента.

Кайла быстро тупятся при ударах о камень. Ломы быстро тупятся. Требовать хороший инструмент — право рабов, и начальство стре-

мится все сделать, чтобы инструмент был остер, лопата удобна, колесо тачки хорошо смазано.

На каждом производственном золотом участке есть своя кузница, где круглые сутки кузнец с молотобойцем могут оттянуть кайло, заострить лом. Кузнецу работы много, и единственный миг, когда может вздохнуть арестант, — когда нет инструмента, в кузницу унесли. Конечно, он не сидит на месте — он подгребает забой, насыпает тачку. Но все же...

Вот на эту работу — подносчика инструмента — и хотелось каждому попасть хоть на один день, хоть до обеда.

Вопрос о кузницах изучен начальством хорошо. Было много предложений улучшить это инструментальное хозяйство, изменить эти порядки, вредящие выполнению плана, чтобы рука начальства на плечах арестанта была еще тяжелей.

Нет ли здесь сходства с инженерами, работавшими над техническим решением научной проблемы создания атомной бомбы? Превосходством физики — как говаривали Ферми и Эйнштейн.

Какое мне дело до человека, до раба. Я — инженер и отвечаю на технический вопрос.

Да, на Колыме, на совещании, как можно лучше организовать труд в золотом забое, то есть как лучше убивать, быстрее убивать, выступил инженер и сказал, что он перевернет Колыму, если ему дадут походные горны, походные кузнечные горны. Что уж тогда-то при помощи этих горнов все будет решено. Не нужно будет подносить инструменты. Подносчики инструмента должны взяться за ручки тачки и расхаживать по забую, не ждать в кузнице, не задерживать всех и вся.

В нашей бригаде подносчиком инструмента был мальчик, шестнадцатилетний школьник из Еревана, обвиненный в покушении на Ханджяна — первого секретаря Ереванского крайкома. У мальчика было двадцать лет заключения в приговоре, и он умер очень скоро — не перенес тяжести колымской зимы. Через много лет из газет я узнал правду об убийстве Ханджяна. Оказывается, Берия застрелил Ханджяна у себя в кабинете собственноручно. Все это дело — смерть школьника в колымском забое — случайно запомнилось мне.

Мне очень хотелось хоть на один день стать подносчиком инструмента, но я понимал, что мальчик, школьник с замотанными в грязные варежки обмороженными пальцами, с голодным блеском в глазах — лучшая кандидатура, чем я.

Мне оставалась только тачка. Я должен был уметь и кайлить, и управляться лопатой, и бурить — да, да, но в этой каменной яме золотого разреза я предпочитал тачку.

Золотой сезон короток — с половины мая до половины сентября. Но в сорокаградусную дневную жару июля под ногами арестантов — ледяная вода. Работают в чунях резиновых. Резиновых чуней, так же как и инструмента, в забоях не хватает.

На дне разреза — каменной ямы неправильной формы — настланы толстые доски, и не просто, а соединены друг с другом намертво в особое инженерное сооружение — центральный трап. Ширина этого трапа полметра, не больше. Трап укреплен неподвижно, чтобы доски не провисали, чтобы колесо не вильнуло, чтобы тачечник мог прокатить свою тачку бегом.

Этот трап длиной метров триста. Трап стоял в каждом разрезе, был частью разреза, душой разреза, ручного каторжного труда с применением малой механизации.

От трапа отходят отростки, много отростков — в каждый забой, в каждый уголок разреза. К каждой бригаде тянутся доски, скрепленные не так основательно, как на центральном трапе, но тоже надежно.

Лиственные плахи центрального трапа, истертые бешеным кру-

жением тачек — золотой сезон короток, — заменяются новыми. Как и люди.

Выехать на центральный трап надо было умело: выкатить со своего трапа тачку, повернуть, не заводя колесо на главную колею, протертую в середине доски и тянущуюся ленточкой или змеей — впрочем, змей на Колыме нет, — от забоя до эстакады, от самого начала и до самого конца, до бункера. Важно было, пригнав тачку к самому центральному трапу, повернуть ее, удерживая в равновесии собственными мускулами, и, поймав момент, включиться в бешеную гонку на центральном трапе — там ведь не обгоняют, не опережают, — нет места для обгона, и ты должен гнать свою тачку вскачь вверх, вверх, вверх по медленно поднимающемуся на подпорках центральному трапу, неуклонно вверх, вскачь, чтобы тебя не сбили с дороги те, кого хорошо кормят, или новички.

Тут надо не зевать, остерегаться, чтоб тебя не сшибли, и пока ты не вывезешь тачку на эстакаду метра три вышиной, дальше тебе не надо — там бункер деревянный, обитый бревнами, и ты должен опрокинуть тачку в бункер, высыпать в бункер — дальше не твое дело. Под эстакадой ходит тележка железная, и тележку эту увезешь к промприбору, к бутаре — не ты. Тележка ходит по рельсам на бугару — на промывочный прибор. Но это дело не твое.

Ты должен бросать тачку ручками вверх, опустив ее вовсе под бункером — самый шик! — а потом подхватить пустую тачку и быстро отходить в сторону, чтобы осмотреться, передохнуть немножко, уступить дорогу тем, кого еще хорошо кормят.

Назад от эстакады к забоям идет запасной трап — из старых досок, изношенных на центральном трапе, но тоже добротных, скрепленных гвоздями надежно. Уступи дорогу тем, кто бежит бегом, пропускай их, сними свою тачку с трапа — предупреждающий крик ты услышишь, — если не хочешь, чтобы тебя столкнули. Отдохни как-нибудь — чистя тачку или давая дорогу другим, ибо помни: когда ты возвратишься по холостому трапу в свой забой — ты не будешь отдыхать ни минуты, тебя ждет на рабочем трапе новая тачка, которую насыпали твои товарищи, пока ты гнал тачку на эстакаду.

Поэтому помни — искусство возить тачку состоит и в том, что назад пустую тачку по холостому трапу надо катить совсем не так, как ты катил груженую. Пустую тачку надо перевернуть, толкать колесом вперед, положив пальцы на поднятые вверх ручки тачки. Здесь и есть отдых, экономия сил, отлив крови из рук. Возвращается тачечник с поднятыми руками. Кровь отливает. Тачечник сохраняет силы.

Докатив тачку до своего забоя, ты просто бросаешь ее. Тебе готова другая тачка на рабочем трапе, а стоять без дела, без движения, без шевеления в забое не может никто — во всяком случае никто из пятидесят восьмой статьи. Под жестким взглядом бригадира, смотрителя, конвоира, начальника ОЛПа, начальника прииска ты хватаешься за ручки другой тачки и уезжаешь на центральный трап — это и называется конвейер, сменная тачка. Один из самых страшных законов производства, за которым следят всегда.

Хорошо если свои же товарищи будут милостивы — от бригадира этого ждать не приходится, но от старшего в звене — ведь всюду есть старшие и младшие, возможность стать старшим ни для кого не закрыта, и для пятидесят восьмой также. Если товарищи будут милостивы и позволят тебе вздохнуть чуть-чуть. Ни о каком перекуре не может быть и речи. Перекур в 1938 году был политическим преступлением, саботажем, каравшимся по статье пятидесят восемь, пункт четырнадцатый.

Нет. Свои же товарищи следят, чтобы ты не обманывал государство, не отдыхал, когда это не положено. Чтобы ты вырабатывал пайку. Товарищи не хотят тебя обрабатывать, обрабатывать твою

ненависть, твою злость, твой голод и холод. А если товарищам все равно — таких было очень-очень мало в тридцать восьмом году на Колыме, — то за ними бригадир, а если бригадир ушел куда-нибудь греться, он оставил за себя официального наблюдателя — помощника бригадира из работяг. Так, доктор Кривицкий, бывший заместитель наркома оборонной промышленности,пил из меня кровь день за днем в колымской спецзоне.

А если бригадир не увидит, то увидит десятник, смотритель, про- раб, начальник участка, начальник прииска. Увидит конвоир и отучит прикладом винтовки от вольностей. Увидит дежурный по прииску от местной партийной организации, уполномоченный райотдела и сеть его осведомителей. Увидит представитель Западного, Северного и Юго-Западного управлений Дальстроя или самого Магадана, представитель ГУЛАГа из Москвы. Все смотря за каждым твоим движением — вся литература и вся публицистика, не пошел ли ты срать не вовремя: трудно застегивать штаны — руки не гнутся. Они разгибаются по рукоятке кайла, по ручке тачки. Это — почти контрактуры. А конвоир кричит:

— Где твоё говно? Где твоё говно, я спрашиваю.

И замахивается прикладом. Конвоиру не надо знать ни пеллагры, ни цинги, ни дизентерии.

Поэтому тачечник отдыхает в пути.

Теперь наша повесть о тачке прервется документом: пространной цитатой из статьи «Проблема тачки», опубликованной в газете «Советская Колыма» в ноябре 1936 года:

«...Мы вынуждены проблему откатки грунтов, торфов и песков на какой-то период тесно связать с проблемой тачки. Трудно сказать, как продолжителен будет этот период, в течение которого мы будем производить откатку ручными тачками, но мы можем с достаточной точностью сказать, что от конструкции тачки в огромной степени зависят и производительные темпы, и себестоимость продукции. Дело в том, что эти тачки оказались емкостью всего 0,075 кубометра, тогда как емкость нужна не менее 0,12 кубометра... Для наших приисков на ближайшие годы требуется несколько десятков тысяч тачек. Если эти тачки не будут соответствовать всем требованиям, которые предъявляют сами рабочие и производственный темп, то мы, во-первых, будем замедлять производство, во-вторых, непроизводительно затрачивать мускульную силу рабочих и, в-третьих, растрачивать беспечно огромные денежные средства».

Все справедливо. Неточность только одна: на 1937 год и далее потребовалось не несколько десятков тысяч, а несколько миллионов этих больших, в десятую часть кубометра, тачек, «соответствующих требованиям, которые предъявляют сами рабочие».

Через много-много лет после этой статьи, лет через тридцать, хороший мой друг получил квартиру, и мы собрались на новоселье. Каждый дарил что мог, и очень полезным подарком были абажуры с проводкой. В шестидесятые годы в Москве уже можно было купить такие абажуры.

Мужчины никак не могли справиться с электросетью подарка. В это время вошел я, и другая моя знакомая крикнула: «Раздевайтесь-ка и покажите этим шляпам, что колымчанин все умеет, обучен любой работе».

— Нет,— сказал я.— На Колыме я обучен только катать тачку. И кайлить камень.

Действительно, никаких знаний, никакого умения не принес я с Колымы.

Но всем своим телом я знаю, умею и могу повторить, как катать, как возить тачку.

Когда берешься за тачку — ненавистную большую (десять тачек на кубометр) или «любимую» малую, то первое дело тачечника — распрямиться. Распрямить все свое тело, стоя прямо и держа руки за спиной. Пальцы обеих рук должны плотно охватывать ручки груженной тачки.

Первый толчок к движению дается всем телом, спиной, ногами, мускулами плечевого пояса — так, чтобы был упор в плечевой пояс.

Когда тачка поехала, колесо двинулось, можно перенести руки немного вперед, плечевой пояс чуть ослабить.

Колеса тачечник не видит, только чувствует его, и все повороты делаются наугад с начала до конца пути. Мышцы плеча, предплечья годятся для того, чтобы повернуть, переставить, подтолкнуть тачку вверх на эстакадном подъеме. В самом движении тачки по трапу эти мышцы — не главные.

Единство колеса и тела, направление, равновесие поддерживается и удерживается всем телом, шеей и спиной не меньше, чем бицепсом.

Пока не выработается автоматизм этого движения, этого посылки силы на тачку, на тачечное колесо — тачечника нет.

Приобретенные же навыки тело помнит всю жизнь, вечно.

Тачки на Колыме бывают трех видов: первая, обыкновенная «старательская» тачка, емкостью 0,03 кубометра, три сотых кубометра, тридцать тачек на кубометр породы. Сколько весит такая тачка?

На Колыме в золотых ее забоях к сезону тридцать седьмого года были изгнаны старательские тачки как маломерки чуть не вредительские.

Гулаговские, или берзинские, тачки к сезону тридцать седьмого года и тридцать восьмого года были емкостью в 0,1—0,2 кубометра и назывались большими тачками. Десять тачек на кубометр. Сотни тысяч таких тачек были изготовлены для Колымы, завезены с материка как груз поважней витаминов.

Были на приисках и металлические тачки, также изготовленные на материке, клепаные, железные. Тачки эти были емкостью в 0,075 кубометра, вдвое больше старательской, но, разумеется, не устраивали хозяев. ГУЛАГ набирал силу.

Эти тачки не годились для забоев Колымы. Раза два в своей жизни мне пришлось поработать на такой тачке. В их конструкции была ошибка — тачечник не мог распрямиться, толкая тачку, — единства тела и металла не получилось. С деревянной конструкцией тело человека ладит, находит союз легко.

Тачку эту можно было толкать вперед, только согнувшись в три погони, и колесо само съезжало с трапа. Поставить тачку на трап человек один не мог. Нужна была помощь.

Металлические тачки нельзя было удерживать за ручки, распрямляясь и выталкивая тачку вперед, а изменить конструкцию, длину рукоятки, угол наклона было невозможно. Так эти тачки и отслужили свой срок, мучая людей хуже, чем большие.

Мне случалось видеть отчеты колымские по «основному производству», по «первому металлу», — если помнить, что статистика — наука фальшивая, точной цифры никогда не опубликуют. Но даже если признать цифру сообщения официально, то и тогда читатель и зритель разберутся в колымских секретах легко. Можно принять за правду эти колымские цифры, а цифры эти заключались в том, что:

1) добыча песков из разрезов с ручной откаткой до 80 метров и так далее,

2) вскрыша торфов (то есть зимняя работа, вывозка камня, породы) с ручной откаткой до 80 метров.

Восемьдесят метров — это значительная откатка. Эта средняя цифра значит, что лучшим бригадам — бытовикам, блатарям, любым «передовикам производства», еще получающим не ставки дохода, еще получающим стахановский, или ударный, паек, еще вырабатывающим норму, — давались забой близкие, выгодные, с откаткой пятьдесят метров от бункера эстакады.

Тут был производственный резон, политический резон, и был резон бесчеловечия, убийства.

Я не помню за полтора года работы на прииске «Партизан», с августа тридцать седьмого года по декабрь тридцать восьмого, чтобы

я, наша бригада работала хоть день и час в ближайшем, выгодном, единственно возможном для доходят забое.

Но мы не обеспечивали «процента», и потому наша бригада (всегда находилась такая бригада, и всегда я работал именно в такой бригаде доходят) ставилась на дальнюю откатку. Триста, двести пятьдесят метров откатки — это убийство, запланированное убийство для любой передовой бригады.

И вот мы катали на эти триста метров под улюлюканье собак, но даже и эти триста метров, если средняя — восемьдесят, скрывали за собой еще один секрет. Бесправную пятьдесят восьмую всегда обсчитывали, присчитывая выработку тем же блатарям или бытовикам, что катали по десяти метров от эстакады.

Я хорошо помню летнюю ночь, когда выкатил груженную моими товарищами большую тачку на трап. Маленькими тачками не разрешалось пользоваться в нашем забое. Тачка, груженная пльвун — на Колыме слой, содержащий золото, разный, и галька, и пльвун, и скала с пльвуном.

Мускулы мои тряслись от слабости и дрожали каждую минуту в моем истощенном, измученном теле, в язвах от цинги, от незалеченных отморожений, ноющем от побоев. Надо было выезжать на устроенный трап из нашего угла, выезжать с доски, которая ведет из нашего забоя на центральный трап. На центральный трап катили несколько бригад — с грохотом и шумом. Тут ждать тебя не будут. Вдоль трапа ходили начальники и подгоняли палками и руганью, похваливая возивших тачку бегом и ругая голодных улиток вроде меня.

Ехать все же было надо сквозь побои, сквозь ругань, сквозь рев, и я вытолкнул тачку на центральный трап, повернул ее вправо и сам повернулся, ловя движение тачки, чтобы успеть подправить, если колесо свернет в сторону.

Хорошо возишь только тогда, когда ты телом с ней, с тачкой, только тогда ты можешь ею управлять. Это вроде велосипеда в физическом ощущении. Но велосипед был победой когда-то. Тачка же поражением, оскорблением, вызывающим ненависть, презрение к самому себе.

Я вытащил тачку на трап, и тачка покатила к эстакаде, и я побежал за тачкой, пошел за тачкой по трапу, ступая мимо трапа, качаясь, лишь бы удержать колесо тачки на доске.

Несколько десятков метров — и на центральный трап входил причал другой бригады, и с этой доски, с этого места можно было катить тачку только бегом.

Меня сейчас же столкнули с трапа, грубо столкнули, и я едва удержал тачку в равновесии, ведь же был пльвун, а все, что просыпано по дороге, полагается собрать и везти дальше. Я был даже рад, что меня столкнули, я мог немного отдохнуть.

Отдыхать в забое ни минуты было нельзя. За это били бригадиры, десятники, конвой — я это хорошо знал, поэтому я «ворочался», просто меня мускулы, вместо мышц плечевого пояса и плеча другие какие-то мускулы удерживали меня на земле.

Бригада с большими тачками проехала, мне было снова можно выезжать на центральный трап.

Дадут ли тебе что-нибудь есть в этот день — об этом не думалось, да ни о чем не думалось, ничего в мозгу не оставалось, кроме ругательства, злости и — бессилия.

Не меньше получаса прошло, пока я добрался со своей тачкой до эстакады. Эстакада невысокая, в ней всего метр, настил из толстых досок. Есть яма — бункер, в огороженный этот бункер-воронку надо сыпать грунт.

Под эстакадой ходят железные вагонетки, и вагоны по канату упрявляют на бутару — на промывочный прибор, где под струей воды промывается грунт и на дно колоды оседает золото. Вверху на

бутаре-колоде метров двадцати длиной работают люди, сыплют лопаточками грунт, бутарят. Бутарят не тачечники, да и к золоту близко пятьдесят восьмую не подпускают. Почему-то работа на бутаре — она полегче, конечно, чем забой, — считалась допустимой только для «друзей народа». Я выбрал время, когда на эстакаде не было тачек и других бригад.

Эстакада невысока. Я работал и на эстакадах высоких — метров десять подъема. Там у въезда на эстакаду стоял специальный человек, помогавший тачечнику вывезти свой груз на вершину, к бункеру. Это — посерьезней. В эту ночь эстакада была маленькой, но все равно не было сил толкать тачку вперед.

Я чувствовал, что я опаздываю, и напряжением последних сил вытолкнул тачку к началу подъема. Но не было сил толкать эту тачку, неполную тачку, вверх. Я, который давно уже ходил по приисковой земле, шаркая подошвами, передвигаая ноги, не отрывая подошв от земли, не имея сил сделать иначе — ни выше поднять ногу, ни быстрее. Я давно уже ходил так по лагерю и по забою — под тычки бригадиров, конвоиров, десятников, прорабов, дневальных и надзирателей.

Я почувствовал толчок в спину, несильный, и почувствовал, что падаю вниз с эстакады вместе с тачкой, которую я еще удерживал за ручки, как будто мне было еще надо куда-то ехать, куда-то править, кроме ада.

Меня просто столкнули — большие тачки пятьдесят восьмой шли к бункеру. Это были наши же товарищи, бригада, жившая в соседней секции. Но и бригада и ее бригадир Фурсов хотели только показать, что он-то, и его бригада, и его большая тачка не имеют ничего общего с таким голодным фашистом, как я.

У бункера стоял прораб нашего участка, вольняшка Петр Бражников, и начальник прииска Леонид Михайлович Анисимов.

И вот я принялся собирать пльвун лопатой — это скользкая каменная каша, по тяжести похожая на ртуть, и такое же неуловимое, скользкое, каменное тесто. Лопатой нужно было разрубить на куски и поддеть для того, чтобы закинуть на тачку, [и] было невозможно, не хватало сил, и я руками отрывал куски от этого пльвуна, тяжелого, скользкого, драгоценного пльвуна.

Рядом стояли Анисимов и Бражников и дожидались, пока соберу все до последнего камушка в тачку. Я подтащил тачку к трапу и начал подъем и снова стал толкать тачку наверх. Начальники были обеспокоены только тем, чтобы я не загородил дорогу другим бригадам. Я снова поставил тачку на трап и пытался вытолкнуть ее на эстакаду.

И снова меня сбили. На этот раз я ждал удара, и мне удалось оттащить тачку в сторону на самом подъеме. Приехали и уехали другие бригады, и я снова начал свой подъем. Я выкатил, опрокинул — груза там было немного, отскреб лопатой с бортов своей тачки остатки драгоценного пльвуна и выкатил тачку на обратный трап, на запасной трап, на второй трап, где катили пустые тачки, возвращаемые в золотой забой.

Бражников и Анисимов дождались конца моей работы и стояли около меня, пока я давал дорогу порожняку других бригад.

— А где же компенсатор высоты? — тенорком сказал начальник прииска.

— Тут не положено, — сказал Бражников.

Начальник прииска был из работников НКВД и овладевал горной специальностью по вечерам.

— Так ведь бригадир не хочет давать человека, пусть, говорит, из бригады доходят ставят. И Венька Бык не хочет. Крючок, говорит, — это дело не мое на такой эстакаде. Кто это не может вытолкнуть тач-



ку на два метра высоты по отлоному подъему? Враг народа, преступник.

— Да,— сказал Анисимов,— да!

— Ведь он же нарочно падает на наших глазах. Компенсатор высоты тут не нужен.

Компенсатором высоты называли крючника, дополнительного рабочего, который цеплял на подъемах к бункеру тачку спереди специальным крючком и помогал выдернуть драгоценный груз на эстакаду. Крючки эти были сделаны из бурильных ложек с метр длиной, ложка была в кузнице расплющена, согнута и превращена в крючок.

Наш бригадир не хотел давать человека, чтобы помогать чужим бригадам.

Можно было возвращаться в забой.

Тачечник обязан чувствовать тачку, центр тяжести тачки, ее колесо, ось колеса, направление колеса. Колесо ведь тачечник не видит — и в дороге, и с грузом, и назад. Он должен чувствовать колесо. Колеса тачки бывают двух типов, одно с более тонкой полосой круга и шире диаметром, другое с более широкой полосой. В полном соответствии с законом физики первое — легче на ходу, зато второе — более устойчиво.

В колесо вставляется чека, смазывается дегтем, солидолом, колеса мазью и вставляются наглухо в отверстие у подошвы тачки. Тачку надо смазывать аккуратно.

Обычно бочки с этой смазкой стоят у инструменталок.

Сколько же сотен тысяч тачек разбито за золотой сезон на Колыме? Сведения о десятках тысяч есть лишь по одному очень маленькому управлению.

В дорожном управлении, где золото не добывают, пользуются теми же тачками, большими и малыми. Камень везде камень. Кубометр везде кубометр. Голод везде голод.

Сама трасса — это своеобразный центральный трап колымского золотого края. В сторону от трассы отходят отростки — каменные отростки дорог с двусторонним движением, — на центральной трассе движение в восемь рядов машин, связывающих прииски, рудники с трассой.

Трасса до Неры в прямом направлении тысяча двести километров, а с дорогой в Делянكير-Кулу — Тенькинском направлении и больше двух тысяч километров.

Но во время войны на трассу пришли бульдозеры. Еще раньше экскаваторы.

В 1938 году экскаваторов не было.

Было отстроено шестьсот километров трассы за Ягодный, дороги к приискам Южного и Северного управлений уже были построены. Колыма уже давала золото, начальство уже получало ордена.

Все эти миллиарды кубометров взорванных скал, все эти дороги, подъезды, пути, установка промывочных приборов, возведение поселков и кладбищ — все это сделано от руки, от тачки и кайла<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> В ноябре 1936 года Колыма отмечала юбилей — пять лет Дальстроя. К этой дате развернулось «стахановское движение» за право подписи на рапорте И. В. Сталину. Отрывок из этого рапорта, помещенного в газете «Советская Колыма» 7 ноября 1936 года, мы публикуем. В 1970 году именно эти газеты прочитал Шаламов и написал «Тачку».

«Вождю народов, организатору наших побед  
товарищу Сталину

...Осуществляя свою директиву по развертыванию золотодобычи, мы построили порт и дорогу, прочно связывающие побережье Охотского моря с основными районами золотопромышленности. Это дало нам возможность, ликвидировав сезонность золотодобычи путем зимней вскрыши торфов, удваивая из года в год количество добытого

## ГАЛИНА ПАВЛОВНА ЗЫБАЛОВА

В первый год войны чадающий фитиль фонаря бдительности был несколько прикручен. С барака пятьдесят восьмой статьи была снята колючая проволока, и враги народа были допущены к исполнению важных функций вроде должности истопника, дневального, сторожа, которую по лагерной конституции мог занимать только бытовик, в худшем случае — рецидивист-уголовник.

Доктор Лунин, наш начальник санчасти из заключенных, реалист и прагматик, справедливо рассудил, что надо ловить момент, ковать железо, пока оно горячо. Дневальный химлаборатории Аркагаинского угольного района попался в краже казенного глицерина (медок! пятьдесят рублей банка!), а сменивший дневального новый сторож украл в первую же ночь вдвое больше — ситуация приобрела остроту. За все свои лагерные скитания я наблюдаю, что каждый арестант, приходя на новую работу, прежде всего оглядывается: что бы тут украсть? Это касается всех — от дневальных до начальников управлений. Есть какое-то мистическое начало в этой тяге русского человека к краже. Во всяком случае, в лагерных условиях, в северных условиях, в колымских условиях.

Все эти моменты, развязки регулярно возникающих ситуаций и ловят враги народа. После краха карьеры второго дневального-бытовика подряд Лунин рекомендовал меня в дневальные химлаборатории — не украдет, дескать, химических сокровищ, а топить печку-бочку, да еще каменным углем, каждый заключенный по пятьдесят восьмой статье в те колымские годы мог и умел топить квалифицированное всякого истопника. Мытье полов по-матросски, с навязанной тряпкой на палке, было хорошо мне знакомо по 1939 году, по Магаданской пересылке. В конце концов я, знаменитый магаданский поломой, занимаясь этим делом всю весну 1939 года, научился на всю жизнь.

Я работал тогда на шахте, выполнял «процент» — уголь не касался золотого прииска, но, конечно, о сказочной работе дневального в химлаборатории мне и не мечталось.

Я получила возможность отдохнуть, отмыть лицо и руки — пропитанная угольной пылью харкотина должна была стать светлой лишь после многих месяцев моего дневальства, а то и лет. О цвете харкотины думать не приходилось.

металла, внести свою посильную лепту в осуществление твоего указания о необходимости учетверить добычу золота в нашей стране...

Развертывая стахановское движение и зорко следя за нашими врагами, за троцкистско-зиновьевским охвостом, мы будем бороться за новые успехи, за новые, более высокие показатели стахановского труда, за право называть коллектив трудящихся Колымы стахановским коллективом...

Спасибо за счастливую и радостную жизнь! Да здравствует наш мудрый, любимый вождь товарищ Сталин!

Рапорт подписан лучшими стахановцами Колымы».

На втором слете стахановцев Колымы в докладах ее руководителей были приведены такие цифры: количество рабсилы с 1932 по 1936 год увеличилось в 9,4 раза. Земляных работ сделано «почти 19 млн. кубометров — это почти Беломорстрой».

«...Наступила новая эра. Впервые здесь сказалась по-настоящему большевистская напористость, железная настойчивость и уверенность...

Казалось бы, в условиях КОЛЫМЫ, где морозы достигают семидесяти градусов, а вечная мерзлота грунта повсеместна, нечего и думать об открытых горных работах в зимнее время.

Но преподанная правительством Дальстрою программа золотодобычи не вязалась с таким положением...

Задача была нелегкая...

И она была разрешена.

Результаты оказались блестящими: упразднена сезонность на открытых горных работах в условиях Крайнего Севера. Использован излишек рабсилы зимой...» («Как мы добыли золото». 7 ноября 1936 года).

Через год, в декабре 1937 года, Э. П. Берзин и другие руководители Дальстрою были арестованы. В августе 1938 года Э. П. Берзин был расстрелян.

Лабораторией, занимавшей на поселке целый барак и имевшей большой штат — два инженера-химика, два техника, три лаборанта, — управляла молодая столичная комсомолка Галина Павловна Зыбалова, договорница, как и ее муж, Петр Яковлевич Подосенов, автоинженер, заведовавший автобазой Аркагалинского угольного района.

Жизнь вольных заключенные смотрят как кинофильм — то драму, то комическую, то видовую картину по классическому дореволюционному делению жанров для кинопроката. Редко герои кинофильмы (фильмы, а не фильма, как теперь) сходят с экрана в зрительный зал электротeatра (так назывался раньше кинотеатр).

Жизнь вольных заключенные смотрят как кинофильм. Тут удовольствие особого рода. Ничего решать не надо. Вмешиваться в эту жизнь не должно. Никаких реальных проблем это сосуществование разных миров перед заключенными не ставит. Просто другой мир.

Тут я топил печи. С каменным углем надо уметь обращаться, но это наука несложная. Мыл полы. А главное, лечил свои пальцы на ногах — остеомиелит после тридцать восьмого года закрылся только на материке, чуть не к XX съезду партии. А может быть, и тогда еще не закрылся.

Перематывая чистые тряпочки, меня повязку на сочащихся гноем пальцах обеих ног, я застывал в блаженстве перед растопленной печкой, ощущая тончайшую боль, ломоту этих пальцев, раненных прииском, изувеченных золотом. Полное блаженство и требует капелюк боли — об этом говорит и история общества и история литературы. Но я вспомнил кое-что поважнее и общества и литературы.

Теперь у меня ныла, болела голова — о ноющих пальцах я забыл, — ощущение было вытеснено другим, более ярким, более жизненным важным.

Я еще ничего не вспомнил, ничего не решил, ничего не нашел, но весь мой мозг, его иссохшие клетки напряглись в тревоге. Ненужная колымчанину память — в самом деле, зачем лагернику такая ненадежная, и такая хрупкая, и такая цепкая, и такая всесильная память? — должна была подсказать мне решение. Ах, какая у меня была память когда-то — четыре года тому назад! Память у меня была как выстрел, если я не вспоминал чего-либо сразу — я заболел, ничем не мог заниматься, пока не вспоминал того, чего хотел. Таких случаев выдачи с задержкой в моей жизни было очень мало, считанное количество раз. Само воспоминание о такой задержке как-то подстегивало, убыстряло и без того быстрый бег памяти.

Но мой нынешний аркагалинский мозг, измученный Кольмой тридцать восьмого года, измученный четырехлетними скитаниями от больницы до забоя, хранил какую-то тайну и никак не хотел подчиняться приказу, просьбе, мольбе, молитве, жалобе.

Я молил свой мозг, как молят высшее существо, ответить, открыть мне какую-то переборку, осветить какую-то темную щель, где прячется нужное мне.

И мозг сжалился, выполнил просьбу, снизошел к моей мольбе. Что это была за просьба?

Я повторял без конца фамилию своей заведующей лабораторией — Галина Павловна Зыбалова! Зыбалова! Павловна! Зыбалова!

Где-то я слышал эту фамилию. Знал человека с этой фамилией. Зыбалов — не Иванов, не Петров, не Смирнов. Это столичная фамилия. И вдруг я, вспотев от напряжения, припомнил. Не Москву, не Ленинград, не Киев, где человек со столичной фамилией был близко около меня.

В 1929 году, по первому моему сроку работая на Северном Урале, в Березниках, я встречал на Березниковском содовом заводе экономиста, начальника планового отдела, ссыльного Зыбалова, Павла Павловича, кажется. Зыбалов был членом ЦК меньшевиков, и его по-

казывали другим ссыльным издалека, с порога комнаты в конторе содового завода, где работал Зыбалов. Вскоре Березники были затоплены потоком заключенных разного рода — и ссыльных, и лагерников, и колхозников-переселенцев — по начавшимся громким процессам, и фамилия Зыбалова среди новых героев несколько отошла в тень. Зыбалов перестал быть достопримечательностью Березников.

Сам содовый завод, бывший Сальвэ, стал частью Березниковского химического комбината, вошедший в одну из строек-гигантов первой пятилетки — Березникхимстроя, вобравшего сотни тысяч рабочих, инженеров и техников — отечественных и иностранных. На Березниках был поселок иностранцев, простых ссыльных, спецпереселенцев и лагерников. Только лагерников в одну смену выходило до десяти тысяч человек. Стройка текучести невероятной, где за месяц принималось три тысячи вольных по договорам и вербовке и бежало без расчета четыре тысячи. Стройка эта еще ждет своего описания. Надежды на Паустовского не оправдались. Паустовский там писал и написал «Карабугаз», прячась от бурливой, кипящей толпы в березниковской гостинице и не высовывая носа на улицу.

Экономист Зыбалов со службы на содовом заводе перешел в Березникхимстрой — там было и денег побольше, да и размах побольше, да и карточная система давала себя знать.

На Березниковском химкомбинате вел кружок экономических знаний для добровольцев. Бесплатный кружок для всех желающих. Кружок был общественной работой Павла Павловича Зыбалова, и занимался он в главной конторе Химстроя. Вот в этом-то кружке я был на нескольких занятиях у Зыбалова.

Зыбалов, столичный профессор, ссыльный, охотно и легко вел занятия. Он скучал по лекционной, по преподавательской работе. Не знаю, прочел ли он за свою жизнь одиннадцать тысяч лекций, как прочел другой мой лагерный знакомый, но что количество измерялось тысячами — это было наверняка.

У ссыльного Зыбалова на Березниках умерла жена, осталась дочь, девочка лет десяти, приходившая к отцу иногда во время наших занятий.

В Березниках меня хорошо знали. Я отказался ехать с Берзиным на Колыму, на открытие Дальстроя, и попытался устроиться в Березниках.

Но кем? Юристом? У меня было незаконченное юридическое образование. Не кто иной, как Зыбалов посоветовал мне принять должность заведующего бюро экономики труда (БЭТ) Березниковской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в знаменитых тогда лингвистических находках, которые тут же у нас, на стройке первой пятилетки, и рождались. Директором ТЭЦ был вредитель — инженер Капеллер, лицо, прошедшее по процессам не то шахтинских, не то иных списков. ТЭЦ — это была уже эксплуатация, а не строительство, пусковой период затягивался безбожно, но это безбожие было возведено в закон. Капеллер никак не мог поставить себя — осужденного десятилетника или даже пятнадцатилетника — в тон всей этой шумной стройке, где ежедневно менялись рабочие, техники, наковнец, где арестовывали и расстреливали начальников и выгружали эшелоны со ссыльными после коллективизации. Капеллер у себя в Кизеле был осужден за гораздо меньшие проступки, [чем] производственные безобразия, которые росли здесь мощной лавиной. Рядом с его кабинетом еще стучали молотки, и к котлу, который монтировала фирма Гакомаза, вызывали московскими телеграммами из-за границы лекарей.

Капеллер принял меня на работу, принял весьма равнодушно, — его занимали технические вопросы, технические трагедии, которых было не меньше экономических и бытовых.

В помощь Капеллеру от партийной организации был рекомендован в качестве помощника директора по производственным совещаниям Тимофей Иванович Рачев, малограмотный, но энергичный человек, поставивший главным условием «не давать глотничать». Бюро экономики труда было в подчинении Рачева, и я долго хранил у себя бумагу с его резолюцией. Кочегары подали огромное мотивированное заявление о недоплате, о перерасчете — долго они ходили к Рачеву по этому вопросу. Не перечитывая их заявление, Рачев написал: «Зав. БЭТ тов. Шаламову. Прошу разобраться и по возможности отказать».

На эту работу я, юрист с незаконченным образованием, попал именно по совету Зыбалова:

— Смелей действуйте. Беритесь и начинайте. Если даже выгонят через две недели — раньше по колдоговору не уволят, — вы за эти две недели наберетесь кое-какого опыта. Потом поступайте опять. Пять таких увольнений — и вы готовый экономист. Не бойтесь. Если встретится что-нибудь сложное — приходите. Я вам помогу. Я-то ведь никуда не денусь. Не подлежу законам текучести.

Я принял эту хорошо оплачиваемую должность.

В это же время Зыбалов организовывал вечерний экономический техникум. Павел Павлович (кажется, Павлович) был главным преподавателем этого техникума. Мне там тоже готовили место преподавателя «гигиены и физиологии труда».

Уже я подал заявление в этот новый техникум, уже подумывал о плане первого урока, но вдруг получил письмо из Москвы. Мои родители были живы, мои товарищи по университету тоже были живы, и оставаться в Березниках было смерти подобно. И я уехал без расчета с ТЭЦ, а Зыбалов остался в Березниках.

Все это я и вспомнил на Аркагале, в химлаборатории Аркагалинского угольного района, в преддверии тайны гуминовых кислот.

Роль случая очень велика в жизни, и хотя общий мировой порядок наказывает за использование случая в личных целях, но бывает так, что и не наказывает. Этот зыбаловский вопрос надо было довести до конца. А может быть, и нет. Я уже не нуждался в то время в куске хлеба. Шахта — не прииск, уголь — не золото. Может быть, этот картонный домик не стоило строить — ветер уронит постройку, разметет ее на четыре стороны света.

Арест по «делу юристов» три года назад учил ведь меня важному лагерному закону: никогда не обращаться с просьбами к людям, которых ты лично знал по воле, — мир мал, такие встречи бывают. Почти всегда на Колыме такая просьба неприятна, иногда невозможна, иногда приводит к смерти просившего.

Такая опасность на Колыме — да и во всяком лагере — существует. У меня была встреча с Чекановым, моим сокамерником по Бутырской тюрьме. Чеканов не только узнал меня в толпе работяг, когда принял в качестве десятника наш участок, но ежедневно вытаскивал меня за руку из строя, бил и назначал на самые тяжелые работы, где, конечно, и процента не могло быть у меня. Чеканов каждый день докладывал начальнику участка о моем поведении, заверяя, что уничтожит эту заразу, что не отрицает личного знакомства, но докажет свою преданность, оправдает доверие. Чеканов был осужден по той же статье, что и я. В конце концов Чеканов выпихнул меня на штрафной пункт, и я остался жив.

Я знал также полковника Ушакова, начальника Розынского, а позднее Речного отдела Колымы, — знал, когда Ушаков был простым агентом МУРа, осужденным за какое-то служебное преступление.

Я никогда не пытался напомнить полковнику Ушакову о себе. Я был убит в самом непродолжительное время.

Наконец, я знал все высококое начальство Колымы начиная с самого Берзина: Васькова, Майсурадзе, Филиппова, Егорова, Цвирко. Знакомый с лагерной традицией, я никогда не выходил из рядов

арестантов, чтобы подать какую-нибудь проеьбу лично мне знакомому начальнику, обратить на себя внимание.

По «делу юристов» я случайно только избавился от пули в конце 1938 года на прииске «Партизан» во время колымских расстрелов. В «деле юристов» вся провокация велась против председателя Далькрайсуда Виноградова. Его обвиняли в том, что он дал хлеба и устроил на работу своего сослуживца по факультету советского права Дмитрия Сергеевича Парфентьева, бывшего челябинского прокурора и прокурора Карелии.

Посетив прииск «Партизан», председатель Далькрайсуда Виноградов не счел нужным скрывать свое знакомство с забойщиком — профессором Парфентьевым — и попросил начальника прииска Л. М. Анисимова устроить Парфентьева на работу полегче.

Приказ был немедленно выполнен и Парфентьев назначен молотобойцем — более легкой работы на прииске не нашлось, но все же не ветер на шестидесятиградусном морозе в открытом забое, не лом, не лопата, не кайло. Правда, кузница с хлопающей полуоткрытой дверью, с открытыми окнами, но все же там огонь горна, там можно укрыться если не от холода, то от ветра. А у троцкиста Парфентьева, у врага народа Парфентьева было оперировано одно легкое по поводу туберкулеза.

Пожелание Виноградова начальник прииска «Партизан» Леонид Михайлович Анисимов выполнил, но тут же донес рапортом по всем нужным и возможным инстанциям. Начало «делу юристов» было положено. Капитан Столбов, начальник СПО Магадана, арестовал всех юристов на Колыме, проверяя их связи, накладывая, захлестывая и натягивая аркан провокации.

На прииске «Партизан» были арестованы я и Парфентьев, увезены в Магадан и посажены в Магаданскую тюрьму.

Но через сутки сам капитан Столбов был арестован и освобождены все арестованные по ордерам, подписанным капитаном Столбовым.

Я рассказал подробно об этом деле в мемуаре «Заговор юристов», где документальна каждая буква.

Выпущен я был не на свободу, понимая под колымской свободой содержание в лагере же, но в общем бараке, на общих правах. На Колыме нет свободы.

Я был выпущен вместе с Парфентьевым на пересылку, на тридцатитысячную транзитку — выпущен с особым лиловым клеймом на личном деле: «Прибыл из Магаданской тюрьмы». Это клеймо обрекало меня бесконечное количество лет находиться под фонарем бдительности, на внимании начальства до тех пор, пока лиловое клеймо на старом личном деле не заменится чистой обложкой нового личного дела, нового срока наказания. Хорошо еще, что этот новый срок не был выдан «весом» — пулей в семь граммов. Впрочем, хорошо ли, — срок, выданный «весом», избавил бы меня от дальнейших мучений, многолетних, не нужных никому, ни даже мне для пополнения моего душевного или нравственного опыта и физической крепости.

Во всяком случае, вспомнив все свои скитания после ареста по «делу юристов» на прииске «Партизан», я взял себе за правило: никогда по своей инициативе к знакомым не обращаться и тени с материка на Колыму не вызывать.

Но в случае с Зыбаловой мне почему-то казалось, что я не принесу вреда хозяйке этой фамилии. Человек она была хороший и если различала вольного от заключенного, то не с позиций активного врага заключенных — так учат всех договорников во всех политотделах Дальстроя еще при заключении договоров. Заключенный всегда чувствует в вольном оттенок: есть ли в договорах что-либо, кроме казенных инструкций, или нет. Оттенков тут много — так много, как

самих людей. Но есть рубеж, переход, граница добра и зла, моральная граница, которая чувствуется сразу.

Галина Павловна, как и ее муж Петр Яковлевич, не занимала крайней позиции активного врага всякого заключенного только потому, что он — заключенный, хотя Галина Павловна была секретарем комсомольской организации Аркагалинского угольного района. Петр Яковлевич был беспартийным.

Вечерами Галина Павловна часто засиживалась в лаборатории — семейный барак, где они жили, вряд ли был уютней кабинетиков химической лаборатории.

Я спросил Галину Павловну, не жила ли она в Березниках на Урале в конце двадцатых годов, в начале тридцатых.

— Жила!

— А ваш отец — Павел Павлович Зыбалов?

— Павел Осипович.

— Совершенно верно. Павел Осипович. А вы были девочкой лет десяти.

— Четырнадцать.

— Ходили в таком бордовом пальто.

— В шубе вишневой.

— Ну, в шубе. Вы завтрак носили Павлу Осиповичу.

— Носила. Там мама моя умерла, на Чуртане.

Петр Яковлевич сидел здесь же.

— Смотри-ка, Петя, Варлам Тихонович знает папу.

— Я у него в кружке занимался.

— А Петя родом из Березников. Он — местный. У его родителей дом в Веретьи.

Подосенов назвал мне несколько фамилий, известных в Березниках, и в Усолье, и в Соликамске, и в Веретьи, на Чуртане и в Дедюхине, вроде Собяниковых, Кичиных, но я по обстоятельствам моей биографии не получил возможности помнить и знать местных уроженцев.

Для меня все эти названия звучали как «Чиктосы и Команчи», как стихи на чужом языке, но Петр Яковлевич читал их как молитвы, все более воодушевляясь.

— Теперь все это засыпано песком, — сказал Подосенов. — Химкомбинат.

— А папа сейчас в Донбассе, — сказала Галина Павловна, и я понял, что ее отец в очередной ссылке.

Этим все и кончилось. Я испытывал истинное удовольствие, праздник оттого, что бедный мой мозг так хорошо сработал. Чисто академическое удовольствие.

Прошло месяца два, не больше, и Галина Павловна, придя на работу, вызвала меня в свой кабинет.

— Я получила письмо от папы. Вот.

Я прочел разборчивые строки крупного, вовсе не знакомого мне почерка:

«Шаламова я не знаю и не помню. Я ведь вел такие кружки в течение двадцати лет в ссылке, где бы я ни находился. Веду их и сейчас. Не в этом дело. Что за письмо ты мне написала? Что это за проверка? И кого? Шаламова? Себя? Меня? Что касается меня, — писал крупным почерком Павел Осипович Зыбалов, — то мой ответ таков. Поступи с Шаламовым так, как ты поступила бы со мной, если бы встретила на Колыме. Но чтобы знать мой ответ, тебе не надо было писать письма».

— Вот видите, что получилось... — огорченно сказала Галина Павловна. — Вы папу не знаете. Он мне не забудет этой оплошности никогда.

— Я ничего особенного вам не говорил.

— Да и я ничего особенного папе не писала. Но видите, как папа



смотрит на эти вещи. Теперь уж вам нельзя работать дневальным,— грустно размышляла Галина Павловна.— Опять нового дневального искать. А вас я оформлю техником — у нас есть свободная должность по штатам для вольнонаемных. Как начальник угольного района Свищев уедет, его будет замещать главный инженер Юрий Иванович Кочура. Через него я и оформлю вас.

Из лаборатории никого не увольняли, идти мне на «живое место» не пришлось, и под руководством и с помощью инженеров Соколова и Олега Борисовича Максимова, ныне здравствующего члена Дальневосточной академии наук, я начал карьеру лаборанта и техника.

Для мужа Галины Павловны, Петра Яковлевича Подосенова, я написал по его просьбе большую литературоведческую работу — составил на память словарь блатных слов, их возникновение, изменения, толкования. В словаре было около шестисот слов — не вроде той специальной литературы, которую издает угольный розыск для своих сотрудников, а в ином, более широком плане и более остром виде. Словарь, подаренный Подосенову,— единственная моя прозаическая работа, написанная на Колыме.

Мое безоблачное счастье не омрачалось тем, что Галина Павловна уходила от мужа, кинороман оставался кинороманом. Я был только зрителем, зрителю даже крупный план чужой жизни, чужой драмы, чужой трагедии не давал иллюзии жизни.

И не Колыма, страна с чрезвычайным обострением всех сторон семейной и женской проблемы, обострением до уродливости, до смещения всех и всяческих масштабов, была причиной распада этой семьи.

Галина Павловна была умница, красавица слегка монгольского типа, инженер-химик, представительница самой модной тогда, самой новой профессии, единственная дочь русского политического ссыльного.

Петр Яковлевич был застенчивый пермяк, всячески уступавший жене — и в развитии, и в интересах, и в требованиях. Что супруги были не пара, бросалось в глаза, и хотя для семейного счастья нет законов, в этом случае, кажется, семье было суждено распасться, как всякой семье, впрочем.

Процесс распада ускорила, катализировала Колыма.

У Галины Павловны был роман с главным инженером угольного района Юрием Ивановичем Кочурой, вернее не роман, а вторая любовь. А у Кочуры — дети, семья. Я тоже был показан Кочуре перед своим посвящением в техники.

— Вот этот человек, Юрий Иванович.

— Хорошо,— сказал Юрий Иванович, не глядя ни на меня, ни на Галину Павловну, а глядя прямо в пол перед собой.— Подайте рапорт о зачислении.

Однако все в этой драме было еще впереди. Жена Кочуры подала заявление в политуправление Дальстроя, начались выезды, комиссии, опросы свидетелей, сбор подписей. Государственная власть со всем своим аппаратом встала на защиту первой семьи, на которую подписывала договор с Дальстроем в Москве.

Высшие магаданские инстанции по совету Москвы, что разлука обязательно убьет любовь и возвратит Юрия Ивановича супруге, сняли Галину Павловну с работы и перевели на другое место.

Разумеется, из таких переводов никогда ничего не выходило и выйти не могло. Тем не менее разлука с любимой — единственный апробированный государством путь к исправлению положения. Иных способов, кроме указанного в «Ромео и Джульетте», не существует. Это традиция первобытного общества, и ничего нового цивилизация в эту проблему не внесла.

После отцовского ответа отношения мои с Галиной Павловной стали более доверительными.

— Вот, Варлам Тихонович, этот Постников, что с руками.

Еще бы я не хотел посмотреть Постникова с руками!

Несколько месяцев назад, когда я еще ишачил на Кадыкчане, а перевод на Аркагалу — пусть в шахту, не в лабораторию — казался чудом несбыточным, именно на наш барак, то есть палатку брезентовую, утепленную к шестидесяти градусам мороза слоем толя или рубероида, не помню, и двадцатью сантиметрами воздуха — воздушная прокладка по инструкции магаданско-московской, — вышел ночью беглец.

По Аркагале, по аркагалинской тайге, ее речкам, сопкам и распадам проходит кратчайший путь от материка по суше — через Якутию, Алдан, Кольму, Индигирку.

Перелетный путь беглецов, его таинственная карта таится в груди беглецов — люди идут, внутренним чутьем угадывая направление. И это направление верно, как перелет гусей или журавлей. Чукотка ведь не остров, а полуостров, материком Большая земля зовется по тысяче аналогий: дальний путь морем, отправление в портах, мимо острова Сахалин — места царской каторги.

Все это знает и начальство. Поэтому летом именно вокруг Аркагалы — посты, летучие отряды, оперативка и в штатском и в военном.

Несколько месяцев назад младший лейтенант Постников задержал беглеца, вести на Кадыкчан за десять — пятнадцать километров ему не хотелось, и младший лейтенант застрелил беглеца на месте.

Что нужно предъявить в учетном отделе при розыске чуть не по всему миру? Как опознать человека? Такой паспорт существует, и очень точный, — это дактилоскопический отпечаток десяти пальцев. Такой отпечаток хранится в личном деле каждого заключенного — в Москве, в Центральной картотеке, и в Магадане, в местном управлении.

Не утруждая себя доставкой задержанного заключенного на Аркагалу, молодой лейтенант Постников отрубил топором обе кисти беглеца, сложил их в сумку и повез рапорт о поимке арестанта.

А беглец встал и ночью пришел в наш барак, бледный, потерявший много крови, говорить он не мог, а только протягивал руки. Наш бригадир сбегал за конвоем, и беглеца увели в тайгу.

Доставили беглеца живым на Аркагалу или просто отвели в кусты и окончательно убили — это было бы самым простым выходом и для беглеца, и для конвоя, и для младшего лейтенанта Постникова.

Никакого взыскания Постников не получил. Да никто и не ждал такого взыскания. Но разговоров о Постникове даже в том голодном подневольном мире, в котором я жил тогда, было много, случай был свежий.

Потому я, захватив кусок угля, чтобы заправить, подшуровать печку, вошел в кабинет заведующей.

Постников был светлый блондин, но не из породы альбиносов, а скорее северного, голубоглазого, поморского склада — чуть выше среднего роста. Самый, самый обыкновенный человек.

Помню, вглядывался я жадно, ловя хоть ничтожную отметку лафатеровского, ломбрововского типа на испуганном лице младшего лейтенанта Постникова...<sup>3</sup>

Мы сидели вечером у печки, и Галина Павловна сказала:

— Я хочу посоветоваться с вами.

<sup>3</sup> В первоначальном варианте:

«Волновался он ужасно. Ведь он пропустил целых два занятия по политучебе, и Зыбалова, секретарь комсомольской организации, достойным образом распекала младшего лейтенанта. С трудом умолив свою комсомольскую начальницу о том, чтобы ему, Постникову, ничего не заносили в личное дело, младший лейтенант удалился, краснея, извиняясь и едва попадая в рукава новенькой своей шинели. Для ответственного визита младший лейтенант был в новой военной форме, и новенькая, новенькая золотая медаль «За отличную службу» дрожала на его гимнастерке. Я не мог выяснить, получил ли Постников эту медаль за руки аркагалинского беглеца или медаль заслужена была младшим лейтенантом ранее за подвиги подобного рода».

— О чем же?

— О своей жизни.

— Я, Галина Павловна, с тех пор, как стал взрослым, живу по важной заповеди: «Не учи ближнего своего». На манер евангельской. Всякая судьба — неповторима. Всякий рецепт — фальшив.

— А я думала, что писатели...

— Несчастье русской литературы, Галина Павловна, в том, что она лезет в чужие дела, направляет чужие судьбы, высказывается по вопросам, в которых она ничего не понимает, не имея никакого права соваться в моральные проблемы, осуждать, не зная и не желая знать ничего.

— Хорошо. Тогда я вам расскажу сказку, и вы оцените ее как литературное произведение. Всю ответственность за условность, или за реализм, — что мне кажется одним и тем же — я принимаю на себя.

— Отлично. Попробуем со сказкой.

Галина Павловна быстро начертила одну из самых банальных схем треугольника, и я посоветовал ей не уходить от мужа.

По тысяче причин. Во-первых, привычка, знание человека, как ни малое, а единственное, тогда как там — сюрприз, коробка с неожиданными. Конечно, и оттуда можно уйти.

Вторая причина — Петр Яковлевич Подосенов был хороший человек явно. Он бывал на его родине, написал для него с истинной симпатией работу о блатарях, Кочуру же я совершенно не знал.

Наконец, в-третьих, и в самых главных, я не люблю никаких перемен. Я возвращаюсь спать домой, в тот дом, в котором я живу, ничего нового я даже в мебелировке не люблю, с трудом привыкаю к новой мебели.

Бурные перемены в моей жизни всегда возникали помимо моей воли, по чьей-то явно злой воле, ибо я никогда не искал перемен, не искал лучшего от хорошего.

Была и причина, облегчающая советчику его смертный грех. По делам собственного сердца советы принимаются только такие, которые не противоречат внутренней воле человека, — все остальное отвергается или сводится на нет подменой понятий.

Как всякий оракул, я рисковал немногим. Даже своим добрым именем не рисковал.

Я предупредил Галину Павловну, что совет мой — чисто литературный и никаких нравственных обязательств не скрывает.

Но прежде чем Галина Павловна приняла решение, в дело вмешались высшие силы в полном соответствии с традициями природы, поспешившими на помощь Аркагале.

Петр Яковлевич Подосенов, муж Галины Павловны, был убит. Композиция эсхиловская. С хорошо изученной сюжетной ситуацией. Подосенов был сбит проходившей машиной в зимней темноте и умер в больнице. Таких автомобильных катастроф на Колыме много, и о возможности самоубийства вовсе не говорили. Да он и не покончил бы с собой. Он был фаталист немного: не судьба, значит, не судьба. Оказалось, очень даже судьба, чересчур судьба. Подосенова-то как раз убивать было не надо. Разве за добрый характер убивают? Конечно, на Колыме добро — грех, но и зло — грех. Смерть эта ничего не разрешила, никаких узлов не развязала, не разрушила — все осталось по-прежнему. Было только видно, что высшие силы заинтересовались этой маленькой ничтожной колымской трагедией, заинтересовались одной женской судьбой.

На место Галины Павловны прибыл новый химик, новый заведующий. Первым же распоряжением он снял меня с работы, этого я ждал. В отношении заключенных — да и вольных, кажется, тоже — колымское начальство не нуждается в формулировках причин, да и я не ждал никаких объяснений. Это было бы слишком литературно, слиш-

ком во вкусе русских классиков. Просто лагерный нарядчик на утреннем разводе по работам выкрикнул мою фамилию по списку арестантов, посылаемых в шахту, я встал в ряды, поправил рукавицы, конвой нас сосчитал, дал команду, и я пошел хорошо знакомой дорогой.

Больше никогда в жизни Галину Павловну я не видел.

## ИВАН БОГДАНОВ

Иван Богданов, однофамилец начальника района на Черном озере, был белокурым сероглазым красавцем атлетического сложения. Богданов был осужден по статье сто девятой — за служебное преступление — на десять лет, но, хорошо разбираясь в ситуации, понимал что к чему в то время, когда головы косила сталинская коса. Богданов понимал, что только чистый случай сохранил его от смертного клейма пятьдесят восьмой статьи.

Богданов работал у нас в угольной разведке бухгалтером, нарочно бухгалтером из заключенных, на которого можно накричать, которому можно приказать заштопать, залатать плохо поставленный учет утечек, вокруг которых кормилось семейство первого начальника района Парамонова и его ближайшего окружения, попавшего под золотой дождь в виде концентратов, полярных пайков и прочего.

Задачей Богданова, так же как и его однофамильца, начальника района, бывшего следователя тридцать седьмого года — о нем я написал в очерке «Богданов» исчерпывающим образом, — было не вскрыть злоупотребления, а, наоборот, залатать все огрехи, привести в достаточно христианский вид.

Заключенных было в районе в 1939 году, когда разведка началась, всего пять (в том числе и я — инвалид после бури в золотых забоях 1938 года), и, конечно, ничего из труда заключенных тут выжать не было возможно.

Обычай — эта многовековая лагерная традиция еще со времен Овидия Назона, который, как известно, был начальником ГУЛАГа в Древнем Риме, — говорит, что любые прорехи можно залатать бесплатным принудительным, неоплачиваемым арестантским трудом, который по трудовой стоимости Маркса и составляет главную ценность продукта. На этот раз трудом рабов воспользоваться было нельзя, нас было слишком мало для сколько-нибудь серьезных экономических надежд.

Воспользоваться трудом полурабов-вольняшек, бывших зекашек, было можно, их было более сорока человек, которым Парамонов обещал, что через год они поедут на материк «в цилиндрах». Парамонов, бывший начальник прииска «Мальдяк», на котором отбывал свои колымские две или три недели, пока не дошел, не «доплыл», не вступил в ряды доходяг, генерал Горбатов, — Парамонов имел большой опыт «открывать» полярные предприятия, хорошо зная что к чему. В результате Парамонов не попал под суд за произвол, как на «Мальдяке», ибо никакого произвола и не было, а была рука судьбы, размахивавшая смертной косой и уничтожавшая вольных, а главное, заключенных по статье КРГА.

Парамонов оправдался, ибо «Мальдяк», где умирало тридцать человек в день в тридцать восьмом, отнюдь не был худшим местом Колымы.

Парамонов и его заместитель по хозяйственной части Хохлушкин хорошо понимали, что нужно действовать быстро, пока в районе нет учета, нет бухгалтерии, ответственной и квалифицированной.

Это кража — а такая вещь, как пищевой концентрат, как консервы, как чай, как вино, как сахар, делает миллионером любого начальника, который прикоснулся к царству современного колымского Мидаса, — все это Парамонов отчетливо понимал.

Понимал он также, что он окружен стукачами, что любой его шаг будет изучен. Но нахальство — второе счастье, по блатной поговорке, а блатную феню Парамонов знал.

Короче говоря, после его управления, очень гуманного, как бы устанавливающего равновесие после произвола прошлого года, то есть тридцать восьмого года, когда Парамонов был на «Мальдяке», оказалась огромная нехватка из самых, самых мидасовских ценностей.

У Парамонова нашлись возможности откупиться, задарить своих следователей. Его не арестовали, а только отстранили от работы. Наводить порядок явились два Богданова — начальник и бухгалтер. Порядок был наведен, но за все растраты начальников пришлось платить тем самым четверем десяткам вольняшек, которые ничего не получали (как и мы) — получали вдесятеро меньше положенного. Фальшивыми актами обоим Богдановым удалось залатать зияющую на глазах Магадана дыру.

Вот эта задача и была поставлена перед Иваном Богдановым. Его образование — средняя школа и бухгалтерские курсы на воле.

Богданов был односельчанином Твардовского и немало подробностей его истинной биографии рассказывал, но судьба Твардовского мало нас тогда интересовала — были проблемы посерьезней...

Мы сдружились с Иваном Богдановым, и хотя по инструкции бытовик должен возвышаться над лагерником, каким был я, — Богданов на крошечной нашей командировке действовал совершенно иначе.

Иван Богданов был любитель пошутить, послушать «рôман», сам рассказать — это с его рассказом вошла в мою жизнь классическая история о брюках жениха. История рассказывалась от первого лица, и суть была в том, что жениху Ивану невеста заказала брюки перед свадьбой. Жених был победнее, семья невесты побогаче, и это был поступок вполне в духе века.

У меня также при моем первом браке по настоянию невесты были сняты все деньги с книжки и заказаны черные брюки лучшего качества у лучшего портного Москвы. Правда, мои брюки не испытали тех превращений, что брюки Ивана Богданова. Но психологическая правда, достоверность документа была в богдановском эпизоде с брюками.

Сюжет богдановских брюк в том, что перед свадьбой невеста заказала ему костюм. И костюм был сшит за сутки перед свадьбой, но брюки были сантиметром на десять длиннее. Решили завтра отвезти портному. Мастер жил за несколько десятков километров — день свадьбы был назначен, гости позваны, пироги испечены. Свадьба срывалась из-за этих брюк. Сам-то Богданов согласился явиться на свадьбу и в старом, но невеста и слышать не хотела об этом. Так в спорах и упреках разошлись по домам жених и невеста.

А за ночь произошло следующее. Жена решила исправить ошибку портного самолично и, отрезав на десять сантиметров брюки будущего мужа, радостная, улеглась спать и заснула крепким сном верной жены.

В это время проснулась теща, для которой эта проблема имела то же решение. Теща встала, орудуя сантиметром и мелом, отрезала еще десять сантиметров, прогладила понадежней складки и загиб и заснула крепким сном верной тещи.

Катастрофа была обнаружена самим женихом, у которого брюки были убавлены на двадцать сантиметров и испорчены безнадежно. Пришлось гулять свадьбу в старых, что, собственно, и предлагал жених.

Потом я это все читал не то у Зоценко, не то у Аверченко, не то в каком-то московском Декамероне. Но впервые этот сюжет возникает в моей жизни именно в бараках Черного озера в угольной разведке Дальугля.

У нас освободилось место ночного сторожа — весьма важная проблема, возможность благостного существования на длительный срок.

Сторож был вольнонаемный, вольняшка, а теперь это завидное место.

— Чего же ты не просился на это место? — спросил Иван меня вскоре после этих важных событий.

— Мне не дадут такого места, — сказал я, вспомнив тридцать седьмой и тридцать восьмой годы, когда я на «Партизане» обратился к начальнику КВЧ вольнонаемному Шарову с просьбой дать мне какой-нибудь заработок по писательской части.

— Этикетки к консервным банкам ты и то не будешь у нас писать! — радостно возгласил начальник КВЧ, живо мне напомнив беседу с товарищем Ежкиным в Вологодском РОНО 1924 года.

Начальник КВЧ Шаров был арестован и расстрелян по берзинскому делу через два месяца после этого разговора, но я себя не воображаю духом из Тысячи одной ночи, хотя все, что я видел, превышает воображение персиан, равно как и других наций.

— Мне не дадут такой работы.

— Почему же?

— У меня КРТА.

— Десятки моих знакомых в Магадане, такие же КРТА, получают такую работу.

— Ну, тогда, значит, действует лишение права переписки.

— А что это такое?

Я объяснил Ивану, что в каждое личное дело отправленного на Колыму вложена вкладка типографского шрифта с пустым местом для фамилии и прочих установочных данных: 1) лишить права переписки, 2) использовать исключительно на тяжелых физических работах. Вот этот второй пункт был главный, право переписки по сравнению с этим указанием было пустяком, воздушным шаром. Дальше шли указания: не давать пользоваться аппаратом связи — явная тавтология, если толковать о праве переписки содержащихся в особо режимных условиях.

Последний пункт — каждому начальнику лагерного подразделения извещать о поведении имярек не реже одного раза в квартал.

— Только я не видел такой вкладки. Я ведь смотрел твое дело, я по совместительству еще и завУРЧ нынче.

Потом прошел день, не больше. Я работал в забое, на закопушке на склоне горы, вдоль ручья, на Черном озере. Разводил костер от комаров и не очень следил за тем, чтобы выполнять норму.

Кусты раздвинулись, и к закопушке моей подошел Иван Богданов, сел, закурил, порылся в карманах.

— Это, что ли?

В его руках был один из двух экземпляров пресловутого лишения «права переписки», выданный из личного дела.

— Конечно, — раздумчиво сказал Иван Богданов, — личное дело составляет в двух экземплярах: один хранится в центральной картотеке УРО, а второй путешествует по всем ОЛПам и их закоулкам вместе с заключенным. Но все-таки ни один местный начальник не будет запрашивать Магадан, есть ли в твоем деле бумажка о лишении права переписки.

Богданов показал мне еще раз бумажку и сжег ее на огне моего маленького костра.

— А теперь подавай заявление о стороже.

Но сторожем меня все же не взяли, а дали эту должность Гордееву, эсперантисту с двадцатилетним сроком по пятьдесят восьмой статье, но стучачу.

Через короткое время Богданов — начальник района, а не бухгалтер — был снят за пьянство, и место его занял инженер Виктор Плу-

лов, впервые организовавший работу в нашей угольной разведке поделовому, по-инженерному, по-строительному.

Если правление Парамонова знаменовалось хищениями, а правление Богданова — преследованием врагов народа и беспробудным пьянством, то Плуталов впервые показал, что такое фронт работы — не донос, а именно фронт работы, количество кубометров, которое каждый может выкопать, если работает и в ненормальных колымских условиях. Мы же знали только унизительность бесперспективного труда, многочасового, бессмысленного.

Впрочем, мы, наверно, ошибались. В нашем подневольном принудительном труде от солнца до солнца — а знающий привычки полярного солнца знает, что это такое, — был скрыт какой-то высокий смысл, государственный смысл именно в бессмысленности труда.

Плуталов пытался показать нам другую сторону нашей же собственной работы. Плуталов был человеком новым — только что приехал с материка.

Любимой его поговоркой было: «Я ведь не работник НКВД».

К сожалению, наша разведка угля не нашла, и район наш закрыли. Часть людей отправили на Хету (где тогда дневалил Анатолий Гидаш), Хета в семи километрах от нас, а часть на Аркагалу, в шахту Аркагалинского угольного района. На Аркагалу уехал и я, и уже через год, гриппуя в бараке и боясь попросить освобождения у Сергея Михайловича Лунина, кровителя лишь блатарей и тех, кому благоволит начальство, я перемогался, ходил в шахту, переносил грипп на ногах.

Вот тут-то в гриппозном бреду аркагалинского барака мне страстно захотелось луку, которого я не пробовал с Москвы, и хотя никогда не был поклонником луковой диеты — неизвестно, по каким причинам мне приснился этот сон со страстной жадой укусить луковицу. Легкомысленный сон для колымчанина. Так я и рассудил при пробуждении. Но проснулся я не со звоном рельса, а, как и часто было, за час до развода.

Рот мой был наполнен слюной, призывающей лук. Я подумал, что если бы случилось чудо — явилась луковица, я бы поправился.

Я встал. Вдоль всего барака стоял у нас, как и везде, длинный стол с двумя скамейками вдоль стола.

Спиной ко мне в бушлате и полушубке сидел какой-то человек, который повернулся ко мне лицом. Это был Иван Богданов.

Мы поздоровались.

— Ну, хоть чайку попьем для встречи, а хлебушек у каждого свой, — сказал я и пошел за кружкой. Иван достал свою кружку, хлеб. Мы начали чаепитие.

— Черное озеро закрыли, даже сторожа нет. Все, все уехали. Я как учетчик в самой последней партии и сюда. Я думал, что у вас лучше с продуктами. Понадеялся, мог бы набрать консервов. У меня в мешке на дне только с десяток луковиц — не было куда девать, я их в мешок.

Я побледнел.

— Лук?

— Ну да, луковицы. Что ты так психуешь?

— Давай сюда!

Иван Богданов вывернул мешок. Штук пять луковиц застучали по столу.

— У меня было больше, да я по дороге роздал.

— Неважно сколько. Лук! Лук!

— Да что у вас тут, цинга, что ли?

— Не цинга, да тебе я потом расскажу. После чая.

Я всю свою историю рассказал Богданову.

Потом Иван Богданов работал по специальности в бухгалтерии лагеря и на Аркагале встретил войну. Аркагала была управлением



района — свидания бытовика и литерки пришлось прекратить. Но иногда мы выдались — рассказывали друг другу кое-что.

В сорок первом году, когда над моей головой грянул первый гром в виде попытки навязать фальшивое дело об аварии в шахте, — попытка сорвалась из-за неожиданного упрямства моего напарника, который и совершил аварию, черноморского матроса, бытовика Чудакова, и когда Чудаков, отсидев три месяца в изоляторе, вышел на волю, то есть в зону, и мы повидались, Чудаков рассказал мне подробности своего следствия. Я рассказал обо всем этом Богданову, не то что прося совета — в советах никто на Колыме не только не нуждается, но не имеет права на советы, могущие отяготить психику того, у кого просят совета, и вызвать неожиданный взрыв в результате обратного желания, а в лучшем случае не ответит, не обратит внимания, не поможет.

Богданова заинтересовала моя проблема.

— Я узнаю! У них узнаю, — сказал он, показывая выразительным жестом на горизонт, в сторону конбазы, где ютился домик уполномоченного. — Я узнаю. Я ведь у них работал. Я — стукач. От меня они не скроют.

Но Иван не успел выполнить обещания. Меня уже отправили в спецзону на Джелгалу.

### ЯКОВ ОВСЕЕВИЧ ЗАВОДНИК

Яков Овсеевич Заводник был постарше меня — в революцию ему было лет двадцать, а то и двадцать пять. Он был из какой-то громадной семьи, но не из тех, что были украшением Ешибота. При типичной ярко еврейской внешности — чернобородый, черноглазый, большеносый — Заводник не знал еврейского языка, а на русском произносил короткие зажигательные речи, речи-лозунги, речи-команды, и я легко представлял Заводника в роли боевого комиссара гражданской войны, поднимающего красноармейцев на колчаковские окопы и увлекающего в бой личным примером. Заводник и был комиссаром — боевым комиссаром колчаковского фронта, имел два ордена Боевого Красного Знамени. Горластый крикун, драчун, не дурак выпить, «дерзкий на руку», как говорят на блатном языке, Заводник лучшие годы, свою страсть, оправдание жизни вложил в рейды, в бои, атаки. Кавалеристом Заводник был превосходным. После гражданской Заводник работал в Белоруссии, в Минске, на советской работе вместе с Зеленским, с которым сдружился во время гражданской войны. Зеленский, переехав в Москву, взял с собой и Заводника в Наркомат торговли.

В 1937 году Заводник был арестован «по делу Зеленского», но не был расстрелян, а получил пятнадцать лет лагерей, что по началу тридцать седьмого было крупным сроком. Как и у меня, в его московском приговоре было оговорено отбывание срока на Колыме.

Дикий характер, слепое бешенство, которое охватывало Заводника в важные моменты судьбы, заставляло скакать навстречу колчаковским пулям, не изменило Заводнику и на следствии. В Лефортове он со скамейкой бросился на следователя и пытался его ударить в ответ на предложение разоблачить врага народа Зеленского. Заводнику сломали бедро в Лефортове, надолго загнали в больницу. Когда бедренная кость срослась, Заводника отправили на Колыму. С этой лефортовской хромотой Заводник и жил на приисках и в штрафных зонах.

Заводник не был расстрелян, он получил пятнадцать лет и пять «по рогам», то есть поражение в правах. Его однодевец Зеленский был давно на Луне. Заводник подписал в Лефортове все, что могло спасти жизнь, и Зеленский был расстрелян, и нога была сломана.

— Да, подписал все, что у меня просили. После того как у меня сломали бедренную кость и кость срослась, я был выписан из Бу-

тырской больницы и доставлен для продолжения следствия в Лефортово. Я все подписал, не читая ни одного протокола. Зеленский уже был расстрелян к тому времени.

Когда в лагере спрашивали происхождение хромоты, Заводник отвечал: «Это еще с гражданской». Но на самом деле хромота была лефортовского происхождения.

На Колыме дикий характер Заводника, взрывы бешенства быстро привели к целому ряду конфликтов. Во время своей жизни на приисках Заводник был неоднократно избиваем бойшами, надзирателями из-за его громогласных и бурных скандалов, возникающих по каким-то пустякам незначительным. Так, в драку, в целое сражение с надзирателями штрафной зоны Заводник вступил из-за нежелания остричь бороду и волосы. В лагерях стригут под машинку всех; сохранение прически, волос у арестантов — некая привилегия, поощрение, которым все заключенные пользуются неукоснительно. Медицинским, например, работникам из заключенных разрешается носить волосы, и это вызывает всегда всеобщую зависть. Заводник был не врач и не фельдшер, но зато борода его была густая, черная, длинная. Волосы не волосы, а какой-то костер черного огня. Защищая свою бороду от стрижки, Заводник кинулся на надзирателя, получил месяц штрафняка — штрафного изолятора, — но продолжал носить бороду и насильно [был] острижен надзирателями. «Восемь человек держали», — с гордостью рассказывал Заводник, борода отросла, и Заводник опять носил [ее] открыто и вызывающе.

Борьба за эту бороду была самоутверждением бывшего фронтowego комиссара, нравственной его победой после стольких нравственных поражений. После многих приключений Заводник попал надолго в больницу.

Было ясно, что никакого пересмотра дела он не добьется. Оставалось ждать и жить.

Кто-то подсказал начальству использовать склад характера, натуру героя гражданской войны, его крикливость, напористость, личную честность, неумную энергию для исполнения обязанности лагерного десятника или бригадира. Но ни о какой легальной штатной работе для врагов народа, для троцкистов, не могло быть и речи. И вот Заводник появляется в статусе члена команды выздоравливающих известного ОП (оздоровительный пункт), ОК — оздоровительной команды, — появляется со стихотворной присказкой:

Сначала ОП, потом ОК,  
На ногу бирку, и — пока.

Но Заводнику не привязали бирку на левую щиколотку, как делают при погребении лагерника. Заводник стал заготавливать дрова для больницы.

На планете, где десять месяцев зима, это очень серьезная проблема. Сто человек круглый год держит на этой работе Центральная больница для заключенных. Зрелость лиственницы — триста — пятьсот лет. Лесосеки, отводимые больницы, были хищничеством, конечно. Вопрос возобновления лесного фонда на Колыме не ставился, а если и ставился, то как бюрократическая отписка или романтическая мечта. В этих двух понятиях есть очень много общего, и когда-нибудь историки, литературоведы, философы это поймут.

Лес на Колыме — в ущельях, распадах, по руслам рек. Вот Заводник и объезжал верхом все окружающие большие речки и ключи, свой доклад он представил начальнику больницы. Начальником больницы был тогда Винокуров, самоснабженец, но не подлец, не из тех, кто желает зла людям. Командировку лесную открыли, лес заготовили. Конечно, тут, как и во всех больницах, работали здоровые люди, а не больные — ну, ОП или ОК, которым давно было пора на прииск, но другого выхода не было. Винокуров считался хозяйствен-

ником хорошим. Трудность была и в том, что какое-то количество топлива (очень большое!) нужно было заготовить, помимо всякого учета, в резервный фонд, из которого уполномоченные, местные, хозяйственники, сам начальник привыкли черпать бесконтрольно и безбрежно, совершенно бесплатно и неограниченно. В больнице за такие блага, как дрова, платит средний слой вольнонаемных, а высокое начальство получает все бесплатно, и это немалая сумма.

Вот во главе этой сложной кухни заготовки, склада и поставлен был Яков Заводник. Не будучи идеалистом, он охотно пошел на то, чтобы возглавить и производство и склад, подчиняясь только начальнику. И вместе с начальником обкрадывал государство без зазрения совести каждый день и каждый час. Начальник принимал гостей со всей Колымы, держал повара, открытый стол, а Заводник, начальник топсклада, стоял с котелком около обеденного бака, когда привозили обед. Заводник был из тех бригадиров лагерных, бывших партийцев, которые едят всегда с бригадой, открыто и не пользуются лично ни малейшей поблажкой ни в одежде, ни в еде, за исключением черной бороды, пожалуй.

Я и сам так делал всегда, когда работал фельдшером. Мне пришлось уйти из больницы после большого и острого конфликта, в который был вовлечен и Магадан весной 1949 года. И меня направили в лес фельдшером к Заводнику, на лесную командировку километрах в пятидесяти от больницы, на ключ Дусканья.

— Третьего фельдшера снимает Заводник, все ему, суке, не нравятся.

Так меня напутствовали товарищи.

— А у кого я буду принимать медучасток?

— У Гриши Баркана.

Гришу Баркана я знал, хотя и не лично, а со стороны. Баркан был военный фельдшер из репатриантов, поставленный на работу в больницу год назад и работавший в туберкулезном отделении. Этого Гришу не очень хвалили товарищи, но я приучен мало обращать внимания на разговоры об осведомителях и стукачах. Слишком я бессилен перед этой высшей властью природы. Но случилось так, что мы выпускали стенгазету к какой-то праздничной годовщине, а членом редколлегии была жена нашего нового уполномоченного Бакланова. Я ее ждал у кабинета мужа, пришел, чтобы получить от нее цензурованные заметки, и на стук услышал голос: «Войдите!» И вошел.

Жена уполномоченного сидела на диване, а сам Бакланов проводил очную ставку.

— Вот вы, Баркан, пишете в своем заявлении, что Савельев, фельдшер (тот был вызван сюда же), что Савельев ругал советскую власть, восхваляя фашистов. Где это было? На больничной койке. А какая была у Савельева в это время температура? Может быть, у него был бред. Возьмите ваше заявление.

Вот так я узнал, что Баркан стукач. Сам же Бакланов — единственный уполномоченный за всю мою лагерную жизнь — производил впечатление не настоящего следователя, был не чекистом, конечно. Он приехал на Колыму прямо с фронта, в лагерях не работал никогда. И не научился. Ни Бакланову, ни его жене работа на Колыме не понравилась. Отбыв свой срок выслуги, оба вернулись на материк и живут уже много лет в Киеве. Сам Бакланов из Львова.

Фельдшер жил в отдельной избушке, половина ее — амбулатория. Избушка примыкала к бане. Более десяти лет я не оставался один ни ночью, ни днем и всем своим существом ощутил это счастье, да еще пропитанное тонким запахом зеленых лиственниц, несчетных, бурно цветущих трав. Горноста́й пробежал по последнему снегу, медуведи прошли, поднявшись из берлог, сотрясая деревья... Здесь я начал писать стихи. Эти тетради мои сохранились. Грубая желтая бумага...

Часть тетрадок — из оберточной, белой, лучшего качества. Эту бумагу, два или три рулона прекраснейшей бумаги в мире, мне подарил стукач Гриша Баркан. У него вся амбулатория была заставлена такими рулонами, откуда он взял и куда увез — не знаю. В больнице он работал недолго, перевелся на соседний прииск, но в больнице бывал часто, уезжал на попутках.

Щеголь, красавец Гриша Баркан вздумал проехать на бочках стоя, чтобы не пачкать о бензин хромовых своих сапог и синих вольных брюк. Кабина была занята. Водитель разрешил сесть в кузов на эти десять километров, но на подъеме тряхнуло, Баркан вылетел на шоссе и расколол череп о камни. Я видел его тело в морге. Смерть Баркана — единственный, кажется, случай вмешательства рока не на стороне стукачей.

Почему Баркан не поладил с Заводником, я разгадал быстро. Давал, наверное, «сигналы» о таком тонком деле, как лесозаготовка, не интересуясь, чем вызвана эта ложь и кому она в пользу. При первом же знакомстве с Заводником я сказал, что мешать ему не буду, но и в мои дела попрошу не мешаться. Все мои освобождения от работы не могут быть оспариваемы. Никакого отдыха от работ по его указаниям давать я не буду. Отношение мое к блатарям широко известно, и давления и сюрпризов по этой линии Заводник может не опасаться.

Как и сам Заводник, я ел из общего котла. Лесорубы жили в трех местах от первого участка радиусом в сто километров. Я и передвигался, ночуя две-три ночи на каждом участке. Базой была Дусканья. На Дусканье узнал одну очень важную для каждого медика вещь — у банщика (был там татарин один с войны) я научился проводить дезинфекцию без дезкамеры. Вопрос для лагерей колымских, где вши постоянный спутник работы, немаловажный. Я проводил со сто-процентной удачей дезинфекцию в бочках железных.

Потом в дорожном управлении эти мои знания вызвали сенсацию — вши ведь грызут не только арестанта, но и конвоира, бойца. Я провел много дезинфекций с неизменной удачей, но научился этому делу у Заводника на Дусканье. Увидев, что я намеренно не вникаю в сложные комбинации с пеньками, штабелями, фесметрами, Заводник подобрел, а найдя, что у меня никаких любимчиков нет, и совсем оттаял. Вот тут он мне и рассказал о Лефортове и о своей борьбе за бороду. Подарил он мне книжку стихов Эренбурга. Всякого рода литература была ему чужда абсолютно. Но и вообще романы и прочее Заводник не любил, зевал на первых строках. Газета, политические новости — другое дело. Это вызывало отклик всегда. Заводник любил живое дело с живыми людьми. А самое главное, он скучал, томился, не знал, куда деть свои силы, и старался наполнить заботами сегодняшними и завтрашними весь свой день с пробуждения до сна. Даже спал он всегда поближе к делу — к рабочим, к реке, к сплаву, в палатке спал или на топчане в каком-нибудь бараке, без всякого матраса и подушки — только телогрейку под голову.

В 1950 году летом мне надо было попасть на Бахайгу, вверх по Колыме километров сорок, где был наш участок, жили заключенные на берегу, и мне надо было попасть туда в очередной свой объезд. Течение на Колыме сильное — катер эти сорок километров вверх проходит за десять часов. Обрато на плоте возвращаются за один час, даже меньше. Моторист катера был вольнонаемный, даже какой-то договорник, механик, дефицитная специальность; как всякий колымский моторист и механик, при отъезде своего катера был сильно пьян, но разумно, по-колымски пьян, на ногах стоял и разговаривал здраво, только тяжело дышал спиртным перегаром. Моторист обслуживал перевозки лесорубов. Катер должен был отвалить еще вчера, но отплыл только на рассвете белой ночи колымской. О моей поездке моторист знал, конечно, но в катер, разводящий пары, уселся какой-то начальник, или знакомый начальника, или просто пассажир за боль-

шие деньги и, отвернув лицо, ждал, пока моторист закончит разговор со мной, откажет.

— Нет мест. Сказал — нет. В следующий раз поедешь.

— Да ведь ты же вчера...

— Мало ли что я сказал вчера... А сегодня передумал. Отходи от причала.

Все это пересыпается отборным матом колымским, лагерной бранью.

Заводник жил неподалеку, на горке, в палатке и спал не раздеваясь. Он сразу понял, в чем дело, и выскочил на берег в одной рубашке, без шапки, кое-как натянув резиновые сапоги. Моторист стоял в воде около катера в резиновых броднях, сталкивая катер в воду. Заводник подошел к самой воде:

— Ты что, не хочешь брать фельдшера, что ли?

Моторист выпрямился и повернулся к Заводнику:

— Да! Не беру. Сказал — не беру, и все!

Заводник ударил моториста кулаком в лицо, и тот упал и исчез под водой. Я уж думал, что случилось несчастье, двинулся к воде, но моторист поднялся, вода текла с его брезентового комбинезона. Он добрался до катера, молча залез на свое место и запустил мотор. Я со своей медицинской сумкой сел к борту, вытянул ноги, и катер отчалил. Еще не стемнело, когда мы причалили в устье Бахайги.

Вся энергия Заводника, все его душевные силы были сосредоточены на выполнении желания начальника больницы Винокурова. Тут был безмолвный договор господина и раба. Господин берет на себя полную ответственность за то, что скрывает врага народа, троцкиста, которому участь — жить в спецзонах, а благодарный раб, не ожидая ни зачетов рабочих дней, никаких послаблений, создает для господина материальные блага в виде дров, свежей рыбы, дичи, ягод и прочих даров природы. Своих лесорубов Заводник держит твердой рукой, и одет во все казенное, и ест из общего котла. Раб понимает, что никакие ходатайства о досрочном освобождении его господин выполнить не властен, но господин дает рабу сохранить жизнь — в самом буквальном, в самом элементарном смысле слова. Заводника освободили по сроку, по календарному сроку в пятнадцать лет, зачеты рабочих дней не могли быть применены к его статье. Заводник освободился в 1952 году в день окончания календарного срока в пятнадцать лет, полученного в 1937 году в Москве, в Лефортовской тюрьме. Заводник давно понял, что писать о пересмотре дела бесполезно. Ни на одну свою жалобу первых наивных колымских лет Заводник не получил ответа. Заводник вечно возился с проектами вроде устройства «ледянки» для лесозаготовок, сочинил и выстроил для лесорубов вагон на колесах, вернее, не на колесах, а на тракторных санях. Бригада могла двигаться за лесом. На Колыме ведь редколесье, полоса лесотундры, толстых деревьев нет; чтобы не ставить палатки, не рубить избушки, спроектировал вечный вагон с двухэтажными нарами на санях. Бригада лесорубов в двадцать человек и инструмент размещались удобно. Но пока было лето, а лето на Колыме очень жаркое, только жаркие дни, а ночи холодные, вагон был хорош, но гораздо хуже простой брезентовой палатки. Зимой же стены вагона были слишком холодны, тонки. Колымский мороз проверяет любой рубероид, толь, фанеру — крошит, ломает. В вагоне жить зимой было нельзя, и лесорубы вернулись в проверенные тысячелетиями избушки. Вагон был брошен в лесу. Я советовал Заводнику сдать его в магаданский музей краевой, но не знаю, послушался ли он моего совета.

Второй забавой Заводника и Винокурова были азросани — вроде глиссера, летящего по снегу. Азросани, полученные откуда-то с Большой земли, усиленно рекомендовались в учебниках по освоению Севера. Но азросани требуют бескрайних белых пространств, а колымская почва на сто процентов — кочки, ямы, чуть засыпанные сверху

снегом, который выдувается из всех щелей во время ветра, бури. Колыма малоснежна, и аэросани сломались при первых же опытах. Но, разумеется, Винокуров в своих отчетах на все эти вагоны и аэросани напирал очень сильно.

Заводника звали Яков Овсеевич. Не Евсеевич, не Евгеньевич, а Овсеевич, на чем он настаивал громогласно во время всех проверок и переключек, что приводило всегда в волнение работников регистрации. Каждый раз этот рубеж вызывал задержку и с трудом преодолевался. Заводник был абсолютно грамотный человек, обладавший каллиграфическим почерком. Я не знаю мнения Зуева-Инсарова на предмет характеристики почерка Заводника, но удивительно был обязательный, неторопливый, очень сложный росчерк. Не инициалы, не Я. З.— небрежный хвостик, а тщательно, неторопливо выписанный сложный узор, научиться которому и запомнить можно лишь в ранней юности или в поздней тюрьме. На выведение своей фамилии Заводник тратил не меньше минуты. Там тончайшим и ярчайшим образом находили место и инициал Я, и инициал отчества О — круглейшее, особенное О, и фамилия Заводник, крупно выведенная ясными большими буквами, и энергичный росчерк, захватывающий только фамилию, и последующие какие-то особенно сложные, особенно воздушные завитушки — как бы прощание художника с любовно им выполненной работой. Я проверял много раз в любой обстановке, хоть на седле, на планшете, но подпись комиссара Заводника будет неторопливой, уверенной и ясной.

Отношения у нас были отличные, мало сказать, хорошие. В это время летом 1950 года мне предложили вернуться в больницу на должность заведующего приемным покоем. Приемный покой огромной лагерной больницы на тысячу коек — дело непростое, и не могли наладить работу его годами. По совету всех организаций пригласили меня. Я договорился с Амосовым, новым главврачом, о кое-каких принципах, на которых будет построена работа приемного покоя, и согласился. Заводник прибежал ко мне.

— Я сейчас добьюсь отмены, этот блат будет поломан.

— Нет, Яков Овсеевич,— сказал я.— Вы и я оба знаем лагерь. Ваша судьба — это Винокуров, начальник. Он собирается ехать в отпуск. Через неделю после его [отъезда] вас выпишут из больницы. Для моей же работы Винокуров не имеет такого большого значения. Я хочу спать в тепле, раз это возможно, и хочу поработать над одним вопросом, принести кое-какую пользу.

Я понимал, что в приемном покое стихи писать мне не удастся, разве только редко. Вся бумага Баркана была уже записана. И там я писал каждую свободную [минуту]. Стихотворение с последней строкой «Морозы бывают в раю» написано на вымерзшем устье ключа Дусканья, записано каракулями на рецептурной тетради. А напечатано лишь через пятнадцать лет в «Литературной газете».

Заводник не знал, что я пишу стихи, да и не понял бы ничего. Для прозы территория Колымы была слишком опасна, рисковать можно было стихами, а не прозаической записью. Вот главная причина, почему я писал на Колыме только стихи. Правда, у меня был и другой пример — Томаса Гарди, английского писателя, который последние десять лет жизни писал только стихи, а на вопросы репортеров отвечал, что его тревожит судьба Галилея. Если бы Галилей писал стихами, у него бы не было неприятностей с церковью. Я на этот галилеевский риск идти не хотел, хотя, разумеется, не по соображениям литературной и исторической традиции, а просто арестантское чутье мне говорило, что хорошо, что плохо, где тепло, где холодно при игре в жмурки с судьбой.

И верно, я как в воду глядел: Винокуров уехал, и Заводник был через месяц отправлен куда-то на прииски, где, впрочем, скоро и дождался окончания срока. Но в воду глядеть было не надо. Все это

очень просто, элементарно в том искусстве или науке, которая называется жизнью. Это — азы.

Когда освобождается такой человек, как Заводник, на его арестантском личном текущем счету должно быть ноль целых ноль десятых. Так было и у Заводника. На Большую землю его, конечно, не пустили, и он устроился диспетчером на автобазе в Сусумане. Хотя, как бышему зеку, ему не платили северных надбавок, ставки хватало на жизнь.

Зимой пятьдесят первого года мне привезли письмо. Врач Мамучашвили привезла мне письмо Пастернака на Колыму. И вот, взяв отпуск — я работал фельдшером в дорожном управлении, — я отправился в поездку на попутках. Такса попуток — морозы уже начались — рубль километр. Работал я тогда близ Оймякона, полюса холода, добрался оттуда до Сусумана. В Сусумане на улице встретил Заводника, диспетчера автобазы. Что может быть лучше? В пять часов утра Заводник меня посадил в кабину огромного «Татра» с прицепом. Я опустил чемодан в кузов — я мог бы ехать и в кузове, но водитель хотел [выполнить] просьбу своего начальника и посадил меня в кабину. Пришлось рискнуть — выпустить чемодан с глаз.

«Татр» летел.

Машина шла порожней, тормозила на каждом поселке, набирая попутчиков. Одни слезали, другие влезали. В небольшом поселке какой-то боец остановил «Татра» и посадил человек десять бойцов с материка — молодежь, прибывшую на военную службу. Все они были не тронуты еще резким северным загаром, не обожжены колымским солнцем. Километров через сорок их встретила военная машина, завернула. Бойцы перегрузили вещи и тронулись в путь. Была какая-то тревога, сомнение у меня. Я попросил остановить машину и заглянул в кузов. Чемодана не было.

— Это бойцы, — сказал водитель. — Но мы их нагоним, никуда не денутся.

«Татр» загудел, заворчал и кинулся вперед по трассе. Действительно, через полчаса «Татр» нагнал машину с бойцами, обогнав «ЗИС», водитель перегородил «Татром» дорогу. Мы объяснили, в чем дело, и я нашел свой чемодан с письмом Пастернака.

— Я просто снял чемодан как наш, без всякого умысла, — объяснил старшой.

— Ну, без умысла так без умысла — самое главное результат.

Мы доехали до Адыгалаха, и я стал ловить свою оймьяконскую или барагонскую машину.

В пятьдесят седьмом году я уже жил в Москве и узнал, что Заводник вернулся и работает в Министерстве торговли на той же должности, что и двадцать лет назад. Рассказал мне об этом Яроцкий, ленинградский экономист, очень много сделавший для Заводника в винокуровские времена. Я поблагодарил, взял у Яроцкого адрес Заводника, написал и получил приглашение повидаться — прямо на работе, где будет заказан пропуск, и так далее. Письмо было подписано известным мне каллиграфическим росчерком. Точь-в-точь, ни одной лишней загогулины. Здесь я узнал, что Заводник «добывает» до пенсии, каких-то месяцев формально не хватает. Я посетовал, что Яроцкому не удалось возвратиться в Ленинград, хотя он расстался много раньше с Колымой, чем я и Заводник, и что теперь он вынужден быть в Кишиневе.

Дело Яроцкого, дело ленинградского комсомольца, голосовавшего за оппозицию, я знал очень хорошо. Не было никаких причин не жить ему в столице, но Заводник вдруг сказал:

— Правительству виднее. Это ведь у меня и у вас все ясно, а у Яроцкого, наверное, совсем другое дело...

Больше я у Якова Овсеевича Заводника не бывал, хотя и остаюсь его другом.

## ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА

Я первый раз начал свою самостоятельную фельдшерскую работу, приняв фельдшерский участок, где врачи могли быть только наездами,— на Адыгалахе, из Дорожного управления,— первый раз не из-под руки врача, как на Левом берегу в Центральной больнице, где я работал не вполне самостоятельно.

Я был самый главный по врачебной линии. Всего в трех местах было около трехсот человек лагерников, которых я обслуживал. После объезда, поголовных медосмотров всех моих подопечных я наметил себе кое-какой план действий, по которому мне надлежало шагать по Колыме.

В моем списке было шесть фамилий.

Номер один — Ткачук. Ткачук был начальником ОЛПа, где мне предстояло работать. Ткачуку надлежало услышать от меня, что на всех командировках у всех заключенных найдены вши, но что я, новый фельдшер, имею план надежной и быстрой ликвидации всякой вшивости, с полной ответственностью всю прожарку буду проводить сам, приглашаю любых зрителей. Вши — это давний бич лагерей. Все дезкамеры Колымы, за исключением магаданской транзитки,— все это лишь мучение для заключенных, а не ликвидация вшивости. Я же знал способ верный — научился у банщика на лесной командировке на Левом берегу — прожарки в бензиновых баках горячим паром, ни вшей, ни гнид не остается. Только в каждую бочку можно вкладывать не более пяти комплектов одежды. Это я делал полтора года на Дебине, показал и в Барагоне.

Номер два — Зайцев. Зайцев был заключенный повар, которого я знал еще по двадцать третьему километру, по Центральной больнице. Сейчас он работал поваром здесь же под моим наблюдением. Ему надо было доказать, взывая к его поварской совести, что из раскладки, которую мы знаем оба, можно получить вчетверо больше блюд, чем выдавалось у нас из-за лениности Зайцева. Там не в кражах надзирателей и прочих было дело. Ткачук был человек строгий, не давал спуска вора́м, а просто каприз повара ухудшал питание заключенных. Мне удалось убедить Зайцева, пристыдить, Ткачук кое-что ему пообещал, и Зайцев из тех же продуктов стал готовить гораздо больше и даже горячие суп и кашу стал в бидонах возить на производства — невиданная вещь для Кюбюмы и Барагона.

Третий. Измайлов. Был вольнонаемный банщик, стирал белье заключенным, и стирал его плохо. Ни в забой, ни на разведку чрезвычайно здорового физически человека выставить было невозможно. Банщик для заключенных получает гроши. Но Измайлов держался за свою работу, не хотел слушать никаких советов, оставалось только снять его с работы. Большой тайны в его поведении не было. Стирая небрежно заключенным, Измайлов отлично стирал всем вольным начальникам вплоть до уполномоченного, получал за все щедрые подарки — и деньги, и продукты,— но Измайлов ведь был вольнонаемный, и я надеялся, что должность заключенного для этой работы мне удастся отстоять.

Четвертый. Лихоносов. Это был заключенный, которого не оказалось на медосмотре в Барагоне, и так как мне надо было уезжать, я решил не задерживать отъезд из-за одного человека и подтвердить старые формулы по личному делу. Но личного дела Лихоносова в УРЧ не оказалось, и так как Лихоносов работал дневальным, мне надлежало вернуться к этой щекотливой теме. Я как-то проездом застал Лихоносова на участке и побеседовал с ним. Это был сильный, упитанный, розовощекий человек лет сорока, с блестящими зубами и густой шапкой седых волос и седой окладистой огромной бородой. Возраст? Личное дело Лихоносова интересовало меня именно с этой стороны.

— Шестьдесят пять.



Лихоносков был возрастной инвалид и по своей инвалидности работал дневальным в конторе. Здесь был явный обман. Передо мной был взрослый, здоровый мужчина, который вполне может работать на общих. Срок у Лихоноскова был пятнадцатилетний, а статья не пятьдесят восьмая, а пятьдесят девятая, но тоже — по его собственному ответу.

Пятый. Нишиков. Нишиков был мой санитар в амбулатории, из больных. Такой санитар существует во всех амбулаториях лагерных. Но Нишиков был слишком молод, лет двадцати пяти, слишком краснощек. О нем надо было подумать.

Когда я написал номер шесть, в дверь постучали, и порог моей комнаты в вольном бараке переступил Леонов — номер шесть моего списка. Я поставил около фамилии Леонова вопрос и повернулся к вошедшему.

В руках у Леонова были две половые тряпки и таз. Таз, конечно, не казенного образца, а колымский, искусно сделанный из консервных банок. В бане были тоже такие консервные тазы.

— А как тебя пропустили через вахту в такое время, Леонов?

— Они меня знают, я всегда мыл полы у прежнего фельдшера. Тот был очень чистоплотный человек.

— Ну, я не такой чистоплотный. Мыть сегодня не надо. Иди в лагерь.

— А другим, вольным?..

— Тоже не надо. Сами вымоют.

— Я хотел попросить вас, гражданин фельдшер, оставьте меня на этом месте.

— А ты ни на каком месте.

— Ну, проводили меня кем-то. Я буду мыть полы, чисто будет, полный порядок, я болен, внутри что-то ноет.

— Ты не болен, ты просто обманываешь врачей.

— Гражданин фельдшер, я боюсь забоя, боюсь бригады, боюсь общих работ.

— Ну, всякий боится. Ты вполне здоровый человек.

— Вы ведь не врач.

— Верно, не врач, но — или завтра на общие работы, или я тебя отправляю в управление. Там пусть врачи тебя осматривают.

— Я предупреждаю вас, гражданин фельдшер, я жить не буду, если меня снимут с этой работы. Я буду жаловаться.

— Ну, хватит болтать, иди. Завтра в бригаду. Перестанешь разбрасывать чернуху.

— Я не разбрасываю чернухи.

Леонов бесшумно закрыл дверь. Под окном прощуршали его шаги, а я лег спать.

На разводе Леонова не оказалось, и, по соображениям Ткачука, наверное, Леонов сел на какую-нибудь попутную машину и давно в Адыгалахе, жалуется.

Часов в двенадцать дня бабьего лета Колымы, отчетливыми лучами холодного солнца на ярко-голубом небе, в холодном безветренном воздухе, меня позвали в кабинет Ткачука.

— Пойдем-ка акт составим. Заключение Леонов покончил с собой.

— Где же?

— В бывшей конюшне висит. Я не велел снимать. Послал за уполномоченным. Ну и ты как медик засвидетельствуешь смерть.

В конюшне повеситься было трудно, тесно. Тело Леонова заняло место двух лошадей, единственное возвышение, на которое он пристал, чтобы сбить ногой опору, был банный тазик. Леонов висел уже давно — обозначился рубец на шее. Уполномоченный, тот самый, которому стирал белье вольнонаемный банщик Измайлов, писал: «страгуляционная борозда проходит...» Ткачук сказал:

— А вот у топографов есть триангуляция. Это не имеет отношения к страгуляции?

— Никакого,— сказал уполномоченный.

И мы все подписали акт. Заключенный Леонов не оставил письма. Труп Леонова увезли, чтобы привязать ему на левую ногу бирку с номером личного дела и зарыть в камни вечной мерзлоты, где покойник будет ждать до Страшного суда или до любого другого воскресения из мертвых.

И я понял внезапно, что мне уже поздно учиться и медицине и жизни.

## ШАХМАТЫ ДОКТОРА КУЗЬМЕНКО

Доктор Кузьменко высыпал шахматы на стол.

— Прелесть какая,— сказал я, расставляя фигурки на фанерной доске. Это были шахматы тончайшей ювелирной работы. Игра на тему «Смутное время в России». Польские жолнеры и казаки окружали высокую фигуру Первого Самозванца — короля белых. У белого ферзя были резкие, энергичные черты Марины Мнишек. Гетман Сапега и Радзивилл стояли на доске как офицеры Самозванца. Черные стояли на доске как в монашеской одежде — митрополит Филарет возглавлял их, Пересвет и Ослябя в латах поверх иноческих ряс держали короткие обнаженные мечи. Башни Троице-Сергиева стояли на полях а-8 и h-8.

— Прелесть и есть. Не нагляжусь...

— Только,— сказал я,— историческая неточность: первый самозванец не осаждал Лавры.

— Да-да,— сказал доктор,— вы правы. А не казалось ли вам странным, что до сих пор история не знает, кто такой был первый самозванец. Гришка Отрепьев?

— Это лишь одна из многих гипотез, причем не очень вероятная. Пушкинская, правда. Борис Годунов тоже был не таким, как у Пушкина. Вот роль поэта, драматурга, романиста, композитора, скульптора. Им принадлежит толкование события. Это — девятнадцатый век с его жаждой объяснения необъяснимого. В половине двадцатого века документ вытеснил бы все. И верили бы только документу.

— Есть письмо самозванца.

— Да, царевич Дмитрий показал, что он был культурный человек, грамотный государь, достойный лучших царей на русском престоле.

— И все же кто он? Никто не знает, кто был русский государь. Вот что такое польская тайна. Бессилие историков. Стыдная вещь. Если бы дело было в Германии — где-нибудь да нашлись бы документы. Немцы любят документы. А высокие хозяева самозванца хорошо знали, как хранится тайна. Сколько людей убито — из тех, кто прикоснулся к этой тайне.

— Вы преувеличиваете, доктор Кузьменко, отрицая наши способности хранить тайну.

— Ничуть не отрицаю. Разве смерть Осипа Манделштама не тайна? Где и когда он умер? Есть сто свидетелей его смерти от побоев, от голода и холода — в обстоятельствах смерти расхождений нет,— и каждый из ста сочиняет свой рассказ, свою легенду. А смерть сына Германа Лопатина, убитого только за то, что он сын Германа Лопатина? Его следы ищут тридцать лет. Родственникам бывших партийных вождей вроде Бухарина, Рыкова выдали справки о смерти, справки эти растянуты на многие годы от тридцать седьмого до сорок пятого. Но никто и нигде не встречался с этими людьми после тридцать седьмого или тридцать восьмого года. Все эти справки — для утешения родственников. Сроки смерти произвольные. Вернее будет предположить, что все они расстреляны не позже тридцать восьмого года в подвалах Москвы.

— Мне кажется...

— А вы помните Кулагина?

— Скульптора?

— Да! Он исчез бесследно, когда многие исчезали. Он исчез под чужой фамилией, сменной в лагере на номер. А номер был вновь сменен на третью фамилию.

— Слышал о таких штуках,— сказал я.

— Вот эти шахматы его работы. Кулагин сделал их в Бутырской тюрьме из хлеба в тридцать седьмом году. Все арестанты, сидевшие в кулагинской камере, жевали часами хлеб. Тут важно было уловить момент, когда слюна и разжеванный хлеб вступят в какое-то уникальное соединение, об этом судил сам мастер, его удача — вынуть изо рта тесто, готовое принять любую форму под пальцами Кулагина и затвердеть навеки, как цемент египетских пирамид.

Две игры Кулагин так сделал. Вторая — «Завоевание Мексики Кортесом». Мексиканское смутное время. Испанцев и мексиканцев Кулагин продал или отдал за так кому-то из тюремного начальства, а русское «Смутное время» увез с собой в этап. Сделано спичкой, ногтем — ведь всякая железка запрещена в тюрьме.

— Тут не хватает двух фигур,— сказал я.— Черного ферзя и белой ладьи.

— Я знаю,— сказал Кузьменко.— Ладьи нет вовсе, а черный ферзь — у него нет головы — заперт в моем письменном столе. Так я до сих пор и не знаю, кто из черных защитников Лавры Смутного времени был ферзем.

Алиментарная дистрофия — страшная штука. Только после ленинградской блокады эту болезнь в наших лагерях назвали ее настоящим именем. А то ставили диагноз: полиавитаминоз, пеллагра, исхудание на почве дизентерии. И так далее. Тоже погоня за тайной. За тайной арестантской смерти. Врачам было запрещено говорить и писать о голоде в официальных документах, в истории болезни, на конференциях, на курсах повышения квалификации.

— Я знаю.

— Кулагин был высоким грузным человеком. Когда его привезли в больницу, он весил сорок килограммов — вес костей и кожи. Необратимая фаза алиментарной дистрофии.

У всех голодающих в какой-то тяжелый час наступает помрачение сознания, логический сдвиг, деменция, одно из Д знаменитой колымской триады Д — деменция, диаррея, дистрофия... Вы знаете, что такое деменция?

— Безумие?

— Да, да, безумие, приобретенное безумие, приобретенное слабоумие. Когда Кулагина привезли, я, врач, сразу понял, что признаки деменции новый больной обнаружил давно... Кулагин не пришел в себя до смерти. С ним был мешочек с шахматами, которые выдержали все — и дезинфекцию, и блатарскую жадность.

Кулагин съел, иссосал, проглотил белую ладью, откусил, отломил, проглотил голову черного ферзя. И только мычал, когда санитары попытались взять у Кулагина мешочек из рук. Мне кажется, он хотел проглотить свою работу, просто чтобы уничтожить, стереть свой след с земли.

На несколько месяцев раньше надо было начинать глотать шахматные фигурки. Они спасли бы Кулагина.

— Но нужно ли было ему спасение?

— Я не велел доставать ладью из желудка. Во время вскрытия это можно было сделать. И голову ферзя также.. Поэтому эта игра, эта партия без двух фигур. Ваш ход, маэстро.

— Нет,— сказал я.— Мне что-то расхотелось...

## АФИНСКИЕ НОЧИ

Когда я кончил фельдшерские курсы и стал работать в больнице, главный лагерный вопрос — жить или не жить — был снят и было ясно, что только выстрел, или удар топора, или рухнувшая на голову вселенная помешают мне дожить до своего намеченного в небесах предела.

Все это я чувствовал всем своим лагерным телом без всякого участия мысли. Вернее, мысль являлась, но без логической подготовки, как озарение, венчающее чисто физические процессы. Эти процессы приходили в изможденные, измученные цинготные раны — раны эти не затягивались десятком лет в лагерном теле, в человеческой ткани, испытанной на разрыв и сохраняющей, к моему собственному удивлению, колоссальный запас сил.

Я увидел, что формула Томаса Мора наполняется новым содержанием. Томас Мор в «Утопии» так определил четыре основные чувства человека, удовлетворение которых доставляет высшее блаженство по Мору. На первое место Мор поставил голод — удовлетворение съеденной пищи; второе по силе чувство — половое; третье — мочеиспускание; четвертое — дефекация.

Именно этих главных четырех удовольствий мы были лишены в лагере. Начальникам любовь казалась чувством, которое можно изгнать, заковать, исказить... «Всю жизнь живой п... не увидишь» — вот стандартная острота лагерных начальников.

С любовью лагерное начальство боролось по циркулярам, блюло закон. Алиментарная дистрофия была постоянным союзником, могучим союзником власти в борьбе с человеческим либидо. Но и три другие чувства испытывали под ударами судьбы в лице лагерного начальства те же изменения, те же искажения, те же превращения.

Голод был неутолим, и ничто не может сравниться с чувством голода, сосущего голода — постоянного состояния лагерника, если он из пятьдесят восьмой, из доходяг. Голод доходяг не воспет. Собираение мисок в столовой, облизывание чужой посуды, крошки хлеба, высыпаемые на ладонь и вылизываемые, двигаются к желудку лишь качественной реакцией. Удовлетворить такой голод непросто, да и нельзя. Много лет пройдет, пока арестант не отучит себя от всегдашней готовности есть. Сколько бы ни съел — через полчаса-час хочется есть опять.

Мочеиспускание? Но недержание мочи — массовая болезнь в лагере, где голодают и доходяг. Какое уж тут удовольствие от такого мочеиспускания, когда с верхних нар на твое лицо течет чужая моча — но ты терпишь. Ты сам лежишь на нижних нарах случайно, а мог бы лежать и наверху, мочился бы на того, кто внизу. Поэтому ты ругаешься невсерьез, просто стираешь мочу с лица и дальше спишь тяжелым сном с единственным сновидением — буханками хлеба, летящими, как ангелы на небесах, парящим полетом.

Дефекация. Но испражнение доходяг непростая задача. Застегнуть штаны в пятидесятиградусный мороз непосильно, да и доходяга испражняется один раз в пять суток, опровергая учебники по физиологии, даже патофизиологии. Извержение сухих катышков кала — организм выжал все, что может сохранить жизнь.

Удовольствия, приятного ощущения ни один доходяга от дефекации не получает. Как и при мочеиспускании — организм срабатывает помимо воли, и доходяга должен торопиться снять штаны. Хитрый полузверь-арестант пользуется дефекацией как отдыхом, передышкой на крестном пути золотого забоя. Единственная арестантская хитрость в борьбе с мощью государства — миллионной армией солдат-конвоиров, общественных организаций и государственных учреждений. Инстинктом собственной задницы сопротивляется доходяга этой великой силе.

Доходяга не надеется на будущее — во всех мемуарах, во всех романах доходягу высмеют как лодыря, мешающего товарищам, предателя бригады, забоя, золотого плана прииска. Придет какой-нибудь писатель-делец и изобразит доходягу в смешном виде. Он уже делал такие попытки, этот писатель, считает, что над лагерем не грех и посмеяться. Всему, дескать, свое время. Для шутки путь в лагерь не закрыт.

Мне же такие слова кажутся кощунством. Я считаю, что сочинить и протанцевать румбу «Освенцим» или блюз «Серпантинная» может только подлец или делец, что часто одно и то же.

Лагерная тема не может быть темой для комедии. Наша судьба не предмет для юмористики. И никогда не будет предметом юмора — ни завтра, ни через тысячу лет.

Никогда нельзя будет подойти с улыбкой к печам Дахау, к ущельям Серпантинной.

Попытки отдохнуть, расстегнув штаны и присев на секунду, на миг, меньше секунды, отвлечься от муки работы достойны уважения. Но делают эту попытку только новички — потом ведь спину разгибать еще труднее, еще больнее. Но новичок применяет иногда этот незаконный способ отдыха, крадет, крадет казенные минуты рабочего дня.

И тогда конвой вмешивается с винтовкой в руках в разоблачение опасного преступника-симулянта. Я сам был свидетелем весной 1938 года в золотом забое прииска «Партизан», как конвоир, потрясая винтовкой, требовал у моего товарища:

— Покажи твое говно! Ты третий раз садишься. Где говно? — обвиняя полумертвого доходягу в симуляции.

Говна не нашли.

Доходяга Сережа Кливанский, мой товарищ по университету, вторая скрипка театра Станиславского, был обвинен на моих глазах во вредительстве, незаконном отдыхе во время испражнения на шестидесятиградусном морозе, — обвинен в задержке работы звена, бригады, участка, прииска, края, государства: как в известной песне о подкове, которой не хватило гвоздя. Обвиняли Сережу не только конвоиры, смотрители и бригадиры, а и свои же товарищи по целебному, купающему все вины труду.

А говна в кишечнике Сережи действительно не было; позывы же «на низ» были. Но надо было быть медиком, да еще не колымским, а каким-нибудь столичным, материковским, дореволюционным, чтобы все это понять и объяснить другим. Здесь же Сережа ждал, что его застрелят по той простой причине, что у него не оказалось в кишечнике говна.

Но Сережу не расстреляли.

Его расстреляли позднее, чуть позднее, — на Серпантинке во время массовых гаранинских акций.

Моя дискуссия с Томасом Мором затянулась, но она подходит к концу. Все эти четыре чувства, которые были растоптаны, сломлены, смяты — их уничтожение еще не было концом жизни, — все они все же воскресли. После воскресения — пусть искаженного, уродливого воскресения каждого из этих четырех чувств — лагерник сидел над «очком», с интересом чувствуя, как что-то мягкое ползет по изъязвленному кишечнику, без боли, а ласково, тепло, и калу будто жаль расставаться с кишками. Кал падает в яму с брызгами, всплеском — в ассенизационной яме кал долго плавает по поверхности, не находя себе места: это — начало, чудо. Уже ты можешь мочиться даже по частям, прерывая мочеиспускание по собственному желанию. И это тоже маленькое чудо.

Уже ты встречаешь глаза женщин с некоторым смутным и неземным интересом — не волнением, нет, не зная, впрочем, что у тебя для

них осталось и обратим ли процесс импотенции, а правильнее было бы сказать — оскопления. Импотенция для мужчин, аменорея для женщин — постоянное законное следствие алиментарной дистрофии, а попросту голода. Это — тот нож, который судьба всем арестантам втыкает в спину. Оскопление возникает не из-за длительного воздержания в тюрьме, в лагере, а из-за других причин, более прямых и более надежных. В лагерной пайке — разгадка, несмотря на любые формулы Томаса Мора.

Голод победить важнее. И все органы твои напрягаются, чтобы не есть слишком много. Ты голоден на много лет. Ты с трудом разрываешь день на завтрак, обед и ужин. Всего остального не существует в твоём мозгу, в твоей жизни не один год. Вкусно пообедать, сытно пообедать, плотно пообедать ты не можешь — тебе все время хочется есть.

Но наступает час, день, когда ты волевым усилием отбрасываешь от себя мысли о еде, о пище, о том, будет ли гречка на ужин или ее оставят до завтрака следующего дня. Картошки на Колыме нет. Поэтому из меню моих гастрономических мечтаний картошка исключена, вполне основательно исключена, ибо тогда мечты перестали бы быть мечтами: стали бы чересчур нереальными. Гастрономические сны колымчан о хлебе, а не о пирожном, о манке, гречке, овсянке, перловке, магаре, пшене, но не о картофеле.

Я пятнадцать лет не держал картофеля во рту, а когда уже на воле, на Большой земле, в Туркмене Калининской области отведал — картофель показался мне отравой, незнакомым опасным блюдом, как кошке, которой хотят вложить в рот что-то угрожающее жизни. Не меньше года прошло, пока я снова привык к картофелю. Но только привык — смаковать картофельные гарниры я и сейчас не в состоянии. Я убедился лишний раз в том, что советы лагерной медицины, «таблицы замен» и «нормы питания» основаны на глубоко научных соображениях.

Подумаешь, картофель! Да здравствуют доколумбовы времена! Человеческий организм может обойтись без картофеля.

Острее мысли о еде, о пище является новое чувство, новая потребность, вовсе забытая Томасом Мором в его грубой классификации четырех чувств.

Пятым чувством является потребность в стихах.

У каждого грамотного фельдшера, сослуживца по аду, оказывается блокнот, куда записываются случайными разноцветными чернилами чужие стихи — не цитаты из Гегеля или Евангелия, а именно стихи. Вот, оказывается, какая потребность стоит за голодом, за половым чувством, за дефекацией и мочеиспусканием.

Потребность слушать стихи, не учтенная Томасом Мором.

И стихи находятся у всех.

Добровольский извлекает из-за пазухи какой-то толстый грязный блокнот, откуда слышатся божественные звуки. Бывший киносценарист Добровольский работал фельдшером в больнице.

Португалов, руководитель культбригады больницы, поражает образцами прекрасно действующей актерской памяти, уже смазанной чуть-чуть маслом культработы. Португалов ничего не читает по бумажке — все на память.

Я напрягаю свой мозг, отдавший когда-то столько времени стихам, и, к собственному удивлению, вижу, как помимо моей воли в гортани появляются давно забытые мной слова. Я вспоминаю не свои стихи, а стихи любимых мной поэтов — Тютчева, Баратынского, Пушкина, Анненского — в моей гортани.

Нас трое в перевязочной хирургического отделения, где я работаю фельдшером и дежурю. Дежурный фельдшер глазного отделения — Добровольский, Португалов — актер из культобслуги. Помеще-

ние — мое, ответственность за этот вечер — также. Но об ответственности никто не думает — все делается явочным порядком. Верный своей старой, даже всегдашней привычке сначала делать, а потом спрашивать разрешения, я начал эти чтения в нашей перевязочной гнойного хирургического отделения.

Час чтения стихов. Час возвращения в волшебный мир. Мы все взволнованы. Я даже продиктовал Добровольскому бунинского «Кайна». Стихотворение осталось в памяти случайно — Бунин поэт небольшой, но для устной антологии, составлявшейся на Колыме, прозвучало весьма и весьма.

Эти поэтические ночи начинались в девять часов вечера после проверки в больнице и кончались в одиннадцать-двенадцать часов ночи. Я и Добровольский были на дежурстве, а Португалов имел право опаздывать. Таких поэзоночей, которые позднее в больнице получили название афинских ночей, мы провели несколько.

Выяснилось сразу, что все мы — поклонники русской лирики начала двадцатого века.

Мой взнос: Блок, Пастернак, Анненский, Хлебников, Северянин, Каменский, Белый, Есенин, Тихонов, Ходасевич, Бунин. Из классиков: Тютчев, Баратынский, Пушкин, Лермонтов, Некрасов и Алексей Толстой.

Взнос Португалова: Гумилев, Мандельштам, Ахматова, Цветаева, Тихонов, Сельвинский. Из классиков — Лермонтов и Григорьев, которого мы с Добровольским знали больше понаслышке и лишь на Колыме испытали меру его удивительных стихов.

Доля Добровольского: Маршак с переводами Бёрнса и Шекспира, Маяковский, Ахматова, Пастернак — до последних новинок тогдашнего «самиздата». «Лилечке вместо письма» было прочитано именно Добровольским, да и «Зима приближается» мы заучили тогда же. Первый ташкентский вариант будущей «Поэмы без героя» был прочтен тоже Добровольским. Пырьев и Ладынина прислали бывшему сценаристу «Трактористов» и эту поэму.

Все мы понимали, что стихи — это стихи, а не стихи — не стихи, что в поэзии известность ничего не решает. У каждого из нас был свой счет к поэзии, я назвал бы его гамбургским, если бы этот термин не был так затаскан. Мы дружно решили не тратить время наших поэтических ночей на включение в нашу поэтическую устную антологию таких имен, как Багрицкий, Луговской, Светлов, хотя Португалов и был с кем-то из них в одной литературной группе. Список наш отстоялся давно. Наше голосование было тайным из тайных — ведь мы проголосовали за одни и те же имена много лет назад, каждый отдельно от другого, на Колыме. Выбор совпадал в именах, в стихотворениях, в строфах и даже в строчках, особо отмеченных каждым. Стихотворное наследство девятнадцатого века не удовлетворяло нас, казалось недостаточным. Каждый читал, что вспомнит и запишет за время перерыва между этими стихотворными ночами. Мы не успели перейти к чтению собственных стихов, было ясно, все трое пишут или писали стихи, как наши афинские ночи были прерваны неожиданным образом.

В хирургическом отделении лежало более двухсот больных заключенных, а всего больница была на тысячу арестантских коек. Часть Т-образного корпуса отведена была для больных вольнонаемных. Это было грамотное и полезное мероприятие. Врачи из заключенных — а среди них было немало светил медицинских союзного масштаба — получали официально право лечить вольнонаемных как консультанты, находящиеся под рукой наготове в любое время суток, лет, десятилетий...

В зиму наших поэтических вечеров отделения для вольнонаемных еще не было. Лишь в хирургическом отделении арестантской больни-

цы была палата на две койки — для вольнонаемных на случай неотложной госпитализации, травмы автомобильной например. Палата не пустовала. На этот раз в палате лежала девушка лет двадцати трех, одна из московских комсомолок по набору на Дальний Север. Окружали ее сплошь уголовники, но девушку это не смущало — она была секретарем комсомольской организации какого-то соседнего прииска. Об уголовниках девушка не думала, держалась просто, скорее всего по незнанию колымской специфики. Девушка эта умирала от скуки. Болезни, по которой девушка была срочно госпитализирована, у нее не оказалось. Но медицина есть медицина, девушке нужно было вылежать положенный карантинный срок, чтобы шагнуть за больничный порог и исчезнуть в морозной бездне. У нее были какие-то большие связи в самом управлении в Магадане. Потому-то ее и госпитализировали в мужскую лагерную больницу.

Девушка спросила меня, можно ли ей послушать такой поэтический вечер. Я разрешил. Как только очередное чтение началось, она вошла в перевязочную гнойного отделения и оставалась до конца чтения. На следующем поэтическом вечере она была тоже. Вечера эти были в мое дежурство — через двое суток на третьи. И еще прошел один вечер, а при начале третьего в перевязочной распахнулась дверь, и порог перешагнул сам начальник больницы доктор Доктор.

Доктор Доктор ненавидел меня. Что ему донесут о наших вечерах — я не сомневался. Колымские начальники обычно поступают так: есть «сигнал» — принимаются меры. «Сигнал» здесь закреплен как термин информации еще до рождения Норберта Винера, применялся именно в смысле информации в тюремном и следственном деле всегда. Но если «сигнала» нет, то есть нет заявления — устного, но формального «стука» или приказа высшего начальства, уловившего «сигнал» раньше: с горы не только лучше видно, но и лучше слышно. По собственной инициативе начальники редко поднимают официальное изучение какого-либо нового явления в лагерной жизни, ему вверенной.

Доктор Доктор был не таков. Он считал своим призванием, долгом, нравственным императивом преследование всех «врагов народа» в любой форме, по любому поводу, при любой обстановке и при любой возможности.

В полной уверенности, что он может изловить что-то важное, он влетел в перевязочную, даже не надев халата, хотя халат нес за ним на вытянутых руках дежурный фельдшер терапевтического отделения, бывший румынский офицер, любимец короля Михая, красноречивый Поманэ. Доктор Доктор вошел в перевязочную в кожаной куртке покроя сталинского кителя, даже пушкинские белокурые баки доктора Доктора — доктор Доктор гордился своим сходством с Пушкиным — торчали от охотничьего напряжения.

— А-а-а,— протянул начальник больницы, переводя глаза с одного участника чтения на другого и останавливаясь на мне,— ты-то мне и нужен!

Я встал, руки по швам, отрапортовал как положено.

— А ты откуда? — Доктор Доктор перевел перст на девушку, сидевшую в углу и не вставшую при появлении грозного начальника.

— Я здесь лежу,— сухо сказала девушка,— и попрошу не тыкать.  
— Как здесь лежит?

Комендант, вошедший вместе с начальником, объяснил доктору Доктору статус больной девушки.

— Хорошо,— грозно сказал доктор Доктор,— я выясню. Мы еще поговорим! — И вышел из перевязочной. И Португалов и Добровольский выскользнули из перевязочной давно.

— Что теперь будет? — сказала девушка, но в тоне ее не чувствовалось испуга, а только интерес к юридической природе дальнейших событий. Интерес, а не боязнь или страх за свою или чью-то судьбу.



— Мне,— сказал я,— ничего, я думаю, не будет. А вас могут выписать из больницы.

— Ну, если он меня выпишет,— сказала девушка,— я этому доктору Доктору обеспечу хорошую жизнь. Пусть только пикнет, я его познакомлю со всем высшим начальством, какое на Колыме есть.

Но доктор Доктор промолчал. Ее не выписали. Доктор ознакомился с ее возможностями и решил пройти мимо этого события. Девушка пролежала положенное для карантина время и уехала, растворилась в небытии.

Меня начальник больницы тоже не арестовал, не посадил в карцер, не загнал на штрафняк, не перевел на общие работы. Но в очередном отчетном докладе на общем собрании сотрудников больницы, в битком набитом кинозале мест на шестьсот, начальник рассказал подробно о тех безобразиях, которые он, начальник, собственными глазами видел в хирургическом отделении во время обхода, когда фельдшер имярек сидел в операционной и ел бруснику из одной миски с пришедшей туда женщиной. Здесь, в операционной...

— Это не операционная, а перевязочная гнойного отделения.

— Ну, все равно!

— Совсем не все равно!

Доктор Доктор сощурил глаза. Подавал голос Рубанцев, новый заведующий хирургическим отделением,— фронтовой хирург с войны. Доктор Доктор отмахнулся от критикана и продолжал инвективы. Женщина не была названа по имени. Доктор Доктор, полновластный хозяин наших душ, сердец и тел, почему-то скрыл фамилию героини. Во всех подобных случаях в докладах, приказах расписываются все подробности, возможные и невозможные.

— А что этому фельдшеру из зеков было за столь явное нарушение, да еще устроенное лично начальником?

— А ничего.

— А ей?

— Тоже ничего.

— А кто она?

— Никто не знает.

Кто-то посоветовал доктору Доктору сдержать на сей раз свой административный восторг.

Через полгода или через год после этих событий, когда и доктора Доктора в больнице не было давно — он был переведен за свое рвение куда-то вперед и выше,— фельдшер, однокурсник мой, спросил меня, когда мы проходили по коридору хирургического отделения больницы:

— Вот это и есть та самая перевязочная, где проходили ваши афинские ночи? Там, говорят, было...

— Да,— сказал я,— та самая.

## РИВА-РОЧЧИ

Смерть Сталина не внесла каких-нибудь новых надежд в забурелые сердца заключенных, не подстегнула работавшие на износ моторы, уставшие толкать сгустившуюся кровь по суженным, жестким сосудам.

Но по всем радиоволнам передач, отражаясь многократным эхом гор, снега, неба, ползло по всем закоулкам поднарного арестантского жития одно слово, важное слово, обещавшее разрешить все наши проблемы: то ли праведников объявить грешниками, то ли злодеев назначить, то ли найден способ безболезненно вставить все выбитые зубы обратно.

Возникли и ползли слухи классического характера — толки об амнистии.

Юбилей любого государства от годовщины до трехсотлетия, коронации наследников, смена властей, даже кабинетов, — все это является в подземный мир из заоблачной выси в виде а м н и с т и и. Это классическая форма общения верха и низа.

Традиционная параша, которой все верят, — самая бюрократическая форма арестантских надежд.

Правительство, отвечая на традиционные ожидания, делает и традиционный шаг — объявляет эту самую амнистию.

Не отступило от обычая и правительство послесталинской эпохи. Ему казалось, что совершить этот традиционный акт, повторить царский жест — значит выполнить какой-то нравственный долг перед человечеством, что сама форма амнистии в любом ее виде полна значительного и традиционного содержания.

Для выполнения нравственного долга любого нового правительства есть старая традиционная форма, не применить которую — значит нарушить долг перед историей, страной.

Амнистия готовилась, и даже в спешном порядке, чтобы не отступить от классического образца.

Берия, Маленков и Вышинский мобилизовали верных и неверных юристов — дали им идею амнистии, все остальное было делом бюрократической техники.

Амнистия явилась на Колыму после 5 марта 1953 года к людям, прожившим всю войну в размахах маятника арестантской судьбы от слепых надежд до глубочайшего разочарования — при каждом военном поражении и каждом военном успехе. И не было прозорливого, мудрого, который определил бы, что лучше, выгоднее, спасительнее для арестанта — победы или поражения страны.

Амнистия пришла к уцелевшим троцкистам и литерникам, оставшимся в живых после гаранинских расстрелов, пережившим холод и голод золотого забоя Колымы тридцать восьмого года — сталинских лагерей уничтожения.

Всем, кто не был убит, расстрелян, забит до смерти сапогами и прикладами конвоиров, бригадиров, нарядчиков и десятников, — всем, кто уцелел, заплатив полную цену за жизнь — двойные, тройные добавки срока к своему пятилетнему, который арестант привез на Колыму из Москвы...

Не было заключенных на Колыме, осужденных по пятьдесят восьмой статье на пять лет. Пятилетники — это узкий, тончайший слой осужденных в 1937 году до свидания Берии со Сталиным и Ждановым на даче у Сталина в июне 1937 года, когда были забыты пятилетние сроки и разрешен метод номер три для добывания показаний.

Но из этого краткого списка крошечной цифры пятилетников не было к войне и во время войны ни одного, кто не получил бы довеска в десять, пятнадцать, двадцать пять лет.

А те единицы из единиц пятилетников, кто не получил довеска, не умер, не попал в архив номер три, те давно освободились и поступили на службу — убивать — десятником, надзирателем, бригадиром, начальником участка на том же самом золоте и сами стали убивать бывших своих товарищей.

Пятилетние сроки на Колыме в 1953 году имели только осужденные по местным процессам по бытовым статьям. Таких было очень немного. Им следователи просто поленились пришить, припать пятьдесят восьмую. Иначе: лагерное дело было так убедительно, так по-бытовому ясно, что не надо было прибегать к старому, но грозному оружию пятьдесят восьмой статьи, статьи универсальной, не щадящей ни пола, ни возраста. Заключенный, отбывший срок по пятьдесят восьмой и оставленный на вечное поселение, ловчил, чтобы его снова закурачили, но по всеми уважаемой — людьми, богом и государством — краже, растрате. Словом, поймавший срок по бытовой статье отнюдь не грустил.

Колыма была лагерем рецидива не только политического, но и уголовного.

Верх юридического совершенства сталинского времени — в этом сходились две школы, два полюса уголовного права — Крыленко и Вышинского — заключался в «амальгамах», в склеивании двух преступлений — уголовного и политического. И Литвинов в своем знаменитом интервью о том, что в СССР политических заключенных нет, а есть государственные преступники, — Литвинов только повторял Вышинского.

Найти и приписать уголовщину чистому политику — и было сутью «амальгамы».

Формально же Колыма — спецлагерь, как Дахау, для рецидива — равно уголовного и политического. Их и содержали вместе. По указанию сверху. По принципиальному теоретическому указанию сверху, отказчиков-уголовников Гаранин превратил из друзей во врагов народа и судил их за саботаж по 58 пункт 14.

Так было всего полезней. Наиболее крупных блатарей в тридцать восьмом году расстреливали, поменьше — дали за отказы пятнадцать, двадцать, двадцать пять лет. Их поместили вместе с фраерами — пятьдесят восьмой статьей, давая блатарям возможность дожить жизнь в комфорте.

Гаранин вовсе не был поклонником уголовщины. Возня с рецидивом была манией Берзина. Наследство Берзина было пересмотрено Гараниным и в этом отношении.

Как в диаскопе по школьной учебной программе, перед всё уже видевшими, ко всему уже привыкшими глазами начальников тюрем, подвижников лагерного дела, энтузиастов каторги, в десятилетие, приклеенное к войне, — от тридцати седьмого до сорок седьмого, — то сменяя, то дополняя друг друга, как в опыте Бича в слиянии цветковых лучей, являлись группы, контингенты, категории заключенных в зависимости от того, как луч правосудия освещал то одну, то другую группу — не луч, а меч, который отрубал головы, самым реальным образом убивал.

В освещенном пятне диаскопа, которым управляло государство, появлялись арестанты просто — так называемые ИТА, не ИТР — инженерно-технические работники, а ИТА — исправительно-трудовые лагеря. Но часто сходство букв было сходством и судебных. Арестанты бывшие, бывшие зеки, — целая общественная группа, вечное клеймо бесправия; арестанты будущего — все, чьи дела уже заведены, но не закончены производством, и те, чьи дела еще не начаты производством.

В шутовой песне исправдомовцев двадцатых годов — первых трудовых колоний — безымянный автор, Боян или Пимен уголовного рецидива, сравнивал в стихах судьбу воли с судьбой домзака, оценивая ситуацию в пользу второго:

У нас впереди воля,  
А у вас — что?

Эта шутка стала совсем не шуткой в тридцатые и сороковые годы. В высших сферах планировали отправку в лагерь из ссылки, высылки от минус одного до минус пятьсот городов, или, как это называется в инструкциях, населенных пунктов.

Три привода в милицию по классической арифметике равнялись одной судимости. А две судимости давали юридический повод применить силу решетки, зоны.

На самой Колыме в этом году существовали — каждый со своим управлением, со своим штатом obsługi — контингенты А, Б, В, Г, Д. Контингент «Д» составлял мобилизованных на урановые секрет-

ные рудники, вполне вольных граждан, охраняемых на Колыме гораздо секретней любого Байдемана.

Рядом с урановым рудником, куда из-за секретности не допускались обыкновенные зеки, был расположен прииск Каторжный. Там не только был номер и полосатая одежда, но стояли виселицы и вершились приговоры вполне реально, с соблюдением всех законностей.

Рядом с Каторжным прииском располагался рудник Берлага, тоже номерной, но не каторжный, где заключенный имел номер — жестянку, жетон — на спине, где водили под усиленным конвоем с двойным количеством собак.

Я сам туда ехал, да не доехал, набирали в Берлаг по анкетам. Много товарищей моих попало в эти лагеря с номером.

Там было не хуже, а лучше, чем в обыкновенном исправительно-трудовом на общем режиме.

При общем режиме арестант — добыча блатарей и надзирателей, бригадиров из заключенных. А в номерных услуга была вольная, и в кухню и в ларек набирали тоже вольных. А номер на спине — это дело небольшое. Лишь бы у тебя не отнимали хлеб и не заставляли работать свои же товарищи, палками выбивая результат, необходимый для выполнения плана. Государство просило «друзей народа» помочь физически уничтожить врагов народа. И «друзья» — блатары, бытовики — это и делали в непосредственном физическом смысле.

Еще тут рядом прииск, где работали приговоренные к тюрьме, но которая выгоднее — сроки были заменены на «чистый воздух» трудового лагеря. Кто пробыл срок в тюрьме — выжил, в лагере — умер.

В войну завоз контингента упал до нуля. Из тюрем всякие разгрузочные комиссии отправляли на фронт, а не на Колыму — испугать вину в маршевых ротах.

Списочный состав колымчан катастрофически падал — и хотя никого на Большую землю на фронт не вывозили с Колымы, ни один заключенный не ушел на фронт, хотя, конечно, заявлений искупить вину было очень много — от всех статей, кроме блатных.

Люди умирали естественной колымской смертью, и кровь по жилам спецлагеря стала вращаться медленней, то и дело давая тромбы, перебои.

Свежую кровь попытались влить военными преступниками. В лагере в сорок пятном, в сорок шестом завозили целыми пароходами новичков репатриантов, которых сгружали с парохода на скалистый магаданский берег прямо по списку, без личных дел и прочих формальностей. Формальности, как всегда, отставали от живой жизни. По списку на папиросной бумаге, измятой грязными руками конвоиров.

Все эти люди (их были десятки тысяч) имели вполне формальное юридическое место в лагерной статистике — безучетники.

Здесь опять-таки были разные контингенты — простор юридической фантазии тех лет еще ждет своего особого описания.

Были (очень большие) группы с приговорами-«выписками» вполне формальными: «На шесть лет для проверки».

В зависимости от поведения судьба такого заключенного решалась целых шесть лет на Колыме, где и шесть месяцев — срок зловещий, смертный. А ведь это были шесть лет, не шесть месяцев и не шесть дней.

Большая часть этих шестилетников умерла от работы, а кто выжил — были освобождены все в один день по решению XX съезда партии.

Над безучетниками — теми, кто прибыл на Колыму по списку, — трудился день и ночь аппарат правосудия, приехавший с материка. В тесных землянках, колымских бараках день и ночь шли допросы, и Москва принимала решения — кому пятнадцать, кому двадцать пять, а кому и высшая мера. Оправданий, очищений я не помню, но я не

могу знать всего. Возможно, были и оправдания и полные реабилитации.

Всех этих следственных, а также шестилетников, тоже следственных по сути дела, заставляли работать по всем колымским законам: три отказа — расстрел.

Они прибыли на Колыму, чтобы сменить мертвых троцкистов или еще живых, но уставших до такой степени, что они не могли выбить не только грамма золота из камня, но и самого камня ни грамма.

Изменники родины, мародеры наполнили опустевшие за время войны арестантские бараки и землянки. Подновили двери, переменили решетки в бараках и землянках, перемотали колючую проволоку вокруг зон, освежили места, где кипела жизнь — а правильной сказать: кипела смерть — в тридцать восьмом году.

Кроме пятьдесят восьмой статьи, большое количество заключенных было осуждено по особой статье — сто девяносто второй. Эта сто девяносто вторая статья, вовсе не замеченная в мирное время, пыльным цветом расцвела с первым выстрелом пушек, с первым разрывом бомб и стрельбой автоматов. Сто девяносто вторая статья в это время поспешно обрастала, как и всякая порядочная статья в такой ситуации, дополнениями, примечаниями, пунктами и параграфами. Появились мгновенно сто девяносто вторая «а», «б», «в», «г», «д» — пока не был исчерпан весь алфавит. Каждая буква этого грозного алфавита обросла частями и параграфами. Так — сто девяносто вторая «а», часть первая, параграф второй. Каждый параграф оброс примечаниями, и скромная с виду сто девяносто вторая статья раздулась, как паук, и напоминала дремучий лес своим чертежом.

Никакой параграф, часть, пункт, буква не карал менее пятнадцати лет и не освобождал от работы. Работа — это главное, о чем заботились законодатели.

Всех осужденных по сто девяносто второй статье ждал на Колыме неизменный облагаживающий труд — только общие работы с кайлом, лопатой и тачкой. И все же это была не пятьдесят восьмая статья.

Сто девяносто вторую давали во время войны тем жертвам правосудия, из которых не могли выжать ни агитации, ни измены, ни вредительства.

Или следователь по своим волевым качествам оказался не на месте, не на высоте и не сумел приклеить модного ярлыка за старомодное преступление, то ли сопротивление физического лица было таким, что следователю надоело, а о применении метода номер три он не решился дать указания. Этот следовательский мир имеет свои отливы и приливы, свою моду, свою подпольную борьбу за влияние.

Приговор — всегда результат ряда действующих, часто внешних причин.

Психология творчества здесь еще не описана, даже первые камни не положены в эту важную стройку времени.

Вот по этой-то сто девяносто второй статье и был завезен на Колыму с пятнадцатую годами срока минский инженер-строитель Михаил Иванович Новиков.

Инженер Новиков был тяжелый гипертоник с постоянным высоким давлением порядка двухсот сорока в верхней цифре аппарата Рива-Роччи.

Гипертоник нетранзитарного типа, Новиков жил постоянно под опасностью инсульта, апоплексического удара. Все это знали и в Минске, и в Магадане. На Колыму запрещалось возить таких больных — для этого и существовал медосмотр. Но с тысяча девятьсот тридцать седьмого года всеми медицинскими учреждениями тюрем, пересылок и лагерей — а для этапа Владивосток — Магадан этот приказ дважды подтверждали для заключенных спецлагерей, для КРТА и вообще для контингента, которому предназначалось жить, а главное — умирать на

Колыме,— все ограничения по инвалидности и по возрасту были сняты.

Колыме предлагали самой выбросить шлак обратно по той же бюрократической дороге: акты, списки, комиссии, этапы, тысяча виз. Действительного шлака назад привезли мало.

Отправляли не только слабых и безногих, не только шестидесятилетних стариков в золотые забои, отправляли и туберкулезников и сердечников.

Гипертоник в таком ряду казался не больным, а здоровым краснорожим филоном, который не хочет работать, ест государственный хлеб. Пайку жрет без отдачи.

Таким краснорожим филоном и был в глазах начальства инженер Новиков, заключенный участка Барагон близ Оймьякона, дорожного управления Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей летом 1953 года.

Аппаратом Рива-Роччи, к сожалению, владеет не всякий медик Колымы, хотя считать пульс-то, чувствовать его наполнение должен уметь и фельдшер, и санитар, и врач.

Аппараты Рива-Роччи завезли на все медучастки — вместе с термометрами, бинтами, йодом. Но ни термометров, ни бинтов на том пункте, который я только что принял как вольный фельдшер — первая моя работа вольным за десять лет, — не было. Был только аппарат Рива-Роччи; он не был сломан, как термометры. На Колыме списать сломанный термометр — проблема, поэтому до списания, до активировки берегут все стеклянные черепки, как будто это приметы Помпеи, осколок какой-нибудь хеттской керамики.

Врачи Колымы привыкли обходиться не только без аппарата Рива-Роччи, но и без термометра. Термометр, даже в Центральной больнице, ставят только тяжелобольным, а остальным определяют температуру «по пульсу» — так же делают и в бесчисленных лагерных амбулаториях.

Все это мне было известно хорошо. На Барагоне я увидел, что Рива-Роччи в полном порядке, им только не пользовался фельдшер, которого я сменил.

На фельдшерских курсах я был хорошо обучен пользованию аппаратом. Практиковался миллион раз во время учебы, брал поручения перемерить давление у населения инвалидов бараков. Со стороны Рива-Роччи я был подготовлен хорошо.

Я принял списочный состав, человек двести, медикаменты, инструменты, шкафы. Не шутка — я был вольным фельдшером, хотя и бывшим зеком; я уже жил за зоной, не в отдельной «кабинке» барака, а в вольном общежитии на четыре топчана — много бедней, холодней, неуютней, чем моя кабинка в лагере.

Но мне надо было идти вперед, глядеть вперед.

Незначительные перемены в моем личном быту меня мало смущали. Спирт я не пью, а в остальном все было в пределах общечеловеческой, а значит, и арестантской нормы.

На первом же приеме меня дожидался у дверей человек лет сорока в арестантском бушлате, чтоб поговорить с глазу на глаз.

Я не веду в лагере разговоров с глазу на глаз — все они кончаются предложением взятки, причем обещанье или взятка делается так, наугад, на всякий случай. В этом есть глубокий смысл, и когда-нибудь я разберусь в этом вопросе подробно.

Тут, на Барагоне, было что-то в тоне больного, заставившее меня выслушать просьбу.

Человек попросил осмотреть его еще раз, хотя проходил уже в общем осмотре — с час тому назад.

— В чем причина такой просьбы?

— А вот в чем, гражданин фельдшер, — сказал человек. — Дело в том, гражданин фельдшер, что я болен, а освобождения мне не дают.

— Как же так?

— Да вот, голова болит, стучит в висках.

Я записал в книгу: Новиков Михаил Иванович.

Я пощупал пульс. Пульс грохотал, частил, невероятно счасть. Я поднял глаза от минутницы-песочницы в недоумении.

— А вы можете, — зашептал Новиков, — пользоваться вон этим аппаратом? — он показал на Рива-Роччи на углу стола.

— Конечно.

— И мне можете смерить давление?

— Пожалуйста, хоть сейчас.

Новиков торопливо разделся, сел к столу и обернул манжетку вокруг своих «манжет», то есть рук, точнее плеча.

Я вставил в уши фонендоскоп. Пульс застучал громкими ударами, ртуть в Рива-Роччи бешено бросилась вверх.

Я записал показания Рива-Роччи — двести шестьдесят на сто десять.

Другую руку!

Результат был тот же.

Я твердо записал в книгу: «Освободить от работы. Диагноз — гипертония 260/110».

— Значит, я могу не работать завтра?

— Конечно.

Новиков заплакал.

— Да что у тебя за вопрос? Что за конфликт?

— Видите, фельдшер, — сказал Новиков, избегая прибавлять «гражданин» и таким образом как бы напоминая мне, что я — бывший зек. — Фельдшер, которого вы сменили, не умел пользоваться аппаратом и говорил, что аппарат испорчен. А я — гипертоник еще с Минска, с материка, с воли. На Колыму меня завезли, не проверяя давления.

— Ну что ж, будешь пока получать освобождение, а потом тебя сактируют, и ты уедешь если не на Большую земдю, то в Магадан.

На другой же день я был вызван в кабинет Ткачука, начальника нашего ОЛПа в звании старшины. По правилам должность начальника ОЛПа должен занимать лейтенант: Ткачук очень держался за свое место.

— Вот ты освободил от работы Новикова. Я проверял — он симулянт.

— Новиков не симулянт, а гипертоник.

— Я вызову комиссию по телефону. Врачебную. Тогда и будем его освобождать от работы.

— Нет, товарищ начальник, — сказал я, по-вольному именуя Ткачука, мне было привычнее «гражданин начальник». Всего год назад. — Нет, товарищ начальник. Сначала я его освобожу от работы, а вы вызовете комиссию из управления. Комиссия либо утвердит мои действия, либо снимет с работы. Вы можете написать на меня рапорт, но попрошу вас моих чисто медицинских дел не касаться.

На этом разговор с Ткачуком окончился. Новиков остался в бараке, а Ткачук вызвал комиссию из управления. В комиссии были всего два врача, оба с аппаратами Рива-Роччи — один с отечественным, таким же, как мой, а другой с японским, с трофейным круглым, с манометром. Но к манометру было легко приспособиться.

У Новикова проверили кровяное давление, цифры совпали с моими. Составили акт об инвалидности Новикова, и Новиков в бараке стал ждать инвалидного этапа или попутного конвоя для отъезда в Магадан.

Меня же мои медицинские начальники даже не поблагодарили.

Сражение мое с Ткачуком не осталось неизвестным для заключенных в бараке.

Ликвидация вшей, которой я добился по способу, изученному мной в Центральной больнице, прожарка в бензиновых баках — опыт второй мировой войны. Ликвидация вшей в лагере, ее портативность,

дезинфекция, надежность, скорость — вошебойка моей системы и примирила Ткачука со мной.

А Новиков скучал, ждал этапа.

— Я ведь могу делать что-нибудь легкое, — сказал как-то Новиков на вечернем моем приеме. — Если вы попросите.

— Я не попрошу, — сказал я. Новиковский вопрос стал личным моим вопросом, вопросом моего фельдшерского престижа.

Новые бурные события отменили в сторону драму гипертоника и чуда вошебойки.

Пришла амнистия, вошедшая в историю как амнистия Берии. Текст ее был отпечатан в Магадане и разослан во все глухие уголки Колымы, чтоб благодарное лагерное человечество чувствовало, радовалось и ценило, кланялось и благодарило. Амнистии подлежали все заключенные, где бы они ни находились, и восстанавливались во всех правах.

Освобождалась вся пятьдесят восьмая статья — все пункты, части и параграфы — все поголовно, с восстановлением во всех правах — со сроком наказания до пяти лет.

По пятьдесят восьмой пять лет давали только на заре туманной юности тридцать седьмого года. Эти люди или умерли, или освободились, или получили дополнительный срок.

Сроки, которые давал Гаранин блатарям — он их судил за саботаж по пятьдесят восьмой пункт четырнадцатый, — отменялись, и блатари освобождались. Целый ряд бытовых статей получал сокращение, значит, сокращение получали осужденные по сто девяносто второй статье.

Эта амнистия не касалась заключенных по пятьдесят восьмой статье, имеющих вторую судимость, а касалась только рецидивистов-уголовников. Это был типичный сталинский «вольт».

Ни один человек не мог выйти за пределы лагеря, если он был осужден ранее по пятьдесят восьмой статье. Если только не пользоваться словом «человек» в блатной терминологии. Человек на блатном языке — значит блатарь, уркаган, член преступного мира.

Таков был главный вывод из амнистии Берии. Берия принимал сталинскую эстафету.

Освобождались только блатари, которых так преследовал Гаранин.

Все уголовники по амнистии Берии были освобождены «по чистой» с восстановлением во всех правах. В них правительство видело истинных друзей, надежную опору.

Удар был неожидан не для заключенных по пятьдесят восьмой статье. Те привыкли к таким сюрпризам.

Удар был неожидан для администрации Магадана, которая ждала совсем другого. Удар был крайне неожидан для самих блатарей, небо которых внезапно делалось чистым. По Магадану и по всем поселкам Колымы бродили убийцы, воры, насильники, которым при всех обстоятельствах надо было есть четыре или по крайней мере три раза в день — и если не наваристые щи с бараниной, то по крайней мере перловую кашу.

Поэтому самое разумное, что мог сделать практик начальник, самое простое и самое разумное — это быстро подготовить транспорт для дальнейшего движения этой мощной волны на материк, на Большую землю. Таких путей два: Магадан, через море во Владивосток — классический путь колымчан со всеми навыками и терминологией еще сахалинских времен, царской еще, николаевской чеканки.

И был второй путь — через тайгу до Алдана, а там в верховья Лены и на пароходе по Лене. Этот путь был менее популярен, но и вольняшки, и беглецы добирались до Большой земли и этим путем.

Третий путь был воздушным. Но арктические рейсы Севморпути при нетвердой арктической летной погоде обещали тут только случай-



ности. Притом грузовой «дуглас», берущий четырнадцать человек, явно не мог решить транспортной проблемы.

На волю очень хочется, поэтому все — и блатные и фраера — торопились оформить свои документы и выехать, ибо, это понимали и блатари, правительство может одуматься, изменить решение.

Грузовики всех лагерей Колымы были заняты под этапирование этой мутной волны.

И надежд не было, что наших, барагонских, блатарей отправят быстро.

Тогда их отправили в направлении Лены для самостоятельного движения вниз по Лене — от Якутска. Ленское пароходство выдало освобожденным пароход и помахало рукой, облегченно вздыхая.

В пути продуктов не оказалось достаточно. Менять что-либо у жителей никто не мог, ибо и имущества не было, не было и жителей, которые могли бы продать что-нибудь съестное. Блатари, захватившие пароход и командование (капитана и штурмана), на своем общем собрании вынесли решение: использовать на мясо фраеров, соседей по пароходу. Блатарей было гораздо больше, чем фраеров. Но даже если бы блатарей было меньше — решение их не изменилось бы.

Фраеров резали, варили в пароходном котле постепенно, но по прибытии зарезали всех. Остался, кажется, или капитан, или штурман.

Работа на приисках остановилась и нескоро вошла в обычный ритм.

Блатари спешили — ошибка могла обнаружиться. Спешило и начальство расстаться с опасным контингентом. Но это не было ошибкой, а совершенно сознательным действием свободной воли Берии и его сослуживцев.

Я хорошо знаю подробности этой истории, потому что из Барагона в этом этапе уезжал товарищ и одноделец инвалида Новикова — Блумштейн. Блумштейн погоропилса выйти из колес машины, попытался ускорить ее ход и погиб.

Был приказ из Магадана — всемерно ускорить разбор, оформление дел. Были созданы специальные комиссии на манер выездных трибуналов, раздававших документы на месте, а не в управлении, в Магадане, чтобы хоть как-нибудь ослабить грозный и мутный напор этих волн. Волн, которые нельзя было назвать человеческими.

Комиссии привозили на места готовые документы — кому скидка, кому замена, кому вовсе ничего, кому полная свобода. Группа освобождения, так это называется, в лагерном учете поработала хорошо.

Наш лагерь — дорожная командировка, где было много бытовиков, — вовсе опустел. Приехавшая комиссия вручила в торжественной обстановке под тот же духовой оркестр, серебряные трубы которого играли туш после чтения каждого приказа о расстрелах в забоях тридцать восьмого года, путевку в жизнь более чем сотне жителей нашего лагеря.

Среди этих ста человек с освобождением или скидкой срока (в чем было нужно расписаться на формальной, отпечатанной и заверенной всеми гербами выписке) был у нас в лагере один человек, который ни в чем не расписался и выписку по своему делу в руки не взял.

Этим человеком был Михаил Иванович Новиков — мой гипертоник.

Текст амнистии Берии был расклеен на всех заборах в зоне, и у Михаила Ивановича Новикова было время его изучить, обдумать и принять решение.

По расчету Новикова, он должен был быть освобожден по чистой, а не с каким-то сокращением сроков. По чистой, как блатарь. В привезенных же документах Новикову только менялся срок, так что оставалось несколько месяцев до выхода на свободу. Новиков не взял документов, не расписался нигде.

Представители комиссии говорили Новикову, что ему не следует

отказываться от извещения о новом исчислении своего срока. Что, дескать, в управлении пересмотрят и, если сделали ошибку, ошибку исправят. В эту возможность Новиков верить не хотел. Он не взял документов и подал встречную жалобу, ее написал юрист, земляк-минчанин Блумштейн, с которым Новиков вместе прошел и Белорусскую тюрьму, и лагерь Колымы. В барагонском бараке они и спали вместе и, как говорят блатари, «кушали вместе». Встречная жалоба со своим расчетом своего собственного срока и своих возможностей.

Так Новиков остался в опустевшем барагонском бараке с кличкой дурака, который не хочет верить начальству

Подобные встречные жалобы, поданные утомленными, уставшими людьми в момент возникшей надежды,— крайняя редкость на Колыме и вообще в лагерях.

Заявление Новикова было переслано в Москву. Еще бы! Свои юридические познания и результат этих познаний могла оспорить только Москва. Это знал и Новиков.

Мутный кровавый поток плыл по колымской земле, по трассам, прорываясь к морю, к Магадану, к свободе Большой земли. Другой мутный поток проплывал Лену, штурмовал пристани, аэродромы, вокзалы Якутии, Восточной и Западной Сибири, доплыл до Иркутска, до Новосибирска и тек дальше на Большую землю, сливаясь с мутными, столь же кровавыми волнами магаданского, владивостокского потоков. Блатари изменили климат городов — в Москве грабили столь же легко, как и в Магадане. Немало было лет потрачено, немало людей погибло, пока мутная волна не была загнана обратно за решетку.

Тысячи новых «параш» вползало в лагерные бараки, одна грознее, фантастичнее другой.

С фельдъегерской почтой из Москвы через Магадан к нам привезли не парашу — параша редко возят фельдъегерской почтой,— а документ о полном освобождении Новикова.

Новиков получил документы, опоздав даже к шапочному разбору амнистии, и ждал случайной автомашины, боясь даже подумать о том, чтобы пуститься тем же путем, что Блумштейн.

Новиков сидел ежедневно у меня на кушетке-топчане в амбулатории и ждал, ждал...

В это время Ткачук получил первое пополнение людей после опустошительной амнистии. Лагерь не закрывался, оказывается, увеличивался и рос. Нашему Барагону отводилось новое помещение, новая зона, где возводились бараки, а стало быть, и вахта, и караульные вышки, и изолятор, и площадка для разводов на работу. Уже на фронто-не арки лагерных ворот был прибит официально принятый лозунг: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства».

Рабочей силы было сколько угодно, бараки были выстроены, но сердце начальника ОЛПа тосковало: не было клумбы, не было газона с цветами. Все было под руками — и трава, и цветы, и газон, и рейка для палисадника, не было только человека, который мог бы проवेशить клумбы и газоны. А без клумб и газонов, без симметрии лагерной, какой же это лагерь — хотя бы и третьего класса. Барагону было далеко до Магадана, Сусумана, Усть-Неры.

Но и третий класс требует цветов и симметрии.

Ткачук опросил поголовно всех лагерников, съездил в соседний ОЛП — нигде не было человека, имеющего инженерное образование, техника, который может проवेशить газон и клумбу без нивелира.

Таким человеком был Михаил Иванович Новиков. Но Новиков из-за своей обиды и слушать не хотел. Приказы Ткачука уже не были для него приказами.

Ткачук при бесконечной уверенности в том, что арестант все забывает, предложил Новикову проवेशить лагерь. Оказалось, что память заключенного гораздо цепче, чем думал начальник ОЛПа.

День «пуска» лагеря приближался. Провешить цветник никто не мог. За два дня до открытия Ткачук попросил Новикова, ломая свое самолюбие, не приказом, не советом, а просьбой.

На просьбу начальника ОЛПа Новиков ответил так:

— О том, чтобы по вашей просьбе мне что-нибудь делать в лагере, не может быть и речи. Но, чтобы выручить, я подскажу вам решение. Попросите вашего фельдшера, пусть он мне скажет — и все будет готово в какой-нибудь час.

Весь этот разговор с соответствующим матом по адресу Новикова был мне передан Ткачуком. Оценив ситуацию, я попросил Новикова провешить лагерь. Все было кончено в какие-нибудь два часа, и лагерь сиял чистотой. Клумбы были разбиты, цветы посажены, ОЛП открыт.

Новиков уехал из Барагона с самым последним перед зимой пятьдесят третьего — пятьдесят четвертого года этапом.

Перед отъездом мы повидались.

— Желаю вам уехать отсюда, освободиться по-настоящему, — сказал мне человек, который сам себя освободил. — Дело идет к этому, уверяю вас. Дорого бы я дал, чтобы встретиться с вами где-нибудь в Минске или в Москве.

— Все это пустяки, Михаил Иванович.

— Нет, нет, не пустяки. Я — пророк. Я предчувствую, я предчувствую ваше освобождение!

.....  
Через три месяца я был в Москве.

## <О МОЕЙ ПРОЗЕ>

Дорогая Ирина Павловна!<sup>4</sup>

*Вы всегда интересовались, что же стоит психологически за моими рассказами, кроме судьбы и времени.*

*Имеют ли мои рассказы чисто литературные особенности, которые дают им место в русской прозе?*

*Каждый мой рассказ — пощечина по сталинизму и, как всякая пощечина, имеет законы чисто мускульного характера. Вы высказали желание, чтобы были написаны пять хороших отделанных рассказов вместо ста неотделанных, шероховатых.*

*В рассказе отделанность не всегда отвечает намерению автора. Наиболее удачные рассказы — написанные набело, вернее, переписанные с черновика один раз. Так писались все лучшие мои рассказы. В них нет отделки, а законченность есть: такой рассказ, как «Крест», записан за один раз, при нервном подъеме, для бессмертия и смерти — от первой до последней фразы. Рассказ «Заговор юристов» — лучший рассказ первого сборника, весь написан с одного раза.*

*Всё, что раньше, — все как бы томится в мозгу, и достаточно открыть какой-то рычаг в мозгу — взять перо, — и рассказ написан.*

*Рассказы мои представляют успешную и сознательную борьбу с тем, что называется жанром рассказа. Если о том, как написать роман, я никогда практически не думал, то как написать рассказ, я думал десятки лет еще в юные годы. Сто рассказов острюжетного характера были мною написаны в двадцатые годы, частично напечатаны («Три смерти доктора Аустино», «Вторая симфония Листа» и прочее). Сейчас я осуждаю пустяки, которыми я тогда занимался. Но, наверное, была в этом необходимость школьных упражнений, экзерсисов. Я когда-то брал карандаш и вычеркивал из рассказов Бабея все его красоты, все эти пожары, похожие на воскресение, и смотрел, что же останется. От Бабея оставалось немного, а от Ларисы Рейснер и совсем ничего не оставалось.*

*Так возникло одно из основных правил: лаконизм. Фраза рассказа [должна быть] лаконична, проста, все лишнее устраняется еще до бумаги, до того, как взял перо. Вырабатывается своего рода автоматизм в том, что из бесконечного запаса, хранящегося в мозгу, отбирается в языковом смысле только то, что сможет принести*

<sup>4</sup> Письмо В. Т. Шаламова И. П. Сиротинской, 1971 г.

пользу, никаких новых вариантов и сравнений, пестроты не возникает [...]. Так в мозгу контролер, отборщик, который толкает ненужное бревно на сплаве в сторону от узкого горла заводских пилорам. Я воспользовался таким несовременным сравнением с самой примитивной техникой — запанью. Бревна приплывают после половодья, сплава, большинство погибли на дне, иные прибиты к берегу горной каменной речки, и либо позднее их столкнут в воду, или высохнут и не понагодятся навсегда. Но часто бревна отбирают, приводят багром в горловину лесозавода, пилорамы, перед которой плавают вполне кондиционные бревна, которые имеют право превращаться во фразы. Слова эти — вески, плотны, кондиционны, отборщик сталкивает багром фразу за фразой на двигающуюся цепь пилорамы.— Работа над словом началась. Распиловка бревна началась.

Для чего это сравнение, столь немощное в наш кибернетический век? Это покаывает, что в отдел мозга-творчества не поступает ничего лишнего. Инвалидное бревно туда попросту не попадет. Словарь рассказа подготовлен еще до того, как рука взяла перо. [...]

Пощечина должна быть короткой, звонкой. Можно мерить фразу и флюберовской мерой — глиной дыхания, что-то в этом физиологическом обосновании есть. Литературоведы неоднократно говорили, что традиция русской прозы — это лопата, которую нужно воткнуть в землю и потом выворотить наверх, извлечь самые глубокие пласты. Таково их мнение о толстовской фразе. Мне такая традиция кажется ложной. Даже в прошлом у нас осталась короткая, звонкая пушкинская фраза, ничего общего не имеющая с этой лопатой, которой вынимают пласты. Пусть выкапыванием этих пластов занимаются экономисты, но не писатели, не литераторы. Для литератора такое выкапывание пластов кажется странным советом.

Фраза должна быть короткой, как пощечина, — вот мое сравнение. [...]

Каждый мой рассказ — это абсолютная достоверность. Это достоверность документа. Рассказ «Шерри-бренди» не является рассказом о Манделъштаме. Он просто написан ради Манделъштама, это рассказ о самом себе. При абсолютно достоверной документальности каждого моего рассказа я всегда имел в виду, что гля художника, гля автора самое главное — это возможность высказаться — дать свободный мозг тому потоку. Сам автор — свидетель, любым своим словом, любым своим поворотом души он дает окончательную формулу, приговор. И автор волен не то что подтвердить или отвергнуть каким-то чувством или литературным суждением, но высказаться самому, по-своему. Если рассказ доведен до конца, написан — такое суждение появляется. Для рассказа вовсе не нужна отгелка. Вся отгелка осталась за бортом рассказа. И хотя я все свои рассказы проговариваю, крича и волнуясь за каждую фразу, — бьются и камни, и деревья, и реки в каждом своем рассказе [каждая со своим рассказом] — вся эта борьба является на бумагу как результат борьбы, равнодействующая многих сил — своих и чужих.

Одна из самых главных задач — это борьба с литературными влияниями. Когда-то мне доставляло немало хлопот — во время сюжетных стихов — ощущение вечных следов борьбы с такими писателями, как Амброз Бирс, например. У нас его мало знают, но «Три смерти доктора Аустино» испытал явное влияние какого-то рассказа Бирса. Во влиянии опаснее, чем [само] влияние, помимо собственной воли попасть в чей-то плен — материал драгоценный истрачен, а выясняется, что он напоминает что-то чужое, то есть убивает рассказ. Искусство не терпит подражаний. В Колымских рассказах я уже не болел никакой подражательностью по двум причинам — во-первых, я был натренирован на любой чужой тон, который зазвенел бы как предупреждающий сигнал опасности при появлении в моем рассказе чего-то чужого. Такая простая философия. А во-вторых, и самых главных, — я обладал таким запасом новизны, что не боялся никаких повторений. Материал мой спас бы любые повторения, но повторений не возникло, ибо квалифицированность, натренированность сказались, мне просто не было нужды пользоваться чьей-то чужой схемой, чужими сравнениями, чужим сюжетом, чужой идеей — если я мог предъявить и предъявлял собственный литературный паспорт.

Читатель двадцатого столетия не хочет читать выдуманные истории, у него нет времени на бесконечные выдуманные судьбы. Живая трагедия, не парадокс, — реальное предательство Оппенгеймера.

Или все уходит в словотворчество, в новый роман со всяческой свободой — и тут [никто] осуждать не вправе.

Либо — в фантастику, расцвет которой кажется странным, ибо любое научное открытие реальное много богаче, глубже, чем фантазии автора фантастического романа. [...]

Из всего прошлого остается документ, но не просто документ, а документ эмоционально окрашенный, как Колымские рассказы. Такая проза — единственная форма литературы, которая может удовлетворить читателя двадцатого века.

Второе — здесь изображены люди в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию за-человечности. Проза моя — фиксация того немногого, что в человеке сохранилось. Каково же это немного? И существует ли предел этому немногому или за этим пределом смерть — духовная и физическая? В этом смысле мои рассказы — своеобразные очерки, но не очерки типа «Записок из мертвого дома», а с более авторским лицом — объективизм тут намеренный, кажущийся, да и вообще — не существует художника без лица, души, точки зрения. Рассказы — это моя душа, моя точка зрения, сугубо личная, то есть единственная. Этой личностной точкой зрения держится не только художественная литература. Нет мемуаров — есть мемуаристы.

Откуда все это возникает? Как это все приходит? Мне кажется, что человек второй половины двадцатого столетия, человек, переживший войны, революции, пожары Хиросимы, атомную бомбу, предательство и самое главное, венчающее всё, — позор Колымы и печей Освенцима, человек... — а ведь у каждого родственник погиб либо на войне, либо в лагере — человек, переживший научную революцию, просто не может не пойдти иначе к вопросам искусства, чем раньше.

Бог умер. Почему же искусство должно жить? Искусство умерло тоже, и никакие силы в мире не воскресят толстовский роман.

Художественный крах «Доктора Живаго» — это крах жанра. Жанр просто [умер].

Как ни парадоксально звучит, но мои рассказы и есть, в сущности, последняя, единственная цитателъ реализма. Все, что выходит за документ, уже не является реализмом, а является ложью, мифом, фантомом, муляжом. А в документе — во всяком документе — течет живая кровь времени.

Я ставил себе задачей создать документальное свидетельство времени, обладающее всей убедительностью эмоциональности. Все, что переходит документ, уже не имеет права поставить себя выше любой туманной сказки. На свете тысяча прав, а в искусстве — одна правда, эта правда — талант. Поэтому мы прислушиваемся к пророчествам Достоевского. Поэтому нас захватывает и учит Врубель.

Для того чтобы существовала проза или поэзия — это все равно, — искусство требует постоянной новизны. Только новизна, любой поворот темы, интонации, стиля — возможности изменений безграничны.

Художник черпает, и притом постоянно, вне зависимости от собственности, не только из методов «смежников» в лице архитекторов, музыкантов, живописцев, но и из науки, философии. Всё на равных правах ловится в этот невод, более похожий на запань лесозавода.

Также черпает художник из газеты, из газетной работы. Надо только помнить, что газета и писательское творчество не только разные этажи литературной культуры, но разные миры. Если помнить, что художник судья, а не подгрудный, все будет хорошо. Масштаб сохранится, и газета не погавит, как это она сгелала с Горьким и Короленко. Хорошие писатели, творчеству которых газета нанесла непоправимый ущерб. Сергей Михайлович Третьяков пытался укрепить газету, дать газете приоритет. Ничего путного из этого не вышло ни у самого Третьякова, ни у Маяковского. «Мое лучшее стихотворение» и прочая агитация в пользу «литературы факта». Литература факта — это не литература документа. Это только частный случай большой документальной доктрины.

Лефовцы в ряде статей советовали «записывать факты», «собирать факты». Но копить факты в их газетном преображении, как это гелали когда-то фактовики, это — искажение, расчисленное заранее. Нет никакого факта без его изложения, без формы его фиксации.

Документальная проза будущего и есть эмоционально окрашенный, окрашенный душой и кровью мемуарный документ, где все — документ и в то же время представляет эмоциональную прозу. Тут задача простая — найти стенограмму действительных героев, специалистов о своей работе и о своей душе. Какие-то следы такая проза всегда оставляла — вроде записок Бенвенуто Челлини. Но уже воспоминания

Паньева такой прозой не являются — этот мемуар составлен по самому общеизвестному принципу: кто кого переживет, тот того и переменуарит.

Нет литературного произведения, которое бы рождалось без формы. Какие бы мотивы ни лежали в основе толчка к творчеству — без формы произведение не рождается. Это бесспорный факт, по которому, конечно, нельзя судить о приоритете именно формы. Сам выбор формы может говорить о содержании. Но выбор, отбор, контроль — это уже вторичная стадия дела, а в основе у всякого художника ясный поиск чистой формы. Неопределенное чувство ищет выхода и исходит в стихи, в размер, в ритм — или в рассказ. Дело художника — именно форма, ибо в остальном читатель, да и сам художник, может обратиться к экономисту, к историку, к философу, а не к другому художнику, чтобы превзойти, победить, перегнать именно мастера, именно учителя. В «Жонглере» Каменского больше поэзии, чем в стихах Владимира Соловьева. Мысль, содержание губит стихи, и нужно было процедить мысль Соловьева через творческое сито Блока, чтобы явились «Стихи о Прекрасной Даме». «Двенадцать» — это именно попытка понять действительность в новой сугубо форме — частушке. Что в аналогичном положении и аналогичном окружении привело к тем же методам, к тем же результатам такого антипода Блока, как Хлебников, — «Ночь перед Советами». Чем это не Блок?

Первоначальный творческий толчок исходит именно от формы, когда нет еще ничего ясного, определенного. А ведь закон поэзии основной в том, что поэт, сагая за стихи, не знает, чем он их кончит.

Знающий конец — это баснописец, иллюстратор. Тот же закон действует и в прозе. У нас с умилением цитируют [Флобера о] «Бовари». Пушкин огорчился по поводу Татьяны — примеров такой несвободы в литературе миллион.

Даже Бунин, вовсе не поэт, и тот пытался эту очевидную истину выдать за философское откровение в стихах о Чехове «Художник». Все это надо написать прозой, проза и вышла. Стихи о Чехове — статья прозаика, а если бы ту же мысль, вернее то же чувство, одел в слова поэт, то получились бы бубенцы. Равнялись в стрóку, останавливались стихи, и видна была бы сразу каждая [заминка] стиха — звуковые законы ломают, диктуют, меняют содержание. Видно сразу, что содержание — дело вторичное, дело удачи, улова, вот его место. Такого же строгого рода существует закон и в прозе.

Почему я, профессионал, пишущий с детства, печатающийся с начала тридцатых годов, десять лет гдумавший над прозой, не могу внести ничего нового в рассказ Чехова, Платонова, Бабеля и Зощенко? Русская проза не остановилась на Толстом и на Бунине. Последний великий русский роман — это «Петербург» Белого. Но и «Петербург», какое бы колоссальное влияние ни оказал этот роман на русскую прозу двадцатых годов, на прозу Пильняка, Замятина, Веселого, это тоже только этап, только глава истории литературы. А в наше время читатель разочарован в русской классической литературе. Крах ее гуманистических идей, историческое преступление, приведшее к сталинским лагерям, к печам Освенцима, доказали, что искусство и литература — нуль. При столкновении с реальной жизнью это — главный мотив, главный вопрос времени. Научно-техническая революция не отвечает на этот вопрос. Она и не может отвечать. Вероятностный аспект и мотивация дают многосторонние, многозначные ответы, тогда как читатель-человек нуждается в ответе «да» или «нет», пользуясь той же двузначной системой, которую кибернетика хочет применить для изучения всего человечества в его прошлом, настоящем и будущем.

Разумного основания у жизни нет — вот что доказывает наше время.

То, что «Избранное» Чернышевского продают за пять копеек, спасая от освенцима макулатуры, — это символично в высшей степени. Чернышевский кончился, когда столетняя злоха дискредитировала себя начисто. Мы не знаем, что стоит за Богом, за верой, но за безверием мы ясно видим — каждый в мире, — что стоит. Поэтому такая тяга к религии, удивительная для меня, наследника совсем других начал.

В прошлом всего только один писатель пророчествовал и предсказывал насчет будущего — это был Достоевский. Именно поэтому он и остался в пророках и в двадцатом веке. Я гдуюмаю, что изучение русской, «славянской» души по Достоевскому [каким оно было] для западного человека, над чем смеялись многие наши журналы и политики, и привело как раз ко всеобщей мобилизации против нас после второй мировой войны. Запад изучил Россию именно по Достоевскому, готов был встретить

всякие сюрпризы, поверить любому пророчеству и предсказанию. И когда шигалевица приняла резкие формы, Запад поторопился отгородиться от нас барьером из атомных бомб, обрекая нас на неравную борьбу в плоскости всевозможной конвергенции. Эта конвергенция — а неохота тратить бесчисленное количество средств — и есть плата за страх, который испытывал Запад перед нами. Говорить, что конвергенции сработались, могут только авантюристы. Мы давно брошены Западом на произвол судьбы. Все действующие аппараты пропаганды — шептуны и ничего больше. Атомная бомба стоит на пути войны.

В моих рассказах нет сюжета, нет так называемых характеров. На чем же они держатся? На информации о редко наблюдаемом состоянии души, на крике этой души или еще на чем-то другом, чисто техническом?

Как и всякий новеллист, я придаю чрезвычайное значение первой и последней фразе. Пока в мозгу не найдены, не сформулированы эти две фразы — первая и последняя, — рассказа нет. У меня множество тетрадей, где записаны только первая фраза или последняя, — это все работа будущего. По обстоятельствам биографии мне было удобно пользоваться обычными школьными тетражами. Варианты, правка, вставки — слева, и все. Остальное — себе дороже.

Рассказ «Заговор юристов» был абсолютно новым. Легкость будущего мертвеца нигде в литературе не описана. Все в этом рассказе ново: возвращение к жизни безнадежно и не отличается от смерти. Сыр, не доеденный зубами начальника СПО, капитана, столовая, хлеб, который я глотал, торопясь, чтоб не умереть, пока я не проглота кусок...

Каждый писатель отражает время — но не путем изображения виденного на пути, а познанием с помощью самого чувствительного в мире инструмента — собственной души, собственной личности. Отношение, ощущение гает в руки писателя безошибочный ориентир. Это — не ориентир для читателя, вернее, не обязательный ориентир. Но для самого писателя — его радар устроен в его собственной душе. Чем обусловлен этот радар, какие технические претензии и особенности имеет этот инструмент — не важно. Важно, что это не иллюстративный отклик на события, а живое участие в живой жизни — не важно, с помощью писательского пера или в какой-либо другой форме.

Может быть писательское решение неписательских вопросов. Писатель остается писателем, даже если он не пишет, но если он пишет серьезно, его радар должен работать хорошо.

Ведь радар — это активное вмешательство в жизнь, а не только отражение жизни.

Для писателя действуют законы грамматики, законы языка, на котором он пишет. Сейчас, после войны, навоят такого туману в зону профессиональную, в сущности, вполне постижимую область человеческой деятельности, что и спорить не стоит. Вас убивают какой-нибудь цитатой из Фомы Аквинского или «Повести временных лет», а вы должны знать, что, если не овладеете современным стилем, современным языком, современной идеей, — все, что вы сочините, будет фальшью.

Конечно, Чехов большой писатель, но он не пророк — отходит, стало быть, от русской традиции, и сам себя чувствует неловко в общении с такими горлопанами, как Лев Толстой и Горький. Чехов — не горлопан, вот в чем беда. «Деревня» и «Степь» — это рассказы гуманиста реалистической традиции. Реализм как литературное направление — это сопля, слюнявость, пытался прикрыть покровом благородности совсем неблагопристойную жизнь. Ханжеский призыв запретить гоступ секса в литературу лишь отделяет, отсекает художника реалистического направления от живой жизни. Просвещению по вопросам семьи не разрушит семью, которую разрушает семейная тайна, где в каждом браке скрыты тысячи сюрпризов самых зловещих. Просто государство из практических соображений не решилось осуществить фурыеристского идеала — отсечь детей от родителей, уничтожить семью как социальный институт буржуазного общества.

Продолжаем наш разговор, разговор о моей прозе.

Колымские рассказы — это поиски нового выражения, а тем самым и нового содержания. Новая, необычная форма для фиксации исключительного состояния, исключительных обстоятельств, которые, оказывается, могут быть и в истории, и в чело-

веческой душе. Человеческая душа, ее пределы, ее моральные границы растянуты безгранично — исторический опыт помочь тут не может.

Право на фиксацию этого исключительного опыта, этого исключительного нравственного состояния могут иметь лишь люди, имеющие личный опыт.

Результат КР — не выдумка, не отсев чего-то случайного; этот отсев совершен в мозгу как бы раньше, автоматически. Мозг выдает, не может не выдать фраз, подготовленных личным опытом где-то раньше. Тут не чистка, не правка, не отгелка — все пишется набело. Черновики — если они есть — глубоко в мозгу, и сознание не перебирает там варианты вроде цвета глаз Катюши Масловой — в моем понимании искусства абсолютная антихудожественность. Разве для любого героя КР — если они там есть — существует цвет глаз? На Колыме не было людей, у которых был бы цвет глаз, и это не aberrация моей памяти, а существо жизни тогдашней.

КР — фиксация исключительного в состоянии исключительности. Не документальная проза, а проза, пережитая как документ, без искажений «Записок из мертвого дома». Достоверность протокола, очерка, поведенная к высшей стелени художественности, — так я сам понимаю свою работу. В КР нет ничего от реализма, романтизма, модернизма. КР — вне искусства, и все же они обладают художественной и документальной силой одновременно. Познавательная часть дело десятое — для автора, во всяком случае. Познавательность, ценность ее — это как бы саморазумеющаяся важность и новизна. Даже в познавательной части КР — новая запись русской истории, самых скрытых и страшных [страниц] — от Антонова до Савинкова, от «Эха в горах» до «Исландской саги»<sup>5</sup>.

Память — это ленты, где хранятся не только кадры прошлого, всё, что копили все человеческие чувства всю жизнь, но — методы, способы съемки. Вероятно, возможно при некотором, может быть значительном, напряжении вернуться к способу КР — и мозг будет выдвигать лаконичные фразы.

Безусловно, возможно вернуть любое человеческое лицо, попавшее тебе на глаза в течение дня, вплоть до цвета халата какой-нибудь продавщицы. День может быть воскрешен во всех его подробностях. Я обычно [стремлюсь] как можно меньше запоминать, но глаз все ловит сам. И вспоминать вечером — страшно. Если это возможно за день, то возможно и за год, и за десять лет, за пятьдесят лет. Я стремился сохранить в памяти не детство<sup>6</sup>, [его] я могу вызвать при достаточном одиночестве и наглежащих метеорологических условиях (гавление, солнце, жара, холод должны быть в какой-то оптимальной норме). Холод же так страшен, что может вспоминаться при любой температуре. Напротив, при холоде (грожь озябших рук, окунание в холодную воду) холода и не вспоминается. Обстоятельства жизни тут не вспоминаются, просто существует боль, которую надо снять. Это не имеет отношения к писательской работе. Окуная пальцы в холодную воду, разглядывая снег, на Колыме не вернешься. Колыма в моей душе в любой жаре. Вот чтобы ее фиксировать, нужно одиночество городского типа, типа камеры Бутырской тюрьмы, когда городской шум, прибор лишь подчеркивают твою тишину, твое одиночество. Одиночества я никогда не боялся. Считаю одиночество оптимальным состоянием человека.

Написать ли пять рассказов, отличных, которые всегда останутся, войдут в какой-то золотой фонд, или написать сто пятьдесят — из которых [каждый] важен как свидетель чего-то чрезвычайно важного, упущенного всеми и никем, кроме меня, не восстановимого? Этот второй случай отнюдь не требует меньшей работы, чем в случае пяти рассказов. А пять рассказов не требуют большего усилия на каждый рассказ. И в том и в другом случае количество усилий — нравственных, нервных, физических, духовных — примерно одинаково. Речь идет только об очередности — и те и другие требуют разного настроения, разной подготовки, разной организации. Чему отдать предпочтение... Вопросы настолько важны — все! — новы, что трудно отдать чему-либо предпочтение в очередности.

Что начать в шестьдесят четыре года? Лишний том или два добавить вслеп «Аргисту лопаты» или воскресить Вологду? Или закончить Вишерский антироман — существенную главу и в моем творческом методе, и в моем понимании жизни? Или

<sup>5</sup> Рассказы В. Т. Шаламова об А. Антонове, руководителе крестьянского восстания в Тамбовской губернии 1919—1921 годах, и о В. Савинкове.

<sup>6</sup> В это время, в 1971 году, Шаламов работал над повестью «Четвертая Вологда» — о детстве и юности («...я не пишу ни истории революции, ни истории своей семьи. Я пишу историю своей души — не более»).



подготовить большой сборник стихов? Или гнать мемуарный том: Пастернак и так далее?

Конечно, работа над пятью рассказами при равной затрате времени потребует колоссального напряжения в работе над формой. Тут ничего нельзя выклеить, вымарать, поправить. Надо выдать совершенный текст. Вот это меня и пугает — напряжение много, не стихотворного порядка.

Стихотворное напряжение — это опущен повод, когда конь сам найдет дорогу в таежной темноте. Результат записывается, как самописцем след коня, потом правится, приводится в соответствие с человеческой грамматикой, и стихи готовы.

В прозе же типа КР эта правка остается за языком, за гортанью, за мыслью даже. Откуда-то изнутри проталкиваются на бумагу законченные фразы. Рассказы имеют свой ритм, конечно. Всякие — и те, что из ста пятидесяти, и те, что из пяти. Рассказ может быть импровизацией. Мой рассказ — документ — тоже импровизация. И все же он остается документом, личным свидетельством, личным пристрастием.

Я летописец собственной души. Не боле.

Таких рассказов очень много. До ста пятидесяти сюжетов, как я помню, было записано, и все сюжеты новые, ибо новизну материала я считал главным, единственным качеством, дающим право на жизнь. Новизну истории, сюжета, темы. Новизну мелодии.

Как объяснить, что Колымские рассказы — рассказы на звуковой основе, что прежде, чем вырвется первая фраза, прежде, чем она определится, в мозгу бушует звуковой поток метафор, сравнений, примеров, чувство заставляет вытолкнуть этот поток на решетку мысли, где что-то будет отсеяно, что-то загнано внутрь до удобного случая, а что-то поведет за собой новые соседние слова.

Для рассказа мне нужна абсолютная тишина, абсолютное одиночество. Я, горожанин, давно привык к городскому прибою, я считаюсь с ним не больше, чем на какой-нибудь гаче в Гурзуфе. Но людей со мной не должно быть. Каждый рассказ, каждая фраза его предварительно прокричана в пустой комнате — я всегда говорю сам с собой, когда пишу. Кричу, угрожаю, плачу. И слез мне не остановить. Только после, кончая рассказ или часть рассказа, я утираю слезы.

Но это все внешнее.

У меня ведь проза документа, и в некотором смысле я — прямой наследник русской реалистической школы — документален, как реализм. В моих рассказах подвергнута критике и опровергнута сама суть литературы, которую изучают по учебнику.

Но и это — внешнее.

Трудность заключается в том, чтобы найти, почувствовать какую-то чужую руку, которая водит твоим пером. Если это рука человека — моя работа подражание, эпитонство. Если же это рука камня, рыбы и облака — то я отдаюсь этой власти, возможно, безвольно. Как тут проверить, где кончается моя собственная воля и где граница власти камня? Тут ничего нет мистического — обыкновенное общение поэта с жизнью.

Я пишу несколько вещей сразу. Двести сюжетов у меня записано в тетрадке, двести фраз начато. Я пишу утром ту фразу, которая бы более подходила к моему сегодняшнему настроению. Работаю только летом, зимой холод сжимает мозг. Я могу обманываться, быть может, лето — вопрос привычки, тренировки, как когда-то был табак с утра — папироса за папиросой, пока я не доводил мозг до нужной кондиции. Эта нужная кондиция и есть вдохновение, а скорей настройка аппаратуры, отрыв от повседневности, прыжок волевой в рабочее настроение. Вдохновение как чудо, как озарение приходит не каждый день, и тут уж ты полностью бессилен остановиться в письме, останавливаешь[ся] при чисто физической усталости мускулов пальцев от карандаша. Ноют, как от рубки или пилки дров.

Но и это — внешнее.

Внутренним же является попытка разгадать самого себя на бумаге, выворотить из мозга, осветить какие-то гальные его уголки. Ведь я отчетливо понимаю, что в силах воскресить в своей памяти все бесконечное множество виденных за все шестьдесят лет картин. Где-то в мозгу хранятся бесконечные ленты с этими сведениями, и волевым усилием я могу заставить себя вспомнить все, что я видел в жизни, в любой день ее и час моих шестидесяти лет. Не за один прошедший день, а за всю жизнь. В мозгу ничего не стирается. Работа эта мучительна, но не невозможна. Тут все за-

висит от напряжения воли, от сосредоточения воли. Но дело в том, что напряжение иногда приносит ненужные картины — а для насыщения, удовлетворения, наполнения ежедневной страсти творческой достаточно немногих картин. Однажды не использованные картины опять наславиваются, чтобы быть вызванными через десять или двадцать лет.

Управления памятью не существует, а художественная память, ее потребность много отличается от памяти научной. Я перестал давно пытаться навести порядок во всей своей кладовой, во всем своем арсенале. И не знаю, и даже не хочу знать, что в нем есть. Во всяком случае, если часть скопленного, малая, ничтожная часть, хорошо идет на бумагу, я не препятствую, не затыкаю рот ручейку, не мешаю ему журчать. Творчески совершенно все равно — пишется ли публицистическая статья, или поэма, или рассказ, или очерк, или роман, только напряжение должно быть определенного вида, вовсе не такого, который требуется для подбора материалов исторической работы, научной работы, литературоведческого произведения.

Из мозга все это выхлывается само — на манер толчка сердечной мышцы, все это формируется внутри само, а всякое препятствие причиняет боль. Потом головная боль стихает, но ты уже ничего не запишешь — родник иссяк.

Большая разница — ловить на бумагу, записывать или наговаривать фразу на губах. Тут не один процесс, как бы два — смежных, но разных. На бумаге контроль столь же труден, поток трудно остановить — теряются находки, опаздываешь передать слово, чувство, оттенок чувства — вот почему не дописаны слова в рукописи: поток толкает письменную речь.

В предварительной звуковой отелке — без записи — процесс, очевидно, другой: там нет таких мучений, торможений, вырвавшихся слов, там само торможение считаю не столь важным элементом творчества, как в записи.

Лишний вариант отбрасывается, один остается и записывается. Это процесс другой явно. Малоэкономный — ибо в нем очень много потерь, которые исчезнут бесследно.

Я, как Тургенев, не люблю разговор о смысле жизни, о бессмертии души. Считаю это бесполезным занятием. В моем понимании искусства нет ничего мистического, что потребовало бы особого словаря. Сама многозначность моей поэзии и прозы — отнюдь не какие-то теургические искания.

Я считаю наиболее достойным для писателя разговор о своем деле, о своей профессии. И тут я с увлечением обнаруживаю в истории русской литературы, что русский — и не писатель вовсе, а или социолог, или статистик, или публицист, или все что угодно, но не внимание к собственной профессии, собственному занятию есть русский писатель. Тема писателя важна лишь Чернышевскому или Белинскому, Белинский, Чернышевский, Добролюбов. По журналистским понятиям каждый ничего не понимал в литературе, а если и давали оценки, то применительно к заранее заданной политической пользе автора. Вот так и хвалят такого писателя, как Толстой. А Пушкин был бы унижен анализом «Евгения Онегина» как «энциклопедии русской жизни».

Думать о том, что стихи могут иметь познавательное значение — это оскорбительно невежественная точка зрения.

Поэзия неизмеримо сложнее социологии, сложнее «да» или «нет» прогрессивного человечества, сложнее Некрасовских стихов. Некрасов сам был сужением русской поэзии. Сцена на его похоронах не делает чести русскому обществу. Если в стихе ищут познавательного значения, то нормальный человек обратится к истории культуры, литературы, просто к историку, будет статьи археолога читать как роман. Но принижать «Евгения Онегина», ища в нем каких-то совпадений с научным выводом историка, — это и безнадежно, и оскорбительно для поэта суждение.

Ученый, который в своей научной [работе] цитирует какие-то строки — то Гельдерлина, то Гёте, то античных авторов, — доказывает только, что он обращается только к содержанию, к мысли, отвергая самую душу, самую суть поэзии. Какое же тут сближение? Так называемая научная поэзия — это список второстепенных имен от Бернара де Брюсова. В Гомере ищут не гекзаметры, а прозаический, смысловой отрывок, а действительный контекст поэзии непереводим — ничего другого у Гомера и взять нельзя. Жуковский перевел нам Шиллера, но ведь это не Шиллер, а создание русских стихов на заграничном материале, гениальное, вроде «Замка Смальгольм».

Норберт Винер приводит цитаты из поэтов и философов. Это делает честь эрудиции кибернетика, но при чем тут поэзия? Надо ясно понять, что границы языка,

языковые барьеры — непреодолимы. Или надо подменить суть и душу ее [внешним] выражением, ни за что не отвечая, никого ничему на переводе не уча. Ученый не может приводить цитаты из поэтического произведения, ибо это разные миры. То, что для поэзии было подсобной задачей, случайной обмолвкой, то ученый подхватывает, включает в свою антипоэтическую аргументацию.

Главная поэтическая обмолвка — все это полутно, производно в результате его главной работы с чисто звуковым материалом.

Считается могным, как в средние века, — «капелька латыни» украшает человека, это мы знаем из средневековья, а также из бурных дискуссий двадцатых годов. Лангау выступает с цитатой из Виньона, а Винер — из Гёте, Оппенгеймер — из каких-то средневековых французских поэтов, — все это очень эффектно, но мало имеет отношения к поэзии и к науке и скорее наносит вред поэзии, затемняя ее истинную сущность, затемняя психологию творчества...

Наука, искусство и поэзия — миры несходные, это параллели, которые не пересекаются ни у Евклида, ни у Лобачевского.

Поэзия настолько далека от науки, насколько творческая проза отлична от научной. В поэзии нет прогресса — [нрзб] никакого. Поэзия непереводаема, не поддается прозаическому изложению. Те намеки, обмолвки, которыми оперируют в поэзии, научным методом не постичь. Да, наука в структурном смысле — присутствует, но ведь эта работа обречена на бесплодие, на отсутствие выводов. Поэзия — непостижима, хотя, конечно, существует и частотный словарь, и метрические особенности.

Поэзия скальдов, как она доходит до нас, — и не есть ли и это литературоведческий гипнозизм?

Литература никак не отражает свойства русской души, никак не предсказывает, не показывает будущее. Литература менее всего футурология, к сожалению...

## В ЛАГЕРЕ НЕТ ВИНОВАТЫХ <sup>1</sup>

Почему я не советовался ни с кем во всем моем колымском поведении, во всех своих колымских поступках, действиях и решениях? Из человеколюбия. Чужая тайна очень тяжела, невыносима для лагерной души, для поддльца и труса, скрытого на дне каждого человека.

Я боялся, что сообщенное мной ляжет тайной слишком тяжелой, посорит меня с моими исповедниками, ничего не изменяя в моем решении. Я не привык, не выучен слушать других и следовать их советам. Совет может быть и хорош, но обязательно плох тем, что это — чужой совет.

В лагере нельзя разделить ни радость, ни горе. Радость — потому что слишком опасно. Горе — потому что бесполезно. Канонический, классический «ближний» не облегчит твою душу, а сорок раз продаст тебя начальству: за окурочек или по своей должности стукача и сексота, а то и просто ни за что — по-русски.

Темной осенней ветреной ночью 1931 года я стоял на берегу Вишеры и размышлял на важню, большую для меня тему: мне уже двадцать четыре года, а я еще ничего не сделал для бессмертия. Лодочник мой, девяностолетний чалдон, взявшийся за трешник сплавить меня вниз по течению Вишеры за сто километров до управления, поднял кормовое весло. Старик оттолкнул челнок, вывел лодку на глубокую воду, развернул ее по течению поближе к стрежню, и мы полетели вниз с быстротой, превышающей силу тяжести, ту, что столько лет пригибала меня к земле.

Темной осенней ночью старик причалил челнок к песчаному берегу Вишеры — у лесозавода, где два года назад я работал замерщиком. Вода и ее движение, необходимость участия в повседневной, сиюминутной жизни летящего вниз челнока не давали возможности думать. Только позднее я смог подвести итоги первого моего испытания в самостоятельном плаваньи — на московской земле.

Я проехал весь штрафняк, весь Северный район Вишлага, притчу во языцех — канонизированную, одобренную людской психологией, угрозу для всех, и вольных, и заключенных, на Вишере, я побывал на каждом участке, где работал арестант-лесоруб. Я не нашел никаких следов кровавых расправ. А между тем Усть-Улс и паутина его притков до впадения в Вишеру были краем тогдашней арестантской земли.

<sup>1</sup> Из сборника «Вишерский антироман» (1970—1971).

А между тем следы эти были, не могли не быть. Ведь начальник конвоя Щербачков сам раздевал меня догола и ставил на выстойку под винтовку вольного чалдона — на арестантском этапе в начале апреля 1929 года по каторжному шляху Соликамск—Вижаиха.

Ведь кто-то застрелил тех трех беглецов, чьи трупы (дело было зимой) замороженные стояли около вахты целых три дня, чтобы лагерники убедились в тщетности побега? Ведь кто-то дал распоряжение выставить эти замерзшие трупы для поучения? Ведь арестантов ставили — на том же самом Севере, который я объехал весь, — ставили «на комарей», на пенек голыми за отказ от работы, за невыполнение нормы выработки.

Ведь только в начале тридцатых годов был решен этот главный вопрос: чем бить — палкой или пайкой, шкалой питания в зависимости от выработки. И сразу [выяснилось], что шкала питания плюс зачеты рабочих дней и досрочное освобождение — стимул достаточный, чтобы не только хорошо работать, но и избобрать прямоточные котлы, как Рамзин. Выяснилось, что с помощью шкалы питания, обещанного сокращения срока можно заставить и вредителей и бытовиков не только хорошо, энергично, безвозмездно работать даже без конвоя, но и доносить, продавать всех своих соседей ради окурка, одобрительного взгляда концлагерного начальства.

Главное ощущение после двух с половиной лет лагеря, каторжных работ — это то, что я покрепче других в нравственном смысле.

Колыма, где физические и нравственные мучения были уродливейшим и теснейшим образом переплетены, была еще впереди.

Сектант Петр Заяц, за которого я заступился, к удивлению, неудовольствию и неодобрению всего нашего этапа, всех моих товарищей, которые наполовину состояли из пятидесят восьмой статьи — «заговор Тихого Дона», а наполовину — из блаатрей-рецидивистов, в десятый раз принимавших срок и шедших знакомой каторжной дорогой, — сектант Заяц сам осуждал мое вмешательство, желая пострадать сам за себя. В лагере это главное правило — сам за себя. Стой и молчи, когда избивают и убивают соседей — вот первый закон, первый урок, который дал мне лагерь. Но заступался я за Зайца не для Зайца, не для утверждения правды — справедливости. Просто хотел доказать самому себе, что я ничем не хуже любых моих любимых героев из прошлого русской истории. Вот что вывело меня из строя, поставило перед мутные очи начальника конвоя Щербачкова. Я меньше думал о Зайце, чем о самом себе.

Одна из идей, понятых и усвоенных мной в те первые концлагерные годы, кратко выражалась так:

— Раньше сделай, а потом спроси, можно ли это сделать. Так ты разрушаешь рабство, привычку во всех случаях жизни искать чужого решения, кого-то о чем-то спрашивать, ждать, пока тебя не позвуют.

В 1964 году я встретился с Анной Ахматовой. Она только что вернулась из Италии после сорокалетнего перерыва таких вояжей. Взволнованная впечатлениями, премией Таормины, новым шерстяным платьем, Анна Андреевна готовилась к Лондону. Я как раз встретился с ней в перерыве между двумя вояжами ее заграничной славы.

— Я хотела бы в Париж. Ах, как я хотела бы в Париж, — твердила Анна Андреевна.

— Так кто вам... Из Лондона и слетаете на два дня.

— Как кто мешает? Да разве это можно? Я в Италии не отходила от посольства, как бы чего не вышло.

И видно было, что Ахматова твердит эту чепуху не потому, что думает: «в следующей раз не пустят» — следующего раза в семьдесят лет не ждут, — а просто отвыкла думать иначе. Женщина, присутствовавшая при этом разговоре, неоднократно пользовалась таким способом во время своих заграничных поездок. Но она не была Ахматовой. Вернее, Ахматова не была ею.

Что же мной понято?

Самое важное, самое главное.

В лагере нет виноватых.

И это не острога, не каламбур. Это юридическая природа лагерной жизни.

Суть в том, что тебя судят вчерашние (или будущие) заключенные, уже отбывшие срок. И ты сам, окончив срок по любой статье, самым моментом освобождения приобретаешь юридически и практически право судить других по любой статье Уголовного кодекса. Сегодня, 30 сентября этого года, ты — преступник, бывший и су-

щий, которого еще вчера пинали в зубы, били, сажали в изолятор, а 1 октября ты, даже не переодеваясь в другое платье, сам сажаешь в изолятор, допрашиваешь и судишь. Мародер, который грабит во время войны по приказу, вдруг узнает, что вчера отменили приказ, и его судят за мародерство, дают срок двадцать пять и пять, а то и расстреливают — премьера в юридической практике идет тяжело.

Что же изменилось в душе мародера?

Высшим выражением крыленковской «резинки», «перековки» была самоохрана, когда заключенным давали в руки винтовки — приказывать, стеречь, бить своих вчерашних соседей по этапу и бараку. Самообслуга, самоохрана, следовательский аппарат из заключенных — может быть, это экономически выгодно, но начисто стирает понятие вины.

О вине в лагере не спрашивают — ни начальство, ни соседи, ни сам арестант. В лагере спрашивают «процент», а есть процент, значит, у тебя и нет никакой вины.

Разве любой вредитель в чем-нибудь виноват? Лагерь и не ставит перед ним этого вопроса. «Да, — говорит начальник, — ты осужден на такой-то срок и должен себя вести так-то и так-то. А завтра кончишь срок и будешь командовать здесь же нами всеми от имени того же государства, именем и силой которого я держу тебя в тюрьме. Завтра! Только завтра! А сегодня я еще буду тебя лупить, пропускать сквозь конвейер».

Заранее данная, принципиальная невиновность заключенных и была основанием тогдашнего лагерного режима.

В лагере сидят жертвы закона, люди, на которых наведено орудие правосудия в каждый данный момент, не только год, а час и миг! Это очень далеко от понятия вины. Но в лагере и не пользуются таким — ни начальники, ни арестанты. Это относится к любой статье, кроме статей, преследующих уголовный рецидив, блатарей, но о блатарях речь особая. Ни в каком другом вопросе не совершено столько, не открыто столько кровавых беззаконий, как в вопросе о перевоспитании блатарей, вошедшем в историю советского общества под названием «перековки» и Беломорканала. Это относится к любой статье Уголовного кодекса. Поэтому вопросы вины трактуются в лагере иначе, чем до лагеря и после лагеря. Ни о какой вине и речи не идет, и «искупать» там нечего.

Так кто же в лагере сидит, если там нет виноватых? Там сидят жертвы закона, люди, на которых устремлен огонь орудий суда в данный день, час и миг. Кто попал под этот огонь, тот и сидит. Завтра орудия переводят на другую цель, а осужденные вчера остаются в лагере досиживать, хотя их преступление уже не считается опасным и не влечет за собой наказания.

Если такая жертва закона получила свободу, она сама стреляет, помогает наводить орудия суда на других.

Дело не в том, что преследуются какие-то политические группы населения — кулаки, вредители, троцкисты. Сам по себе набор статей бытовых — растраты, изнасилования, кражи, хищения имущества — тоже различен. Внимание суда привлекает то одна группа подсудимых, то другая. И необъяснимым образом внимание государства к прежним жертвам ослабевает. Носители их переждали в кустах расстрел и преследования, и вот уже они сами судят, сами отправляют в лагерь по той же самой статье, по которой их ловили еще вчера. А может быть, ловят и сегодня. Желая быть полноправным гражданином, организатор хищений, спекулянт, растратчик участвует в суде, а при «досрочном» — даже размахивает руками и голосует.

Тот, кто следит за орудиями истребления, поправляет их прицел — сам сегодня под этот огонь не попал, поэтому сам стреляет. А если не он, то его брат, отец, родственник.

Всякий осужденный за бытовое преступление знает еще из тюрьмы, из следствия, что его преступление вовсе не считается преступлением в лагере. Растратчиков, расхитителей судят сами непоиманные расхитители и растратчики.

«Перековка» дала и юридическое основание такого рода действиям. Какая же может быть вина в лагере, если в лагере самоохрана, а в более широком смысле — никого, кроме самоохраны, в лагере и нет, ибо отбывшие срок берут винтовки — охранять, берут палку — командовать.

Круг не может быть разомкнут.

Виноватых нет потому, что при досрочном освобождении, искуплении вины честным трудом, человек, поднимающий девять пудов одной рукой, искупает вину вде-

сятеро скорее, чем хлюпик-очкарик, не обладающий должной физической силой. Человек, поднимающий девять пудов одной рукой, вырастает в лагере как символ именно моральной силы. Он в почете у начальства, он освобождается сам и освобождает других на собраниях, приобретает право судить, [добавить срока], еще и сам не освобожденный из лагеря.

Тут нигде нет места такому понятию, как вина. Даже если ее считать за условную формулу столкновения человека и общества. За исключением воров-рецидивистов, стоящих вне общества и заслуживающих уничтожения, никто в лагере и не трактует «вину» как преступление — ни в теории, ни в практике.

Но и блатарей государство считало возможным [использовать] на той же «перековке и исправлении».

До «перековки» считалось, что в лагере есть две группы людей: жертвы правосудия и преступники — уголовные рецидивисты. Надлежало с помощью социально близких из жертв правосудия (следователей, осужденных за превышение власти, убийц — за превышение норм разраждения, растратчиков миллионных сумм, прокуренных в ресторанах, — всех этих «контингентов» на изыщном лагерном языке) бороться с уголовным рецидивом до самой смерти уголовников — ранней обычно из-за побегов, побоев, выстоек на комарах и прочее.

Блатарю ведь работать позорно. Он должен [отказываться вплоть до] симуляции самоубийства (резать живот писклой, заливаясь кровью, идти в изолятор), бежать. Когда-нибудь я дам анализ рецептов русской политической каторги, поведение которой было сходно с поведением уголовщины и многое заимствовало оттуда — побеги, голодовки, но сейчас речь о другом. Блатарь — отказник от работы, извечный враг любого государства — вдруг превращается в друга государства, в объект «перековки». В «перековку» вообразили, что блатарей можно обмануть, научить их труду. За высокий процент выработки блатарей освобождали, примеры Беломорканала, Москанала, Колымы известны всем и каждому в мире, мне кажется, не только в нашей стране. Теоретически была установка вернуть блатарей в число строителей социализма. Использовать и эту группу населения. Врагов государства заставить служить государству. За это советское общество заплатило большой кровью. Говорили, что нужно только «доверие» — и блатарь перестанет быть блатарем и станет человеком, полноценным строителем социализма, меняя природу, трудом изменяя свою собственную психологию. Все теоретические узлы развязывались легко.

Но вот дело в чем. Блатарь освобождался, выработав сто пятьдесят или двести процентов плана. Оказалось, что друзья народа, какими оказались рецидивисты, официально выполняют норму на триста процентов и подлежат немедленному досрочному освобождению. Немало лет потребовалось, пока нивозым работникам лагерей удалось убедить высшее начальство, что эти триста процентов — чужая кровь, что блатарь не ударил палец о палец, а только бил палкой своих соседей по бригаде, выбивая «процент» из нищих и голодных стариков и заставляя десятников приписывать в наряд именно ему, блатарю, этот кровавый процент. Это доверие привело к такой крови, которая была еще невиданна в много испытывавшей России.

Вся эта кровь ясно проступала еще на Вишере, еще до зачетов рабочих дней, до досрочного освобождения. Но уже при «разгрузках», при приездах комиссий, по соловецкой песне:

Каждый год под весенним дождем  
Мы приезда комиссии ждем...

Система досрочного освобождения за честный труд есть прямой вызов правосудию.

Если есть суд — то нет досрочного освобождения, ибо только сам суд — верховный орган власти, состоящий из узкого круга квалифицированнейших, опытейших юристов, работая день и ночь, — сам определяет в своих высших инстанциях меру наказания за то или иное преступление против закона, определяет детально, до самой мелочи, до дня и часа вопросы срока, режима, взвешивая все обстоятельства на самых высших юридических весах, и никто не может нарушить, изменить, поправить его верховную волю.

А если есть досрочное освобождение, то, значит, нет суда, ибо никакому начальнику ОЛПа Чебоксарского района, безграмотному старшине, не может быть дано право изменить срок наказания. Ни увеличить — по рапорту такого начальника, ни

сократить по ходатайству такого начальника, да еще снабженного ходатайством, решением общего собрания самих заключенных. Никакое общее собрание самих заключенных не может никого освобождать из лагеря или уменьшить меру заключения, определенную судом.

Вышинский, защищавший теорию возмездия, — преступник, отдавший себя на службу Сталину. Но Вышинский был юрист.

В двадцатые же годы действовала знаменитая «резинка» Крыленко, суть которой в следующем. Всякий приговор условен, приблизителен: в зависимости от поведения, от прилежания в труде, от исправления, от честного труда на благо государства. Этот приговор может быть сокращен до эффективного минимума — год-два вместо десяти лет, либо бесконечные продления: посадили на год, а держат целую жизнь, продлевая срок официальный, не позволяя копиться «безучетным».

Я сам — студент, слушавший лекции Крыленко. К праву они имели мало отношения и не правовыми идеями вдохновлялись. «Резинка» опиралась на трудовой экономический эффект мест заключения плюс — по теории переделки души арестанта в направлении коммунистических идеалов — применение бесплатного принудительного труда, где главным рычагом была шкала питания арестанта по такой зависимости от нормы выработки: «что заработал, то и поешь» и прочие лагерные модификации лозунга «кто не работает, тот не ест».

Желудочная шкала питания сочеталась с надеждой на досрочное освобождение по зачетам. Все это разработано чрезвычайно детально, лестница поощрений и лестница наказаний в лагере очень велика — от кардерных ста граммов хлеба через день до двух килограммов хлеба при выполнении «стахановской» нормы (так она и называлась официально). Стахановская карточка печаталась, заказывалась и выдавалась, так и сам Берзин без тени юмора считал именно такую операцию истинным применением стахановских идей в трудовом концлагере. Зная ограниченность Берзина, можно было верить, что он самым серьезным образом относился к своим словам. Выступления этого рода Берзин делал и на Колыме. Достаточно почитать тамошние газеты тогдашние.

Так проведен был Беломорканал, Москанал, стройки первой пятилетки. Экономический эффект был велик.

Велик был и эффект растреления душ людей — и начальства, и заключенных, и прочих граждан. Крепкая душа укрепляется в тюрьме. Лагерь же с досрочным освобождением разлагает всякую, любую душу — начальника и подчиненного, вольнонаемного и заключенного, кадрового командира и нанятого слесаря.

Убийц я знал много. Рядом со мной в лагерном бараке спал милейший человек Миша Булычев, бывший бухгалтер из Горького. Горький в те годы давал тысячами растратчиков — судебная машина косила именно по этой статье направо и налево года два, и Миша Булычев стеснялся своего преступления. Ему казалось, что растратчики — это эпидемия, заболевание, переболел — и выпустили на волю здоровыми в правовом смысле людьми. Сам Миша был осужден за убийство — убил жену половинкой кирпича из ревности во время приступа запоя. Миша Булычев в лагере увидел, что не только его статья считается легче, чем сто шестнадцатая за растрату — та была «модной», но и вообще он-то, Миша Булычев, со своей статьей — первый человек в лагере. Что требуют даже его характеристики на товарищей-горьковчан — можно ли их освобождать досрочно, по мнению Миши Булычева. Миша давал характеристики. Вскоре обнаружилось, что и регулярные запои обходятся в лагере еще дешевле, чем на воле. Как-никак Миша был бухгалтер по бытовой статье.

Уже позднее, в Сусумане, я спал с блатарем Соловьевым, который взял в побег фраера «на мясо», убил его, ел, пока был «во льдах», а осенью мороз «выжал» Соловьева из тайги в поселок. Соловьева судили, дали двадцать пять и пять — у него и так было лет двести лагерного срока, собранного двободным образом.

Соловьев провел в тепле, ожидая суда, зиму, а весной опять бежал, опять съел человека. Продолжил колымскую «сказку про белого бычка».

Как его сравнить с Мишей Булычевым — а в лагере и к тому и к другому относились одинаково? К убийце в лагере не относятся как к убийце. Напротив, от первого до последнего дня заключенный-убийца чувствует поддержку государства — ведь он бытовик, а не трюксист, не враг народа. Он — жертва обстоятельств, не больше.

Это так и есть. Нераскрытый убийца — не сегодняшшний убийца, нераскрытый убийца судит раскрытого за то, что тот перешел черту, зашел в опасную зону.

Где же тут понятие вины?

Искупление вины рассчитывается на проценты, или, как в лагере говорят, «проценты». Твоя свобода в твоих руках. В лагере обсуждают не вину, это никого не интересует — ни начальство, ни самих арестантов, — все понимают нелепость искупления какой бы то ни было вины. Обсуждают способы досрочного освобождения из лагеря — цену, какую может заключенный за это досрочное освобождение заплатить.

И еще я понял другое: лагерь — не противопоставление ада раю, а слепок нашей жизни и ничем другим быть не может.

Почему лагерь — это слепок мира?

Тюрьма — это часть мира, нижний или верхний этаж, все равно, с особыми правилами и правилами, особыми законами, особыми надеждами и особыми разочарованиями.

Лагерь же — мироподобен. В нем нет ничего, чего не было бы на воле, в его устройстве социальном и духовном. Лагерные идеи только повторяют переданные по приказу начальства идеи воли. Ни одно общественное движение, кампания, малейший поворот на воле не остаются без немедленного отражения, следа в лагере. Лагерь отражает не только борьбу политических клик, сменяющих друг друга у власти, но культуру этих людей, их тайные стремления, вкусы, привычки, подавленные желания. Какой-нибудь Жуков, Гаранин, Павлов приносят в лагерь вывернутое дно своей души.

Лагерь — слепок еще и потому, что там всё как на воле: и кровь так же кровава, и работают на полный ход сексот и стукач, заводят новые дела, собираются характеристики, ведутся допросы, аресты, кого-то выпускают, кого-то ловят. Чужими судьбами в лагере еще легче распоряжаться, чем на воле. Все каждый день работают, как на воле, трудовое отличие — единственный путь к освобождению, и, как на воле, легенды эти оказываются ложными и не приводят к освобождению.

В лагере убивает большая пайка, а не маленькая — такова философия блатарей. В лагере ежечасно повторяется надпись на воротах зоны: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства».

Делают доклады о текущем моменте, подписываются на займы, ходят на собрания, собирают подписи под Стокгольским воззванием.

Как и на воле, жизнь заключенного состоит из приливов и отливов удачи — только в своей, лагерной, форме, не менее кровавой и не менее ослепительной.

Люди там болеют теми же болезнями, что и на воле, лежат в больницах, поправляются, умирают. При всех обстоятельствах кровь, смерть отнюдь не иллюзорны. Кровь-то и делает реальностью этот слепок.

Публикация И. П. СИРОТИНСКОЙ.

---



---

---

ЕЛЕНА БЛАГИНИНА

(1903—1989)



О БЕРЕГЕ МИЛОМ

\* \* \*

За окнами сосны шумят вековые.  
Там снег по колено, там очень темно...  
Умершие входят в мой дом как живые,  
Садятся за стол, наливают вино.

У самого старшего руки озябли,  
Он держит неловко тяжелый бокал.  
Он тихо смеется: «Не руки, а грабли!  
Такие бокалы — не этим рукам!»

А младший ребячьим восторженным взором  
На книги глядит, на цветы, на ковер,  
На весь этот дом невеселый, в котором  
При жизни минуты одной не провел.

Все в сборе как будто... Ну что же, я рада —  
Родные мои у себя за столом:  
Вот этот не выстоял у Сталинграда,  
А этот — под Псковом, а тот — под Орлом.

А этот — с английскою трубкой в кармане.  
Достань же ее да набей табаком!  
Он с мужеством кротким погиб в Магадане —  
В бараке холодном, под грубым мешком.

Носитель суровый великой идеи,  
Фанатик! Из тех, что идут на костер.  
Его же схватили в ночи лиходеи,  
А мы не отмстили еще — до сих пор!

А этот! С традициями Дон-Кихота,  
Провидец своей неуютной судьбы.  
Погреться пополз из промерзшего дзота  
И умер, сраженный у финской избы.

А этот! В столице — на грохот разрыва,  
На вьюгу пожара летящий стрелой,  
Сносивший смертельную боль терпеливо  
И в возрасте Пушкина ставший золой.

А этот! Красавец, остряк, непоседа,  
Чистейший, как сталь, и веселый, как ртуть...  
Не флаг на рейхстаг,  
Не салют,  
Не Победа,  
А пуля как дуля,  
И в этом — вся суть.

А этот! Мальчишка со школьной скамейки,  
Как взяли такого? Нет! Ты погляди:  
Артерия бьется на худенькой шейке,  
И сердце, как перепел, в слабой груди.

Куда ты годишься, бездомная птаха?  
Что доблесть твоя перед этой войной?  
Ты в первом бою задохнулся от страха,  
А умер уж после... Видать, от взрывной.

А этот — разведчик, поэт, заводила,  
Прошедший сквозь грязь, сквозь кровавую тьму.  
Погибель за ним неустанно ходила,  
А пути расставила дома ему.

Его доконали растленные хамы,  
Хапуги и твари (их много, их рать!).  
Итогом огромной общественной драмы  
Осталась стихов небольшая теградь.

А этот! В поношенном кителе белом  
Старик, не согретый застуженных рук,  
Родной мой... лежащий теперь за пределом  
Любви и страданий, встреч и разлук...

Да что ж это! Нет никого и в помине!  
За окнами — ветер. Там очень темно.  
Под светом неярким играет в графине  
Тяжелое, терпкое жизни вино.

Гомельно, 3 декабря 1951 г.



Ах дом мой, пристанище Чуда,  
Люблю твой высокий накал...  
Здесь был понаслышке Иуда  
И хлеб в солоницу макал.

А мы и не знали об этом!  
Да, впрочем, не все ли равно —  
Известно, глушцам и поэтам  
Разумными быть не дано.

А может, он думал — так надо!  
А может, он верил — враги!  
...И яростней Дантова ада  
Пред нами разверзлись круги.

Вергилий, какой там Вергилий!  
Был прост этот гаденький ад:  
Котомка — пудовою гирей,  
Параша, кирка да приклад.

Но где же наш друг, наш приятель?  
Живехонек, цел, невредим...  
Евангельский рыжий предатель  
Мечтатель в сравнении с ним!

### Бессонница

Моих бессонниц  
Кромешный ад,  
Как древних звонниц  
В ночи набат.

Народ к воротам:  
Спасенье где ж?  
Незнамо, что там —  
Пожар, мятеж?

Округа взвыла:  
— Горим, горим! —

Трещат стропила,  
Клубится дым.

К тыну от тына  
Рвется, свистя...  
Мычит скотина,  
Кричит дитя.

Да это ж гетто?  
Нет! Освенцим!  
Нет! Вся планета:  
— Горим! Горим!..

### Одиночество

И живу я — Богом забытый,  
Телефон молчит, как убитый,  
И дверной звонок ни гу-гу.  
А бывало, Господи Боже,  
Сколько к нам друзей было вхоже,  
И припомнить всех не могу.

Но одни отошли навеки,  
А другие — тоже калеки.  
Этот сделался знаменит,  
Где-то ходит, важный и сытый.  
Телефон молчит, как убитый,  
И дверной звонок не звонит.

### Коктебель

Не море сияет, и блещет,  
И плещет в глаза синевою,  
А стонет металл, и скрежещет,  
И жалуется, как живой.

И в скрежете этом постылом  
Всегда, наяву и во сне,  
Я помню о берегу милым,  
О кроткой его тишине.

О той невысокой вершине,  
Где солнечно и ветровó,  
Где спят неразлучные ныне  
Поэт и Подруга его.

\* \* \*

Она меня покинула,  
В ночи кромешной сгнула,  
Она меня оставила,  
Насильно жить заставила.

Морской волной отхлынула,  
Отхлынула, отпрянула,  
Как облако растаяла.  
Она меня покинула,  
Она меня оставила.

---

---

ЗУФАР ГАРЕЕВ

★

## КОГДА КРИЧАТ ЧУЖИЕ ПТИЦЫ

*Рассказ*

**С**тарик Фирсов Дмитрий Андреевич был еще крепкий пожилой человек. Иногда, правда, он сам над собой посмеивался, говорил, притворно вздыхая: «Пора уж хоронить старика». Но это было что-то вроде кокетства: он чувствовал себя добротным и знал, что жить будет еще долго. Несколько лет назад он вышел на пенсию — был комбайнером. Завел с тех пор крепкое хозяйство, и жили они с женой хорошо, слаженно. У них была дочь Нина. Но она давно, лет десять назад, уехала из поселка. Писала редко, о себе не сообщала ничего. Было как-то непонятно старикам, что она там, в городе, то ли актриса, то ли поэтесса, поскольку знакомые ее, судя по письмам, были сплошь артисты да поэты. Была у стариков мысль, что она ни то, ни другое, а попросту неудачница, хотя денег она никогда не просила. Фирсовых давно уже про дочь не спрашивали, но когда спрашивали, крепкое чело старика хмурилось и он отвечал односложно: где-то там, в городе, в большом-большом городе... И было ясно, понятно, что она никогда не приедет в поселок; да и старики не очень-то скучали без нее.

Тем более они были удивлены, когда однажды — а было это в конце июля — получили телеграмму: выезжает, мол, просит встретить, поезд такой-то...

Старуха Фирсова пожала плечами:

— Соскучилась Нина наша...

— Соскучилась, — ядовито ответил Фирсов, — так вот взяла и соскучилась...

Известие это было ему неприятно. Он повертел телеграмму в руках. Любопытная почтальонша стояла рядом, уже готовая задать вопрос, — с ухмылочкой, как показало Фирсову.

— Ну, вы идите, Валентина Александровна, — сказал он неприятно, — что ж вы встали?

Почтальонша — а жила она через дом от Фирсовых и по-соседски как бы имела право знать больше, чем остальные, — посочувствовала:

— Не расстраивайся, Дмитрий Андрееч. Поживет и уедет: скучно будет ей здесь...

— Ну-ну... — старик ответил обычно, как бы успокоился.

Вечером старики, как всегда, сели смотреть телевизор — как всегда при открытых окнах, при приятной прохладе. Эта прохлада шла от мокрых, обтекающих кустов малины и смородины, которые старик поливал, после того как садилось солнце. Поливал он из шланга — мотор «Кама» был совмещен с ручной колонкой во дворе.

Привычного покоя, однако, не ощущалось. Фирсов сидел на софе в опрятных, чистых шароварах. Босые ноги его, как всегда, отдыхали на зеленом ковре какого-то затейливого узора. Но он не мог сегодня углубленно вникать в программу «Время». Как будто бы что-

то чужеродное уже находилось в доме — и теперь надо было напрягаться, чтобы постичь его смысл. Он давно свыкся с мыслью, что у него нет никакой дочери. Город он не любил, боялся города, хотя страх этот и нелюбовь эта не были какими-то уж вовсе дремучими, постыдными для человека нашего времени. Он не любил город и все, что было связано с ним, скорее отдаваясь смутным ощущениям, допуская мысль, что, может быть, не прав.

Дочь он тоже не понимал. Она много и неразборчиво гуляла в ранней молодости, в девушках, была чудачкой, но иногда становилась злой, яростливой: много плакала, чего-то все таилась от родителей, тайком ездила в район делать аборт. А теперь вот еще неудачница — не пришей рукав. Хотя, конечно, Фирсов в конце концов мог плюнуть на какие-то там предрассудки и пройтись с ней по поселку нормально и степенно... до магазина, что ли, и обратно. И с каждым встречным-поперечным мог в принципе достойно поздороваться.

С тем он и уснул. А наутро выкатил свой «жигуленок» и часа через полтора был на станции.

Дочь была без вещей. Только небольшая яркая сумка, как у пастушка через плечо, что Фирсова покорило. И странно, как-то непривычно одета: все какое-то просторное, с чужого как бы плеча — пиджак не пиджак, штаны не штаны, как беженка. Старик Фирсов размышлял: богато это все или от бедности; сориентировался на телевизор и решил: модно. Но поразила его язвочка на верхней губе дочери. Недавно старик был в районной поликлинике и прочитал в «Санпросветбюлетене» про сифилис, и особенно ему про язвочки запомнилось. Фирсов сразу решил: сифилис! И сейчас с обидой, оскорбленно подумал: как же так — больная заразно, а разъезжает. Совесть есть или нету совести?

— Как громко шумят... — сказала Нина.

— Что громко? — не понял Фирсов.

— Тополя... Давай подойдем...

Прибывший поезд уже ушел, на станции было тихо, только слышался громкий шелест тополей на глиняном отшибе, исполосованном тропинками. Их кроны кипели на серебряном июльском ветру. Их вечная жизнь соседствовала с людской жизнью на станции и наполняла ее каким-то щемящим смыслом.

Нина высоко задрала голову, когда они остановились под тополями.

Впрочем, здесь было грязненько: валялись бумага, консервные банки. Стволы были исписаны непристойными словечками. Старик Фирсов незаметно посмотрел по сторонам: не глядят ли на них люди. Также ему казалось, что где-то здесь рядом должен быть сержант милиции. В прошлый раз, когда Фирсов был на станции, сержант здесь, под тополями, все не мог поставить на ноги какую-то пьяную бабу — так и бросил.

Старик Фирсов вздохнул и промолвил:

— К Ильчихиным приезжала дочь с мужем. Люди солидные, с высшим образованием оба... Ты Лариску Ильчихину помнишь?

— Да, — ответила дочь, да как-то глухо, не смотря на старика.

— Хотя, конечно, — добавил старик, — высшее образование — это, можно сказать, не самое главное, но оно спасает от унижения... Так сказал старик и призадумался, какой вести разговор дальше. Дочь вновь посмотрела высоко.

— Ну и что же Ильчихины?

— Рады, конечно, — оживился Фирсов и прибавил: — Мы бы поехали, что ли... Чего здесь стоять, мы же не бездомные. Я тебе в машине все расскажу...

Дочь посмотрела на станцию и спросила:

— А крушения поездов бывают здесь? А пожары? Или заносы? А может быть, потопы?

— Какие потопы? — пробормотал старик. Чутьем он понял, что с дочерью ему надо вести себя угодливо. Ему казалось теперь, что на них уже оглядываются, а на нее смотрят особенно недружелюбно, нестерпимо ему хотелось одного — увести ее в машину.

— Почему же не бывает завалов и потопов? — капризно переспросила Нина. — На вокзале всегда бывают потопы и всякие стихийные бедствия...

— Какие, к черту, потопы! — прошипел Фирсов; сколько же было можно испытывать его терпение. — Пошли!

Он взял ее под руку, силой прижал локоть, и они — со стороны вполне прилично — пошли в сторону машины. Нина вдруг обмякла, что злорадно ощутил Фирсов, только сказала ласково, непонятно, впрочем, что имея в виду:

— Ничего, папа, ничего...

В пристанционном палисаднике играл аккордеон и кто-то сипло, не в лад пел. Голос этот, некрасивый, без выражения, непонятно для чего набирался и набирался в силе. В низеньком окошке парикмахерской за геранями мелькнуло красивое женское лицо. Было уже душно — день обещал быть жарким.

Выехали со станции, проехали карьер, некоторое время катили по бетонке, потом свернули на пыльную проселочную дорогу.

Нина достала из сумки бутылку лимонада и стала шкрябать пробкой по дверце. Пена полетела ей на одежду, она не обратила внимания на это. Она отпивала из бутылки, поглядывала в окно, а Фирсов косился и прикидывал: если скребнула по ручке — оставила глубокий, смачный след, а может, и кусок никелировки отлетел, кто знает... «И как она так небрежно, не спросясь», — думал он с обидой.

— Воды хочешь? — Нина протянула бутылку.

Мысль, что к горлышку прикасалась ее опасная язвочка, возмутила старика. Фирсов, однако, подавил раздражение, коротко мотнул головой, спросил:

— Ну и где ты, в общежитии живешь? Или квартира есть? А зарплата какая?

— Это все неинтересно, — вяло ответила Нина после молчания. — Конечно, у всякой квартиры есть муж, а вместе у них есть зарплата...

— Ты что, тайком бегаешь от него по своим интересам?

— Нету мужа. И квартиры нет. А зарплата есть. Но бывают силеные вечера: небо дышит, и ты пьешь его глазами... И понимаешь, не хватает к этому горемычному пьянству под небом мужа с квартирой или квартиры без мужа.

— Нет, ты с кем разговариваешь! — психанул Фирсов. — Есть квартира? Где работаешь? Кто муж — если есть? Запомни, — Фирсов резко крутанул руль на повороте, — ты с отцом разговариваешь!

Она медлительно, откидывая голову, закрывая глаза, по-прежнему отпивала из бутылки. Время от времени она смотрела в боковое стекло. За ним было поле — ярко-зеленое, свежее, как будто бы оно за долгие-долгие годы нисколько не устало жить однообразной жизнью: с каждым циклом природы его снова и снова хватало на веселую, беспечную свою жизнь...

— К нам надолго? — задал наконец свой главный вопрос Фирсов.

— Не знаю. Может, на день. Взяла и уехала от друзей, от знакомых...

— Ну и что же, — спросил Фирсов после некоторого размышления, — эти все твои друзья-знакомые — они холостые, что ли? Без семьи, без детей?

Старик стал круто выкручивать на повороте. Нину невольно примкнуло к отцу. «Не знаю я об этой болезни ничего,— старику было брезгливо,— побежденная она медициной или нет?»

Для себя он решил построже с ней быть: не целоваться, не дотрагиваться. Он включил транзистор, нашарил музыку, а дочь в каком-то приподнятом тоне сказала:

— А вы как здесь, папа? Как наш дом?

Был этот тон какой-то вычурный, словно она эти слова говорила со сцены, но старик различил в ее голосе тепло. И в его душе стало разгораться наивное доброе чувство — скованность и раздражение стали будто бы исчезать потихоньку.

— Как мы здесь? Да помаленечку... Я в совхозе все работал, на пенсию вот вышел. Был передовиком социалистического соревнования,— добавил он казенную фразу, от которой, впрочем, ему стало как-то неловко. — Мне и премию большую перед пенсией дали...

— Ну да?

Фирсов хихикнул от удовольствия.

— Совхоз поощрил. Мы со старухой еще немного прикопили — и вот купили машину. Два года уже прошло... Цветы выращиваем, я в область ездю продавать. И овощей когда в сезон прихватишь, хорошо идут, прямо с колес... — Старик и вовсе оживился: — И для собственного удовольствия, ну и для денег. Когда похоронят на собственные деньги — как-то спокойнее, приятнее перед людьми — не украть... Правильно я говорю?

«А может, и не болезнь у нее,— тем временем думал он.— С чего это я взял?»

Был Фирсов мнительный, но не любил, когда лишний раз ему кто-нибудь напоминал об этом со смешком. Он смолк, углубился в свои мысли.

— А ты помнишь,— сказала дочь, вновь отвернувшись к боковому стеклу,— у нас стайка сгорела, когда поросят купили? Помнишь? И все шутили вы: наплодят, торговлю по весне разведем, по шестьдесят рублей...

— Ну?

«Сейчас скажет: я видела, что проводка воспламенилась, могла предупредить, а не захотела почему-то... А я-то знаю, что видела и не сказала... А поросенок тогда еще не было, только собирались их покупать, перепутала ты, матушка...»

— Я видела, как проводка воспламенилась...

Слепень, дремавший на боковом стекле старика, отчаянно дернулся, зажужжал. Старик накрыл его рукой и сказал:

— Знаю.

— А я знала, что ты знаешь, я все эти годы знала... — И она засмеялась сухо, трескуче.

Чувство в старике потухло, вернулось знакомое томительное раздражение, которому, казалось, не будет конца. Теперь они ехали молча. Жара усиливалась. Нина проговорила, копясь в сумке:

— Жарко... Хорошо бы искупаться, папа... Тут есть где-нибудь? Я и купальник с собой прихватила...

Странные мысли родились в голове старика; он не сразу ей ответил, скрытно ухмыльнулся:

— Подожди маленько, доедем до хорошего места, там вода широкая, тихая...

Вскоре из зелени вынырнула блистающая река. Старик остановил машину повыше места, где она делала мягкий поворот. Здесь вода была тоже глубокая и темная — здесь были смертельные воронки, как знал старик. В том году здесь утонули два солдата.

Дочь зашла за машину, стала сбрасывать одежду, она говорила:

— Тыходишь в воду, она все ласковее и ласковее обнимает тебя — до груди, до сердца... Ты когда-нибудь испытывал такое, папа?

Она помахала ему рукой у воды и стала входить. Фирсов смотрел. Вода дошла ей до пояса; еще несколько шагов — и дальше, как знал старик, было круто и навсегда.

Дочь остановилась и, немного помедлив, обернулась. Старик похолодел. Ему показалось, что дочь сейчас скажет: «Я знаю, что ты знаешь...» Скажет глубоко и спокойно: папа, я знаю, что ты знаешь...

— Иди, иди... — ласково проговорил Фирсов; их разделяло метров десять.

— Там, у тебя за спиной, ветер... — проговорила Нина.

— Что за спиной? — не понял Фирсов.

— Ветер...

— А... — Старик угодливо улыбнулся. — Понимаю, ветер... как же, очень даже ветер... дует, так сказать... ну ты, доченька, иди, иди дальше в воду, поплавай...

Теперь мысли у старика были беспорядочные — неожиданная возможность покончить со своим беспокойством навсегда торопила их. И он силно повторил, уже приказал почти что:

— Иди!

— Там у тебя за спиной промозглый ветер, папа!..

Вдруг под небом родился рокот моторной лодки. И тут же сама она выскочила из-за широкой излучины и вскоре поравнялась со стариком.

— Привет, Фирсов! — закричали с лодки.

А Нина уже шла обратно, она как бы убегала от настигающей волны. На берегу она коротко бросила:

— Мне расхотелось, папа... Место какое-то странное, неуютное...

В машине сидела притихшая, на старика ни разу не посмотрела до самого дома.

Скоро они приехали. Фирсов остался во дворе повозиться с машиной, бросил дочери совершенно равнодушно:

— Иди, мать тебя там встретит...

Старуха Фирсова была сухопарой молчаливой женщиной. Своих искусственных челюстей она не любила, часто снимала их посреди дня. Тогда ослабший рот ее становился похож на морщинистый мешочек, стиснутый резиночкой. Челюсти она опускала в стакан с холодной водой, за свежестью которой, кстати, тщательно следила. Они покоились там — розовые, как земляничное мыло, облешенные пузырьками.

Нина вошла в просторную избу, старуха Фирсова сидела за пустым столом.

— Привет, мама! — В крепкой сельской избе ее приветствие прозвучало, наверно, легковесно.

— Здравствуй, Нина. — Старуха отвечала сухо и как-то высокопарно. Она неловко обняла дочь, потом сказала: — Поживешь в маленькой комнате, где гардероб...

Маленькая, затемненная палисадником комната с гардеробом была самая уютная, как помнила она еще из детства. Нина вошла и остановилась у окна. В окно рвалась зелень — голубой тюль не пускал ее. Нина отодвинула ткань, забросила ее легкий шлейф на белый куст и спросила, как бы испугавшись того, что сделала что-то не так:

— Можно так, мама?

— Можно, — бесцветно отвечала старуха. — А чего же без вещей?

— Я ненадолго совсем. Да и нет у меня никаких вещей...

Это обстоятельство заставило старуху замкнуться.



— А я бы сейчас помогла чемоданы распаковывать... — проговорила она, будто бы обидевшись. Постояла сзади — дочь глядела по-прежнему в затемненное окно, и рука ее тянулась к сирени — и, уходя, предупредила: — Буду чай накрывать.

Еще одно обстоятельство тревожило старика Фирсова, надо сказать. Дело в том, что в поселке гостило областное телевидение. Шли репетиции. Готовились заснять на пленку передачу, которая называлась то ли «За чашкой чая», то ли «От всей души», то ли «После страды». Старики Фирсовы были приглашены тоже. Старик Фирсов учил наизусть глубоко душевную речь, старуха тоже учила. Через день они ходили в Дом культуры на репетиции. Там молодой оборотистый режиссер вышагивал царьком между столами с чашками и самоварами, в которых пока что, правда, не было чая, и напористо говорил:

— Главное, товарищи, не таращиться в камеру. Как будто бы вас никто не снимает. Сидим спокойно и достойно, руки на коленях, они отдыхают после тяжелого, самоотверженного труда...

Все в новых топорщистых костюмах, при орденах, медалях и других почестях, сидели тяжело и чопорно: все как один коротко стриженные, крепкоголовые. Это-то мимолетное обстоятельство весьма почему-то нервировало режиссера — человека тонкого. Режиссер закатывал глаза, бурно падал в кресло, задирая ввысь руки — к слову сказать, короткие, пухлые, — и капризно кричал в адрес бедолаги-оператора:

— Не надо с затылков, о господи! Не надо этого странного плана!

И поглядывал на сельскую публику, как в зеркало. Он подмечал в глазах сельской публики восторг, испуг перед его красивым отчаянием.

И теперь Фирсову казалось, что приезд дочери будет иметь какое-то неприятное влияние на будущую телепередачу, а может быть, и вовсе сорвет ее.

Но рассказывали старики за чаем про эту передачу степенно. Умолчали только об одном — что всех будут снимать с сыновьями, с дочерьми, с зятьями, в общем, богатые трудовые династии.

Нина, однако, никакого любопытства не проявила, и даже ей скучно было все это слушать, что старика как-то обнадежило. Но все, похоже, было против Фирсова в эти дни. В самый разгар чая появился у калитки режиссер, помахал рукой. Старуха воскликнула нечто несурзное:

— Махмед Мамлиевич! — И пошла открывать.

Подвижный режиссер — золотозубый, полноватый — прямо с порога устремился к Нине:

— Наслышан, Нина Дмитриевна, наслышан. Как же — интересная судьба, прямо хоть фильм снимай. Родители — простые, скромные люди, а дочь в Москве, артистка. Ахмед Агамалиевич, — протянул он руку для знакомства, необычно ловко для своей конституции изогнулся и поцеловал ее руку, чуть закатил глаза и с легкой игривостью в голосе произнес: — Узнаю, духи «Шанс»...

— Я не душусь вообще, — ответила Нина.

— Я фантазер, —нисколько не растерялся режиссер. — Люблю гипотетические миры. Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман... Итак, какова ваша альма матер, так сказать?.. Извините, Нина Дмитриевна, что я сразу к делу, профессия обязывает...

— Я кончила филологический факультет МГУ, — сказала Нина. — Никакая я не артистка.

Это не опечалило режиссера:

— Приходите к нам просто так... — Он, не стесняясь присутствия стариков, стал шептать ей на ухо: — Приходите, вы будете украшением передачи. Честно говоря, очень приятно будет видеть среди

затылков и пиджаков такое таинственное, одухотворенное, если хотите, лицо...

Вот такое заманчивое предложение получила Нина, но ответила с некоторой неприязнью:

— Это таинственное лицо наполовину заслонено простудным прыщом. Я все-таки женщина и должна, кажется, к подобным вещам относиться ревниво... Но не в этом дело — просто завтра я уезжаю...

— Все понял: отступаю, отступаю... Жалко,— проговорил он вполне серьезно,— как бы то ни было, до свидания, Нина...

И он исчез так же стремительно, как и появился, даже к чашке чая не притронулся. Но то обстоятельство, что дочь легко, ничем не заслужив, могла попасть в передачу, поставила старика Фирсова в тупик.

В девятом часу вечера жара начала спадать. Старик пошел во двор, было слышно, как он там возился со шлангами: тянул их к парникам, к зацеллофаненной оранжерее.

А Нина решила прогуляться. Она вышла в центр поселка, который так и назывался — центр. Она сама часто говорила в прошлом: пойду в центр, пришла из центра. Некоторое время постояла она у шумного сельского заведения — пивнушки. Пивнушка эта называлась еще проще в народе — мордобойка. Во дворе мордобойки росло необычное для этих мест дерево — темный пышный кедр. Под кедром этим сейчас стоял Саня Шутов — личность любопытная, личность в поселке популярная.

Саня Шутов был героем некоторой невероятной истории. В отрочестве переболел он полиомиелитом, но благодаря упорным физическим занятиям сумел сохранить моторику. Правда, ногу потягивал, и голова заметно тряслась, и были возможны психические срывы, но в общем это была победа над собой. Газета «Пионерская правда» поместила на своих страницах фотографию и большую публикацию о мужественном мальчишке. Он прославился на всю страну. Тысячи мальчиков и особенно девочек были восхищены его волей к жизни, к деятельности, направленной на то, чтобы быть полезным людям. Года три подряд он получал письма, на некоторые даже ответил, но потом как-то все само собой заглохло. К тому времени он кончил восьмилетку, поступил в ПТУ, но бросил, много пил — в том числе всякую дрянь в пузырьках,— жалостливо играл на гитаре, ходил в пивнушку. Мужики частенько его угощали: кружку-две, сигарет или снабжали какой-нибудь мелочью. Он уже в те годы был подзапущен: опухший, несвежий, ногу волочит, голова трясется, старая гитара за спиной. Умерла мать, стал он жить с незамужней сестрой в куцем родительском доме. Ругались, часто он ночевал в бане и, может быть, бывал даже ею битым и не всегда сытым, когда сестра обнаруживала в очередной раз какую-нибудь пропажу в доме или в личном ее гардеробе. Потихоньку он крал у нее, продавал в пивнушке, или цыганам, или армянам-строителям и имел с того жиденюкую карманную денежку на личные расходы. Было ему теперь лет тридцать пять.

Он стоял под кедром — резиновые сапоги, в их голенища было заправлено толстое зимнее трико — и тарасил голубые инфантильные глаза на молодую женщину. Можно было понять, что его удивило в ней больше всего — синие, резко острые клипсы. Наверно, он размышлял, откуда она возникла, непонятно — чья и для чего — тоже непонятно: встала, стоит и смотрит на него, Саню Шутова.

— Я Нина Фирсова,— сказала она. — Вы меня помните, Саша?

— Конечно, помню,— обрадовался Саня Шутов.

— А я сразу вас узнала, Саша.

— А чего меня узнавать? Я самая примечательная личность в нашем околотке... — И Саня тут же распорядился ситуацией по-своему.

В частности, Саня сказал: — Простите, Нина, у вас не найдется двадцать пять копеек? Ей-богу, не хватило до полного удовольствия одной-единственной кружки пива. Может быть такое?

Нина протянула ему мелочь, а через несколько минут он довольный вышел из пивнушки, постучал кулаком по животу:

— Теперь порядочек. А сигаретку?

Нина угостила его.

— «Ява»,— сказал он уважительно. — Я вижу, Нина, вам нечего делать... Пойдемте со мной — вверх, к почте...

Приволакивая ногу, он жаловался на свою жизнь, на козни какого-то начальства, на сестру Алену — дура, и все! Второй уже день он ночевал в бане. А сегодня пошел попросить у нее чего-нибудь поесть — не дала, чуть стулом не огрела.

— А посмотреть баню можно? — любопытствовала Нина.

— Конечно,— обрадовался Саня. — И даже нужно. Может, ее совесть прорвет перед людьми.

Они прошли по запустелому двору, огородом по тропинке вышли к бане. На полке было набросано какое-то старое тряпье, разорванные болоньевые куртки. Широкая скамья у оконца была пуста. На узеньком подоконнике стояла свеча в банке и рядом старенький транзистор.

— Не дала, даже маленького кусочка не дала,— как-то незло повторил Саня; чувствовалось, что он уже отупел от черствых действий сестры; снял с плеча гитару и сел. Пахло терпко, пахло вениками, было сухо и вполне уютно.

— А что,— спросила Нина,— вы баню вовсе не топите?

— А еще воспитательницей в садике работает,— заключил свою горемычную жалобу Саня; помотал головой, потом ответил: — Не топим, давно уже... Сестра к соседке ходит, а я у Семен Федорыча...

Как нелеп был, в сущности, их случайный союз. Он ни на чем не основывался, но ей почему-то не хотелось, чтоб он распался.

— Я останусь здесь ночевать, места хватит,— вдруг заявила она; просто так, даже не очень-то уверенная, что не передумает.

— Оставайся,— согласился Саня без каких-нибудь особенных эмоций. — Ляжешь внизу, я тебе парочку фуфаек отвалю, точно...

Нина вытащила деньги и предложила сходить ему в магазин.

— Еще не закрыто? Купи хлеба, купи солянки, знаешь, такая бывает в стеклянных банках, еще чего-нибудь на свое усмотрение.

Саня, ничего не сказав, выполз из баньки.

Она легла на скамью. Сквозь маленькое квадратное оконце она видела небо. Оно было малиновое, легкое. Умирал красавец вечер... Вспыхивали первые звездочки, они были похожи на крохотные электрические лампочки. Нина улыбнулась долгой-долгой улыбкой.

Саня вернулся скоро — приободренный, уже одолевший треть булки. Он открыл банку, стали есть.

— А ты меня действительно помнишь? — спросила Нина.

— Честное слово, помню,— горячо поклялся Саня; он как будто бы боялся уличения.

— Нет, ты можешь и не помнить,— пожалала Нина плечами.

— Да помню я, честное крестьянское! — Он ел быстро. — Ты еще такой была... ну, самая из всех красивая была... И платье у тебя было лучше всех... синее такое...

Тут в баньку вошел старик Фирсов. Нина поднесла спичку к свечке. Старик тяжело завис в дверях, был он угрюм.

— Пойдем, Нинка, домой,— сказал старик.

— Я буду здесь ночевать, папа.

— Почему? — спросил старик.

Нина вздохнула и ответила просто и ласково:

— Потому что мне так захотелось, папа...

Мысль о прошлых абортах, о сплетнях сверлила сознание старика. Он жалобно заговорил:

— Потаскушка ты. Как была, так и осталась. Как будто специально приехала на нашу голову — переспать да напомнить всему поселку, кто ты есть, лишний раз нас припозорить — эх ты! Ладно бы с кем, ладно бы по-людски, тихо-крыто. Нет, на виду у всех, по-собачьи, в бане, с шутом гороховым!

У Сани отвалилась челюсть.

— Ты чего, Фирсов,— тряхнулся? У меня с детства не маячит после полиомиелита!

— А людям какое дело,— огрызнулся старик,— маячит у тебя или нет! Факт есть факт: укрылись вдвоем в баньке!

— Да вся Боготовка знает: у меня с детства не маячит...

Саня вообще-то отстаивал в себе импотента меланхолично, с мыслью: рад бы силу мужскую доказать, да против судьбы не попишешь.

Тут и старуха Фирсова подросла. Она заходила в дом за Аленой. Старуха прямо с порога ткнула пальцем:

— Вот что тут происходит!

Алена повела своими тяжелыми, водянистыми глазами, в которых обычно не было никакого выражения.

— А что происходит?

— А вот — соитствуют!

Алена прыснула в большую холодную ладонь.

— Кто же соитствует?

— Эти вот! — У старухи на лице было брезгливое выражение.

— Ну и что? — Алена подумала и сказала: — Мы баню все равно не топим... И вообще, пошли вы все к черту! — Она сплонула у порога. — Сами разбирайтесь: не надо меня впутывать! — И ушла, громко хлопнув дверью.

Делать было нечего: старики постояли, помялись и тоже пошли. Перед уходом, правда, Фирсов еще раз предупредил:

— Нинка, пойдем домой, говорю тебе...

Дочь промолчала. Легла на скамью и отвернулась от стариков к окну. И видела сквозь это оконце, как старики шли по огороду: Фирсов оборачивался и беззвучно зыкал на старуху, та в ответ махала руками.

Там, на своих полатях, Саня уснул быстро, а она лежала без сна. Наконец подула на огарок. Огонек метнулся, отразился в ее глазах и умер в этом зеркальце, никому не ведомом.

Назавтра Фирсов отвез ее на станцию. Он сам пошел покупать билет, буркнув ей:

— Посиди здесь...

Нина села на пустой скамье у буфета и видела потную буфетчицу с химической завивкой. Густая косметика на ее лице, казалось, набухла потом, как бывает пропитан сладкой эссенцией бисквит. Еще секунда — и безвкусовые краски начнут отваливаться от кожи.

Закреть глаза.

Если бы она была буфетчицей, она бы смыла сейчас с лица химическую дрянь, вымыла бы кожу холодной чистой водой, выполоскала бы волосы, сбросила бы с пальцев сальное от пота человеческого золото... А она все шебаршит и шебаршит липкой мелочью, все роется и роется в куче помятых трешек — склонилась и колдует свою песню, долгую, однообразную.

Открыть глаза.

Копошится, дергается под носом у буфетчицы маленький замызганный вентилятор, непонятно, какого цвета, — так его обшарпало вокзалом и людьми. Копошится — на последних прижилинках тшит-

ся повернуть тяжелый вокзальный воздух: повернуть, разгрести немножко хотя бы вокруг себя,— но как помочь ему?

Глаза Нины — и она чувствует, что нет сил помешать,— наполняются слезами, она подходит к стойке, она без очереди, она говорит «простите, пожалуйста — пожалуйста — пожалуйста», она просит:

— Вы, пожалуйста, выключите вентилятор, прошу вас... Ну, пожалуйста, женщина...

Буфетчица тянется к кнопке, вентилятор стихает.

И Нина говорит, она объясняет:

— Что-то замыкает; я видела искры, там внутри что-то замыкает, понимаете?

— Искры? — Буфетчица испугана, но страх прошел, она зычным голосом кричит: — Ну эти алкаши! Ну братва косорукая! — Она уходит в дверь, она там зовет: — Николькин! Иди сюда сейчас же, Николькин!

Приходит человек. Он навеселе, этот человек — Николькин. Он грузчик, он электрик, он слесарь — един во всех лицах, хозяйчик глубокой внутренней жизни, и этого буфета, и этого вокзала, и, может быть, этой станции вообще. Человек неунывающий, человек простой и коммуникабельный, незыблемый и понятный без микроскопа в любой дырочке жизни, в любое время года и суток,— и человек кошмарный в своей неунывающей веселости. Он обнадеживает, он борется, угодливо закрывая вентилятор в охапку:

— Счас поправим, не бойся, счас починим, мама ты наша дорогая...

И уносит.

Нина отходит, она почти что шарахается, она почти что бежит по залу: на воздух! На воздух — невольница глаз своих, сердца своего. Как-то не так сердце стучит, глаза не то видят, чтобы жить легко-легко, чтобы смеяться, зевать, болтать о том о сем, вертеть головой по веселым сторонам,— и все остальное и все другое, и все всякое-всякое, и долго-долго, каждый день, каждый год до тех пор, пока не кончится жизнь...

Фирсов между тем домился сквозь очередь, потому что в кассе крикнули: «На Москву! На проходящий!» Люди не пускали Фирсова со зверским лицом и в ответ строили ему такие же зверские лица...

Но Фирсов достал. В самое последнее мгновение жилистая рука его выплеснулась из живого человеческого мяса и первая сунула червонец в окошко:

— Мне один!

До поезда оставалось еще минут двадцать. Они снова стояли под теми же тополями. И на них, наверно, уже оглядывались и про них уже думали плохо и подозрительно; и уже здешний сержант, наверно, шел к ним, молодой, белозубый.

Но Фирсов терпел. Он знал, что все это скоро кончится и, быть может, не повторится уже никогда. Он потому смело и резко обернулся и во все легкие вдохнул холодного колющего воздуха, которым на него пахнуло от окружающего мира, который медленно и неотвратимо надвигался на них — на отца и дочь...



---

---

## ДРУГОЕ ВРЕМЯ ГОДА



ДМИТРИЙ ПРИГОВ



Женись, Попов! А мы посмотрим  
Присмотримся со стороны  
Женися, коли предусмотрен  
Законодательством страны  
Такой порядок оформленья  
Любви материи живой  
В нем дышит принцип мировой:  
Что не оформлено — то тленье!



Всем своим вот организмом  
Сколько он сумеет мочь  
Я хочу быть коммунизмом  
Чтобы людям здесь помочь  
  
Чтоб младую дорогую  
Не растрчивали жизнь  
Чуть родились — а я вот он:  
Здравствуй, здравствуй, коммунизм!



Вот День Рыбака — это День Рыбака  
Рыбак в этот день бесподобен  
И божьему лику подобен  
Рыбак в этот день на века  
Но в день уже следующий рыбак  
В день скажем Святого Танкиста  
Он смотрит уже на Танкиста  
А сам он — какой-то рыбак

## ВАДИМ СТЕПАНЦОВ

### Осень

О ужас, о сентябрь! Нагая Персефона,  
прикрыв ладошкой грудь, на бойню гонит скот.  
Над кленом золотым, как негр над саксофоном,  
набухший черной мглой склонился небосвод.

Какой печальный звук повис над куполами  
оранжевых дубрав, пестреющих куртин!  
На брошенном в степи железном ржавом хламе  
застыл в раздумье грач, печальный, как раввин.

Запахана стерня, в лугах пожухла травка,  
засыпан в закрома запас зерна и круп.  
На полотне шоссе — раздавленная шавка,  
и некому убраться ее холодный труп.

Взыскует наших слез все сущее в природе  
и просит у богов то смерти, то зимы.  
В такое время жизнь — как лишний туз в колоде,  
который в свой пасьянс впихнуть не можем мы.

О ужас, о сентябрь!

Дрожащей Персефоне  
разнузданный Борей кусает алый рот.  
Почуяв мясника, ревут скоты в загоне,  
оставив мутный взгляд в дождливый небосвод.

## ВЛАДИМИР ИВЕЛЕВ

\*\*\*

Я в поисках желательной свободы  
Исследовал таинственные своды  
И на замысловатом потолке  
Увидел легкий образ в уголке.

Как будто бы неясные разводы  
Украсили таинственные своды,  
И каждый неотчетливый развод  
Был образом какой-то из свобод.

И самая желанная свобода  
В сиянье ясном четкого обвода  
Явилась мне, доступна и легка,  
В изгибах непростого потолка.

Я мог тогда как будто бы немного,  
В таких делах нужна была подмога,  
Я б лестницу с собою приволок  
И я бы влез под самый потолок.

Тогда бы я щекою к ней прижался,  
Руками за нее я подержался,  
Поцеловать ее бы крепко мог,  
Но был музейный каменный чертог.

Закончилась экскурсия в остроге,  
Закрит музей, замок навешен строгий,  
А мне теперь известен верный путь,  
Чтобы прийти и на нее взглянуть.

## СЕРГЕЙ ТЕРЕНТЮК

### Советская пастораль

#### 1

Земля ничья, вода ничья,  
Ничье — вокруг, над головой.  
Сижу на берегу ручья  
И воду пробую ногой.

Телок попил воды ничьей,  
Лягушка ухнулась в ручей,  
И, чиркнув тенью по ручью,  
Чиж взвился в высоту ничью.

Кишат в своей болотной хмари  
Снующие по делу твари —  
Всяк в отведенной ему роли.  
Перепела порхают в поле,

День не спеша себе течет —  
Всему свой час и свой черед.

#### 2

Гуляю тайно с тенью вместе  
По тихим улочкам предместья,  
Где вывески из старой жести  
И, как чумные, петухи.

Там на завалинках и лавках  
Детишки в платьицах и плавках,  
Старушки в юбках на булавках  
И реже чинно — старики.

Тому у нас свои причины...

Иду и вижу, как мужчины  
Полощут свежие овчины  
И сушат тут же, у реки.



По-над рекой растут ракиты,  
Чуть в стороне — горбатый мост.  
Дорога, на горе — погост,  
В кювете — грузовик разбитый.

А дальше в плавных клубах пыли,  
Шагов за сто или за двести,  
Считая скорость делом чести,  
Велосипедный бог известий  
С огромной сумкой, но без крыльев.

Пониже — мельница и омут,  
Где жил когда-то старый сом,  
Все — неподвижность и истома,  
Все — летний день,  
Все — славный сон.



Пой, пастушок, пока поется,—  
Была бы жизнь, а смысл найдется.



---

---

Е. АНДЖЕЕВСКИЙ

★

## СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ

Повесть

Ежи Анджеевский (1909—1983) — один из популярнейших современных польских писателей, автор целого ряда книг, переведенных на многие языки, русскому читателю известен лишь романом «Пепел и алмаз» (1947), который к тому же издан у нас с почти двадцатилетним опозданием. Преодолеть тогдашнюю оторопь наших издателей перед «нетипичным» произведением, выламывавшимся из канонов соцреализма, помог одноименный фильм Анджея Вайды, с триумфом прошедший по экранам мира.

Но Анджеевский и до и после «Пепла и алмаза» создал немало книг, пользовавшихся заслуженным читательским успехом. Так, первая же послевоенная работа молодого еще в ту пору литератора — сборник рассказов и повестей «Ночь», тематически связанный с периодом фашистской оккупации Польши, за короткий срок выдержал несколько изданий. И хотя многие произведения польских авторов той поры со сходной тематикой, когда-то гремевшие, давно и прочно забылись, «Ночь» Анджеевского и доныне не утратила своего значения. В этом убеждаешься, знакомясь сегодня со «Страстной неделей» — центральной вещью сборника.

О чем она? Пересказывать повесть не имеет смысла: читатель сам об этом узнает. Уместен скорее вопрос, почему именно на этом давнем произведении маститого художника журнал остановил свой выбор. Не случаен ли он? Думается, нет. «Страстная неделя» не оставит и нынешнего читателя равнодушным.

Е. Анджеевского всегда глубоко занимали этические проблемы. Книги великих писателей-моралистов XIX—XX веков — Толстого, Достоевского, Конрада, Т. Манна — составляли постоянный круг чтения и раздумий автора «Пепла и алмаза». Анджеевский являлся как бы восприимчиком этих традиций, во многом определявших его собственную позицию в поворотные жизненные моменты. Толстовское «не могу молчать!» было и его нравственным императивом. Писатель не молчал, к примеру, когда в 1968 году войска стран Варшавского Договора вступили в Чехословакию...

Что же касается «Страстной недели», то для Анджеевского само написание этой вещи весной 1943 года в момент варварского уничтожения фашистами обитателей варшавского гетто было актом писательского мужества и актом протеста против попыток гитлеровцев натравить друг на друга представителей двух народов. Потрясенная душа художника не могла примириться со всем этим. Чувством протеста против палачей, состраганием к гонимым, преследуемым и проникнута эта повесть. Символично, что среди жильцов дома, где разворачивается действие, именно самые юные из поляков ценою собственной жизни пытаются оказать помощь повстанцам гетто. Груз былых предубеждений, взаимных претензий и обид, в отличие от людей старших поколений, не отягощает их сознания.

Таким образом, пафос «Страстной недели» — в неприятии и отвержении идей национальной розни, усиленно насаждавшихся гитлеровцами в оккупированной Польше. Как раз это и придает давней повести Анджеевского актуальность, делая ее во многом созвучной нашим дням. Видимо, проблемы, затронутые в «Страстной неделе» и продолжавшие волновать писателя в последующие годы, были причиной того, что Анджеевский неоднократно возвращался мыслями к этой своей вещи. В дневниковых записях

середины и конца 70-х годов, то есть через несколько десятилетий, Анджеевский отмечает: «Я не раз обращался к актуальной тематике, никогда, однако, не брал за основу такое «злободневное событие», как бои в гетто. Ведь в начале мая, когда я принялся за «Страстную неделю», сопротивление евреев еще продолжалось, из гетто доносились отзвуки перестрелки, тянуло гарью пожаров днем, а ночью догоравший район освещало зарево. Создавая эту вещь и в самом деле по зову ума и сердца, я никак не думал, что с течением времени многие страницы ее окажутся историческим свидетельством...»

Как-то лет пятнадцать назад я отправился в эту часть города специально для того, чтобы припомнить давний пейзаж. Но новые дома и изменившаяся перспектива не дали мне его распознать, впрочем, этот пейзаж стерся и в моей памяти. Для меня он сохранился на страницах моей повести. Склоняясь над этим свидетельством, я думаю, что то были действительно тяжкие, трудные времена, но времена, исполненные воодушевляющей надежды. Надежды, которая позволяла не только выжить, но и выстоять...»

Свет этой надежды ощутим и в самой повести.

С. ЛАРИН.

## I

**М**алецкий давно не видал Ирены Лильен. А летом сорок первого они встречались еще довольно часто. Лильенам, правда, к тому времени уже пришлось покинуть Смуг, но тогда немецкие оккупационные власти еще не приступили к самым жестоким репрессиям против евреев, и Лильены, подкупив кого надо, сумели избежать варшавского гетто. Им удалось даже сохранить кое-какое имущество, и с остатками своего состояния, довольно, впрочем, ценными, они всем семейством перебрались поближе к Варшаве.

Семья их уже несколько поколений была весьма зажиточная, и в них так прочно укоренилось чувство безопасности, что в новой для них критической ситуации им в голову не пришло переселиться куда-нибудь подальше. Залесинек, где они сняли квартиру, находился всего в какой-нибудь четверти часа на электричке от Смуга, и на этой линии встречалось много знакомых или просто хорошо знавших их в лицо. Они же, глубоко сроднившиеся с польской культурой и польскими обычаями, и мысли не допускали, что внешность их может возбудить подозрения. К счастью, старики Лильены вообще не ездили в Варшаву. Старуху — крупную, тучную женщину — несколько лет тому назад разбил паралич, она была прикована к своему креслу. Старик Лильен давно отошел от банковских дел и только нежил на солнце, а в ненастные или холодные дни довольствовался ролью наблюдателя за игрой в бридж. Однако профессор Лильен с женой и Иреной ездили в Варшаву не реже, чем раньше. Для пани Лильен риск был сравнительно не так велик. Маленькая, хрупкая, тихая, с неправильными, но мягкими чертами лица, она могла сойти за арийку. Но вот с профессором и Иреной дело обстояло много хуже.

Ирена ездила в Варшаву по меньшей мере два в неделю. Наведывалась к друзьям, знакомым, иногда неожиданные ее приезды бывали вызваны желанием увидеться с Малецким. Она любила светскую жизнь, всякого рода увеселения и часто назначала встречи в популярных в военное время кафе и барах. Ирена Лильен была очень хороша: высокая, смуглая, статная. Но жесткие, густые волосы и восточные глаза были явно семитскими. Когда Малецкий призывал ее к осторожности, Ирена смеялась: немцы, говорила она, в таких делах мало что смыслят. Со стороны поляков, правда, уже бывали в то время случаи шантажа, но Ирена не допускала такой возможности по отношению к себе и своим близким. Ее красота и положение в обществе, обеспеченное воспитанием и ставшее привычным, служили, казалось ей, верной гарантией безопасности.

Профессор Лильен, исходя из других соображений, тоже не ожидал особых неприятностей. Войну он переживал очень тяжело. Торжество зверства и человеконенавистничества подвергло жестокому испытанию его благородные воззрения гуманиста и либерала. Правда, его вера в прогресс осталась неизблемой, однако удержаться на прежних позициях было не так-то легко. К тому же Юлиуш Лильен, наделенный замечательной интуицией и воображением как исто-

рик, в том, что касалось его личной судьбы и судьбы его близких, был начисто лишен дара предвидения. Иные люди, достигшие высокого положения в обществе, неспособны даже вообразить себе, что есть сила, которая может низвергнуть их, лишитъ всего, что они имеют. Из их числа был и Лильен. Даже после вынужденного отъезда из Смуга, сменив просторную роскошную виллу на снятые внаем три комнатухи, лишившись библиотеки, прислуги и удобств, он чувствовал себя тем же человеком, что и до войны: потомком старинного богатого рода, блистательным историком, не раз занимавшим пост ректора и декана, членом многих научных обществ в Польше и за границей. Лильена к тому же считали масоном высокого ранга. Был ли он масоном на самом деле и если да, то какую именно роль играл в масонских кругах, сказать трудно. У него были влиятельные родственники во всех странах Европы и Америки, а также друзья и в сфере науки, и в финансовом мире, и в мире политики. Если он не покинул Польшу после сентябрьской катастрофы, а потом не воспользовался представившейся возможностью выехать в Италию, то, очевидно, потому, что твердо верил: при любых обстоятельствах он останется профессором Лильеном. Разумеется, уже в первые годы войны сфера его деятельности и влияния значительно сузилась, но это на нем не слишком отразилось. Он работал не покладая рук, много писал и читал, навещал оставшихся в Варшаве коллег. Своим образом жизни, мыслей и чувств он пытался доказать весьма сомнительную истину, что объективный мир и события, в нем происходящие, отступают на второй план сравнительно с нашим представлением о жизни и ее смысле.

В Залесинке Лильены прожили все лето. Малецкий несколько раз приезжал туда. Местность, типичная для пригородов Варшавы — бесплодная, песчаная, уродливые дачи среди карликовых сосенок. По сравнению с дивным Смугом, где старый парк и пруд, окаймленный зарослями ольшаника, терна и черемухи, поражали своей красотой, здесь было убого и печально. Только вывезенные из Смуга вещи немного скрашивали серость снятого Лильенами жилья. В комнате профессора еще было порядочно книг.

Последний раз Малецкий посетил Залесинек в одно из августовских воскресений. Кроме него там была еще молодая художница Феля Пташицкая, прозванная Пташкой, видно, по контрасту — за очень высокий рост, подруга Ирены и поклонница профессора, чей высокий интеллект она очень ценила. Остальные приглашенные не явились. Это было неожиданно: по субботам и воскресеньям к Лильенам обычно съезжалось много народу. Просторный трехэтажный дом в Смуге в такие дни уподоблялся пансионату или гостинице. Лильены порой сетовали на избыток гостей, но на самом-то деле привыкли к многолюдью и теперь явно были задеты тем, что в воскресный день у них пусто. Обед подали отменный: цыплята, изысканный десерт. Однако даже купленный у немецких солдат французский коньяк, который Ирена предложила присланному из Турции кофе, не развеял тревожной атмосферы. Хотя профессор был разговорчив, чувствовалось, что его эрудиция и блистательное остроумие требуют большой аудитории. Зато Ирена выглядела слишком возбужденной, слишком много и громко смеялась. Пташицкая, в чьем массивном теле билось нежное и чувствительное сердце, пыталась поднять общий тонус, но то и дело совершала ужасные промахи, причем с такой искренностью и доброжелательностью, что только ухудшала положение.

После обеда Ирена, желая побыть наедине с Малецким, предложила прогуляться к старому лесу. Но профессор, как назло, стал излагать Малецкому политическую ситуацию в воюющем мире, опять бестактно вмешивалась Пташицкая, а когда она наконец поняла, что только мешает, все равно выпутаться уже не сумела. Словом, Малецкий вернулся электричкой в Варшаву раньше обычного. Ирена обещала приехать в ближайшую среду. Однако ни в эту среду, ни в последующие дни она в Варшаве не появилась. Малецкому же как раз поручили работу по реставрации монастыря цистерцианцев в провинции, он поехал туда и с Иреной увиделся только по возвращении, в конце следующей недели.

За это время Лильенов постигла беда. По всей вероятности, кто-то на них донес: именно в среду, после того воскресенья, ими заинтересовалось гестапо. На сей раз дело обстояло куда серьезней, чем раньше. Сперва забрали самого профессора. Сутки его продержали в уездном городишке, а на следующее утро

явились те же агенты и увезли пани Лильен и Ирену в варшавское гетто. Правда, пробыли они там всего несколько часов, профессора тоже выпустили, но, по словам Ирены, выйти на свободу удалось ценой большого выкупа. Разумеется, о том, чтобы оставаться в Залесинке, не могло быть и речи. Надо было убираться немедленно, захватив с собой только самое необходимое.

Больше всего хлопот было со стариками. После долгих обсуждений с немалым трудом удалось устроить обоих в одну из частных клиник в Варшаве. Профессор отправился в Краков, чтобы разузнать, какая там ситуация, а пани Лильен поселилась у дальних родственников, пока что имевших надежную защиту. Ирену приютила Пташицкая. Вскоре, с очень коротким промежутком, старики Лильены умерли один за другим. Профессор вернулся из Кракова менее оживленный, чем обычно: видимо, из его планов ничего не вышло. Во всяком случае, лишь теперь Лильены решились обзавестись арийскими бумагами и под фамилией Грабовские снова поселились под Варшавой, но уже на правом берегу Вислы, по отвоцкой дороге. А спустя несколько недель, не успев там обосноваться, вынуждены были спешно, буквально в течение часа, бежать и оттуда.

Последний раз Малецкий видел Лильенов у Фели Пташицкой. Больше всех изменился профессор. Он угас, постарел, был небрит, небрежно одет. Неряшливость еще сильнее подчеркивала его семитский облик. Теперь профессор очень походил на своего умершего отца — в старости типичного еврея. Пани Лильен тоже сильно сдала, стала еще тише и невзрачнее, чем прежде. Только Ирена держалась молодцом, пытаясь найти комичную сторону в нынешнем их положении; со временем, уверяла она, все это образуется. Но ее нервная, тревожная веселость была еще хуже, чем угнетенный вид родителей. Все трое не очень-то знали, что им дальше делать. Пташицкая жила на Саской Кемпе в доме матери и при всем желании никак не могла держать у себя Ирену более одной-двух недель. На родственников пани Лильен обрушились непредвиденные неприятности. Профессор пока жил у одного из своих учеников, но это тоже было временно. Из слов профессора явствовало, что многие из тех, на чью помощь он рассчитывал, не оправдали его надежд. Это, по-видимому, было для Лильена горше всего. Им вдруг овладели неуверенность и бессилие. В этот солнечный осенний день, сидя в мастерской Пташицкой за чаем, который подавали в изящных английских фаянсовых чашках, все трое выглядели безнадежно грустными и жалкими, как потерпевшие крушение люди, которым негде притулиться.

Спустя несколько недель Малецкий получил от Ирены письмо из Кракова. У Яна в тот период начались серьезные волнения личного плана, к тому же надо было снова ехать в монастырь цистерцианцев, и, не ответив сразу на письмо Ирены, он и вовсе не написал ей. Потом пришло от нее еще одно письмо, короткое, очень грустное и вообще никак не свойственное ей по тону. Он хотел было ответить, однако новые переживания настолько отдалили его от Ирены, что он просто не знал, о чем ей писать. Чувствовал, что она несчастна, одинока, что живет ей худо, но сам-то он как раз был счастлив, начинал, вопреки всем бедствиям войны, вроде бы новую жизнь, а ведь известно, какая пропасть разverzается меж людьми счастливыми и людьми страдающими. Много всяческих обстоятельств, и важных и мелких, могут разделять людей, но ничто не разделяет их так резко, как различие судеб.

Вот и в душе Малецкого, когда женитьба на Анне стала вопросом решенным, образ Ирены отошел в глубокую тень, и ничто не могло привлечь Яна к ней — ни сочувствие, ни остатки былой дружбы и симпатии. Впрочем, Ирена больше не писала ему. Какое-то время от нее получала вести Феля Пташицкая, потом и эта связь оборвалась. Малецкий еще раз-другой посетил своих цистерцианцев. Каждый раз он, проездом останавливаясь в Кракове, вспоминал об Ирене, но ограничивался лишь благими намерениями разыскать ее. Летом сорок второго года, когда немцы, ликвидируя гетто, организовали на территории всей страны массовое уничтожение евреев, прошел слух о гибели профессора Лильена. Версий на этот счет распространялось много, но проверить их правдивость было трудно.

Только весной следующего года Малецкий встретил Ирену при совершенно неожиданных обстоятельствах. Было это во вторник на Страстной неделе.

## II

Мрачной была для Варшавы та Страстная неделя. Как раз накануне встречи Малецкого с Иреной Лильен, в понедельник 19 апреля, часть оставшихся в гетто евреев, подвергшись новым репрессиям, оказала сопротивление. Рано утром, когда отряды СС вторглись в гетто, на Ставках и на Лешне раздались первые залпы. Немцы, не ожидавшие отпора, отступили. Завязались бои.

Весть об этом, первом за века, массовом сопротивлении евреев распространилась в городе не сразу. По Варшаве шли самые разные слухи. В первые часы было доподлинно известно лишь то, что немцы намерены окончательно ликвидировать гетто и уничтожить всех евреев, уцелевших после прошлогодних расправ.

Кварталы вокруг гетто заполнились людьми. Там быстрее всего сориентировались в обстановке. Из окон домов за стенами время от времени слышались выстрелы. Немцы стянули в гетто жандармерию. С каждым часом канонада усиливалась. Схватки, поначалу хаотичные, случайные, быстро начали перерастать в бой по всем правилам. Во многих местах затарахтели пулеметы. Взрывались гранаты.

Уличное движение еще не было нарушено, часто стычки происходили на глазах толпы зрителей под громыханье проезжающих трамваев. Меж тем из кварталов гетто, не оказывающих сопротивления, вывозили оставшихся евреев. В тот первый день мало кто предполагал, что ликвидация гетто затянется на долгие недели. Много дней предстояло евреям сражаться, еще больше дней предстояло полыхать пожарам в гетто. И так, когда в городе царили весна и пасхальное настроение, в самом сердце Варшавы, которую не покорил четырехлетний террор, началось обреченное на одиночество восстание евреев в защиту жизни и свободы — самое трагическое восстание из всех, какие происходили в ту пору.

Малецкий жил на окраине Белян — отдаленного района в северной части города. В понедельник вечером, возвращаясь с работы домой, он впервые стал свидетелем боев. Сразу за площадью Красинских, когда трамвай проезжал мимо стен гетто, народ заволновался. Все столпилась у окон, но оттуда ничего не было видно. Мимо тянулись торцовые серые стены высоких домов, кое-где с прорезями узких, как бойницы, окошек. Вдруг на Бонифратерской, прямо напротив больницы святого Иоанна, трамвай резко затормозил. Одновременно сверху посыпались градом ружейные выстрелы. С улицы им ответила пулеметная очередь.

В трамвае поднялся переполох. Люди отпрянули от окон, одни присели на корточки, другие протискивались к выходу. Между тем выстрелы из узких, щелевидных окошек еврейских домов участились. В ответ им яростно затарахтел пулемет, установленный посредине проезжей части, на пересечении Бонифратерской и Конвикторской. По узкой полоске мостовой, меж трамвайными путями и стенами гетто, промчалась карета «скорой помощи».

На другой день трамваи, идущие в Жолибож, доходили только до площади Красинских. Управившись ранее обычного с делами фирмы, в которой он работал, Малецкий возвращался домой около двух пополудни. Незадолго до того приостановили трамвайное движение, и Медовая улица была забита пустыми вагонами. Толпа двигалась по тротуарам.

После длившейся всю ночь перестрелки утром наступила короткая пауза. Теперь же стрельба возобновилась, и еще более ожесточенная, чем накануне. На площадь Красинских никакой транспорт уже не пропускали. Зато на выходящих к площади улицах Длугой и Новинярской скопилась встревоженная, шумная, возбужденная толпа. Как все значительные события в Варшаве, так и это для постороннего наблюдателя было в какой-то степени зрелищем. Варшавяне вообще охочи до битв — и в роли участников и в роли зрителей.

Множество молодых людей и завитых нарядных девиц сбежали с соседних улиц Старого Мясца. Самые любопытные проталкивались в глубь Новинярской, откуда хорошо видны были стены гетто. Евреев, в общем-то, мало кто жалел. Просто народ радовался, что у ненавистных немцев снова неприятности. В глазах варшавского обывателя сам факт борьбы победоносных оккупантов с горсткой евреев делал немцев посмешищем.

Бой становился все более упорным. В глубине площади Красинских, перед Домом правосудия, толпились жандармы и эсэсовцы. На Бонифратерскую никого не пускали.

Когда Малецкий добрался до конца Медовой, мимо проехал огромный грузовик с солдатами в полном боевом снаряжении. Из толпы послышался смех. Ружейные выстрелы не прекращались. Это стреляли евреи. Немцы отвечали длинными очередями из станковых пулеметов и автоматов.

У Малецкого были дела в одном из кварталов по соседству с территорией, где шли бои. Поэтому он присоединился к толпе, двигавшейся по Новинярской. Начало этой узкой и сильно пострадавшей за время войны улицы отделял от стен гетто ряд домов между Новинярской и параллельной ей Бонифратерской. Почти сразу же за перекрестком Новинярской и Святоерской дома кончались, и открывалась большая, пустынная, вся в выбоинах площадь, возникшая на месте зданий, разбомбленных и сгоревших во время осады Варшавы, — их руины недавно расчистили.

Там, где Новинярская выходила на эту площадь, толпа стала густеть. Тротуар и мостовая были запружены людьми. Дальше двигались лишь немногие. Со стороны еврейских домов беспрестанно доносились выстрелы. Стоило стрельбе стихнуть, и от толпы каждый раз отделялось по несколько человек — держась поближе к стенам домов, они бежали дальше.

Когда Малецкий дошел до участка, подвергавшегося обстрелу повстанцев, огонь как раз прекратился и люди — кто поспешая домой или по делам, а кто движимый любопытством — лавиной ринулись вперед. Пустынная площадь казалась теперь обширнее обычного. На самой ее середине стояли две карусели, не вполне еще смонтированные, их, видимо, готовили к предстоящим праздникам. Под прикрытием причудливых пестрых декораций там сгрудились солдаты в касках, некоторые взобрались на эстраду; став на одно колено, они целили в сторону гетто. У стен гетто было пусто. А над ними высились молчаливые громады домов. Дома эти, с узкими окошками и ломаной линией крыш, врезающейся в хмурое небо, напоминали громадную крепость.

Было тихо, и люди, осмелев, задерживались, осматривали гетто. Вдруг откуда грянули выстрелы. В дальнем конце Бонифратерской, вероятно, около больницы святого Иоанна, послышался глухой взрыв, потом второй, третий. Видимо, евреи бросали гранаты.

Люди кинулись к ближайшим подворотням. В воздухе засвистали пули. Один из бегущих, коренастый человек в соломенной шляпе, вскрикнул и упал на тротуар. Стреляли и солдаты у карусели. В это время несколько мощных залпов сотрясли площадь. Снаряды серебристой полосой били в одно из верхних окошек обороняющегося дома. Это заговосила маленькая противотанковая пушка.

Когда возникло замешательство, Малецкий находился далеко от ворот — инстинктивно попятившись, он укрылся в нише ближайшего магазина. Вход в магазин был заколочен досками, но довольно глубокая ниша могла в какой-то мере служить укрытием.

Улица опустела. Двое широкоплечих рабочих парней поднимали лежавшего на тротуаре мужчину. Один из них, помоложе, подобрал соломенную шляпу. Стоявший у стены солдат торопил их. Потом он, размахивая руками, стал что-то кричать женщине, которая осталась на улице совсем одна. Она неподвижно стояла на краю тротуара и, словно бы не сознавая, какая опасность ей угрожает, вглядывалась в темные стены напротив.

— Уходите, не стойте там! — крикнул Малецкий.

Она даже не обернулась. Только когда подбежал солдат и с криком дернул ее, она попятилась, испуганно втянув голову в плечи неуверенным движением человека, застигнутого врасплох. Солдат раздраженно, грубо подтолкнул ее ружейным прикладом в сторону ворот. И тут заметил Малецкого, спрятавшегося в нише магазина.

— Weg! Weg! <sup>1</sup> — заорал он.

Малецкий выскочил из ниши и поспешил за бегущей впереди женщиной. Выстрелы сыпались теперь со всех сторон. Установленная на площади противо-

<sup>1</sup> Прочь! Прочь! (Нем.)

танковая пушка стреляла очередями. Стекло со звоном сыпалось на тротуар. Снова слышались глухие взрывы гранат.

Женщина и Малецкий почти одновременно добежали до ворот. Они были закрыты. Пока их не открыли, Малецкий присмотрелся к своей спутнице; все так же испуганно сжавшись, она теперь стояла к нему в профиль. В первую минуту он даже задохнулся от удивления.

— Ирена!

Она посмотрела на него темными, неузнающими глазами.

— Ирена! — повторил он.

В ту же минуту молодая, перепуганная дворничиха отворила ворота.

— Быстрее, быстрее! — торопила она.

Малецкий схватил Ирену за руку и затащил ее в подворотню. Там было полно народу, он протиснулся сквозь толпу во двор. Ирена — послушно, безвольно — позволила вести себя. Он увел ее в глубь двора, где не было людей.

Двор был старый, грязный, обшарпанный. На месте одного из флигелей высилась голая, вся в пятнах стена — след военных разрушений. Посредине громоздились уложенные горкой кирпичи, рядом виднелся взрыхленный, вероятно для посадки овощей, жалкий клочок серой бесплодной земли.

Когда они остановились у крутых ступенек, ведущих в подвал, Малецкий выпустил руку Ирены и внимательно к ней пригляделся.

Она была все еще красивая, но как же она изменилась! Похудела, черты лица заострились, утончились, миндалевидные глаза стали словно бы еще больше, но утратили свой особый, теплый цвет, смотрели отчужденно, почти сурово. Одетая Ирена была очень элегантно. На ней был светло-голубой, еще перед войной привезенный из Англии шерстяной костюм и незнакомая Малецкому шляпа, которая очень шла ей. Но то ли потому, что он давно не видел Ирену, то ли она и вправду сильно изменилась, семитское в ее облике, как показалось Малецкому, выступило еще заметнее.

— Это ты? — только и сказала Ирена, даже не удивившись.

Она разглядывала его, но как-то рассеянно, не переставая, очевидно, прислушиваться к доносящейся с улицы стрельбе.

Малецкий быстро оправился после первого впечатления.

— Откуда ты взялась тут? Что делаешь? Ты в Варшаве?

— Да, — ответила она буднично, словно они расстались совсем недавно.

Голос у нее был прежний, низкий и звучный, разве что стал несколько монотонным, глуховатым.

— И давно?

Ирена пожала плечами:

— А бог его знает. Я уж и не помню точно. Мне кажется, вроде бы очень давно.

— И не дала знать о себе?

Она внимательно и чуть насмешливо взглянула на него:

— А зачем?

Малецкий смутился. Этот простой вопрос застал его врасплох, так не вязался с прежним его представлением об Ирене. Не зная, что ответить, он замолк. А Ирена вся обратилась в слух. Напряженно, с тревогой и страхом вслушиваясь в звуки улицы, она, казалось, позабыла о своем спутнике. Молчание затягивалось, и Малецкому становилось не по себе. Он явно чувствовал возникающее между ними отчуждение. Понимая, что испытывает сейчас Ирена, он очень хотел бы преодолеть это отчуждение, но не знал как.

В подворотне вдруг стало шумно. Часть толпы поспешно отступила во двор. Какой-то мальчишка в изодранных штанах и ветхой рубашке пулей вылетел из ворот и, впопыхах толкнув Малецкого, возбужденно крикнул кому-то в подвал:

— Мама, в наших воротах пушку установили! Будут стрелять из наших ворот! — И, откинув спадавшую на лоб льняную прядку, помчался обратно к воротам.

Из подвала выглянула изможденная, бледная женщина.

— Рысек, Рысек, — позвала она мальчишку. Но того уже и след простыл. Женщина, охая, с трудом взобралась по крутым ступенькам. И тут начала вдруг



бить противотанковая пушка. Оглушительный грохот сотряс стены. С верхнего этажа посыпалась штукатурка. — О боже! — Женщина схватилась за сердце.

Маленькая пушка палила, не умолкая. Все вокруг колебалось и дрожало. Выстрелов из гетто даже не было слышно. Зато в оглушительное это грохотанье влетали хриплые звуки граммофона с соседнего двора. Исполняли сентиментальное предвоенное танго. Все больше людей покидало подворотню.

— О боже! — с тяжким вздохом повторила женщина из подвала. — За какие грехи должен человек так страдать?

Ирена — когда усилилась стрельба, она сильно побледнела и задрожала — вскинулась, услышав эту жалобу.

— Те, кто там, больше страдают! — сказала она враждебно.

Глаза ее сверкнули, губы сжались. Никогда раньше Малецкий не замечал в ней такой злой, горькой запальчивости.

Женщина подняла на Ирену усталые, поблекшие глаза.

— Больше? А откуда вы знаете, сколько я перестрадала?

— Там люди гибнут, — отрезала Ирена таким же враждебным тоном.

— Перестань... — шепнул Малецкий.

Но Ирена, явно уже не владея собой, резко повернулась к нему.

— Почему это перестать? Там гибнут люди, сотни людей, а здесь к ним относятся, как к собакам... хуже чем к собакам...

Она повысила голос, все более распалаясь. Малецкий схватил ее за руку и оттащил в сторону.

— Опомнись! Накликать беду хочешь? Смотри, на нас уже оглядываются.

В самом деле, несколько человек, из тех, что отошли от ворот, с любопытством смотрели в их сторону. Ирена обернулась. Поймав на себе их взгляды, она тотчас утихомирилась.

— Бумаги у меня в порядке, — шепнула она боязливо и с тревогой заглянула в глаза Малецкому.

Ему стало ужасно неловко, ничего подобного он не испытывал за все время знакомства с Иреной. Он почувствовал мучительный стыд и унижение при мысли о ее судьбе, а также о своей беспомощности и привилегированном положении.

— Что ты тут говоришь? — возмутился он не слишком искренно. — Кто сейчас станет смотреть твои бумаги? Непонятно, когда мы сможем выбраться отсюда, — вот что плохо. Ты где живешь?

— Нигде.

Малецкий вздрогнул.

— Как это нигде?

— Очень просто.

— Ты же говорила, что давно в Варшаве?

— Ну и что с того? Туда, где я жила, я не могу вернуться. Ну да ладно. —

Она презрительно скривила губы. — Это не важно.

— Как это не важно? Послушай, а твой отец?

Она быстро взглянула на него.

— Он погиб.

— Значит, это правда? — прошептал Малецкий. — Ходили разные слухи...

— Правда.

Он минуту молчал. Наконец, пересилив себя, спросил:

— А мама?

— Также погибла.

Он ждал такого ответа, но лишь услышав, осознал его трагичность.

— Это ужасно! — только и смог он сказать.

И тут же почувствовал, как ничемны его слова. Но Ирена — она стояла, опустив голову, и концом коричневого зонтика чертила на разбитом асфальте невидимые линии — вроде бы ничего другого и не ждала от него. Страдание, очевидно, так глубоко проникло в ее душу, что она уже не нуждалась ни в сочувствии, ни в сердечности.

Малецкий рассеянно наблюдал за движениями Иринино зонтика. Острее, чем когда-либо, он переживал те смутные чувства, которые помимо воли, стихийно и неотвратно возникали в нем всякий раз, когда ему приходилось сталкиваться с участвовавшими в последнее время трагедиями евреев. Чувства эти

отличались от тех, которые вызывали в нем страдания соотечественников, а также людей любой другой нации. И без того мрачные и мучительно сложные, в особо тяжелые минуты они усугублялись крайне болезненным и унижающим сознанием некой всеобщей, хотя и ничьей в частности, ответственности за безмерную жестокость и злодеяния, какие с молчаливого согласия всего мира вот уже несколько лет терпел еврейский народ. И переживание, неподвластное доводам рассудка, было, пожалуй, самым горьким за годы войны. Бывали периоды, например, в конце прошлого лета, когда немцы приступили к массовому истреблению евреев и в варшавском гетто многие дни и ночи не прекращалась стрельба, в которые ощущение вины необычайно обострялось. Он носил его в себе как рану, откуда, казалось, исходило гной все зло мира. Однако же при этом он сознавал, что в нем куда больше тревоги и страха, чем истинной любви к этим безоружным, со всех сторон осажденным людям, единственным в мире, кого судьба отторгла от попираемого, но все же существующего всеобщего братства.

Встреча с Иреной усилила в Малецком смятение, нараставшее со вчерашнего вечера. Он почувствовал себя очень несчастным, ибо как типичный интеллигент принадлежал к породе людей, которые, ничтоже сумняшеся, противопоставляют людским страданиям и бедам свой душевный разлад.

Тем временем противотанковая пушка смолкла. Из граммофона на соседнем дворе доносился зычный мужской тенор. Округлые звонкие итальянские слова звучали громко и отчетливо в колодце двора. В глубине площади настойчиво трещали пулеметы. Люди, укрывшиеся во дворе, снова возвращались в подворотню. Мальчуган, которого мать назвала Рысеком, прибежал оттуда, кинулся к матери — она все еще стояла у подвальных ступенек.

— Мама! Немцы бьют по еврейским домам! Вот такие дырищи, — показал он руками, — уже понаделали!

— Иди домой, Рысек, — шепнула женщина.

Он потрянул непослушными льняными вихрами.

— Счас приду!

И, круто повернувшись на пятке, помчался обратно.

— Погляжу, нельзя ли уже выйти на улицу, — сказал Малецкий и отошел от Ирены посмотреть, что делается за воротами.

Перед домом стояла пушка, около нее хлопотали немецкие солдаты. В глубине площади строчил пулемет. Ворота были приоткрыты, кучка людей упрашивала солдата, чтобы он позволил им выйти. Тот сперва не соглашался. Потом отошел в сторону и махнул рукой. Тотчас десятка полтора человек бросились к выходу.

Малецкий поспешил к Ирене.

— Послушай, мы можем выйти, только поскорей, а то сейчас...

И осекся, взглянув на Ирену. Она побледнела, лицо ее исказилось. Стояла, держась рукою за стену.

— Что с тобой? — испугался он. — Тебе дурно?

— Нет, — ответила она.

Однако она побледнела еще сильнее. Оглядевшись вокруг, Малецкий быстро подошел к хозяйке подвала.

— Можно попросить у вас немного воды? Женщине дурно.

Та взглянула на Ирену. Заколебалась было. Потом кивнула:

— Пойдемте.

Малецкий сошел за нею вниз и остановился в дверях. На него резко пахло сыростью. В подвале помещалась кухня — низкая, закопченная, пронизанная сыростью. Мебели почти что не было. На деревянной кровати у стены лежал, прикрытый отрепьями красного некогда одеяла, тощий старик. У самого входа сидел на табуретке темноволосый парень и чистил картошку. Делал он это на диво сноровисто. С быстротой автомата орудовал коротким ножичком, точным движением бросал очищенные картофелины в стоявшую на полу миску с водой. Лица его не было видно. Низко склоненная голова была в тени.

Женщина, зачерпнув воды из ведра, подала кружку Малецкому. Он поблагодарил и быстро вернулся вверх к Ирене

— Выпей немного. — Он протянул ей воду.

Она сперва отказалась, потом дала себя уговорить. Однако, глотнув пару раз, отстранила кружку.

— Не могу, — шепнула она с отвращением.

Впрочем, постепенно она пришла в себя. Только слегка дрожала и все еще опиралась о стену.

— Как ты?

Она кивнула: лучше. В эту минуту из подвала выглянула женщина.

— Может, ей посидеть хочется? — спросила она. — Сюда, пожалуйста.

Он вопросительно взглянул на Ирену. Она против ожидания согласилась, Он проводил ее вниз. Женщина вытерла тряпкой деревянный табурет.

— Садитесь. — Она пододвинула табурет поближе к двери.

Малецкий встал рядом. Противотанковая пушка снова начала обстрел. Лжавший у стены мужчина застонал. Но женщина не обращала на него внимания. Она стояла посреди кухни, уронив руки, худая, маленькая, до предела измученная. Хотя платьишко на ней было жалкое, ветхое, выглядела она опрятно. Гладко зачесанные волосы поседели, кожа на висках пожелтела, как пергамент.

Малецкий кивнул на кровать.

— Это ваш муж? Он болен?

— Болен, — ответила она. — Но это не муж, это отец мужа.

— А муж?

— Еще в сентябре погиб.

Ирена только теперь огляделась. Женщина перехватила ее взгляд.

— Нас немцы из Познаньского воеводства выгнали, — объяснила она, — в Могилине у нас домик был, муж у меня там садовничал...

Она замолкла, оглядела подвал.

— А теперь все прахом пошло!

Малецкий, который уже несколько минут присматривался, как парень чистит картошку, наконец не выдержал и сказал:

— Ну и ловко же вы ее чистите!

Парень вздрогнул, прервал работу и поднял голову.

Лицо его, прежде, видимо, красивое и приятное, теперь же — отекшее, с кирпичными, отливающими синевой пятнами на щеках, казалось маской. Парень был острижен наголо, веки — воспаленные, глаза — мертвые, неподвижные, тусклые. Этот остекленелый, нечеловеческий взгляд произвел на Малецкого гнетущее впечатление. У него отлегло от сердца, когда паренек, не произнеся ни слова, опять нагнулся и, вынув из корзинки картофелину, принялся ловко очищать ее красными, тоже слегка отекшими руками.

В комнате воцарилось молчание. Мужчина у стены, постанывая, пытался высвободить руки из-под рваного одеяла. Тенор во дворе выпевал новую арию. Издалека доносились одиночные выстрелы.

— Это мой старший сын, — сказала вдруг женщина, — из Освенцима вернулся.

Никто не отозвался на ее слова. Женщина устало глядела на парня, который сохранял полное равнодушие, будто не о нем шла речь.

— Два года там просидел. Его схватили на улице.

Она вдруг захлопотала, принялась переставлять побитые горшки и кастрюли. Впрочем, огонь в плите не горел, холод в подвале был еще более пронизывающий, чем во дворе. Солнце, похоже, никогда сюда не проникало.

Малецкий взглянул на Ирену. Она уже окончательно пришла в себя, была только чуть бледнее обычного. Сидела, неестественно выпрямившись, и темными глазами внимательно, хотя и безучастно, смотрела на женщину. Та перестала наконец суетиться, повернулась и подошла к сыну.

— Хватит чистить, Казик, — мягко сказала она. — На сегодня достаточно.

Тут от ворот донесся резкий, гортанный крик солдата. Парень вздрогнул, отошел от окна, инстинктивно съежился. Покрасневшие его глаза испуганно покосились на Малецкого и Ирену. Только при виде матери он немного успокоился, но продолжал стоять, вжавшись в угол, неуверенно поглядывая на чужих.

— Пошли! — Малецкий склонился к Ирине.

Она тяжело поднялась и равнодушно, пренебрежительно поблагодарила за гостеприимство.

Малецкого это задело.

— Ирена! — сказал он с упреком, когда они уже вышли из подвала. — Как ты могла так проститься с этими несчастными?

Она посмотрела на него с той же холодной насмешкой, что и при встрече.

— Тебе не понравился мой тон?

— Не понравился.

Его ответ ее несколько не смутил.

— Что поделаешь — какой есть, такой есть.

— Ирена!

— Чему ты удивляешься? — отозвалась она уже раздраженно. — Эта женщина еще не самая несчастная. Ей не приходится умирать от страха, что ее сыновей в любой момент могут застрелить только за то, что они такие, какие есть. Они при ней, понимаешь? Ей можно жить. А нам?

— Нам? — в первую минуту он не понял.

— Нам, евреям, — ответила она.

Послышалась пулеметная очередь. На этот раз очень близко. Зато пушка была теперь из других ворот.

— Раньше ты не говорила «мы», — тихо сказал Малецкий.

— Не говорила. Но меня научили. Вы научили.

— Мы?

— Вы — поляки, немцы...

— Ты нас объединяешь?

— Так вы же арийцы!

— Ирена!

— Вы научили меня этому. Только недавно я поняла, что все люди на свете всегда ненавидели нас и ненавидят.

— Преувеличение! — буркнул он.

— Все нет! А если и не ненавидят, то в лучшем случае с трудом терпят. Не говори мне, что у нас есть друзья, это одна видимость, на самом же деле нас никто не любит. Даже помогаете вы нам иначе, чем другим людям...

— Иначе?

— Да, тут вам приходится вынуждать себя к самопожертвованию, к сочувствию, к тому, что человечно, справедливо, — к добру. Уверю тебя, если бы я была способна так не любить евреев, как вы, я не стала бы говорить «мы» и «вы». Но я не способна на такое чувство и должна быть одной из них — еврейкой! А кем же мне еще быть, скажи?

— С собой, — сказал он без особого убеждения.

Она ответила не сразу. Опустив голову, стояла, чертила зонтиком по земле невидимые знаки. И лишь после долгого молчания подняла на Малецкого восточные прекрасные глаза и сказала мягким, похожим на прежний голосом:

— Я и есть я. Но барышни Лильен из Смуга уже нет. Мне приказано было забыть о ней, вот я и забыла.

В воротах началось движение. Пользуясь новым перерывом в стрельбе, люди выбегали на улицу.

— Пошли! — сказал Малецкий.

Немецкий солдат, патрулирующий ворота, торопил выходивших. Малецкий и Ирена вмиг очутились на улице.

Ирена этого района не знала и в нерешительности остановилась. Малецкий повел ее в сторону Францисканской улицы. Немногочисленные прохожие тоже устремились туда, держась поближе к домам. Где-то вдали слышались одиночные выстрелы. Посредине мостовой медленно ехала открытая военная машина. С ее ступеньки молодой офицер громко отдавал команду солдатам, построившимся у карусели.

Малецкий и Ирена не успели дойти до Францисканской, когда из гетто снова начали стрелять. На выстрелы отозвалась противотанковая пушка. Снаряды святающейся лентой били в одно из нижних окошек.

Малецкий ускорил шаг.

— Быстрее, быстрее! — торопил он Ирену.

Когда они добежали до Францисканской, густое облако кирпичного цвета заволокло обстреливаемое окно. Оттуда валили клубы дыма. Это было похоже на

пожар. Тем временем раздалась выстрелы из других окон. С угла Францисканской по ним ударила пулеметная очередь.

Чуть дальше на Францисканской кучка людей спокойно наблюдала за перестрелкой. Коренастый парень в вымазанном известью комбинезоне толкнул товарища:

— Гляди, Генек, видишь, вон еврей убитый?

— Пошли, — шепнул Малецкий.

Ирена остановилась и взглянула туда, куда указал парень. Действительно, в одном из окон, сильно разбитом снарядами, виден был труп. Голова, руки убитого свешивались из окна. На таком расстоянии он казался неестественно маленьким, похожим на куклу.

— Видишь? — допытывался парень у товарища.

— Ага! — ответил тот. — Здорово висит, да?

Известие о том, что в окне повис убитый еврей, собрало толпу зевак. Сквозь них протиснулась тощая бабенка с огромной кошелкой, набитой шпинатом и редиской.

— Где, где? — допытывалась она, щуря глаза. — Ничего не вижу.

— Да вон там, прямо, — сказал старик в отрепьях, продавец папирос. — Вон, глядите.

Позади толпы, чуть в стороне, стоял, привалившись к стене разрушенного здания, паренек лет шестнадцати, черноволосый, худощавый, в спортивной куртке. Малецкому было знакомо его лицо. Это был его сосед по Белянам Влодек Карский. Он жил вместе с матерью и маленькой сестренкой в одном доме с Малецким. Отец Влодека, майор, находился в немецком плену. Карские жили этажом ниже, и Малецкий считал юного Карского сорванцом, склонным ко всякого рода дурачествам; он приваживал к себе кучу товарищей, стучал на лестнице и в квартире подкованными башмаками. Но сейчас, здесь, побледневший, гневно сдвинувший брови, Влодек выглядел неожиданно взрослым. Только губы его совсем еще по-детски морщила жалостливая гримаса.

Собравшийся народ во все глаза глядел на свисающий из окна труп. Однако женщина с кошелкой так ничего и не углядела.

— Где, где? — лихорадочно спрашивала она, щуря близорукие глаза.

— Протри глаза, авось увидишь! — зло крикнули ей из толпы.

Послышался смех. Малецкий подошел к Ирене, взял ее под руку.

— Пошли, Ирена!

В эту минуту выстрелы загрели ближе, и толпа стала рассеиваться. Ирена наконец позволила Малецкому увлечь себя дальше по Францисканской. Однако она то и дело оглядывалась.

— Не смотри туда! — проворчал он. — Что толку?

Они молча шли по узкому тротуару. Вокруг них была толкотня и шум. Со стороны Старого Места напирала все новые и новые толпы любопытных, жаждущих увидеть сражение. Канонада меж тем набирала силы. Эхо выстрелов гулко разбивалось о стены тесно поставленных домов. Из оконных ниш, с крыш, с балконов вспархивали стайки голубей и метались над улицей. Два подростка гоняли по тротуару на самокатах. Небо было хмурое. Погода стояла ветреная и холодная, как бывает весной.

В конце Францисканской ближе к костелу францисканцев, около улицы Фрета Ирена остановилась.

— Где мы? И зачем я, собственно, сюда иду?

— Как это зачем? — удивился Малецкий. — Поедешь к нам.

И тут же спросил:

— Ты, верно, не знаешь, что я женился?

— Знаю, — коротко ответила она.

— От Фели Пташицкой?

— Да.

Они стояли у перекрестка Францисканской и Фрета, возле лотка с букетиками калужниц и первоцвета. На обеих улицах было много народу. Сумятица, толчея совершенно изменили облик старого квартала, обычно тихого и спокойного.

Малецкий отступил от края тротуара.

— Ну как?

По выражению лица Ирены видно было, что она колеблется — не знает, как поступить.

— Тебе есть куда идти? — спросил он.

— Пока что нет.

— А тогда чего ты раздумываешь? Все яснее ясного.

Она, однако, не двинулась с места.

— Ты так думаешь?

Малецкий чувствовал, что обязан как-то помочь ей решиться. Но поскольку ко всякому доброму поступку, совершаемому больше из чувства долга, нежели из прямой потребности, требуется себя принудить, Малецкий сделал над собой усилие. И как часто бывает в подобных случаях, преувеличенной сердечностью старался замаскировать свой внутренний разлад. Малецкий помнил, что недавно говорила Ирена, и ему крайне важно было, чтобы она не почувствовала в его приглашении и тени неискренности. Но чем сердечней он уговаривал ее согласиться, тем сильнее ощущал неравенство их судеб. Он понимал, что человек лишь тогда способен истинно одарить другого, когда при этом чувствует, что и его одарили.

Ирена слушала Малецкого рассеянно, зато очень внимательно следила за выражением его лица. Наконец он умолк, смущенный и несколько раздосадованный ее изучающим взглядом. В душе его невольно возникли раздражение и протест. Он прервал себя на полуслове.

Неожиданно Ирена отвела глаза.

— Хорошо, я поеду! — сказала она в пространство. — Это далеко?

Он тотчас успокоился и почти весело ответил:

— Далеко!

Но едва он услышал, как непринужденно прозвучал его голос, Малецкому стало тошно, словно он совершил бестактность. Страдание Ирены не было его страданием, и потому он сознавал, что обязан постоянно следить за собой, контролировать свои реакции и слова, чтобы невольно не подчеркнуть различие их судеб.

И снова оба замолчали. Малецкий то и дело ускорял шаг, но, едва замечал, что Ирена устала и ей трудно поспевать за ним, тут же замедлял его. Вдруг ему пришло в голову, что своим молчанием он может вызвать у Ирены подозрение, не сожалеет ли он о своем поступке. Но спустя минуту он уже перестал понимать, что в самом деле чувствует. Может, он и вправду поспешил? Имеет ли он право подвергать Анну такой опасности? Он быстро отогнал от себя сомнения, но сумятица в душе не улеглась.

По улице Фрета и дальше — по Закромчинской, по тротуарам и мостовой все больше людей спешили к трамваям. Трамваи ходили лишь в северной части города — там они курсировали взад-вперед. Путь к ним вел через соседние с гето кварталы. Оттуда непрерывно доносились выстрелы.

У парка, разбитого на месте бывших фортов Цитадели, Ирена первая прервала молчание.

— Это хорошо, что ты женился. Я тобой когда-то увлекалась, но это хорошо, что ты не захотел на мне жениться.

Малецкий молчал. Ирена взглянула на него с легкой усмешкой.

— Мы не приносим счастья. Разве что когда у нас есть деньги.

Он остановился.

— Сколько в тебе горечи, Ирена!

— Горечи? — удивилась она. — Почему? Ведь это же правда.

— Очень горькая.

— Только для нас. Почему для тебя это должно быть горько?

Однако на этот раз ей, видно, захотелось сгладить резкость своих слов: она стала расспрашивать Яна, чем он сейчас занимается и как вообще живет, как его дела. Малецкий кратко рассказал ей. Уже год он работает в посреднической фирме по купле и продаже всякого рода недвижимости и земельных участков. Работы много. Она, правда, весьма отдаленно связана с его профессией архитектора, зато жалованье неплохое плюс комиссионные, так что им вполне хватает на жизнь.

— Твоя жена не работает? — спросила она.

— Нет.

Он хотел сразу же сказать, что до недавнего времени она работала вместе с ним в той же фирме, но теперь работу бросила, так как скоро ожидает ребенка. Однако почему-то решил не говорить об этом. И снова с досадой почувствовал, как неискренен он по отношению к Ирене.

— А твой монастырь цистерцианцев? — спросила Ирена.

Его обрадовало, что она помнит о его работе. Увы, с прошлого лета он уже не ездит в Гротницу, у монахов нет средств, и работы по реставрации и ремонту монастыря пришлось отложить до лучших времен. Однако он оживился и увлеченно стал рассказывать о том, что успел сделать в старом монастыре.

— Значит, ты проезжал через Краков? — вдруг спросила Ирена.

Отрицать этого он не мог. И разговор, уже было наладившийся, прервался.

Направляясь к трамваю, они близко подошли к мурановской части гетто — тут звуки выстрелов и тарактеные пулеметных очередей слышались все громче. Очевидно, и здесь повстанцы вели ожесточенную борьбу.

Теперь они молча шли по свободному пространству между слегка уже зазеленевшим парком и кирпичными фортами старой Цитадели. Отсюда видны были здания гетто. В спину им от Вислы дул резкий, холодный ветер.

— Как зовут твою жену? — спросила Ирена.

Он вздрогнул от неожиданности.

— Анна.

— Красивое имя.

И тут же, словно для того лишь, чтобы отвлечься и не слышать близкой канонады, спросила:

— То-то удивится твоя жена, когда меня увидит!

— Да нет, — поспешил возразить Малецкий с нарочитой уверенностью — Я так много говорил Анне о тебе. Наверняка не удивится, — повторил он, минуту помолчав.

Разумеется, он ошибался, о чем, впрочем, и сам знал. Чего бы ни ждала в тот день Малецкая, только не знакомства с Иреной Лильен.

Зная, что Ян должен вернуться домой пораньше, Анна была обеспокоена его опозданием. Когда же вернулся Влодек Карский и увлеченно, отчасти сгущая краски, рассказал, что творится в городе, она не усидела дома и пошла к конечной остановке трамвая.

Анна как раз подходила к кольцу, когда Малецкий с Иреной вышли из переполненного вагона. Она увидела их издали. И тут же подумала, что эту высокую красивую женщину муж, должно быть, случайно встретил в трамвае; сейчас он увидит, что она ожидает его у остановки, и, конечно, тут же попросится с женщиной и подойдет к ней. Но, пережив столько тревожных часов, она иначе представляла себе эту встречу, и непредвиденный пустяк омрачил ее радость. Страхи за Яна показались ей теперь смешными, нелепыми.

Люди гурьбой торопливо выходили из трамвая. В образовавшейся на остановке толкучке Малецкая потеряла Яна из виду. По шоссе как раз проезжали крытые брезентом немецкие военные грузовики. Облако белой пыли заволочло дорогу.

Колонна была длинная. Тяжело грохоча, грузовики катили один за другим — прошло несколько долгих минут, пока столпившиеся на остановке люди смогли наконец перейти дорогу.

Малецкий не ожидал, что Анна выйдет встречать его. Он шел, занятый разговором с Иреной, не оглядываясь вокруг, и, вероятно, прошел бы мимо жены, не заметив ее, если бы в последнюю минуту она, преодолев себя, не помахала бы ему рукой. Он тотчас остановился.

— А вот и Аня, — сказал он Ирене.

Но вспыхнувшая в нем радость тотчас угасла, когда он увидел, что Анна надела старое, неоднократно переделанное платье в горошек, которое он не любил. Рядом с элегантной Иреной она показалась ему невзрачной, опустившейся. Он знал, что Ирена придавала большое значение внешности, а он был из тех мужчин, которые ищут подтверждение своим чувствам у людей посторонних, и ему очень хотелось бы, чтобы Анна произвела на Ирену наилучшее впечатление. Вину

за свое разочарование он тут же взвалил на Анну. Увы, когда задевали его самолюбие, ему было не до нежности.

Они подошли к Малецкой. Она явно была смущена.

— Давно ждешь? — спросил он.

Анна отрицательно покачала головой.

Малецкий, как обычно в трудных ситуациях, старался скрыть досаду неприужденностью.

— Вот гостью тебе привез! — сказал он как можно сердечнее. — Это Ирена Лильен...

Малецкая подняла глаза на Ирену и слегка покраснела.

— Ну а это Аня, — обернулся он к Ирене, представляя жену.

Они молча подали руки друг другу. Малецкий снял шляпу. Было очень тепло.

— Ну что, пошли?

Они направились к дому. От трамвая до дома, в котором жили Малецкие, было недалеко; туда вела песчаная, совсем сельская дорога. С одной стороны темнела полная вечернего птичьего гомона густая сосновая рощица, с другой тянулись белые опрятные домики, похожие один на другой, веселые и изящные, разделенные садиками. Там белели цветущие груши и черешни, кое-где розовел миндаль, а молодые березки были опушены нежной зеленью. Среди тишины слышались детские голоса. Кое-где в садиках копали землю.

После пасмурного и ветреного дня небо прояснилось, небосвод на западе стал светло-голубым, весенним. Пахло свежей землей и еловой хвоей.

— Я никогда тут еще не была, — сказала Ирена, оглядываясь. — Красиво как...

Больше она не обращала внимания на окрестности. Она шла между Малецкими, осторожно ступая стройными ногами по песчаной дороге, слегка покачивая зонтиком, — типичная горожанка, даже не подумаешь, что ей привычней чуть ли не деревенская жизнь. Едва слушая рассказ Малецкого о боях в гетто, она то и дело поглядывала на молчавшую Анну. Ирена, видимо, сразу заметила, что Малецкая беременна.

Жена Яна не была ни красивой, ни эффектной.

Беременность успела уже обезобразить ее хрупкую фигурку — в очертаниях тела появилась характерная тяжеловесность. Движения Анны тоже не отличались изяществом, шаг был слишком широк, но держалась она так естественно, что ее состояние не бросалось в глаза. У нее были светлые, пепельного оттенка волосы, неправильные, можно сказать, заурядные черты лица, большой рот и выдающиеся скулы; по-настоящему красивы были только глаза, карие, влажные, очень добрые.

Когда кончились деревянные домики и рощица и началось поле, уже зеленеющее всходами ржи, Ирена спросила:

— Далеко еще?

— Теперь недалеко, — в первый раз нарушила молчание Малецкая. — Сразу за теми домами.

Дома за полем заслоняли лишь восточную часть горизонта. На западе глаз радовал широкий простор — настоящий сельский пейзаж. Луга, серая, еще безлистная полоса лип и тополей, за ними хаты, дальше — фиолетовая тень лесов. Там заходило солнце — красное, огромное, суля ветреную погоду.

У края поля начиналась тихая улочка, застроенная небольшими домами на манер шляхетских усадеб, перед каждым домиком был садик — много сирени, еще не расцветшие акации. Эта улочка вела к дому, в котором жили Малецкие.

— Когда родится твой сын? — внезапно обратилась Ирена к Малецкому.

Вопрос был неожиданный.

— Почему именно сын?

— Вы что, не хотите сына?

— Да нет, хотим! — рассмеялся он.

— Ну, и когда же?

— В середине июня, — ответила Малецкая.

Ирена задумалась.

— Еще так долго...



— Да нет, почему же? — возразил Малецкий. — Еще два месяца, даже неполных.

— Два месяца — это очень много, — повторила Ирена.

Малецкая коснулась ее руки.

— Да, это в самом деле много — два месяца, теперь... Но надо хоть немного верить. — В ее низком голосе звучала сердечность.

Ирена принужденно засмеялась.

— У меня-то нет никакой веры. Только хочется жить.

— Вот именно — чтобы жить, надо верить, — вставил Малецкий.

Ирена насмешливо взглянула на него.

— Во что верить?

— В жизнь, — не отступал Малецкий.

Ирена презрительно усмехнулась.

— Ах, разве что так!

Малецкий уже не мог удержаться. Он остановился и патетически воскликнул, словно сделал невероятное открытие:

— Однако же ты говоришь, что хочешь жить! Что же это, как не вера в жизнь?

Ирена пожала плечами и приподняла зонтик.

— Вера в жизнь? — повторила она. — Совсе нет! Просто чем больше видишь смертей вокруг, тем сильнее самому хочется жить, только и всего...

Они замолкли.

— Вот наш дом! — Малецкая показала дом, окруженный молодыми елочками.

Перед домом играли два мальчугана и смуглая, черноволосая девчушка, очень похожая на Влодека Карского. Это была Тереска Карская.

Она стояла в стороне и, заложив ручки за спину, смотрела, как мальчишки, перемазанные песком и глиной, сооружают длинную стену из камешков, веток и осколков стекла.

— Что это вы делаете? — задержалась возле них Малецкая.

Один из мальчишек поднял к ней толстошекую чумазую мордашку.

— Это гетто! — с гордостью показал он на стену.

В подъезде худенькая и, как дети, смуглая Карская разговаривала с очень толстой, даже тучной женщиной. Женщина эта, когда они проходили мимо, внимательно оглядела Ирену, неприязненно сощурился глаза.

Ирена, по-видимому, заметила это и тут же, на лестнице, спросила:

— Что это за женщина внизу, та, толстая? Она здесь живет?

— Да, — ответил Малецкий. — На первом этаже.

— Кто она, не знаешь?

Малецкий пожал плечами.

— Понятия не имею! Фамилия ее Петровская. Замужем, муж моложе ее, занимается она спекуляцией. Вот все, что я знаю...

Ирена задумалась. Спустя минуту, уже у дверей квартиры Малецких, она снова вернулась к тому же:

— Эта женщина посмотрела на меня не слишком доброжелательно.

— Да тебе просто показалось!

— Ты так думаешь? — Она мельком взглянула на него. — Что ж, дай-то бог! Мне бы не хотелось, чтобы у вас из-за меня были неприятности.

Малецкий нахмурился.

— Ты слишком впечатлительная! — сказал он жестче, чем намеревался.

И снова его охватили сомнения, верно ли он поступил, приведя Ирену домой. Внешность у нее типично еврейская, это бесспорно. Однако сам он так давно знал Ирену, что не представлял себе, какое впечатление она производит на тех, кто видит ее впервые.

Поместив Ирену в так называемую мастерскую Яна, Малецкая вышла на кухню приготовить ужин. Ирена положила на стол зонтик и поднесла руки к шляпе. Вдруг, так и не сняв шляпы, она обернулась к стоявшему посдадь Яну.

— Чего ты так меня разглядываешь?

Он помолчал. Потом ответил.

— Ты, вообще-то, совсем не изменилась...

Ирена положила шляпу рядом с зонтиком и присела на край стола.

— Зато ты очень изменился!

— Да?

— Увы! Постарел, подурнел... Нет, в самом деле,— повторила она, заметив, что он смутился.— Теперь я, наверное, не смогла бы в тебя влюбиться.

Малецкий счел за благо обратить разговор в шутку.

— Думаю, этого никогда и не было?

— Ну разумеется! — засмеялась Ирена.— Неужто ты предполагал, что такое могло быть?

От ответа Малецкого избавил звонок у входной двери. Пришел Влодек Карский. Спортивная голубая рубашка оттеняла смуглость его лица, темные волосы.

— Простите,— он поклонился.— Пан Малецкий дома? Пан Юлек...

— Мой брат? — удивился Малецкий.

Вот уже несколько недель он ничего не знал о Юлеке. Тот еще в феврале уехал в провинцию, неведомо куда и зачем, как обычно, по каким-то таинственным делам.

Из кухни выглянула Анна. Увидев юного Карского, она улыбнулась:

— А, это ты, Влодек!

Тот покраснел и, щелкнув каблуками, поклонился.

— Я к Юлеку... Можно?

— Он купается,— сказала Малецкая.— Зайди чуть попозже.

Юноша кивнул.

— Хорошо, но прошу вас, скажите Юлеку, что я заходил.

Он снова поклонился и, стуча подкованными башмаками, побежал наверх. Малецкий пошел за женой в кухню, небольшую, но светлую.

— А ты мне даже не сказала, что Юлек явился. Давно?

— После полудня,— ответила она.— Впрочем, он все это время спал.

На полу возле буфета стояли высокие сапоги Юлека, старательно после дороги начищенные, ярко блестящие.

Ян присел на ближайший стул. На его спинке висели биджи Юлека. Рядом с сапогами на полу лежали шерстяные носки.

Анна у стола нарезала хлеб.

— Он говорил что-нибудь? — спросил чуть погодя Ян.

— Юлек? — Она улыбнулась.— Ты что, не знаешь его? Вернулся, по-моему, страшно измотанный. Сказал, что все в порядке, и отправился спать. А сейчас купается.

Действительно, за стеной, отделявшей кухню от ванной, слышался шум и плеск воды.

Тут снизу донесся зычный голос Пётроеской:

— Вацек! Вацек!

Вацеком звали ее сына.

Малецкий сидел нагнувшись, уперев локти в колени и спрятав лицо в ладонях. Наконец он поднял голову.

— Послушай, как тебе кажется, Ирена очень похожа на еврейку?

Анна заколебалась.

— Да нет, не очень...

— Но все же похожа, а?

— Пожалуй, да. Она очень красивая.

Малецкий нахмурился.

— Тем хуже! Больше обращает на себя внимание. Сам не знаю, хорошо ли я сделал, что привел ее сюда.

Анна выпрямилась, прекратила резать хлеб.

— Думаю, что да,— ответила она, помолчав.

Однако ему требовалось подтверждение более решительное.

— Ты искренне это говоришь? В самом деле?

Анна повернулась к нему.

— Ты что, так мало меня знаешь?

В голосе ее послышался упрек.

Он ничего не ответил. Из ванной доносилось веселое посвистывание Юлека. Неприязнь к брату шевельнулась в душе Малецкого. Но он вернулся к прерванной теме.

— Она очень изменилась.

— Ирена?

— Какая-то трудная стала... Ты даже не представляешь, до чего трудная... Анна задумалась.

— Какой же ей быть?

— Да, — согласился он, — это верно. Знаешь, она теперь считает себя еврейкой.

Он был разочарован тем, что Анна ничего не ответила. А ведь он умышленно начал этот разговор, чтобы поделиться с Анной своими сомнениями и найти оправдание себе. Достаточно нравственный, чтобы испытывать потребность в оправдании, Ян был все же не настолько нравственным, чтобы не подыскивать себе оправдания. О своих поступках он судил по намерениям, но часто замечал, что сами его намерения противоречивы, и никак не мог найти верного и надежного критерия их оценки. То была темная, густая чаща, в которой он терялся. Это он ощутил и сейчас.

Малецкий поднялся, и, прежде чем успел подавить раздражение, у него само собой вырвалось:

— Зачем ты надела это платье? — Он неприязненно глянул на жену. — Ты ужасно выглядишь в нем!

Анна давно ожидала, что Ян об этом скажет. Она еще по дороге к трамваю думала об этом. Она знала, что Ян не выносит злосчастного платья в горошек, да и сама его не любила. Однако она вышла из дому в такой тревоге, что забыла переодеться. По пути заколебалась было, не вернуться ли, не надеть ли другое платье. Но тут услышала шум подъезжающего трамвая. И не стала возвращаться. Она ошибочно полагала, что ее женские мерки в оценке чувств и дел должны совпадать с мерками любимого ею мужчины. Увы, вопреки нашим желаниям, любовь не всегда избавляет от непонимания.

— Я могу сейчас переодеться, — сказала она спокойно.

Не успел он смягчить резкость своих слов, как громко хлопнула дверь ванной и в кухне появился Юлек — отдохнувший, с мокрыми после мытья волосами. Ростом он был выше Яна, так что позаимствованная у брата пижама была ему коротковата.

— А, ты уже здесь! — обратился он к Яну. — Привет, старик! Как дела?

Малецкий поздоровался с ним довольно холодно.

— В порядке. А у тебя?

— Как видишь! У вас роскошная ванная, отмыл, можно сказать, вековую грязь. Пижама, как ты, верно, догадываешься, твоя. Я нашел ее в шкафу. Не сердись?

Малецкий пожал плечами:

— Одевайся поскорей, сейчас будем ужинать.

— Ой, как хорошо! — обрадовался Юлек. — Я чертовски голоден. Уже одеваюсь, вот только манатки свои заберу.

Он наклонился, чтобы взять сапоги и носки, волосы упали ему на лоб, он энергично откинул их назад.

— Надеюсь, переночевать разрешите, а?

— Само собой, Юлек! — откликнулась стоявшая у окна Малецкая. — А ты что, сомневался?

— Спасибо! До четверга или пятницы, не дольше. Сигарета есть? — обратился он к брату.

Ян вынул портсигар. Юлек взял сигарету, прикурил от газа.

— Снова уезжаешь?

— Еще не знаю, там посмотрим!

Придерживая под мышкой сапоги и носки, с сигаретой в зубах, он стянул со стула штаны. Перебросил их через плечо, и тут на пол выпал темный небольшой револьвер.

Юлек быстро нагнулся, схватил револьвер и сунул его обратно в карман бриджей. Загорелое его лицо залилось румянцем и еще больше потемнело.

Анна ничего не заметила, а Ян счел за благо не комментировать это происшествие.

— Где вы меня положите? — спросил Юлек, еще не оправившись от смущения. — В мастерской?

Анна задумалась.

— В столовой, пожалуй. Там тебе будет не слишком удобно...

— Глупости! Мне везде удобно.

— В мастерской у нас будет спать гость...

— О! — заинтересовался Юлек. — Кто такой?

— Ты ее не знаешь, — сказал Ян.

— Женщина?

— Ирена Лильен.

Юлек, некогда слышавший от брата о Лильенах и о Смуге, присвистнул от изумления. Однако ничего не сказал. Он уже направился было к дверям, когда Анна вспомнила о Влодеке.

— Да, Юлек! Тут недавно заходил Влодек Карский, спрашивал тебя

Юлек остановился.

— Влодек, — он задумался. — Смуглый такой, чернявый?

— Да, он тут над нами живет.

— Знаю, конечно, знаю! — Юлек кивнул головой, улыбнулся.

Если бы не улыбка, явно говорившая о том, что этих двоих объединяют какие-то общие дела, Ян, возможно, подавил бы свое раздражение. Но тут он не выдержал.

— Я вижу, ты усердно взялся просвещать подростков.

Юлек поморщился и сразу перешел в атаку:

— Ну и что? Ты ставишь мне это в вину?

— Да.

— Жаль. Тебя жаль, разумеется.

Малецкий даже побледнел от гнева.

— Тебе двадцать два, и ты можешь делать, что тебе заблагорассудится...

— Надеюсь! — буркнул Юлек.

— Но отдаешь ли ты себе отчет, какое зло причиняешь мальчишкам, хотя бы Карскому, вовлекая их в эти дела? — Он указал на место, куда упал револьвер.

— Что ты говоришь! — возмутился Юлек. — Разве только о тех делах речь! Борьба идет за нечто большее, за... Впрочем, где тебе понять! Одно скажу: жаль, что тебя никто, как ты выразился, не просвещал в твои шестнадцать лет!

— Ого! — воскликнул Ян.

— Да, да! У тебя было бы меньше времени на душевную смуту, и ты не стал бы... эх! — Он махнул носками. — Остальное домысли сам.

Малецкий вздрогнул, но скрыл свои чувства презрительной гримасой.

— Что ты знаешь обо мне?

— Я? — Юлек прищурился. — Я знаю о тебе ровно столько, сколько нужно, чтобы тебя осудить. Зато ты знаешь о себе слишком много. И слишком мало, что, впрочем, одно и то же!

Ян иронически усмехнулся.

— Ты, я вижу, вздумал философствовать. Прекрасно! Но самомнения тебе не занимать.

Юлек хотел немедля ответить, однако взгляд его случайно упал на жену брата.

Она стояла у стола, опустив голову, повернувшись к обоим мужчинам в профиль. Тень ресниц падала на ее щеку. Выглядела она задумчивой и грустной.

Юлек тотчас остыл. Поправил висевшие на плече бриджи и подошел к брату.

— Не сердись, старик! Я не желал тебя обидеть.

Но Ян не собирался так быстро его прощать.

— Что-то ты слишком часто, сам того не желая, ведешь себя непозволительно...

У Юлека дрогнули губы, вспыхнули темным румянцем щеки. Он склонил голову, поднял глаза, усмехнулся.

— А ты наблюдательный! — сказал он весело. — Ну, пойду одеваться.

И вышел из кухни, по обыкновению слишком громко хлопнув дверью. Чуть погода из спальни Малецких, где он оставил свои вещи, донеслось громкое посвистывание.

— Хорош у меня братишка, а?

Анна начала укладывать на тарелку нарезанные ломтики хлеба.

— Ты ведь знаешь, я очень люблю Юлека.

— Но ты с ним почти не знакома! — Ян пожал плечами. — Ты и видела-то его всего несколько раз.

— Да, — ответила она. — Но ведь и тебя, в сущности, я тоже знаю очень мало.

— Меня? — искренне удивился Ян.

Он подошел к жене и, взяв за руки, заглянул в глаза.

— Что-то новое?

Она едва заметно усмехнулась.

— Ничего нового! Так оно и есть.

— Ты никогда такого не говорила.

— Ну, а если бы сказала, что это меняет? — Она взглянула на него. — Впрочем, не только я тебя не знаю. Ты меня тоже не знаешь. — И прибавила тише. — А может, и не стараешься узнать...

Он ничего не ответил. Только отпустил ее руки и подошел к окну.

Синеватые сумерки сгустились. Вечер был теплый и спокойный. По верхушкам елок гулял легкий ветерок. Через улицу шел домой Пётровский, молодой муж толстой торговки с первого этажа, в светлой, лихо сдвинутой на затылок шляпе, в заброшенном на плечи пиджаке. Вот он остановился и, подтягивая пояс на брюках, обернулся вслед девушке, которая шла по тротуару в другую сторону.

Анна вынимала из буфета тарелки.

— Милый, — сказала она. — Ирена там одна.

— И верно! — спохватился Малецкий. — Иду. А ужин скоро?

— Минут через пятнадцать.

Он хотел уже уйти, как вдруг среди глубокой тишины послышались далекие звуки выстрелов. Он подошел к окну, стал прислушиваться.

— Иди сюда! — позвал он жену. — Вот опять!

Она подошла поближе. С минуту оба прислушивались.

— Еще! — уловил Малецкий далекие залпы. — Хорошо слышно.

Она кивнула.

— Опять!

Анна отошла от окна. И, помолчав, сказала:

— Как ты думаешь, с нашей стороны им кто-нибудь поможет?

Малецкий пожал плечами.

— В нынешней ситуации? Как ты себе это представляешь? Каким образом? Мало, что ли, наших уже погибло и продолжает погибать?

Она покачала головой.

— Это не так просто!

— Что непросто?

— Вот это! — Она махнула рукой в сторону гетто. — Может, ты будешь смеяться над тем, что я скажу...

— Я?

— Не знаю. Может, и нет, но...

Она сбилась и замолчала.

Ян подошел к ней.

— Аня! — вежно шепнул он.

Она подняла на мужа глаза — таких печальных глаз у нее он прежде не видел.

— Об этом поговорим потом, вечером, когда будем одни. Хорошо?

— Тебе так хочется?

— Да.

— Ладно, — согласился он — Я тебе напомню.

— А теперь иди к Ирине, скорей!

Он заколебался.

— Иди, милый, — попросила она.

Он вышел с тяжелым сердцем, минуту постоял в прихожей. В спальне вполголоса напевал Юлек. Он, наверно, уже оделся — топал по комнате в тяжелых военных сапогах. За застекленной дверью мелькал его силуэт. По другую сторону коридора, в так называемой мастерской, царил тишина.

Ян наконец решился и вошел.

Ирена стояла у приоткрытых балконных дверей, опершись на большой чертежный стол. Она уже сняла жакет и рядом с нежным опаловым цветом блузки ее тяжелые пышные волосы казались еще темнее.

Она обернулась на звук отворяемой двери.

— Прости, пожалуйста, — начал оправдываться Малецкий, — оказалось, что приехал мой брат, а я об этом понятия не имел.

— Брат? — удивилась она.

— Ты не знаешь его. Юлек.

— Ага! — припомнила она. — Тот самый, за которого ты все время беспокоился?

— Тот самый. Теперь, впрочем, я уже перестал беспокоиться.

Ирена снова поглядела на балкон.

— Слушай, на какую сторону выходят здесь окна? Я не очень ориентируюсь...

— Там — восток! — Он показал рукой в направлении Вислы.

— Так, — она задумалась, — значит, гетто в той стороне?

— Чуть ближе к югу.

Она мельком взглянула туда и вернулась к предыдущей теме:

— А чем занимается твой брат?

— Юлек? — переспросил он равнодушно. — Не знаю. Вероятно, тем же, чем большинство его сверстников.

Ирена коротко хохотнула.

— Но ведь он еще сопляк!

— Ну, положим...

— Да, правда, — она задумалась. — Я позабыла, что ты рассказывал мне о нем уже очень давно. Когда же это было? Три года назад, даже больше...

Оба они в эту минуту подумали о Смуге и тех временах, которые канули в вечность, казались сейчас сном. Малецкому не хотелось предаваться воспоминаниям. Однако он не успел переменить тему, Ирена его опередила:

— Небось ты не думал тогда в Смуге, что в один прекрасный день я вот так появлюсь у тебя.. в твоём доме, правда?

— Никогда не думал, — ответил он с оттенком раздражения.

Она неожиданно рассмеялась.

— Что ж, у тебя своя жизнь! Такая, какую ты хотел, верно?

— Да, — ответил он коротко.

— Ну, вот видишь! Все твои желания исполнились?

Он не выдержал:

— Ты говоришь это так, словно упрекаешь меня.

— Я? — с неподдельной искренностью удивилась она. — Почему? Это тебе показалось!

— В самом деле?

— Ну конечно!

Она повторила его собственные сказанные на лестнице слова:

— Ты слишком впечатлительный!

Он понял намек, но пропустил его мимо ушей. Ирена, отвернувшись, стала в балконных дверях.

Из соседнего садика пахло сиренью. Рысый седой мужчина поливал там из зеленой лейки небольшие, аккуратно вскопанные грядки. За ним семенил двухлетний мальчуган, пухлый и румяный, в голубой рубашонке и коричневых штанишках. На веревке, протянутой меж двух цветущих яблонь, сушилось детское бельишко. По тропинке за садом оборванный светловолосый подросток гнал маленькое стадо коз. Белый козленок весело подпрыгивал.

— Знаешь, что? — сказала Ирена. — Здешнее спокойствие, пожалуй, долго не выдержишь, а?

— Ты думаешь, здесь так уж спокойно?

— Взгляни, какая идиллия! — Она показала на соседний садик.

Он подошел поближе.

— Разве нет? — повторила она.

Малецкий знал в лицо и понаслышке живущих по соседству людей. Знал, что отец мальчугана был арестован несколько месяцев тому назад и недавно расстрелян в Павяке, а жена его, дочь седого мужчины, вывезена в женский концлагерь Равенсбрюк. Он хорошо помнил зимнюю ночь, когда была оттепель и их с Анной пробудил от первого сна близкий шум машины. Он торопливо встал и в темноте ощупью добрался до окна. У них ночевал Юлек. Машина медленно приближалась к дому. В полосе света от неярких фар видно было, что моросит дождик. Ян не сомневался, что машина сейчас остановится. И действительно, она встала у самого дома. Однако из нее никто не вышел. Было тихо. Только дождь шелестел по стеклам. Минуту спустя машина двинулась дальше и остановилась неподалеку, перед соседним домиком. Фары погасли, людей, выходящих из машины, не было видно. Только хлопнули дверцы и мелькнули во тьме карманные фонарики. Потом послышался громкий стук в дверь. Внизу в одном окошке зажегся свет. После отъезда автомашины оно еще долго, почти до самого утра, светило.

Яну хотелось обо всем рассказать Ирене, объяснить, что на самом деле скрывается за этой, как она сказала, идиллией, но слова застряли у него в горле.

— Ну, скажи сам, — повторила Ирена, — разве не идиллическая картинка — садик, покой, старик, поливающий грядки?..

— Да, конечно, — согласился он. — С виду да.

За ужином сперва шел общий разговор на пустячные, мало интересные темы. Говорили о вестях с фронтов, о погоде, о сплетнях и анекдотах, ходивших по Варшаве, а более всего — так, ни о чем. Только Юлек почти не принимал участия в разговоре. Вставлял словечко-другое, а потом сидел молча, ел с аппетитом, то и дело подкладывая себе на тарелку, да время от времени, не умея скрыть раздражение, морщил густые, темными дугами брови.

Более всех говорил Ян. Он был даже сверх меры оживлен, но в какую-то минуту, когда он блистал красноречием, несоразмерным с ничтожностью предмета, ему вдруг припомнился последний, не удавшийся, обед в Залесинеке, когда Ирена подобным же образом пыталась скрыть внутреннюю тревогу. И тотчас он сник, запутался в середине никому не интересного рассказа, и беседа, с какого-то момента явно принужденная и для всех тягостная, начала сама собою затухать, а там и вовсе погасла, сменилась неловким молчанием. Анна, которая чувствовала себя как рыба в воде, когда велись приятельские беседы на серьезные темы, не проявила требующейся от хозяйки дома гибкости, не сумела поднять настроения гостей. Ирена при желании могла бы это сделать, но сейчас ей было не до того.

Окна в столовой раскрыли настежь, и серовато-синие сумерки, казалось, заполнили комнату. Свет, однако, не включали из-за затемнения. В полумраке лица сидевших за столом были едва видны, и это способствовало затянувшемуся молчанию.

Вдруг в одной из квартир внизу — окна там, видимо, тоже были отворены — заиграла гармонь. Ирена подняла голову.

— Тот, на первом этаже! — буркнул Ян. — Пётровский..

Звуки гармони то приближались, то удалялись, вероятно, Пётровский, наигрывая, ходил по квартире.

Тут в электрическом чайнике закипела вода. Анна поднялась, чтобы приготовить чай. Ян предложил сигареты Ирене, потом брату. Юлек отказался:

— Предпочитаю свои, они крепче!

Он вынул из кармана куртки коробочку с табаком, бумажку и стал ловко скручивать сигарку. Покуда Ян тщетно пытался добыть огонь в зажигалке, Юлек пододвинул коробочку Ирене:

— Может, моего попробуете? Хороший табак, меховский..

Не столь, правда, ловко, как Юлек, но тоже умело Ирена принялась скручивать бумажку.

— Вы недавно были в Меховском? — заинтересовалась она.

— Я был не только там, — ответил он уклончиво. — Вы знаете те места? Она кивнула головой.

— Где же вы были?

— Везде понемножку.

— А в районе Обарова?

— Тоже.

— Ты, кажется, где-то там жила в последнее время? — вмешался в разговор Ян.

— Да. Но не в последнее время.

Несмотря на густеющие сумерки, которые проникали извне, видно было, как на ее склоненном над столом лице появилась ироническая полуулыбка.

— Добрые люди постарались, чтобы я не задерживалась долго на одном месте.

Анна расставила чашки с чаем и села на свое место между мужем и Юлеком. За столом воцарилась тишина. Петровский наигрывал какую-то предвоенную песенку, на этот раз, видимо, у самого окна.

Ян почему-то почувствовал себя лично задетым словами Ирены. Раздавлив в пепельнице окурки, он сказал:

— Надеюсь, тебе приходилось встречать не только такого рода добрых людей?

— Разумеется! — спокойно ответила она. — Но разве ты считаешь, что существование людей на самом деле добрых снимает вину с тех, других?

Прежде чем он успел ответить, к нему через стол перегнулся Юлек.

— Знаешь, Янек, что мне вспомнилось? Давние времена, когда мы вместе жили на Познаньской. Ты ходил в политехнический, а я еще школьником был. К тебе тогда часто заходили товарищи... Как эта твоя корпорация называлась?.. «Аркиния», да? Помню, как-то в прихожей я насчитал пять студенческих фуражек и столько же толстых тростей. Страшно мне это тогда imponировало. Только потом я узнал, что господа корпоранты ходили этими дубинками бить евреев и колотили стекла в лавочках на Налевках...

Ирена все это время внимательно присматривалась к Юлеку.

— Били и своих товарищей-евреев! — добавила она тихо.

Малецкий резко отодвинул чашку с чаем.

— Что до меня, то я, кажется, корпорантской дубинкой не орудовал и никогда не одобрял подобные методы борьбы...

Юлек усмехнулся.

— А какие ты одобрял?

— Что значит какие?

— Ну, методы антисемитизма, фашизма — как хочешь их называй.

— Я? — возмущился Ян.

Неожиданно слова Юлека задел и Ирену.

— Я должна встать на защиту вашего брата...

— Позволь! — жестко прервал ее Ян.

Юлек энергично откинул со лба свои светлые, еще влажные волосы.

— Да погодите, вы ничего не понимаете! Ведь я же его, — показал он на брата, — ни в чем не упрекаю. Но что значит — не одобрять подобные методы борьбы? Это слышишь повсюду, это повторяют все так называемые порядочные поляки, осуждающие убийства евреев, насилие по отношению к ним. Но что они имеют в виду? Что они, в самом деле враги антисемитизма? Да нет же! Они против борьбы с евреями вовсе не возражают, только вот методы должны быть иные! Или я ошибаюсь? Но речь идет об отношении к самой борьбе. Я хорошо знаю, зачем привязывают антисемитизм к методам борьбы! Методы становятся все хуже. Методы борьбы! Надо сделать так, чтобы этой борьбы вообще не было, чтобы она прекратила существование вовсе, иначе это всегда вот чем кончается. — Он показал рукой на далекое гетто.

Звуки сентиментального танго, наигрываемого Петровским, на минуту отдалились, потом снова зазвучали очень явственно.

Анна склонилась над чаем. Ирена молчала.

Ян машинально погянулся за новой сигаретой.



— Ты говоришь, не надо с ними бороться, — обратился он к брату. — Мол, у нас нет взаимных оскорблений, обид... Хорошо! Но разве вести или не вести борьбу зависит только от нас?

Юлек потряс головой.

— Не люблю фраз!

— Это вовсе не фразы...

— А что? Пустая болтовня! Допустим, я скажу, что это зависит и от нас и от евреев. К чему я должен апеллировать? К доброй воле? Слова, все слова... А тут не слова нужны...

Ян откинулся на спинку стула.

— Ну?

Юлек молчал. Из прихожей послышался короткий звонок.

— Наверно, Володек! — сказала Анна.

Ян пошел открывать. Это и в самом деле был Карский. Услышав его голос, Юлек поднялся из-за стола.

— Идите в нашу комнату, — посоветовала Анна. — Там вам будет удобнее говорить.

— Нам нужно минут пятнадцать, не больше, — обещал Юлек.

В дверях он столкнулся с братом.

— Ты так и не ответил мне, — напомнил ему Ян.

Юлек рассмеялся.

— Не бойся, это тебя не минует!

Ужин закончился, и Анна предложила перейти в мастерскую. При звуке ее голоса Ирена очнулась от задумчивости, с трудом поднялась. Выглядела она очень измученной.

— Может, вы хотели бы лечь? — спросила Анна.

Ирена поспешно отказалась. Они с Яном прошли в мастерскую. Анна осталась в столовой убраться со стола.

Сумерки перешли в ночь. Но небо, раскинувшееся над окутанной мраком землей, было еще светлое, таких ясных нежных тонов, какие бывают только ранней весенней порой.

Ян притворил балкон, опустил светомаскировочную штору и зажег маленькую лампочку на низком столике у стены. В комнате стало очень уютно.

Ирена села в глубокое кресло...

— Посоветуй! — вдруг сказала она. — Что мне, собственно, делать, что мне с собою делать?

Ян остановился на середине комнаты.

— Что-нибудь придумаем... — сказал он неуверенно.

— Но что все-таки?

Он по своему обыкновению ответил вопросом:

— А что, собственно, ты делала на Новинярской, там, где мы встретились?

— Там? Ничего. Пришла туда... посмотреть!

— Как можно? Ты же рисковала, с тобою бог знает что могло случиться...

— Я не думала об этом! — пожала она плечами. — А вообще-то, что со мной могло случиться? Хуже того, что с теми, за стенами, не бывает.

— Ты говорила, что хочешь жить...

— Да, хочу, — сказала она. — Но...

— Что «но»?

— Временами уже не могу. В самом деле уже не могу!

Воцарилось молчание. Петровский продолжал наигрывать на гармони.

— Где ты жила в последнее время? — спросил Ян.

— В последнее? В Мокотове у Маковских... Ты его знаешь?

Маковский был ассистентом Лильена, и в свое время, когда Лильенам, уже под фамилией Грабовских, пришлось спешно покинуть свое жилье на отводной линии, профессор прожил у него несколько недель после возвращения из Кракова. Малецкий знал молодого историка еще по Смугу.

— И что? — Он сел в кресло напротив Ирены. — Опять что-то случилось?

Она кивнула.

— Что?

— То, что всегда! — ответила она коротко.

Она жила у Маковских несколько недель, почти не выходила из дому и считала себя в безопасности. Кто-то, однако, проведал о ней. Как раз сегодня утром в отсутствие Маковских пожаловало двое молодых людей. Один из них был агентом гестапо. Несмотря на арийские документы Ирены, они забрали ее с собой в ожидавшую у дома машину. Были весьма любезны с нею, но не скрывали, что везут ее на аллею Шука<sup>2</sup>. По пути она откупилась последней золотой пятирублевой, которая была при ней. Вышла из машины перед самой аллеей, однако в Мокотов возвратиться побоялась.

— Выходит, Маковские ни о чем не знают? — спросил он.

— Нет!

Ян предложил завтра же поехать к ним, рассказать обо всем и привезти оттуда самые необходимые вещи.

— Разумеется, нет смысла туда возвращаться! — решил он. — Лучше не рисковать.

Она равнодушно согласилась: да, так будет лучше.

— Но что дальше? — Она опустила голову. — Что дальше? Как мне жить? Ведь я уже никогда не смогу вернуться к нормальной жизни. Ты знаешь, любое новое лицо невольно вызывает у меня одну мысль: предаст или не предаст? Это страшно, ты не представляешь, что это такое...

В эту минуту в мастерскую вошла Анна. На мгновение задержалась в дверях, потом тихо присела на кушетку.

Ирена, подняв голову, посмотрела на Яна.

— Знаешь ли ты, что, встретив тебя, я подумала о том же?

Он не ответил.

— Допустим даже, что я продержусь до конца...

— Тогда все изменится! — вставил он.

— Но люди не изменятся! — возразила она. — Разве что они будут не вправе убить меня. Но поверь, те два молодых человека, которые везли меня сегодня на машине, будут смотреть на меня с презрением и жалеть, что уже не могут заработать на мне жалкой золотой пятерки.

— Что ты такое говоришь? — возмущился он.

— Вот увидишь! Нас еще больше возненавидят: ведь мы будем свободно ходить по улицам, вернемся в свои дома, к своим занятиям, обретем свои права. Не возражай, я знаю, что так и будет, и ты это знаешь. Сейчас обыкновенный стыд не позволяет многим выказывать нам свою неприязнь. Они принимают нас скрепя сердце, прячут из чувства долга. Но потом им не потребуется насиловать себя! И мы тоже ничего не забудем. Ты знаешь, евреи не умеют забывать зло. В отличие от вас. Вы обо всем забываете. И о том, что вами помыкают, и о том, что вы кем-то помыкаете...

Ему нечего было возразить, потому что он думал так же, как она. Впрочем, сам он жаждал забвения, жаждал глубоко сердцем и умом. И ему захотелось защитить эту свою слабость, хоть как-то оправдать ее, облагородить.

— А не есть ли это надежда? — задумчиво сказал он.

— Что? — не поняла она.

— Забвение! В нем наша надежда на лучшее. — продолжал он. — Неужели нам тащить через всю жизнь эти кошмарные годы, никогда не отделаться от них?

— Не знаю! — ответила она. — Меня за эти несколько лет превратили в другого человека, вынудили совершенно перемениться. И, похоже, вполне в этом преуспели. Как же я смогу забыть эти годы?

— Они всех изменили. — заметил Ян.

— Но не всех лишили достоинства!

Анна — она продолжала сидеть на краешке кушетки, поджав под себя ноги. — вдруг вскинула голову.

— Разве человека и впрямь можно лишить достоинства? — тихо спросила она.

Ирена повернулась к ней.

<sup>2</sup> Улица в Варшаве, где во время оккупации помещалось гестапо.

— Возможно ли это? О да! Поверьте мне, вполне возможно. У человека можно отнять все: волю, гордость, желание, надежду — все, даже страх... Я сама это видела, видела не раз... Знаете, как погиб мой отец?

Когда начались первые массовые убийства евреев, а именно летом сорок второго года, профессор вместе с Иреной находился в одном из имений Меховского воеводства. Пани Лильен жила пока что под Краковом, но вскоре тоже должна была приехать к ним в деревню. Пребывание Лильенов в новом имении было очень неплохо обставлено. Ирена числилась служащей местного винокуренного завода, а профессор жил в усадьбе в качестве учителя хозяйских сыновей. Первые месяцы пребывания в имении прошли спокойно, и могло показаться, что наконец-то после прошлогодних мытарств они придут в себя, смогут задержаться надолго. Оставалось только переправить в деревню пани Лильен. Но когда ее приезд был окончательно подготовлен, начались массовые репрессии против евреев. Вскоре они докатились и до той местности, где нашли пристанище Ирена с отцом. Однажды под вечер в ближний городок Обаров прибыл специальный карательный отряд гестаповцев и приступил к уничтожению тамошних евреев — и тогда кто-то, не назвав себя, позвонил владельцу имения, угрожая сообщить немцам, кто такие Лильены. Оставалось одно — бежать.

Ни в одной из соседних усадеб укрыть Лильенов было невозможно, отъезд в Краков тоже пока что исключался — их могли схватить по пути туда. Вдобавок профессор очень плохо себя чувствовал — еще не оправился после тяжелого гриппа, и у него то и дело пошаливало сердце. В этих условиях оставался вроде бы единственный шанс уцелеть: укрыться в ближних лесах. Это посоветовал хозяин Лильенов, и профессор с Иреной согласились. До поры до времени они могли скрыться в лесной сторожке в восьми километрах от имения — переждать там наиболее опасный период. Профессор не хотел, чтобы их сопровождал кто-нибудь из прислуги или из усадьбы. Он уже не доверял людям, ни на кого не полагался. И они пошли одни...

Хлопнули двери прихожей. Ирена умолкла. В мастерскую вошел Юлек. Он оглядел всех и, заметив, что прервал разговор, встал в сторонке. Вынул табак и начал скручивать сигарку.

— И что дальше? — спросил Ян.

— Это была ужасная ночь! — продолжала Ирена. — Такая темная... Мы плохо ориентировались в лесу. Сначала еще как-то узнавали окрестности, но потом, когда пришлось свернуть с дороги и идти тропинками, заблудились. Собственно, я тогда только поняла, что мы сбились с пути, когда уже начало светать. Отец едва шел, приходилось то и дело отдыхать. Сердце сильно его беспокоило. Он стал совсем другим человеком. Выглядел он как старый, больной еврей, этакий перепуганный еврейчик, страшящийся смерти. Он ужасно боялся попасть к немцам в руки. Только присядем на минуту, тотчас срывается с места — все ему чудилось, что сторожка поблизости. Я-то уже понимала, что нам не найти ее, а он все еще надеялся.

К рассвету мы вышли на какую-то дорогу. Было еще не совсем светло, стояла мгла... Отец не хотел выходить на дорогу, ну я пошла одна и вижу: по направлению к нам движется большая темная толпа. Представляете, что я пережила? Я хотела тут же уйти в глубь леса, но отец не мог тронуться с места. Он ужасно побледнел, затрясся... Я думала, это конец. Мы укрылись в придорожных кустах, у обочины были густые кусты, ольшаник, кажется. Легли на землю, отец дышал тяжело и все дрожал, будто ему холодно. Минуты, пока те люди приближались к нам, казались часами. Я прижалась лицом к земле, на траве была роса, пролежи я так дольше, заснула бы, наверное, — так устала. И вдруг слышу голос отца, изменившийся до неузнаваемости, дрожащий: «Ирена, это еврей!» Я подняла голову — вижу, толпа уже совсем близко. В самом деле одни еврей... женщины, старики, дети, еврейская беднога. Потом уж я узнала, что это были евреи из Обарова, те, которых ночью не успели сразу расстрелять. Их гнали на какой-то сборный пункт, где собирали евреев из других городков и деревень — из всех здешних мест. Вы и представить себе не можете, что это было за зрелище, — такого вовек не забудешь! Людское стадо, сбившееся в кучу, некоторые босиком, с котомками, все запыленные, грязные, бледные, измученные лица. У многих лица окровавленные, женщины несут на руках малых детей...

Одна девчушка, маленькая такая, чернявая, худенькая, в розовом ситцевом платьице в горошек, несла двух младенцев, одного на руках, другого на спине...

Сперва я даже не заметила, что их кто-то охраняет. Только потом уж увидела немца. Он шел сбоку по траве, наверно, чтоб сапог своих сверкающих не запылить... С виду совсем нестрашный, молоденький такой парнишка, лет семнадцати или восемнадцати. Прошел рядом со мной, в каких-нибудь двух шагах... Я даже слышала, как скрипят его сапоги.

Вдруг чувствую, отец с земли поднимается. Хорошо помню, что хотела крикнуть, остановить его... Но не крикнула, что тогда со мною происходило — и не расскажешь. Я знала, что должна что-то сделать, не дать ему уйти, последовать за ним, но ничего не сделала... лежала без движения и смотрела. Видела, как отец, согнувшись, сгорбившись, встал на обочине дороги, и тогда несколько человек из тех, что шли поближе, остановились. Я видела их глаза, почти мертвые, глаза слепцов. Они остановились и смотрели этими своими невидящими глазами на отца... И тогда тот паренек обернулся — решил, наверно, что отец отделился от толпы, с криком подбежал к нему, ударил раз, другой бичом по голове, по лицу и как толкнет — отец и упал. А он еще пнул его пару раз ногой. Какая-то старая еврейка хотела помочь отцу встать, но он и ее ударил бичом, и отец наконец поднялся сам. Стал сперва на четвереньки, потом выпрямился... помню, я закрыла глаза, а когда открыла их, уже не могла отыскать отца в толпе... так там все походили друг на друга...

Наступила долгая тишина.

— А может, они все же не погибли? — сказал Ян. — Их могли отправить в лагерь...

— Где там! — подал голос Юлек, стоявший у стены. — Ты что, не знаешь, как это происходило? Устраивали в одном месте, где-нибудь у шоссе, так называемый сборный пункт и туда сгоняли евреев со всей округи. Сперва производили селекцию. Молодых, здоровых и сильных забирали на работы, остальных приканчивали на месте. Всех подряд, как шли... детей, женщин, стариков...

— Вот-вот! — подхватила Ирена. — Им велели копать рвы, а потом устанвливали пулеметы.

Юлек подошел к ним. В полумраке, в высоких сапогах и военного покроя бриджах, он казался еще выше.

— Знаете, кто меня недавно спрашивал о вас? Он думал, я вас знаю.

Ирена вопросительно посмотрела на него.

— Стефан Вейнерт.

Вейнерты были близкими родственниками пани Лильен, а Стефан Вейнерт был сверстником Ирены.

— Что вы говорите? — обрадовалась она. — А я не знала, что Стефан жив.

— Жив.

— Где вы его видели? Его родителей убили.

— Знаю. Стефан тоже сидел. Но не в том дело... В общем-то, парню повезло! Ему удалось бежать,

— И где же он?

Юлек улыбнулся.

— За Бугом! В лесу!

Ирена задумалась.

— Передайте ему привет от меня. Вы его увидите?

— Кто его знает? — Он откинул волосы со лба. — Может быть...

Тут во дворе раздались короткие выстрелы — один, другой, третий.. Ирена вскочила. Выстрелы еще не стихли когда к ним примешалась трескотня автомата. Теперь и Анна встала.

— Ого! — буркнул Юлек.

Ирена побледнела.

— Лучше погасите свет! — шепнула она.

Ян поспешно щелкнул выключателем, и комната погрузилась в темноту. Выстрелы приближались, раскастгым эхом отдаваясь в узких затихших улочках.

— Во дает! — констатировал Юлек так громко, что Ян даже зашипел на него. Юлек подошел к окну, стал подымать шторы.

— Ты что, спятил? — возмущился Ян.

Их глазам открылось ночное небо. Юлек распахнул балконную дверь, встал на пороге. Анна и Ян машинально подошли поближе. В глубине комнаты осталась одна Ирена. Холодный, пахнущий землей воздух хлынул в комнату. Небо вылездыло.

— Ничего не видно, — шепнул Юлек.

Выстрелы прекратились. Наступила тишина. Вдруг Юлек знаком подозвал брата и невестку. Они подошли к нему.

Сквозь тьму можно было различить быстро бегущего по тротуару человека. И опять, на этот раз уже неподалеку, застрочил автомат.

Анна невольно схватила мужа за руку. Он стиснул ее ладонь и придержал в своей.

Бежавший мужчина остановился, пригнулся, встал на колени у ближайшего дерева. Молодой, еще тоненькой акации. Укрывшись за ней, он несколько раз выстрелил во тьму пустой уловки. Секунда-другая — он вскочил и, пригнувшись, побежал дальше. Вдогонку ему раздались выстрелы.

Теперь и Юлек отошел от двери. Явственно слышен был приближающийся топот тяжелых кованых сапог. Чуть погодя в темноте послышались громкие гортанные немецкие фразы. Группа немцев бежала по мостовой, двое — по тротуару.

Малецкий дернул брата за руку.

Один из бегущих солдат остановился у сетки, ограждавшей их участок, и крикнул что-то товарищам. В темноте были отчетливо видны его высокая, наклоненная вперед фигура, низко надвинутая каска, автомат наизготовку. Рядом с ним остановились еще двое немцев. Первый стал что-то говорить им, показывая на дом Малецких.

«Это конец», — подумал Ян. Поскольку сразу же за их домом поселок кончался и начиналось поле, солдаты, вероятно, предположили, что беглец под кровом темноты укрылся поблизости в каком-нибудь доме или саду. Если немцы устроят обыск и обнаружат в их квартире не прописанных там молодого мужчину с оружием и молодую женщину семитской наружности, они всех их поставят к стенке.

Ирена, хотя ей из глубины комнаты ничего не было видно, ощутила общую напряженность...

— Что происходит? — спросила она, ее грудной голос слегка сел.

Юлек отпрянул от окна, увлекая за собой Анну и Яна.

— Ступайте в столовую! — сказал он, чуть понизив голос, но ровно и спокойно. — В спальне в моем чемодане коробка, завернутая в бумагу... спрячь ее, Анна!

Она кивнула.

— И прежде всего сохраняйте спокойствие! Все будет хорошо.

Ирена хотела что-то сказать. Но Юлек подтолкнул ее к двери.

— А теперь быстро уходите отсюда! Я приду к вам, если понадобится.

Когда они вышли, он вернулся к окну. Три солдата стояли на том же месте. Совещались. Остальные, видимо, побежали дальше к полю.

Юлек знал, что от его спокойствия и уверенности в себе сейчас зависит если не все, то очень многое. Он не впервые оказался в таком положении. Мысль его работала последовательно и четко. Однако он чувствовал, что не вполне владеет собой, не так хотелось бы ему сейчас держаться. Он напряженно всматривался в темноту — фигуры немцев чернели на расстоянии выстрела. Он слышал их голоса — чужие, ненавистные. Знал, что надо следить за каждым их движением и не давать волю своему воображению. Тем не менее он не мог избавиться от мысли о том, что будет с братом и с Анной, если все кончится плохо. Он представил, что Анна скорее всего до последнего сохранит спокойствие, и его охватил такой пронзительный страх за ее судьбу, какого до сих пор ему не доводилось испытывать.

Один солдат отделился от товарищей и направился к калитке. Двое других чуть погодя последовали за ним. Юлек потерял их из виду. Потом послышался скрип калитки, тяжелые, мерные шаги приблизились к дому. Сердце у него екнуло. Он стиснул кулаки, зажмурил глаза, и мучительное напряжение ослабло, он

успокоился. Он уже протянул было руку к револьверу — хотел спрятать его меж балконных дверей, — когда позади дома, в поле, грянула автоматная очередь. Эхо повторило ее.

Солдаты остановились внизу. Слышны были их голоса. Потом они поспешно повернули к калитке. Стало тихо. Снова где-то в глубокой тьме защелкали выстрелы — теперь уже явно удаляясь.

Юлек сунул револьвер в карман брюк, откинул волосы. «Пронесло», — подумал он.

Прошел в прихожую, отворил дверь в столовую. Затемнение было опущено, горел яркий свет. Ян сидел с книгой у стола, Анна раскладывала на столе пасьянс. Только Ирена не прикидывалась занятой. Она вся сжалась, побледнела, лицо у нее помертвело, руки дрожали. Сейчас всякий с первого взгляда распознал бы в ней еврейку.

При виде Юлена Ян отложил книжку, вскочил.

— Ушли?

Юлек презрительно махнул рукой.

— Надеюсь, тот парень не дастся им в руки. А сюда они уже не вернуться, можем спать спокойно.

Автоматы снова застрочили, на этот раз где-то далеко. Похоже, немцы беспорядочно палили устрашения ради.

Юлек перегнулся через стол к Анне — она продолжала невозмутимо раскладывать пасьянс.

— Ну как? — спросил он ласково. — Выходит?

Анна подняла голову, спокойно отложила карты.

— Увы! — улыбнулась она. — Он не может выйти, я ошиблась в самом начале.

Юлек ничего не ответил.

— Прямо скажем, — сказал Ян, — происшествие не из приятных.

Ирена вдруг вскочила.

— Тише! Слышите голоса?

Они прислушались. Стояла полная тишина.

— Ничего не слышно, — определил Юлек. — Ей-ей! У меня хороший слух. Но Ирена, не доверяя ему, прошла в мастерскую. И чуть спустя тихо окликнула их.

Она стояла посреди комнаты лицом к балкону.

— Поглядите! — еле слышно сказала она охрипшим голосом. — Как там светло...

Во тьме ночи вдали пламенело огромное, занявшее чуть ли не полнеба алое зарево.

— Горит! — сказал Юлек.

Зарево разливалось по небу, становилось все ярче. Пожар. Ночной небо-свод полыхал.

Малецкие еще долго не ложились спать. Юлек быстро разделся, с шумом скинул на пол сапоги и, видимо, тут же заснул — когда Ян вышел из ванной, в столовой было уже темно и тихо. В мастерской свет тоже не горел. Но оттуда слышались звуки приглушенных, круживших по комнате шагов.

Анна уже лежала. Он присел на кровать, положил ладонь на ее руку.

— Устала?

Да, она устала.

— Ужасный день, — согласился он. — Слишком много всего сразу...

Свет лампы резал Анне глаза, он отодвинул лампу, склонился над женой.

— Ты мне хотела что-то сказать. Помнишь?

Она молча кивнула.

— И что же это?

— Да так, разное...

— Не хочешь говорить?

Она приподнялась, оперлась на локоть.

— Да, пожалуй, — искренне призналась она. И поспешила объяснить: — Родной! Никакой тайны тут нет. Просто мне трудно говорить об этом...

— О чем?

— Об этом! — Она показала глазами на окно.

Он догадался, что она имеет в виду восстание в гетто.

— Понимаю, — сказал он.

— Вот видишь! Когда я думаю о тех людях и о том, что их ждет, у меня слова застревают в горле. И когда о нас думаю, о нас, по эту сторону.

— Поляков гибнет еще больше.

— Да, — ответила она, — но по-другому, не так.

Ей хотелось еще сказать, как важна и насущна для нее вера, в которой она выросла и которую сохранила: вера эта помогала ей понять смысл миропорядка. Поэтому ей, верующей католичке, трагедия евреев, от века к веку все более страшная, представляется самым мучительным испытанием совести христианина. Кого же, как не христиан, должна волновать жестокая судьба несчастнейшего из народов, племени, которое, однажды отринув истину, платит за это немислимыми страданиями, унижениями и оскорблениями? Кто же, если не христиане, должен делать все, чтобы облегчить долю несчастных и разделить участь тех, кто умирает без надежды? Она много думала об этом, но не решалась высказать свои мысли вслух.

Ян не настаивал. Он лег, погасил свет.

— Знаешь, — чуть погодя сказала Анна в темноте. — К следующей Пасхе наш ребенок уже будет большой, а там и ходить начнет...

Чтобы избавиться от тяготивших его мыслей, он охотно переключился:

— К лету он уже пойдет.

— К будущему лету! — повторила она. — Вроде бы это звучит так просто, так буднично, правда?

— Через год.

— Да. Но как подумаешь, что будет через год, словно заглядываешь в крошечный мрак. Ты можешь представить себе, что нашему ребенку, как и нам, тоже придется когда-нибудь жить в таком ужасном времени?

Ян, положив руки под голову, смотрел вверх, во тьму.

— Наши родители тоже не могли бы этого представить.

— Зачем ты так говоришь? — упрекнула она его. — Еще совсем недавно я думала, что мир никогда не изменится. Но теперь я уже не могу так думать. Я должна верить, что наш ребенок будет жить в другие, лучшие времена...

Они долго молчали.

— Засыпаешь? — спросила она.

— Нет! — ответил он отнюдь не сонным голосом.

— А там, наверно, все еще горит.

Он сел на кровати.

— Сейчас взгляну!

Он откинул одеяло, босиком подошел к окну, поднял светомаскировочную штору.

Зарево стало огромным, еще больше прежнего, оно словно кровью залило всю южную сторону неба.

Ян отворил окно, выглянул наружу. Ночь была холодная. Пахло весной. Вдали слышались отголоски выстрелов. Они не прекращались всю ночь...

— Слышишь?

— Да! — шепнула она.

Чем дальше он прислушивался, тем более грозной и зловещей казалась ему сотрясаемая выстрелами, озаренная пожаром тьма. Внезапно он вздрогнул. Незнакомый, пронзительный звук — ничего подобного он в жизни не слышал — вырвался из тьмы.

Анна вскочила, встала в постели на колени.

— Что это?

Ян невольно отпрянул от окна.

— Не знаю... Но этого же не может быть?

— Закрой окно! — попросила Анна. — Я не в силах это слышать.

Не успел он исполнить ее просьбу, как Ирена, которая, видимо, успела заснуть, выбежала из мастерской в коридор.

Ян распахнул дверь в прихожую, повернул выключатель. Ирена стояла в дверях ванной в одной рубашке, вся сжавшись, дрожа, закрыв уши ладонями.

— Ты слышал? — Она взглянула на него безумными глазами. — Что это? Кто так кричит? Ведь не люди же?

### III

Назавтра пожар усилился. Пока трудно было определить, кто поджигал дома — немцы или евреи, отступающие в глубь гетто. Позже стало известно, что это были немцы.

Одними из первых в ночь с двадцатого на двадцать первое запылали большие дома на Бонифратерской, те самые, которые так упорно защищали евреи. От них пожар перекинулся на соседние дома, и когда Малецкий, как обычно, поехал к восьми утра в свою контору, над гетто виднелись огромные, уходящие в небо клубы черного дыма. День был погожий, но ветреный, и ветер доносил едкий запах гари из гетто до самого Жолибожа.

С Бонифратерской бои перенеслись теперь в Муранов и на Ставки; судя по всему, дрались ожесточенно: даже на самом конце жолибожского виадука — а дальше трамваи не ходили — все сотрясалось от непрекращавшейся канонады. Говорили, что одной из повстанческих групп удалось на рассвете прорваться за стены и завязать уличные бои у фортов Цитадели. Но сейчас там царило спокойствие. Улочки, выходящие к гетто, патрулировали усиленные наряды солдат.

Между тем раздуваемый ветром огонь обдавал жаром Бонифратерскую. Хотя день был солнечный, воздух стал серо-голубым, каким-то стеклянстым. В этом странном свете люди походили на тени. Пассажиры из Жолибожа, из Марымонта и Белян толпами молча выходили из трамваев и так же молча спешили залезть в грузовики, которые довозили их до центра. Один грузовик отъезжал за другим, своим тарактением нарушая тишину.

Опустевшая, замершая Бонифратерская становилась все темнее. Из нутра одного из домов в самом ее конце среди клубов черного дыма показались красные верткие языки огня.

Была Страстная среда.

Малецкому предстояло сперва уладить одно дело, о котором он напрочь позабыл во вчерашней сумятице, потом он весь день был страшно занят, так что домой ушел уже незадолго до комендантского часа. Из-за дел ему не удалось даже вырваться в Мокотов к супругам Маковским.

В сумерках пожары казались еще страшнее, чем утром. Горели новые дома — совсем рядом с теперешней конечной остановкой трамвая.

Когда Малецкий сошел с подводы, занялась крыша углового дома на перекрестке Бонифратерской и Мурановской. Дом был пятиэтажный, и огонь клокотал высоко над землей. Воздух почернел от густого дыма. Ветер швырял огненные искры на крыши домов по соседству с гетто. У одного из них, самого близкого к гетто, стояла пожарная команда. Маленькие черные фигурки шныряли по крыше среди клубов дыма.

В Муранове бои продолжались. Гремели пулеметные и автоматные очереди. Время от времени мощные взрывы сотрясали землю.

Из Белян весь день были видны пожары. Не такие грозные, как ночью, и все же клубы дыма в ясном небе не давали забыть о том, что творится в городе. Взрывы тоже не прекратились.

Ирена держалась очень спокойно по сравнению с вчерашним днем — не поймешь, то ли притворялась, то ли и вправду справилась с нервным напряжением. К тому же у Малецкой было много хозяйственных дел, и она так сумела вовлечь Ирену в будничные хлопоты, что та, казалось, временами совсем забывала о своих тревогах.

Зато Анне в тот день спокойствие давалось с трудом. Хотя у нее не было особых поводов тревожиться за мужа, она нервничала уже оттого, что его весь день не будет дома.



Юлек вскочил очень рано — еще не было шести. Оделся он на этот раз на редкость тихо, дверями не хлопал и ушел бы, наверное, без завтрака, если бы Анна, которая в это время проснулась, не вышла в прихожую и не задержала его.

Дом еще спал. Стояла тишина, только начинало светать.

— Погоди,— шепнула она.— Тебе надо поесть.

Он бурно запротестовал, к чему, мол, это. Однако на кухню все же пошел. Он был уже в плаще и шапке.

— Разденься,— предложила она.— Я сейчас поставлю кофе.

— Но у меня в самом деле нет времени,— объяснил он.— Не хлопочи, мне надо ехать!

Он говорил так убежденно, что она заколебалась:

— В самом деле? Но ведь это займет всего десять—пятнадцать минут. Через четверть часа ты уйдешь!

Он подумал, что расстроит ее, если уйдет без завтрака, и согласился:

— Ну хорошо.

Анна просияла:

— Вот видишь!

Она зажгла газ, поставила воду для кофе. Потом накрыла скатертью стол у окна, вынула из буфета хлеб, масло, творог. Юлек, все еще в плаще и в шапке, молча наблюдал за ней. Она заметила это.

— Ты почему не раздеваешься? Сними же плащ!

— Сниму! — Юлек словно очнулся от задумчивости.

Он подошел к столу, по-прежнему не спуская глаз с Анны. Она стояла у плиты, ожидая, пока закипит вода.

— Знаешь,— сказал он наконец.— Что ни говори, а семейный очаг не зря придумали.

Она обернулась к нему.

— Конечно! Ты только сейчас это заметил?

— Да,— искренне признался он.— Ведь мы с Янеком, по сути, выросли без семьи.

Они очень рано потеряли родителей, живших в Люблинском воеводстве. Ян к тому времени кончил гимназию, Юлеку едва исполнилось десять лет. С тех пор они жили вместе, снимали комнату; помогал им только дядя, бухгалтер сахарного завода в Поморье,— изредка высылал небольшие деньги. С шестнадцати лет Юлек стал самостоятельным, поселился отдельно от брата.

— Женись! — серьезно сказала Анна.

Юлек рассмеялся:

— После войны! — И, смеясь, добавил:— Разумеется, если встречу женщину, похожую на тебя.

Анна покраснела и склонилась над закипавшим чайником

— Ты, похоже, начинаешь говорить мне комплименты?

— Нет, это правда! — сказал он уже серьезно.

Через четверть часа он, как и обещала Анна, позавтракал.

— Когда приедешь? — спросила она, когда он поднялся из-за стола.

— Не знаю,— протянул Юлек, надевая плащ.— Ничего еще не знаю. Есть у меня кое-какие планы, но что из этого получится...

Анна целый день провела вдвоем с Иреной. Ближе к полудню к ней зашла Карская.

Пани Карская, которая обычно принимала на веру все ходившие по городу слухи, принесла на этот раз известие, как она утверждала, из очень надежного источника: готовится восстание. По ее сведениям, оно должно вот-вот начаться. Потом она подробно рассказала о последних политических покушениях. Они и в самом деле случались теперь очень часто. Не проходило суток, чтобы среди бела дня не застрелили нескольких немецких чиновников, жандармов или гестаповцев. Разумеется, Карская несколько сгущала краски. Еще она утверждала, что история из гетто — это лишь начало конца, она предвещает большие перемены.

Она была возбуждена, говорила быстро, нервно, курила сигарету за сигаретой. О ночной перестрелке она тоже знала множество подробностей. Говорили, что в одном из домов на Цегловской улице обнаружили склад боеприпасов. По другой версии, там помещался не склад, а тайная типография. На самом же де-

ле, как позднее узнала Анна, ночное происшествие было вполне незначительным: немецкий патруль наткнулся после комендантского часа на двух молодых людей. Один из них был убит на месте, другому, кажется, удалось бежать.

Когда пани Карская пересказала наконец все свежайшие новости, она перешла к другой теме: что им сулит будущее. Предполагают, говорила она, что нынешний год станет последним годом войны. Судя по всему, в этих сомнительных и туманных слухах пани Карская черпала надежду. А может, это была одна видимость, и на самом деле для оптимизма оснований не имелось. Но ей надо было на что-то опереться! Жизнь ей выпала очень трудная. Муж ее находился в плену, никаких родных у нее не было, и она надрывалась, чтобы прокормить подростка Влодека и маленькую Тереску да еще послать продуктовые посылки мужу в лагерь. У нее вечно была куча дел, бесчисленных сделок и операций, из которых, как правило, ничего или почти ничего не выходило.

Вот и теперь, хотя Карская и жаловалась на небольшой жар — у нее были слабые легкие, — она спешила в город: кто-то из знакомых позвонил, что ему перепали пятьсот пар мужских ботинок для продажи. Она надеялась найти на них покупателя и, хотя покупателя еще не присмотрела, уже подсчитывала предполагаемый заработок и даже планировала, что из самого необходимого купит на эти деньги. Увы, и более значительной суммы ей не хватило бы, чтобы свести концы с концами. Принявшись перечислять, что ей нужно для дома, она сама была поражена.

— Ну просто руки опускаются! — приуныла она. — Что я буду делать, если не продам ботинки, ума не приложу.

Однако же самым большим ее огорчением, причиной постоянных забот и тревог был Влодек. Хотя он и горячо любил мать, он все больше ускользал из-под ее опеки. Теперь она уже не всегда знала, где он проводит долгие часы вне дома, когда вернется и с какими людьми общается. На ее вопросы он отвечал уклончиво, общими словами, и, оставаясь одна, она мучилась, предполагала самое худшее. Целыми днями и проснувшись среди ночи, она терзалась страхами, что Влодек может совершить какой-нибудь глупый, безрассудный поступок, опрометчиво позволит втянуть себя в слишком трудное и серьезное для его шестнадцати лет дело, последствия которого будут неотвратимы.

Она никак не могла осознать, что Влодек уже не ребенок. Он был ее самой большой любовью, ее гордостью и надеждой. И вместе с тем, хотя по каким-то высказываниям сына, по его мимолетным взглядам и недомолвкам, даже по его улыбкам и ласкам она догадывалась о грозящей мальчику опасности, — пани Карская все же молчала, не решалась вмешиваться в его тайную, неведомую ей жизнь.

Она не раз давала себе слово поговорить с Влодеком серьезно и строго, но вступать с ним в спор боялась. Предвидела его возражения. Чувствовала, что согласилась бы с ними: ведь они опирались на те правила, в которых она сама воспитывала сына с младенческих лет.

Прежде чем сойти вниз к Малецкой в надежде узнать подробности вчерашнего разговора Влодека с Юлеком, она долго размышляла об этом. Младшего Малецкого она не знала. Только слышала о нем от Влодека. Он несколько раз упоминал в последнее время о Юлеке в связи с частыми молодежными собраниями, на которых, по словам Влодека, они занимались самообразованием. О Юлеке Малецком Влодек говорил вскользь и равнодушно, но пани Карская многое угадывала и без слов и знала, что за скупыми фразами, за нарочито холодным и даже ироничным тоном сын обычно скрывает страстное восхищение и самую горячую привязанность.

Однако вышло так, что она долго говорила с Анной вовсе не о том, о чем ей больше всего хотелось говорить, и так и ушла, даже не коснувшись большой для нее темы.

Из-за военной дороговизны и больших расходов в связи с ожидаемым приобщением семейства Малецкие решили не праздновать Пасху в этом году. И тем не менее Анне хотелось сделать мужу сюрприз и втайне от него испечь мазурку попроще. Ирине пришлось по душе эта затея. Она стала вспоминать разные рецепты мазурки, какие пекли у них в Смуге. Увы, все они были или слишком

дорогие, или недоступные из-за нынешних нехваток. В конце концов после долгих обсуждений решили печь по рецепту пани Карской, приспособленному к возможностям военного времени. Ирена жалела, что не может блеснуть лильеновскими шедеврами, однако мазуркой очень увлеклась и усердно помогала Анне.

Обед планировали на вечер, а к возвращению Яна Анна приготовила второй завтрак — так в кухонных хлопотах у них с Иреной ушло время до полудня. После завтрака Анне надо было выйти за покупками.

День был ясный, теплый, солнечный. Только небо, чистое и весеннее над Белянами, над городом заволоч дым пожаров. Бои шли далеко, отгороженные от всех постыдными стенами, гибли люди, но многие их считали чужаками, и ни их одинокая борьба, ни их участь не меняли течения жизни.

Спускаясь в подвал, где помещалась лавка Банасяка, Анна наткнулась на толстуху Пётровскую. С огромной набитой сумкой та поднималась вверх.

— А вы, пани Малецкая, я вижу, тоже за праздничными покупками! — остановилась она, увидев Анну.

Анна ответила, что не будет устраивать в этом году никаких праздников. Пётровская понимающе усмехнулась.

— Это только так говорится! Но если в доме гости...

— Да вот брат мужа приехал на несколько дней, — поторопилась объяснить Анна.

По снисходительному взгляду Пётровской она поняла, что допустила оплошность: надо было сразу сказать об Ирене. И попыталась исправить ее.

— У меня гостит еще моя давняя приятельница, но я не уверена, что она останется на праздники, скорее нет...

Пётровская сочувственно покачала головой и переменяла тему.

— А знаете, что я только что слышала... Такая трагедия! На Саской Кемпе немцы нашли в одном доме еврея. Спрятался, как они всегда делают... И представляете, за одного еврея пятерых наших расстреляли. Вы подумайте, какая трагедия!

Анна с минуту молчала.

— Да, — наконец сказала она.

— Столько невинной крови пролилось! — Пётровская поднялась ступенькой выше. — Я так считаю, что поляк, который прячет у себя еврея, просто, прошу прощения, свинья! Да, да! — Она ударила себя в грудь. — Я полька, и я так думаю! Разве это по-христиански, чтобы из-за одного еврея гибли добрые католики, такого не должно быть!

Она потрясала сумкой, все больше распалаясь.

— Такого не должно быть! — повторила она. — Каждому дорога его собственная жизнь... Не для того человек терпит неволю, чтобы пропасть ни за грош из-за еврея!

Анна решила не рассказывать Яну об этом разговоре. Не хотела лишний раз тревожить его. Она, правда, не допускала, что Пётровская решится на донос, но все же возвращалась домой с тяжелым сердцем.

Перед домом играли дети: пухлощекый — вылитая мать — Вацек Пётровский, Стефчик — сын Осиповичей с третьего этажа, он не ходил, а прыгал, подражая кенгуру, и смуглая, как цыганенок, Тереска Карская.

В отворенном настежь окне первого этажа грелся на солнце Пётровский. Насвистывая сквозь зубы, он развалился на подоконнике в темной, распахнутой на груди рубахе, упирался спиной и босыми ногами в оконную раму. Он искоса окинул ленивым взглядом Малецкую.

После ухода Малецкой Ирена не находила себе места. Все утро прошло у нее в мелких хозяйственных хлопотах — только сейчас, оставшись одна и не зная, чем заняться, она почувствовала себя узницей. Сколько же месяцев приходилось ей давить, преодолевать в себе потребность свободно двигаться? Где бы она ни была, везде ей приходилось скрываться, каждую минуту помнить, что никто не должен догадываться о ее присутствии. Свобода ее, ограниченная, замкнутая в четырех стенах, вечно была под угрозой. И чем дольше она вынуждена была жить взаперти из-за своей семитской внешности, что было уже само по себе унижительно, тем острее ощущала она, что конца этому насилию нет и не будет.

Двери на балкон были отворены настежь, балкон залит солнцем. Внизу за домом слышались голоса игравших детей.

Ею овладело вдруг такое страстное искушение подышать теплым воздухом, что она не удержалась и вышла на балкон. Минуту она постояла там, откинув голову, одурманенная весенним теплом. Ей было так хорошо, что даже этот, такой малый глоток свободы показался ей чуть ли не счастьем.

Но кинув взгляд вниз, она увидела молодого мужчину — он явно заметил ее, потому что смотрел на балкон.

Он стоял в распахнутой на груди рубашке, сунув руки в карманы брюк.

Ирена вздрогнула. Однако же постаралась взять себя в руки и не слишком поспешно уйти с балкона. Она даже заставила себя как бы невзначай посмотреть в его сторону. И сразу догадалась, что это Пётровский. Заметив, что она смотрит в его сторону, он нагло усмехнулся.

Когда Анна вернулась, Ирена уже лежала на кушетке с французской книжкой — «Пармской обителью». Но книгу не читала. Подперев лицо руками, она смотрела в окно. Низкая кушетка стояла у стены, так что Ирене видно было только небо. Полосы грязно-серого дыма медленно ползли по нему, растворяясь в безоблачной лазури. Снизу доносились голоса детей. На фоне громких мальчишеских выкриков явственно слышался прелестный щебет маленькой Терески.

— Как много детей у вас в доме! — заметила Ирена.

Анна — она немного устала — присела рядом на кушетку.

Ирена продолжала прислушиваться.

— Как мило щебечет эта девочка! — сказала она.

— Это дочурка пани Карской, — сказала Анна. — Она родилась уже в войну.

Ирена внимательно взглянула на Малецкую.

— Вы, верно, радуетесь, что у вас будет ребенок? — вдруг спросила она.

— Очень! — искренне призналась Анна.

— У вас уже есть приданое? Оно теперь должно страшно дорого стоить... Анна кивнула.

— Да, очень. Но нам кое-что перепало от людей, а кое-что я сама сшила.

— Вы умеете шить? — удивилась Ирена.

— Невелико искусство.

— А я никак не могла научиться, — сказала Ирена. И попросила: — Пожалуйста, покажите мне что-нибудь из этих вещичек, ладно?

Они прошли в спальню Малецких, и Ирена только теперь заметила стоящую у стенки плетеную кровать.

Анна тем временем выдвинула нижний ящик комода. Он был битком набит детским бельем. Аккуратно, старательно сложенными рубашонками, распашонками, слюнявчиками, кофточками, простынками, полотенцами и пеленками — смешными, забавными.

— Вы и вправду все это сшили сами? — склонилась над ящичком Ирена.

— Почти.

— Сколько тут всего!

Анна улыбнулась.

— Это только так кажется... Вот эти фланелевые распашонки — из старой пижамы Яна. А эти рубашечки — из моей рубашки... видите, целых три вышло!

Ирена оживилась. Стала копаться в мякнющих фланелевых и батистовых вещичках, рассматривала на свет малюсенькие голубые распашонки, смеялась — так они ее забавляли. Вдруг, любуясь прелестной рубашонкой, она машинально перевела взгляд на комод, заметила там фотографии в старинной рамке из карельской березы и склонилась к ним.

— Это ведь ваши родители?

Анна кивнула.

— А эти трое, наверно, братья?

— Братья.

Ирена, удобней опершись о комод, продолжала рассматривать фотографии.

— Вы похожи на мать, — заметила она. — У вас такие же красивые глаза. Вот эти братья, наверно, старше вас, а третий — моложе, да?

— Да, Гжесь был моложе нас всех.

— Был? — не поняла Ирена.

— Да, он погиб, — спокойно объяснила Малецкая. — В сентябре в Модлине...

— Вот как? — Ирена смутилась. И, чтобы скрыть смущение, поспешила спросить: — А ваши родители?

— Мама в Вильне. Отца сразу же после захвата Литвы расстреляли немцы. Она встала у комода рядом с Иреной, наклонилась к фотографиям.

— Из всего нашего семейства, кроме меня, в живых осталась только мама, ну и, может быть, старший брат — вот этот! — Она показала, по всей вероятности, старый снимок, на нем был изображен совсем юный парнишка. — Брат воевал в нашей армии в Англии, он писал нам, что был в Норвегии, потом в Африке... Но мы уже очень давно не получали от него ни строчки. А вот этот, Франек, умер в Дахау в прошлом году.

Наступила тишина.

— Значит, вы потеряли многих близких, — чуть погодя прошептала Ирена.

— Да! — кивнула Малецкая. — У меня был прекрасный отец и прекрасные братья. Мы очень любили друг друга.

Она выпрямилась, стала укладывать в комод разбросанное белье.

Ирена молча наблюдала за ее неловкими движениями. Анне было тяжело наклоняться, и она опустила на колени.

— А вот еще! — Ирена вспомнила, что у нее в руках осталась рубашечка.

— Это крестильная рубашонка. Самая красивая!

Ирена вздрогнула — у нее словно оборвалось что-то внутри.

— А вас никогда не возмущало, что так бессмысленно погибли хотя бы вот эти, самые близкие вам люди?

Анна задумалась.

— Да, временами возмущало, — ответила она, помолчав. — И даже очень. Однако я изменилась.

— Но зачем все это, зачем? — воскликнула Ирена.

Анна разгладила складки на рубашечке, положила ее в комод.

— Я тоже порой не знаю зачем. И все же я верю, что все имеет смысл, только нам он не всегда доступен.

— Разве это не одно и то же?

— О нет! — убежденно ответила Анна. — Это совсем не то.

Ирена покачала головой.

— Нет, я не могу этого понять! Что толку, если я внушу себе, что все, как вы говорите, имеет смысл? В чем смысл ужасных страданий людей, всего, что творится вокруг? Ради чего это? Страдания никого не облагораживают!

— Знаю, — прошептала Анна.

— Вот видите! Я и по себе замечаю... Я теперь гораздо хуже, чем раньше. И все стали хуже!

И тут Анна вспомнила о Юлеке.

— Нет, — возразила она. — Не все стали хуже...

— Допустим! — уступила Ирена. — Но большинство наверняка стали. Я не говорю об отдельных людях. Быть может, есть исключения... Но большинство...

Анна не могла ей ничего возразить.

— Да, это правда.

— Ну, в чем же тут смысл? — повторила Ирена. — Когда гибнут тысячи лучших из лучших, которые могли бы еще столько дать людям, столько доброго сделать, в этом тоже есть смысл? В чем он? Ну скажите, в чем?

Анна — она так и не встала с колен — медленно задвинула ящик.

— Не знаю, — сказала она минуту спустя. — Я не могу вам ответить. Однако я верю, что в мире есть порядок и все имеет причины.

— Ну и что с того? — пожала плечами Ирена.

Анна опустила голову.

— Я хотела бы стать лучше, — тихо ответила она. — Вот и все, что я могу вам сказать!

И подумала, что сейчас ей больше всего хочется, больше всего необходимо гордиться любимым человеком. Но не сказала этого.

Ближе к вечеру неожиданно явился Юлек. Анна обрадовалась. Но оказалось, что он заскочил лишь на минутку.

— Самое позднее в семь я должен вернуться обратно, — объявил он. — А теперь добраться от вас до города — целое дело. Так что я должен бежать.

Юлек был возбужден и разгорячен — видно, спешил от остановки трамвая. Он снял плащ, небрежно кинул его на ближайший стул, отбросил со лба слипшиеся от пота волосы.

— Не вернешься на ночь? — спросила Анна.

— Нет! — Он покачал головой. — И вообще не ждите меня...

— Уезжаешь? — в тревоге вскинулась Анна.

Юлек вынул коробочку с табаком, принялся скручивать сигарку.

— Что-то в этом роде.

— Надолго?

— Понятия не имею!

— Жаль, — огорчилась Анна — Ян еще не вернулся...

Юлек махнул рукой, закурил папироску.

— Не вернулся? Ну, это мы как-нибудь переживем! — сказал он добродушно. И подошел к окну. — Я, в общем-то, прежде всего хотел увидеться с тобой, — сказал он, не оборачиваясь.

Подождал ее ответа, но не дождавшись, повернулся к ней. От легкого румянца его лицо казалось еще смуглее.

— Я хотел кое-что рассказать тебе... Если не возражаешь, разумеется! — торопливо прибавил он. И, усевшись верхом на поручень кресла, подался к Анне. — Дело, видишь ли, в том... — начал он. — Все складывается так, что я не уверен, смогу ли я вернуться...

Она молча смотрела на него, сидела не шелохнувшись, напряженно, неловко, сложив руки на коленях. Глаза ее погрустнели.

Юлек засмеялся.

— Ну это же только так говорится! А в общем, я наверняка буду крестить вашего ребенка...

— Ты в самом деле уезжаешь? — тихо спросила она.

— Нет, — сказал он.

Он никуда не уезжал. Речь шла о вооруженной помощи осажденным в гетто еврейским повстанцам, которую надо было оказать как можно скорее. Разумеется, операция предполагалась не слишком масштабная. Учитывая ситуацию и силы оккупантов, она могла носить лишь ограниченный характер — скорее стать некой манифестацией, оказать восставшим моральную поддержку, но никак не помочь им одержать победу. Восстание в гетто с самого начала было обречено на поражение, а гетто — на ликвидацию. Поэтому можно было считать, что любая помощь в этих условиях лишь неразумно умножает число жертв. И все же Юлеку и еще кое-кому удалось убедить руководство одной из радикальных организаций, что независимо от того, помогут реально или не помогут они сражавшимся евреям, им следует на это пойти. Вчера они приступили к разработке задуманной операции. План уже был составлен, оружие и боеприпасы заготовлены, набрали около пятидесяти человек добровольцев. Начало операции — прорыв по ту сторону стены — было назначено на нынешнюю ночь, со среды на четверг. Вот и все.

Анна сидела неподвижно, все так же опустив голову и сложив руки на коленях.

— Что же дальше? — спросила она тихо.

Юлек скрутил новую папироску.

— Что дальше? — пожал он плечами. — Мы не развлекаться идем!

— Но это же чистое безумие! — невольно вырвалось у Анны.

Юлек нахмурил темные брови.

— И это говоришь ты? — сказал он с укором.

Она смутилась. Он встал и принялся большими шагами мерить комнату.

— Не думай, что мы поступаем так, чтобы искупить вину и преступления своих соотечественников! Речь идет не о самопожертвовании — его мы не признаем! Все обстоит много проще: за стенами гибнут люди, которые борются за то же самое, за что боремся мы. За свободу! За будущее! И потому кто-то из

нас должен быть с ними, это же ясно как день, разве нет? Обычная солидарность, ничего более.

Он бросил взгляд на часы и остановился перед Анной. Минуту стоял молча, склонив голову, будто подыскивал нужные слова.

— Уже поздно! — сказал он наконец. — Я должен идти.

Она встала, и он взял ее руку.

— Знаешь, — сказал он мягко, — я, в сущности, не знал своей матери, я почти не помню ее. Но когда я думаю о ней, мне кажется, что она в молодости походила на тебя... была такой, как ты! Правда-правда! — Он склонился к ее руке.

Уже в прихожей она спросила его: рассказать ли обо всем Яну? Юлек задался.

— Как хочешь! — решил он наконец. — Делай, как считаешь нужным.

Она еще постояла в прихожей. Юлек, громко стуча сапогами, сбежал вниз, и когда она, вернувшись в столовую, выглянула в окно, он пересекал улочку. Без шапки, в наброшенном на плечи плаще. Вдруг он обернулся и махнул рукой, видно, заметил ее в окне. И тут же исчез за углом.

Она не сразу осознала, что видит все как бы сквозь легкую пелену. Но теперь она уже могла дать волю своим чувствам, и слезы потекли у нее по щекам.

Малецкий встретил пани Карскую в трамвае, и домой они возвращались вместе. Карская была усталая, подавленная. Всю вторую половину дня она прогнала по городу в поисках покупателя на партию ботинок, а когда наконец нашла кандидата и дело казалось улаженным, обнаружилось, что партию, все пятьсот пар, двумя днями раньше распродали. А может, ее и вовсе не было — продавец оказался только посредником, действовал через третье или даже четвертое лицо.

— Нет, вы только подумайте! — жаловалась она Малецкому. — Целый день таких мучений, и все насмарку. Сил никаких нету...

Малецкий слушал ее рассеянно. С самого утра он тревожился о домашних, а теперь тревога становилась все неотвязней, он опасался, не случилось ли чего непредвиденного в его отсутствие. Он то ускорял шаг, то замедлял, приспосабливаясь к пани Карской. Но это действовало ему на нервы.

Примерно на половине дороги возле пахнущего хвоей ельника им встретился Юлек — он куда-то спешил. Им показалось, что он хочет пройти мимо них. Но Ян остановил его:

— Что дома, Юлек? Ты сейчас оттуда?

— Да, — ответил Юлек коротко.

— Ну и что там?

— Все в порядке!

Малецкий вздохнул с облегчением.

— Это мой брат, — представил он Юлека пани Карской.

Когда Карская громко назвалась, Юлек помрачнел. И тут Ян осознал, что брат идет к трамвайной остановке.

— Ты куда? — спросил он. — В город?

— Да.

— В такую пору?

— Я решил переночевать в другом месте, — пояснил Юлек.

— Тогда другое дело! — согласился Ян.

Тем временем пани Карская пристально вглядывалась в Юлека. Вот человек, который знает все тайны ее сына, знает о нем больше, чем она, может откровенно говорить с ним обо всем. Она не чувствовала ревности. Только хотела по внешности молодого Малецкого, по его голосу угадать, что он собой представляет, почему сумел снискать восхищение и любовь Влодека. Но Юлек тут же попрощался с ними — он спешил. Она испытала странное чувство, когда он склонил светловолосую голову и прикоснулся к ее руке теплыми, еще совсем детскими губами. В эту минуту он показался ей робким мальчишкой, почти ровесником ее сына.

— Привет, старик! — Юлек протянул брату руку. — Крепись.

— До свиданья, — ответил Ян.

Пани Карская не удержалась и обернулась вслед Юлеку. Он шел быстро, большими, четкими шагами, в накинутом на плечи плаще, издали напоминавшем пелерину.

У дома играла Тереска. Она сидела на ступеньках, держала на коленях куклу в пестром лоскутном платье.

Увидев мать, она кинулась к ней.

— Влодек дома, родная? — поцеловала ее пани Карская.

Малышка надула губки.

— Влодек нехороший!

— Почему? Что случилось?

— Потому что он ушел!

— Давно?

Тереска потрясла черными кудрями.

— Давно? — встревоженно повторила Карская.

— Недавно.

Больше ничего она у малышки не могла выведать. Но, войдя в квартиру, она тут же заметила, что на вешалке нет плаща сына. Последнее время он носил его только в ненастье.

— Тереня! — позвала она девочку. — Влодек правда не сказал, куда пошел? Ну-ка вспомни...

Тереска, прижимая куклу смуглыми ручонками, подняла на мать удивленные глаза и покачала головой.

«И чего я тревожусь? — подумала пани Карская. — Ведь ничего еще не случилось...» Однако с каждой минутой ей становилось все тревожнее. Не сняв шляпы и пальто, она заглянула на кухню.

Обед, который она приготовила детям, был съеден, посуду Влодек, похоже, вымыл — на плите, на столе был полный порядок. Она несколько приободрилась.

— Вкусный был обед, Тереска? — спросила она.

— Вкусный, — серьезно ответила малышка. И засемила за матерью в комнату.

Пани Карская сняла шляпу. Было около семи. Комендантский час начинался в восемь. «Нельзя постоянно тревожиться», — подумала она, сжимая ладонями виски. Потянулась снять пальто, но тут заметила на столике возле кушетки листок. Сердце ее забилось сильнее. Она узнала старательный, совсем еще школьный почерк Влодека. «Мамочка, — написал он, — я не мог иначе» — вот и все.

Она несколько раз перечитала короткую фразу. Первым ее порывом было выбежать из дома, искать Влодека. Но ноги не шли. Ей пришлось сесть — иначе она бы упала. Она снова, уже ни о чем не думая, перечитала записку: «Мамочка...» — в душе ее была пустота. И тут словно бы очень издалека до ее уха донесся шепот Терески. Она машинально подняла голову.

В комнате было сумрачно. Рядом с ней стояла Тереска, смуглыми ручонками прижимая куклу к сердцу.

— Мамочка! — Невидящий взгляд матери напугал малышку.

— Что, родная? — прошептала пани Карская.

Тереска склонила головку. Разглаживала пальчиками пестрое куклино платье.

— Мамочка, — начала она тихо-тихо. — Ты меня так же любишь, как Влодека? Скажи — так же?

У пани Карской перехватило горло, она не сразу ответила дочери. Лишь немного погодя прошептала:

— Ну конечно, родная, конечно, так же...

Малецкий сразу заметил, что у Анны покраснели глаза.

— Что случилось? — встревожился он. — Ты плакала?

Она притворно удивилась:

— Да нет, что ты? Откуда ты это взял?

— В самом деле? — не отступался он.

Она рассмеялась. Ян так привык ей доверять, что легко дал себя убедить



— Знаешь, я встретил по дороге Юлека, — уже более спокойным тоном начал он. — Опять его куда-то понесло! Впрочем, оно и к лучшему, что Юлек не будет ночевать у нас. Вчерашняя ночь была не из приятных... А что Ирена?

Тут он заметил, какое у нее отчужденное выражение лица.

— Что с тобой? — Он испытующе взглянул на нее.

Анна смутилась.

— Ничего! — ответила она не совсем уверенно.

— Но я же вижу.

— В самом деле ничего, — тверже повторила она.

Теперь Малецкий не сомневался, что она говорит неправду. Самолюбие не позволило ему расспрашивать дальше. И потому он почувствовал себя особенно уязвленным.

— Можешь не говорить, если не хочешь, — неприязненно взглянул он на жену. — Но хотя бы не убеждай меня, что с тобой ничего не происходит. Я же не слепой и все вижу!

Она лишь покраснела и молча вышла из комнаты. Он хотел пойти за нею, но в последнюю минуту передумал. Этот внезапный уход был настолько не в характере Анны, что он больше удивил его, чем рассердил. Он постоял в нерешительности, а потом, вспомнив, что совсем иначе представлял себе днем свое возвращение домой, почувствовал себя несчастным и несправедливо обиженным. Сам он обычно скрывал свои чувства, но тем не менее считал, что между близкими людьми не должно быть недомолвок.

За поздним обедом разговор явно не клеился. Каждый был поглощен своими мыслями, ни одному из них не удалось преодолеть разобщенность. На счастье, обед длился недолго, а едва он кончился, Ирена ушла в мастерскую — ей захотелось лечь пораньше... Анна, пользуясь тем, что вечером хорошо горит газ, решила устроить постирушку, а Ян вышел подышать свежим воздухом.

Перед домом еще прыгал Стефчик Осипович, но его тут же позвал отец, и мальчишка вскачь, на манер кенгуру, помчался на свой третий этаж. В соседнем садике седой старик кончил поливать грядки и медленно, ссутулившись, плелся с зеленой лейкой домой. Сегодня он был без внука.

И тут из открытого окна первого этажа до Малецкого донесся низкий, ленивый голос Пётровского:

— Что это за бабенка живет у Малецких?

— Жидовка! — послышался из глубины презрительный голос Пётровской.

— А ты почему знаешь?

— Почему? Раз на нее посмотреть — и все понятно. А ты где ее видел? Ишь ты, еще шляется...

— Она вовсе и не шлялась, — небрежно ответил он. — На балкон вышла. Бабенка что надо!

— Так жидовка ведь!

— Ну и что? — засмеялся Пётровский. — Ты что, думаешь, у евреек нет чего нам, мужикам, надо?

— Свинья!

Он еще громче рассмеялся.

— Но у тебя тоже это есть... в наилучшем виде, не огорчайся!

— Свинья! — повторила Пётровская, явно смягчившись. — Я и без тебя знаю, что у меня все в наилучшем виде.

Чуть погодя из квартиры донесся ее приглушенный грудной смех.

Малецкому расхотелось дышать свежим воздухом. Он решил было вернуться, но тут услышал, что кто-то спускается вниз.

В подъезде показался хозяин дома пан Замоийский.

Это был уже пожилой вдовец, худой и сутулый, с большим носом, торчащим на маленькой кроличьей мордочке. Хотя Замоийский, представляясь, с гордостью произносил свою звучную красивую фамилию, никакого отношения к древнему аристократическому роду он не имел. Перед войной Замоийский служил советником в министерстве, к тому же у него была дочь, супруг которой занимал в свое время должность старосты<sup>3</sup>. Замоийский неизменно называл дочь

<sup>3</sup> В Польше 20—50-х годов — высокая административная должность, представитель правительства в повете (уезде).

не иначе как «старостиха». Теперь «старостиха» вместе с мужем обосновалась в Канаде. У отставного советника была прекрасно обставленная квартира и, хотя он постоянно жаловался на материальные трудности, жил он в комфорте и достатке. Из всех жителей дома он один мог позволить себе держать прислугу. Слугу его звали Владек.

Увидев Малецкого, Замойский, как всегда, с изысканной учтивостью приветствовал его.

— Дивный вечер! — Он втянул воздух длинным носом.

Малецкий что-то буркнул в ответ. Ему вовсе не улыбалась перспектива беседовать с Замойским, но он понимал, что сразу уйти неудобно, надо обождать хотя бы несколько минут.

— Я что-то не припомню, чтобы сирень так рано зацвела, как в этом году, — продолжал Замойский, тщательно выговаривая каждое слово — он придавал большое значение безукоризненному произношению.

В его богатой библиотеке были собраны все польские словари — от знаменитого шеститомника Линде до последнего издания грамматики.

— В самом деле, — равнодушно, безучастно согласился Малецкий.

Но Замойский не заметил этого.

— Что за воздух! — Он упоенно потянул носом. — Вы чувствуете?

— Сирень, — лаконично подтвердил Малецкий.

— Но как пахнет! Какой аромат! Май, просто майская ночь на дворе!

И, словно желая причаститься очарованию ночи, он встал на цыпочки, и на его кроличьем лице изобразился необычайный восторг.

Малецкий стал прощаться.

— Вы что, уже уходите? — искренне огорчился Замойский. — Жаль сидеть дома в такую погоду...

— Увы, работа ждет, — оправдывался Малецкий.

Он лег в постель, не дожидаясь, когда Анна кончит стирку. Пытался читать, но через несколько минут отложил книгу. Света, однако, не погасил. Лежал, положив руки под голову, уставившись в потолок.

Анна скоро пришла. Выглядела она очень утомленной.

— Знаешь, — сказал он вдруг, — хорошо было бы объяснить Ирене, что ей нельзя выходить на балкон. Зачем она это делает? Так весь дом узнает, кто у нас живет! Зачем нам такая реклама?

Анна остановилась посреди комнаты.

— Что-нибудь случилось?

— Ничего не случилось! — рассердился он. — Но первые комментарии уже имеются.

— Пётровская? — догадалась Анна. — Но ведь она еще вчера видела Ирину.

— А сегодня ее видел к тому же и Пётровский! Ничего лучшего не могла придумать — и чего ее понесло на балкон!

Только сейчас он заметил, какой у него неприятный, раздраженный тон.

— Может, ты скажешь ей об этом? — спросил он уже спокойнее. — Тебе удобнее, чем мне... Ведь в ее же интересах соблюдать осторожность. О нас я не говорю, мы — другое дело.

Он еще какое-то время говорил, но чем более убедительные и очевидные подыскивал аргументы, тем яснее сознавал, что его больше всего волнуют собственное спокойствие и собственная безопасность. Он не сомневался, что и Анне это ясно. Однако он слишком устал, и у него не было сил спорить. Молчание Анны подействовало на него угнетающе.

— Хорошо! — только и ответила она. — Я постараюсь при случае поговорить с Иреной.

Больше они к этому вопросу не возвращались.

Вскоре Ян крепко заснул, но среди ночи проснулся, голова была ясная — сна ни в одном глазу. Минуту он лежал неподвижно, привыкал к темноте.

Анна спала. Он слышал рядом ее неровное, затрудненное дыхание. Какое-то время прислушивался к нему, наконец тихо выскользнул из-под одеяла и босиком, так и не отыскав в темноте туфли, подошел к окну. Поднял шторы.

Вдали над Варшавой полыхало небо. Горизонт то и дело загорался. А здесь стояли тишина и тьма, и высоко на небе мерцали блестящие весенние звезды.

По дороге к постели Ян зацепил стул. Анна мгновенно проснулась.

— Что случилось?

— Ничего, — тихо ответил он. — Хотел попить.

Он отыскал на столе графин, налил в стакан воды. Жадно выпил — у него пересохло горло. Потом залез под одеяло. Но спать не хотелось. Время близилось к часу, впереди была длинная ночь.

Анна долгое время не шевелилась — он был уверен, что она заснула. И вдруг почувствовал, как она дрожит. На секунду он затаил дыхание. Потом приподнялся на локте.

— Аня! — шепнул он, склонившись над женой. — Что с тобой?

Она ничего не ответила.

Но теперь он уже понял, что она захлебывается от сдавленных рыданий — вот отчего сотрясаются ее плечи.

— Анечка, Аня! — Он обнял ее. — Любимая..

Она лежала, уткнувшись лицом в подушку. Он хотел повернуть ее к себе, и тут она, хотя мысли ее были далеко, припала к груди мужа и зашлась громким, почти детским плачем.

#### IV

Завтра бои в гетто продолжались. Повстанцы защищались яростно и упорно, отчаянно дрались за каждую улицу, за каждый дом. Гитлеровцы стянули на подмогу отряды латышей, литовцев и украинцев. Они любили перекладывать грязную и постыдную работу на людей других национальностей, играя на национальной розни.

В других районах гетто, не принимавших участия в восстании, откуда людей пока не забирали, было спокойно и, по свидетельству тех, кто контрабандой возил на продажу в гетто продовольствие, текла нормальная жизнь. Эти евреи — а они до последнего обольщали себя надеждой — погибли лишь через несколько дней, и дома их сгорят, как уже было осенью прошлого года при ликвидации так называемого малого гетто. Немцы провели в еврейский квартал специальную железнодорожную ветку. Один за другим подъезжали составы, безоружных людей грузили в товарные вагоны. Газовые камеры концлагеря в Майданеке поглощали все новые и новые эшелоны.

А тем временем здесь, в районе боев, пожары охватывали все большую территорию. Дома, подожженные раньше, постепенно выгорали, и на еврейской стороне Бонифратерской за кирпичными стенами гетто торчали почернелые, обугленные руины.

Лишь один дом, занявшийся вчера вечером, еще не догорел. Там, видимо, никто не жил и мебель разграбили загодя, поэтому пламя распространялось очень медленно. За ночь выгорело всего два этажа, и теперь красные языки вылетали из пустых окон третьего этажа.

Сильнее всего горело в Муранове и дальше, у Повонзков. Ветер часто менял направление, доносил запах гари и до центра. Огромная черная туча повисла над Варшавой. В городе накануне праздника царил оживление.

Был Страстной четверг.

Утром Малецкий, как обычно, поехал в город. Выходные у него начинались только со Страстной пятницы. Но, когда он явился в свою небольшую, занимающую всего две комнаты контору на улице 6 Августа, обнаружилось, что сегодня работы немного — зря они вчера так гнали изо всех сил. Можно было бы заняться текущими делами, но и из этого ничего не получалось. Владелец конторы Волянский, тоже архитектор, знакомый Малецкого с довоенных лет, еще не появлялся.

Зато в одной из двух комнат, в так называемой общей (другая называлась дирекцией, и там работали Малецкий с Волянским), довольно давно велся оживленный разговор. Малецкий, услышав возбужденные голоса, глянул в общую и попал в самый разгар горячей дискуссии.

Беседовали четверо: секретарь директора панна Стефа, дородная крашенная

блондинка — лицо ее благодаря выщипанным бровям и загнутым ресницам носило детски удивленное выражение, — машинистка панна Марта, Бартковяк — мальчишка-рассыльный, и молодой человек, не работавший в конторе. Высокий блондин с выгнутой головой и глубоко посаженными глазами на птичьем, немного хищном лице.

Малецкий знал этого молодого человека — Залевский, или Зыгмунт, как звала его панна Стефа, в последнее время часто заглядывал на улицу 6 Августа. Перед войной он изучал право, а теперь в придачу ко всему еще и торговал золотом и валютой.

Когда Малецкий вошел в общую, Залевский сидел на столе и, энергично жестикулируя, вешал:

— А я утверждаю, что за одно за это мы должны быть благодарны Гитлеру. Он выполнил за нас тяжелую и неприятную, черную работу. Теперь с еврейским вопросом покончено! Не сделай этого Гитлер, мы сами были бы вынуждены заняться после войны ликвидацией евреев. А так — одной заботой меньше. И все так называемые гуманные взгляды, — обратился он к сидящей у «ундervуда» панне Марте, — тут абсолютно неуместны! Польше лучше жить без евреев, этого требуют наши государственные интересы. Это во-первых! А во-вторых — у нас нет оснований жалеть евреев!.. Они нас не жалеют! Любой из них, кабы мог, тотчас пустил бы пулю в лоб первому встречному поляку. Достигни евреи власти, уж они бы показали нам, почему фунт лиха!

Он говорил быстро, пылко и очень уверенно, как человек, привыкший выступать и участвовать в дискуссиях. Панна Стефа, моргая длинными ресницами, с нескрываемым восхищением смотрела на Залевского, да и Бартковяк тоже смотрел на него с интересом. Одна панна Марта отвернулась от Залевского. Из-за гладко зачесанных волос она казалась совсем юной. Она склонилась над машинкой.

Увидев Малецкого, Залевский обратился к нему:

— Разве я не прав, пан инженер?

Малецкий попал в щекотливое положение. Он не имел ни малейшего желания вступать в полемику. А между тем все взгляды обратились к нему. Даже панна Марта подняла голову. Она побледнела, губы у нее дрожали.

Надо было что-то ответить.

— Я, правда, не слышал всего разговора, — начал он медленно, — но то, что вы говорите, мне кажется не новым...

— Разумеется, — обрадовался Залевский. — Польский народ уже давно понял, что собой представляют евреи.

— Перед войной подобные мысли были весьма популярны среди наших фашистов, — заметил Малецкий.

Залевский нахмурился.

— Вы хотели сказать: националистов?

— А разве это не одно и то же?

— Нет! — отрезал Залевский. И, сощурив глаза, вызывающе взглянул на Малецкого. — Мы хорошо знаем, в каких кругах нас хотят дискредитировать, приклеивая этикетку «фашисты». Но после войны мы разъясним этим господам, в чем отличие между нами!

— Где — в концлагерях? — вдруг спросила панна Марта.

Залевский было смешался. Но быстро овладел собой.

— Если понадобится, то и в лагерях, — ответил он резко. — Именно там мы разъясним евреям и коммунистам, кто мы такие...

В комнате воцарилось молчание. Стефа, нервничая — не наговорил ли Зыгмунт чего лишнего? — вынула пудреницу и, хлопая ресницами, начала водить пушком по смазливому личику. Марта побледнела еще сильнее. Что касается Малецкого, он всего охотней ушел бы от этого неприятного спора.

Вдруг Марта поднялась.

— Еще неизвестно, когда кончится война, — голос ее дрогнул, — поэтому я лучше скажу вам сейчас, кто вы такие!

Залевский усмехнулся.

— Я вас слушаю...

— Бандиты! — бросила она ему в лицо.

Он хотел было прервать ее, но она смерила его презрительным взглядом, и он смолчал.

— Вы бандиты! — повторила она еще громче. — Я бы просто презирала вас, но мне еще и стыдно того, что вы поляки. Вы позорите нас, скоты! — вдруг крикнула она со страстью, какую трудно было ожидать от этой девушки, всегда такой спокойной и сдержанной.

Она вышла, Малецкий выбежал за ней в прихожую.

— Панна Марта! — крикнул он.

Она торопливо надевала плащ.

— Слушаю вас. — Она холодно глянула на него.

— Я хотел...

— Догадываюсь! — прервала она. — Вы, наверно, хотели сообщить мне, что я права?

— Разумеется!

Девушка усмехнулась.

— Жаль, что вы не сказали этого там! — Она показала на общую.

Малецкий смутился.

— Мне кажется... — начал оправдываться он,

— Что вы выразили свою точку зрения? — прервала она его. — Да, вы выразили свою позицию куда как ясно. Настолько ясно, что я позволю себе не уточнять ее. Впрочем, это сейчас не важно. Но я буду вам обязана, если вы возьмете на себя труд сообщить инженеру Волянскому, что с сегодняшнего дня я больше не работаю у него...

Этого он никак не ожидал. Панна Марта проработала у них всего несколько недель. Он знал, что ей трудно живется и она наверняка заинтересована в зарботке, а он здесь неплохой.

— Подумайте хорошенько! — уговаривал он ее.

— Я уже подумала, — твердо ответила она.

Часом позже в контору явился Волянский, и Малецкий рассказал ему обо всем.

— Переубедить ее было невозможно, — закончил он. — Она уперлась.

Элегантно одетый, в светлом весеннем костюме, плечистый, краснолицый Волянский махнул рукой:

— Пусть катится ко всем чертям! Невелика потеря, на ее место найдутся сотни желающих.

Малецкий почувствовал, что он обязан заступиться за Марту.

— Однако признай, что она человек очень порядочный.

— Не спорю! — поморщился тот. — Но истеричка!

— А этот Залевский...

— Прохвост! — констатировал Волянский. — Но, между нами говоря, он отчасти прав! Я, знаешь ли, не сторонник подобных методов... и отнюдь не поддерживаю фашистов, но что правда, то правда! Гитлер решает за нас еврейский вопрос по-своему — варварски, но радикально! Да, кстати, о евреях! Ты был знаком с Лильенами?

Малецкий склонился над столом, стал рассматривать планы продающихся участков.

— Да, — буркнул он.

— Знаешь, вчера я встретил на Маршалковской Ирену Лильен...

— Вчера? — невольно удивился Малецкий.

— А может, позавчера, уже не помню! Но это наверняка была она. Не знаешь, что с нею?

— Понятия не имею, — ответил Ян.

Поскольку работы в конторе не было, Волянский решил вытащить Малецкого позавтракать. Он был любитель поесть и выпить.

— Ну прошу тебя!

Малецкий отказывался, но он настаивал.

Малецкий не хотел идти, ссылаясь на то, что занят. Они вышли вместе, но у площади Спасителя попрощались. Волянский остановил проезжавшего мимо рикшу.

— Ну как, не надумал? — еще раз обратился он к Малецкому. — Садись, ей-богу, надо выпить — такой дивный день, да к тому же Страстной четверг.

— В другой раз! — ответил Малецкий.

Волянский засмеялся.

— Была бы честь предложена. Воля твоя..

Он назвал рикше, худосочному, бледному парнишке, адрес популярного заведения на Мазовецкой. Паренек кивнул и, сгорбившись, с усилием направил свой тяжеловесный велосипед с удобно развалившимся Волянским по Маршалковской.

Над Саским Огородом висела тяжелая, темная, дымная туча. Прохожие то и дело останавливались, смотрели на нее.

Малецкий перешел через улицу к трамвайной остановке. Он решил, воспользовавшись свободным временем, навестись в Мокотов к супругам Маковским.

Дом, в котором жили Маковские, находился почти в самом конце Пулавской улицы, на окраине Мокотова. Это был большой современный кооперативный дом, и только ряды широких окон как-то разнообразили его ровный унылый фасад.

Малецкий помнил номер квартиры Маковских, но остановился в подворотне, чтобы по списку жильцов определить, какой ему нужен этаж.

Тотчас же из будки выглянул дворник.

— Вы к кому? — спросил он с варшавским акцентом.

— К Маковским, — объяснил Малецкий. — Какой это этаж?

Дворник, невысокий, хмурый мужчина под пятьдесят, внимательно посмотрел на него.

— В семнадцатой никого нет! — буркнул он.

— Вышли? — огорчился Малецкий.

Однако тут же вспомнил, что с Маковскими жила мать пани Маковской, больная старуха, по причине острого ревматизма почти не выходившая из дому. Он спросил о ней.

Дворник пожал плечами.

— Я же говорю вам, нет их никого.

И чуть погода неохотно разъяснил:

— Квартира опечатана, незачем вам туда идти!

Малецкий вздрогнул.

— Как так опечатана?

— А так, обыкновенно.

— Что случилось? — настаивал Малецкий. — Когда ее опечатали?

— Вчера ночью, — ответил дворник.

Малецкий задумался. Судя по всему, причиной ареста семейства Маковских была история, приключившаяся с Иреной во вторник. Агенты гестапо, видимо, остались недовольны скромными результатами шантажа, пришли снова и, обманувшись в своих ожиданиях, решили, не прилагая особых трудов, выслужиться перед своим начальством. Малецкий, однако, хотел убедиться, правильны ли его предположения. Но в ответ на дальнейшие расспросы дворник лишь пожимал плечами и исподлобья глядел на него хмуро, но весьма красноречиво. Он явно не доверял Малецкому, скорее всего считал его шпиком — это было очевидно. Малецкому пришлось прекратить расспросы. Наконец под неприязненным взглядом дворника он вышел из ворот на улицу и с острым ощущением стыда побрел к затянutoму дымом городу.

Примерно на середине Пулавской Малецкий стал свидетелем такого происшествия. В этой части Пулавская была с левой стороны застроена старыми развалюхами, покосившимися деревянными домишками. В этих мрачных норах жила в грязи и несусветной нищете сплошь беднота. Это тем более бросалось в глаза, что по другой, правой, стороне улицы высились светлые чистые современные здания. На задах лагуч тянулись убогие огородики, засаженные в основном картофелем, в эту пору еще не вскопанные.

Вдруг оттуда послышались вопли. Малецкий остановился. А с ним и несколько прохожих.

За согнутым в три погибели оборванным мальчишкой по огородам гналась толпа улюлюкающих ребяташек.

— Еврей! Еврей! — слышались звонкие детские голоса.

Орава забрасывала беглеца камнями и комьями земли. А тот, видимо, уже бежал из последних сил. В какой-то момент он хотел было свернуть в сторону,

но оттуда со свистом и воплями спешила другая ватага. Тогда он бросился вперед, к улице.

Маленький, чернявый, в лохмотьях, сквозь которые прссвечивало синюшное худое тело, он выскочил из-за хибарки на тротуар — улица, проезжавший мимо трамвай, группы неподвижно стоявших людей ошеломили его, и он на мгновение остановился. Это его и погубило.

Рослый немецкий солдат — их разделяло всего каких-нибудь четыре-пять метров — заметил его. Ребятня, должно быть, завидев солдата еще издали, тут же испарилась. Кое-кто из них укрылся за домишками и украдкой выглядывал оттуда.

А еврейский мальчик заметил солдата, уже когда тот подошел к нему. Он вздрогнул, втянул голову в острые плечики, но даже не попытался убежать. Остановившимися, широко раскрытыми глазами смотрел он на рослого немца. Когда солдат схватил его, как щенка, за шиворот, отогнул ему голову назад и заглянул в лицо, он не вскрикнул, не стал сопротивляться. Лишь смотрел застывшими, невидящими глазами.

— Еврей? — спросил немец спокойно, беззлобно.

Мальчик ничего не ответил. Тогда солдат, одной рукой все так же держа мальчика за шиворот, другой вынул револьвер и не целясь выстрелил раз-другой.

В доме, где жили Малецкие, с раннего утра царил предпраздничная суета.

В квартире Осиповичей на третьем этаже с грохотом толкли что-то в ступке. Слуга ЗамоЙского Владек выколачивал перед домом ковры и килимы, а Пётровская, подвернув юбку, мыла окна и драила подоконники. Вацек Пётровский носился босиком по двору, размахивая сосновой веткой, и выкрикивал что-то невразумительное. Вскоре во двор вышел Стефчик Осипович. Он минуту постоял в дверях — жуя ломоть хлеба с маслом, внимательно наблюдал за своим другом. Потом внезапно одним прыжком спрыгнул с лестницы и, подражая кенгуру, принялся скакать вокруг Вацека. Чуть погодя из дома вылетел его отец, доцент математики, бледный, худой, с безумным взглядом. Видно, ему мешал грохот ступки, и он устроился с книгой, тетрадкой и карандашом у елочек. Однако не успел он сесть и углубиться в работу, как его настигли вопли юного Пётровского. Нацепив на голову платочек — солнце уже сильно припекало, — доцент рысью помчался к песчаному полю за домом.

— Вацек! — крикнула в окно Пётровская. — А ну заткнись! Порки захотел?

Перепуганный малыш присел на корточки. Но тут же оправился от испуга. Едва Пётровская, сверкая толстыми белыми икрами, нагнулась над тазом с мыльной водой, он пронзительно взвизгнул, вскочил и, размахивая веткой, с воем понесся на улицу. За ним помчался вскачь Стефчик Осипович.

Тут на крыльцо спустился заспанный, в распахнутой рубашке Пётровский. Лениво потянулся, зевнул, пригладил густые встрепанные волосы, подтянул штаны и кинул взгляд на балкон Малецких. Он был пуст, окна затянуты темной шторой.

Пётровский еще раз потянулся и сошел со ступенек.

— Слушай, старуха! — остановился он перед окном. — Дай-ка сигаретку, Пётровская выпрямилась.

— Старуха! Нет, каков! — отрезала она язвительно. — Сам возьми.

Он пожал плечами, зевнул.

— Ну принеси, чего там! Неохота в квартиру идти.

— А чего тебе еще делать? Не видишь, я занята?

— О господи! — нахмурился Пётровский. — Сколько разговоров из-за пу-  
стыка!

В конце концов она слезла с подоконника, тут же вернулась с сигаретой и подала ему через окно.

— Бери, прохвост! Лучше бы помог мне, чем лодырничать целый божий день...

Он добродушно засмеялся и подошел к Владеку, чистившему большой гувальский ковер.

— Огонька не найдется, пан Владек?

Владек кивнул. Он отложил щетку, вынул из своей щегольской лакейской жилетки зажигалку. Подав закурить Пётровскому, закурил и сам. Сигареты он держал в серебряном портсигаре. Он вообще был щеголь. Брюки у него были безукоризненно отутюжены, светлые волосы старательно прилизаны.

Пётровский затянулся и снова кинул взгляд на балкон Малецких. Утреннее солнце ярко играло в окнах второго этажа. Он оперся о железную стойку. Отсюда был хорошо виден весь дом.

— Что слышно, пан Владек? — спросил он.

— Праздник, — ответил тот лаконично, рассматривая свои ухоженные ногти.

— У вас ожидается прием? — поинтересовался Пётровский, он имел в виду, конечно же, Замойского.

Владек понял его.

— Где там! — Он слегка поморщился. — У нас нет денег!

— Отчего это?

— Жильцы не платят.

— Я плачу регулярно. — заметил Пётровский. — Меня упрекнуть не в чем.

— Вы да, — согласился Владек. — Но вот Карская, к примеру, за четыре месяца должна. А Осипович за два!

— Выгнать! — деловито посоветовал Пётровский.

Владек стянул пылинку с жилетки.

— Легко сказать — выгнать. Надо войти в положение человека. Мы на такое не можем пойти...

— Очень благородно! — буркнул Пётровский, как бы невзначай обшаривая взглядом окна второго этажа.

— Само собой! — ответил Владек с чувством законной гордости.

Ирена плохо спала в ту ночь. То и дело просыпалась и всякий раз с трудом приходила в себя. Но не вставала. Только раз приподняла штору.

Небо вдáли полыхало. Она быстро опустила штору, лежала с закрытыми глазами; несмотря на тишину и тьму, не могла заснуть. Издалека то и дело доносились выстрелы, взрывы. Она заснула только под утро, когда уже стало светать и зачирикали первые воробы.

Проснувшись она усталая и разбитая, с острой головной болью; по затемненной комнате бегали блики. Она словно отравлена была мыслями, которые пыталась подавить, изгнать. Ни о чем не думала, ни одно воспоминание не тревожило ее оцепенелую душу. Она была парализована, оглушена; казалось, все в ней умерло: и страх, и страдание, и надежда. Ирена долго лежала в этой мучительной пустоте, и единственное, что доходило до ее сознания, — резкие, нарушающие тишину звуки со двора, грохот ступки, стук выбивалки по ковру, крики детей.

Она слышала, как Анна хлопочет в квартире. В какую-то минуту ей даже почудилось, что Анна подошла к двери и прислушивается. Она затихла. Боялась, что Анна войдет, предпочла притвориться спящей. С минуту еще прислушивалась. И вздохнула с облегчением, услышав, как хлопнула входная дверь. В квартире царила тишина.

Ирена встала, подняла штору — яркое солнце залило комнату. В первую минуту свет ослепил ее. Она прикрыла глаза ладонью и только тогда увидела Анну — с хозяйственной сумкой в руке она медленно, тяжело переходила улицу.

Перед домом разговаривали двое мужчин. Один из них был тот, что вчера днем видел ее на балконе, — очевидно, Пётровский. Заметила она также, что Пётровский, привалившись к железной стойке, следит за ее окном. Ирена невольно отпрянула от окна — стала так, чтобы ее не было видно со двора. Однако Пётровский, сунув руки в брюки, так настойчиво смотрел в сторону балкона, что она отошла еще дальше. Но этот эпизод встревожил ее. Минуту спустя, услышав стук выбивалки, она снова подошла к балкону.

Сначала она заметила не Пётровского, а только Владека, обстоятельно мерными ударами выбивающего ковер. Она подошла еще ближе к балкону, но тотчас неожиданно для самой себя испугалась и отступила назад.



Пётровский лежал, развалился на траве, прямо напротив балкона и явно не спускал с него глаз. Она тут же впала в такую панику, что, забыв умыться, поспешно оделась.

Вскоре вернулась Анна, и Ирена выбежала навстречу ей в прихожую.

— Как хорошо, что вы вернулись! — вырвалось у нее. — Мне надо поговорить с вами...

И, не давая Анне вставить слово, принялась сбивчиво объяснять, что ей больше нельзя оставаться в Белянах, ей надо немедленно уехать отсюда.

Анна испугалась.

— Что-нибудь случилось?

— Нет, нет! — успокоила Ирена. — Но выгляните во двор...

Анна послушалась.

— Видите? — спросила Ирена — она держалась в отдалении от балкона. Во дворе Владек стаскивал ковер с перекладкины.

— Я вижу там слугу нашего хозяина, — объяснила, все еще ничего не понимая, Анна.

— А того, другого, на траве?

— Да там нет никого!

Ирена подошла поближе. В самом деле, Пётровский исчез — видимо, только что ушел. Тогда она немного спокойней рассказала о своих наблюдениях. Малецкая принялась ее успокаивать. Она говорила так убедительно и так здраво, что Ирена с легкостью дала уговорить себя.

— Вы думаете, ничего страшного нет?

— Ну, конечно, нет! — уверила ее Анна, хотя и сама была немного обеспокоена.

Ирена вздохнула с облегчением.

— Это хорошо! А я уже не сомневалась, что мне придется снова бежать.

— Не думайте об этом, — еще раз повторила Анна.

— Честно говоря, — помолчав, сказала Ирена, — деваться мне, пожалуй, и некуда. У меня никого нет.

Во время запоздавшего завтрака она снова вернулась к этой теме.

— Знаете, — обратилась она к Анне — та сидела с шитьем неподалеку от нее, — временами я и сама не знаю, чего я больше боюсь: самой смерти или постоянной неопределенности.

Анна ответила не сразу — мысли ее были заняты Юлеком. Лишь чуть погодя, склонившись над распашонкой, она ответила:

— Мне кажется, человек лишь тогда может не бояться смерти, когда верит в некие высшие ценности...

Ирена внимательно взглянула на нее.

— Вы думаете о Боге?

— Нет! — искренне возразила Анна. — Сейчас я думала не о Боге, а о людях.

Анне плохо давалась кройка, и, так как у нее осталось еще фланели на две распашонки, она решила попросить более опытную в этом деле пани Карскую скроить их для нее. Предупредив Ирену, что на полчаса оставит ее одну, Анна поднялась к соседке.

Двери ей отворила сама пани Карская.

— Я к вам с большой просьбой... — начала Анна и осеклась, смущенная необычным видом пани Карской.

В первую минуту в полутьме прихожей Анна просто не узнала ее: перед ней стояла совсем другая женщина, по меньшей мере лет на десять старше. Она почернела, лицо у нее осунулось, темные, казавшиеся непомерно большими глаза горели тайной мукой.

Решив, что Карская больна, Анна хотела было извиниться и уйти. Но Карская сердечно обняла ее.

— Как хорошо, что вы пришли. Зайдите, прошу вас.

Когда они вошли в комнату, из соседней двери тотчас выглянула Тереска. Пани Карская подошла к ней.

— Иди играй, Тереня.— Она погладила дочку по голове.— Мамочка хочет поговорить с тетей.

Малышка обиженно надула губки.

— А Тереня?

— Потом, родная, поиграй сейчас сама.

— Я же всегда сама играю,— ответила девчушка.

Но все же вышла. Пани Карская немного постояла у дверей, потом села напротив Анны. На свегу ее лицо казалось еще более измученным.

— Это хорошо, что вы пришли,— повторила она медленно, раздумчиво.— Я как раз хотела зайти к вам, хотела...

Она склонила голову и лишь чуть погодя подняла глаза на Анну.

— Скажите, пожалуйста,— начала она неуверенно,— не знаете ли вы... где бы я могла увидеться с братом вашего мужа, с паном Юлеком?

Анна вспыхнула.

— Вы не знаете?

Анна покачала головой.

— Он больше не зайдет к вам?

— Скорее всего нет,— тихо ответила Анна.

— Ах так! — шепнула пани Карская как бы самой себе.

Воцарилась тишина.

— А что, Влодек хотел бы увидеться с Юлеком? — спросила Анна.

— Нет,— возразила Карская.— Влодек вчера не вернулся домой.

Анна вздрогнула:

— Как не вернулся?

Пани Карская встала, вынула из лежавшей неподалеку сумки листочек и молча протянула его Анне. Анна прочла его раз, другой. Внезапно Карская кинулась к ней, схватила за руку:

— Умоляю вас, если вы хоть что-нибудь знаете о Юлеке, скажите. Они наверняка должны быть вместе, я это знаю. Я ничему не стану препятствовать. Я хочу только знать, знать, где мой сын, за что он хочет погибнуть... Ничего больше...

Анна тоже не сомневалась, что Влодек участвует в операции вместе с Юлеком. Однако она колебалась: имеет ли она право выдать доверенную ей тайну? Пани Карская это почувствовала.

— Умоляю вас! — Она сильнее стиснула руку Анны.

В ее голосе было столько страдания и муки, что Анна решилась. Пани Карская выслушала ее спокойно, молча. Только лицо ее совсем посерело, а глаза еще больше потемнели.

— Вот как! — только и сказала она, когда Анна замолчала.— Значит, я его больше не увижу...

— Может, они не вместе пошли,— шепнула Анна.

— Нет, нет, я знаю, что это так! Но ничего тут не поделаешь...

Она поднялась, сжала виски маленькими узкими ладонями.

— Ничего не поделаешь,— глухо повторила она.— В Польше матери должны знать, что, если они воспитывают своих сыновей порядочными людьми, они чаще всего обрекают их на смерть. Но почему он не сказал мне? — В ней вдруг вспыхнула обида.— Ведь я не стала бы его удерживать... Да и как я могла бы его удержать?

После полудня из города стали доноситься все более частые и мощные взрывы. На таком расстоянии трудно было определить, что взрывается — зажигательные бомбы или динамит. Но, видно, после каждого взрыва вспыхивал новый пожар: то и дело черные столбы густого дыма вздымались над гетто.

В кухне Пётровских пекли пироги, готовили бигос. Запах его разносился по лестничной клетке. Пётровская, красная, разгоряченная, в рубахе и цветной нижней юбке, металась между кухней и комнатами: когда можно было отойти от печки, убирала квартиру. Ей хотелось к вечеру управиться.

— Господи! — воскликнула она, когда особенно мощный взрыв всколыхнул землю.— Вот это лупят так лупят!

Она подошла к окну, ее внимание привлекла группа людей, собравшихся на тротуаре возле дома Макарьинского.

— Юзеф! — Она заглянула в соседнюю комнату. — Глянь-ка, что там творится у дома Макарьинского.

— Чего? — спросил тот, не поднимаясь с кровати.

— Ты погляди, какая уйма людей!

Он неохотно поднялся, выглянул в окно.

— Где там уйма! Всего несколько человек.

— Да где же несколько? — возмутилась она. — Посчитай: шесть, семь. Смотри, даже Владек Замойского...

Действительно, в группу бурно разговаривающих людей затесался Владек. Но Пётровского это ничуть не заинтересовало.

— Ну и что? — буркнул он, пожав плечами.

— Господи! — разволновалась Пётровская. — Ты что, не видишь — что-то стряслось. Ступай узнай.

— Иди сама! — Он лениво потянулся.

— Матерь Божья! Да я же не одета! Я к нему как к человеку...

Оживленная жестикуляция собравшихся наконец заинтересовала Пётровского. Он надел пиджак, шляпу и вышел. Проходя по двору, он кинул взгляд на балкон Малецких.

Пётровская тем временем побежала на кухню помешать бигос. Заодно проверила, зарумянилась ли сдоба, и вернулась в комнату. Пётровский уже стоял среди собравшихся.

Вернулся он минут через десять.

— Ну что? — встретила его в дверях возбужденная жена. — Чего ты так долго торчал там? Что стряслось?

— Откуда я знаю? — Он бросил шляпу на кровать. — Толком никто не знает, болтают только...

— Как это болтают? Что болтают?

— Будто на Лисовскую приехало гестапо.

— Что ты говоришь? — перепугалась она. — Когда? Сейчас? И что, забрали кого?

— Вроде евреев каких-то, — ответил он равнодушно.

Пётровская вся побагровела и сперва не могла даже слова вымолвить, будто поперхнулась этим известием. Пришла в себя она только через минуту.

— Юзек! — приказала она. — Пригляди за тестом, я сейчас вернусь.

Открыла шкаф, вытащила оттуда платье и начала торопливо одеваться. Пётровский поморщился:

— Куда ты бежишь?

— К Замойскому, — ответила она коротко, натягивая чулок.

— Чего ради?

— Как это чего ради? — Она выпрямилась — красная, вспотевшая. — Ты что, не видишь, что творится? Или прикажешь сидеть сложа руки и дожидаться, пока нас всех прикончат из-за одной жидовки? Не бывать тому! Я в гестапо не побегу, не хочу, чтобы у меня на совести была кровь, но кое-кто как пить дать побегит.

Уже одетая, она кинулась на кухню, заглянула в духовку. Сдоба уже подрумянилась. Она помешала бигос. И снова вернулась в комнату. Поправила волосы, припудрила горевшее лицо, схватила сумку.

— Юзек! — вспомнила она уже в дверях. — Если я через четверть часа не вернусь, вынь булки и помешай бигос. Не забудешь?

— Еще чего! — буркнул он.

Снял пиджак, улегся на кровать, закинул ноги на железную спинку. Он лежал так часами.

Тем временем Пётровская, энергично убедив Владека, что ей надо незамедлительно увидеть советника по очень важному и срочному делу, прошла в кабинет Замойского — просторную комнату, устланную огромным ковром, с громоздким столом посредине и массивными библиотечными шкафами. На стенах в раззолоченных рамах темнели старинные портреты. Затянутые шторами окна, мягкие кожаные кресла — все здесь дышало покоем.

Замойский читал «Пана Тадеуша», и неожиданный визит Пётровской был ему совсем некстати. Он знал, что посещение жильцов не сулит хозяину ничего приятного. Однако, как человек воспитанный, тут же встал, изобразил на кроличьем лице любезную улыбку. Недовольство советника выдавал только большой нос.

Пётровская утонула в глубоком кресле и, утерев платком потное лицо, приступила к делу.

— Пан советник, вы меня знаете, — начала она, — я женщина честная, никто вам не платит так исправно, как я.

Замойский учтиво поклонился. Пётровская отдышалась, снова полезла за платком.

— Что, разве не так? Поэтому кому как не мне и сказать вам, что в нашем доме не все в порядке.

У Замойского нос вытянулся еще больше.

— Пан советник, я знаю, что говорю, я на ветер слов не бросаю. Можно ли терпеть, чтобы легкомыслие одних людей угрожало жизни других, и еще в нынешние времена? Да где это видано, чтобы поступали, прошу прощения, так антиобщественно?

— Но... — пробормотал Замойский.

— Да, да! — наседала Пётровская. — Что бы вы, пан советник, сказали, если бы вы знали, что в вашем доме, под вашей крышей укрывают, прошу прощения, евреев?

Замойский вздрогнул, нос его еще больше вытянулся.

— А я знаю! — выкрикнула Пётровская, обмахиваясь платком. — И супруги Малецкие тоже знают.

Замойский несколько оправился от первого удара.

— Позвольте, — перешел он к делу, — насколько я понял, вы хотите сказать, что у супругов Малецких живут посторонние люди...

— Не люди, а жидовка! — прервала она его.

Замойский почесал нос.

— Минуточку, минуточку... А откуда вам известно, что эта женщина...

— Что у меня, глаз нет? — возмутилась Пётровская. — Я в этом, пан советник, разбираюсь. Раз взгляну — и мне все ясно.

В мягком кожаном кресле ей стало жарко, и она села на самый его краешек.

— Я, пан советник, полька, — вытерла она вспотевший лоб, — немцам доносить не побегу, так что вы, пан советник, не бойтесь...

— Ну что вы! — Замойский развел руками, желая показать, что он далек от подобного предположения.

— Да, да! Но мы же не можем жить как на вулкане. Вон здесь сколько детей!

— Вы правы, — прервал ее Замойский. — Я поговорю с Малецким, все выясню. Может, это какое-то недоразумение.

— Никакого недоразумения нет, — ответила она оскорбленно. — Я отвечаю за свои слова.

— Разумеется, разумеется, — стушевался он. — А кроме вас кому-нибудь известно об этом?

— Вот этого я не знаю, — пожала она плечами. — Меня это не касается. Я об этом никому не говорила. Но люди есть люди... От них ничего не скроешь, мигом пронюхают.

— Разумеется, разумеется, — согласился он. — Я все выясню.

Он проводил ее до прихожей и при Владеке попрощался с ней с такой изысканной любезностью, что она вернулась домой вполне уболагодворенная. Но не успела переступить порог своей квартиры, как ей в нос ударил подозрительный запах гари. Предчувствуя дурное, она влетела на кухню. В плите буйствовал огонь. Из горшка с бигосом несло горелым. Она заглянула в печь и при виде траурно-черных булочек заломила руки. Но огорчение быстро сменилось гневом.

Пётровская рванула в комнату. Вид мужа, беспечно развалившегося на постели, привел ее в бешенство.

— Ах ты дрянь! — завопила она. — Говорила тебе, бездельник ты этакий, чтобы приглядел за пирогами. А теперь что? Будешь это дерьмо жрать!

Но прежде чем она успела излить свою ярость, Пётровский соскочил вдруг с кровати, кинулся к ней и, схватив за руки, припер к стене.

— Больно! — в испуге простонала она. — Ты что, Юзек?

— А то! — Он еще сильнее стиснул ей запястья. — Будешь, холера, не в свое дело соваться?

— Да ведь это я ради тебя, Юзек! — защищалась она. — Я за тебя боюсь.

— Будешь? — повторил он.

От боли и унижения глаза ее наполнились слезами. Бессилие сродни обмороку лишило ее воли. Она была беззащитна перед ним. Вот уже пять лет, день за днем — на радость и на горе, — его тело, дыхание, голос имели над ней необоримую власть.

— Будешь? — повторил он еще раз.

Она покачала головой.

— Не будешь?

— Нет, — шепнула она.

— Смотри у меня! — сказал он сквозь зубы.

И оттолкнул ее с такой силой, что она споткнулась о порог, зацепилась за ближайший стул и упала. Пётровский пожал плечами. И с презрением захлопнул дверь ногой.

Лишь минуту спустя она медленно поднялась, глотая слезы, принялась растирать занемевшие руки. И тут заметила, что, падая, порвала чулок на самом видном месте. Эти шелковые французские чулки она купила всего неделю назад на Керцеляке за большие деньги, а легко ли их заработать спекуляцией. Теперь уж она заплакала навзрыд от обиды и злости, захлебываясь слезами, громко причитала:

— Чтоб тебе сгинуть, обезьяна жидовская, жидовка проклятая! Человек надрывается, вкалывает, и из-за такой вот... Бога, видно, нет на свете...

Желая успокоиться, Малецкий решил возвратиться домой пешком. Он прошел через весь город, преодолел много километров, однако ни ходьба, ни усталость не смогли заглушить мучительных мыслей.

Варшава — вся движение, шум, гомон — окружала его. Весенний день шел к концу, но лавки и магазины были еще открыты. В витринах магазинов, где чем только не торговали, в толпах, заполнявших тротуары, ощущалось приближение праздника. На улицы высыпали торговцы — они шумно нахваливали свои товары. На углах стояли корзины с фиалками, калужницами, первоцветами. В воздухе пахло весной. Однако нежную голубизну весеннего неба исчертили серые полосы дыма. Над гетто, подобный огромному чудищу, стоял черный, почти неподвижный столб дыма. Слышались отголоски ожесточенной перестрелки, многократно усиленные эхом взрывы то и дело сотрясали землю.

Дойдя до Жолибója, Малецкий так устал, что решил сесть в трамвай. И все же домой он вернулся гораздо позже, чем намеревался.

Услышав его шаги, Ирена выглянула в прихожую. И сразу заметила, что он привез ее чемодана, как обещал.

— Ты не взял моих вещей? — огорчилась она.

— Увы! — с трудом выдавил он.

— Ты не ездил к Маковским? — спросила Анна.

Разозленный их вопросами, он ответил уклончиво, сказал, что хочет умыться, и скрылся в ванной. Пробыл там гораздо дольше, чем нужно. Вымыл лицо, чего обычно не делал днем, медленно тер руки, даже ногти обстриг — решил вдруг, что они слишком отросли. Наконец, чувствуя, что переходит границы приличия, причесался и вышел.

Женщины сидели в мастерской. Ирена просматривала альбом Брейгеля и, когда Ян вошел, не подняла на него глаз. Избегая изучающего взгляда жены, он уселся сбоку.

— Так вот, я был в Мокотове... — начал он.

Ирена склонилась над репродукцией.

— И что? — равнодушно спросила она.

Он не сразу подыскал подходящие слова.

— Ты не застал их? — спросила Анна.

— Нет.

— Это ужасно! — расстроилась она. — Тебе нужно поехать к ним завтра.

— Не нужно, — ответил он. — Маковские арестованы, квартира опечата-  
тана.

Ирена замерла над альбомом.

— Когда их арестовали? — спросила она чуть погодя все так же равно-  
душно.

— В ночь со вторника на среду.

— Быстро! — В ее голосе прозвучала легкая ирония. — Всех?

— Всех.

Два далеких взрыва сотрясли тишину. Такие мощные, что стекла зазвене-  
ли.

— У тебя там было много вещей? — спросил Ян.

Она пожала плечами:

— Чепуха! Не до вещей тут!

Ян поспешил объяснить, что он имел в виду. Он, мол, хотел узнать, не бы-  
ло ли среди личных вещей Ирены чего-нибудь компрометирующего.

— Вроде бы нет, — задумалась она. — Была одна фотография отца, не-  
сколько фотографий матери...

— А письма?

Она не подняла глаз от книги.

— Никаких писем я не хранила, не бойся.

Он пропустил ее слова мимо ушей.

— Те двое, что были у тебя, знают твою нынешнюю фамилию?

— Конечно! А ты как думал?

— То-то и оно! Это все осложняет. Если те же самые люди причастны к  
аресту Маковских...

— Вам обязательно нужны новые документы, — вмешалась в разговор  
Анна.

Ирена взглянула на старинное колечко, которое носила на руке.

— Кроме него, мне больше нечего продать. Но за него дадут гроши!

Наступило тягостное молчание. Наконец Ян, чувствуя на себе взгляд же-  
ны, выдал:

— Да нет, мы это сделаем иначе! Но сейчас это будет нелегко устроить.

— Ты как-то говорил, — припомнила вдруг Анна, — что у вашей машин-  
стки — так, что ли, — большие связи. Ее зовут Марта, да?

— Да, — буркнул Ян.

— Может, через нее?

— Она уже не работает у нас.

— Вот как? — удивилась Анна. — Почему? Ты так хвалил ее...

— Сама уволилась, — хмуро ответил он. — Нашла другое место.

— А через твоего брата? — спросила Ирена.

Ян взглянул на жену.

— В самом деле. Но куда он запропастился? Вообще что с ним? Снова  
уехал?

— Вроде бы. — Анна вспыхнула.

Ян, однако, не заметил этого.

— Жаль! — сказал он. — Хоть на что-то пригодился бы. Впрочем, у него  
связи тоже весьма сомнительные. Так или иначе, он отпадает. Через кого же  
еще это можно устроить?

И вдруг вспомнил.

— А как насчет Фели Пташицкой? Ты теперь видишься с ней? — спросил  
он Ирену. — Как она? Я давно ее не видел.

— Я тоже.

— Может, она могла бы нам помочь. Раньше...

— Сомневаюсь, — прервала его Ирена.

— Ты думаешь, она не захочет? Даже ради тебя?

Ирена пожала плечами:

— Люди меняются.

— Феля изменилась? — удивился он. — Да что ты говоришь? И в каком смысле?

— В самом главном! — горько усмехнулась Ирена. — Возле нее крутится какой-то оэнэровец<sup>4</sup>. Она в него без памяти влюблена. Остальное додумай сам.

— Невероятно! Феля Пташицкая?

— Да, Феля...

— И что, она антисемитка? Уму непостижимо...

— И тем не менее...

— Невероятно! Феля Пташицкая?

Ирена машинально перевернула несколько страниц альбома.

— Впрочем, я не видела ее почти полгода. Может, у нее с этим парнем уже все кончено.

— Скорее всего так оно и есть. — Ян задумался. — Знаешь, я все же еду к ней, попробую...

— Попробуй, — согласилась она равнодушно.

Под конец ужина, такого же унылого, как и вчерашний, в дверь Малецких позвонил Владек. Благоухающий, румяный, причесанный, волосок к волоску. Прихожую наполнил запах хорошей лавандовой воды.

— Пан советник просит вас, пан инженер, — Владек отвесил поклон, — если у вас выдаться минута времени, оказать ему любезность и зайти к нему.

— Хорошо, — ответил Малецкий. — Я приду минут через пятнадцать.

— Благодарю вас, — учтиво улыбнулся Владек. — Пан советник будет ждать вас, пан инженер.

Малецкий в глубокой задумчивости вернулся в комнату.

— Замойский хочет со мной увидеться, — объяснил он, садясь за стол. И тут же, как бы размышляя вслух, добавил: — Интересно, зачем я ему понадобился?

Сразу после ужина он позвонил в квартиру напротив. Экс-советник сидел в кабинете. Не выпуская из рук книжку, Замойский привстал из-за огромного стола.

— Садитесь, пан инженер, — любезно указал он на кресло. — Простите, что побеспокоил вас, но я не совсем здоров...

На нем была темная домашняя куртка, на ногах — шлепанцы. Выглядел он и впрямь не очень хорошо. Усевшись напротив Малецкого, он отложил книжку на стоявший рядом столик.

— Перечитываю «Пана Тадеуша», — объяснил он. — Помогает забыться...

Зная болтливость хозяина, Малецкий пресек его разглагольствования.

— Слушаю вас, — официально сказал он. — Чем могу служить?

Замойского встревожила такая бесцеремонность. Он предполагал сперва порассуждать о достоинствах поэмы Мицкевича, затем незаметно перейти к злобе дня и уже в этой связи в доверительной и высокоинтеллектуальной беседе затронуть щекотливое дело, из-за которого он вызвал Малецкого. Но тот спутал ему карты, и Замойский смешался, почувствовал, что не способен продолжить разговор.

Малецкий догадывался, о чем хочет говорить хозяин, но не желал облегчать ему задачу. В нем шевельнулась злость на Ирену. Конечно же, она снова, презрев осторожность, выходила на балкон. Несколько минут оба молчали. Нос Замойского все больше вытягивался. Наконец советник собрал разбежавшиеся мысли.

— Я хотел поговорить с вами, пан инженер, об одном деле... — начал он. — Разумеется, абсолютно доверительно. Дело, пожалуй, несколько щекотливое.

Он запнулся — его покрасневшие глаза умоляли Малецкого о помощи.

— Слушаю вас, — не отозвавшись на любезный тон хозяина, сухо повторил Малецкий.

Замойский перевел дух. Ничего не попишешь, надо пересилить себя.

— У вас сейчас живет... насколько мне известно, одна особа... Простите, не знаю ее фамилии.

<sup>4</sup> Член фашистской организации «Обуз народowo-радикальны» («Национально-радикальный лагерь»).

— Пани Грабовская, — невозмутимо ответил Малецкий. — Она погостит у нас несколько дней. Речь, верно, идет о прописке?

— И да и нет, — ловко избежал ловушки Замоийский. — Конечно, прописка — это само собой. Вы же понимаете, не обо мне речь, но нынешние времена...

— Понимаю, — согласился Малецкий.

— Только...

— Только?

— Простите, — собрался с силами Замоийский, — только я не без основания предполагаю, более того, я почти уверен, да, да, почти уверен, — подчеркнул он, — что пани Грабовская не та, за кого... Извините, — предупредил он ответ Малецкого, — это ее настоящая фамилия?

Ему нелегко было задать этот вопрос — его нос еще больше удлинился, покрасневшие глаза разбежались, словно каждый хотел впитаться в Малецкого по отдельности. Малецкий ответил не сразу: его ошеломил не так сам вопрос — он ожидал его, — сколько вид советника. В первую минуту он никак не мог взять в толк, почему его так удивило выражение лица Замоийского. И тут у него даже дыхание перехватило от изумления: у Замоийского было семитское лицо, и его выдали глаза, безусловно еврейские глаза. Он невольно скользнул взглядом по темным, величественно глядевшим со стен портретам. И ему расхотелось вести с Замоийским двойную игру.

— Пан советник, — дружески склонился к нему Ян, — допустим, что я дам на ваш вопрос отрицательный ответ. Допустим, что у пани Грабовской другая фамилия. Ну и что, по-вашему, я должен делать в таком случае?

Замоийский в панике глубже забился в кресло.

— Я ни о чем не хочу знать!

Малецкий почувствовал себя более уверенно.

— Простите, но вы сами сказали, что наш разговор должен быть абсолютно доверительным. Тем самым вы склонили меня к откровенности. Не так ли? Только поэтому я счел себя вправе спросить вас, что, по-вашему, я должен делать?

Замоийский жалобно смотрел на Малецкого. И зачем его втягивают в темные, чуждые ему дела, укорял его взгляд.

— Увольте меня, — пробормотал наконец Замоийский. — Откуда мне знать, что вам делать? Я скорблю обо всем, что происходит... Но речь идет о целом доме, вы же понимаете... Столько народу, женщины, дети... Случись что-нибудь, обыск или, не дай бог, донос... Вы понимаете?

— Понимаю! — согласился Малецкий. — Ну и что?

Замоийский — его уже в третий раз приперли к стене — не выдержал. Потерял власть над собой. Вне себя от беспокойства он совсем растерялся, обхватил голову руками и запричитал:

— Господи Иисусе, за что? Чего вы от меня хотите? Мне и так каждую ночь снится гестапо, нервов не хватает! Господи ты боже мой!

Малецкий переждал, пока он успокоится, и лишь тогда сочувственно, задушевно сказал:

— Поверьте, пан советник, я все понимаю. Но речь идет о жизни человека. Замоийский молчал. Ушел в себя, съежился.

— Знаю, знаю, — забормотал он и кивнул головой. — К человеческой жизни надо относиться с уважением...

Малецкий тотчас же перешел в наступление.

— Впрочем, могу вас уверить, что пани Грабовская пробудет у нас дня два-три, не больше. Вы понимаете, в связи с состоянием моей жены это и в моих интересах. Речь идет буквально о нескольких днях. А теперь извините, но я задам вам один не деликатный вопрос, я хотел бы, чтобы между нами не было никаких недомолвок. Как вы узнали, что у нас кто-то живет? Вы видели пани Грабовскую?

Замоийский покачал головой.

— Значит, вам сообщили? Нельзя ли узнать кто? Кто-то из нашего дома? Советник заколебался.

— Петровская? — подсказал Малецкий.

Молчание советника подтвердило его догадку.



— Значит, надо будет успокоить ее, — сказал Малецкий, — объяснить ей, что она ошиблась, что внешность пани Грабовской может вызывать подозрения, и тем не менее... и так далее...

Замойский казался вконец обессиленным. Он лишь согласно кивал, но не произносил ни слова. Порешили на том, что Малецкий поговорит с Пётровской и все объяснит ей. Ян сам предложил это Замойскому, желая выручить его. Минуту спустя он, правда, пожалел об этом поспешном шаге. Но отступить было уже неудобно. Впрочем, и так все обернулось лучше, чем он ожидал.

На прощание он захотел как-то выразить Замойскому признательность и уважение.

— Не каждый на вашем месте, пан советник, так бы поступил!

Советник смутился, как юноша. Но потом он приосанился и, стыдливо зарумянившись, убежденно произнес:

— Должен вас поправить, пан инженер! Каждый «порядочный поляк», как говорит поэт, поступил бы на моем месте так же.

И Малецкому показалось, что его маленькое лицо, обремененное слишком длинным для него носом, удивительно похоже на потемневшие старинные портреты на стенах.

Но сойти вниз, поговорить с Пётровской у него уже не было сил. И он решил отложить этот разговор на завтра.

## V

Наступила Страстная пятница. Пятый день шло восстание в гетто. Пожары распространились уже в глубь гетто. В огне и дыму то и дело щелкали выстрелы, слышался сухой треск автоматных и пулеметных очередей. В городе начались облавы на евреев. Кое-кому из них в разное время и через разные лазейки удалось вырваться из гетто, и теперь усиленные патрули немецкой жандармерии, а также синей<sup>6</sup> и украинской полиции ловили беглецов на улицах. Установили посты и у выходов из подземных каналов — именно так евреи чаще всего пытались вырваться на свободу. Евреев убивали тут же, на месте. Весь день в самых разных районах Варшавы слышались короткие перестрелки. На улицах поднимался переполох, прохожие прятались в подворотни. Случалось, через опустевшую площадь либо по внезапно обезлюдившей улице бежал, пригнувшись, одинокий человек. Вскоре ружейный залп настигал его. Он падал на тротуар. К лежавшему подъезжали на велосибедах жандармы, подбегали украинские полицейские в зеленых мундирах. Если он оставался жив, его добивали. И минуту спустя на улице возобновлялось движение.

У костелов толпились люди, после службы все спешили на кладбище. Весна стояла на редкость прекрасная.

Малецкий не зашел к Пётровской и утром. А вдруг ее нет дома, подумал он, и решил отложить разговор на вторую половину дня. Вместо этого он поехал на Саскую Кемпу к Феле Пташицкой.

Пташицкая жила в доме своей матери, деспотичной и на редкость эгоистичной старухи, вдовы украинского помещика. Малецкий помнил, что художница раньше, когда они часто виделись, сетовала на тяжелые отношения в семье. Однако свою властную мать она любила и не решалась разъехаться с нею.

Дом старой Пташицкой стоял в глубине бульвара на берегу Вислы, несколько на отшибе, отделенный от ближайших домов пустырем. Вокруг него был старый сад, небольшой, но густой, заросший огромными лопухами. Малецкий не без волнения нажал звонок у входных дверей. Он не видел Фелю больше года, но когда-то был хорошо знаком с ней и никак не мог поверить, что Ирена говорит правду. Ему пришлось довольно долго простоять у дверей. Солнце заливало высокое крыльцо. Пахло зацветающей сиренью, чистый воздух полнил веселый птичий щебет. За бульваром текла освещенная солнцем Висла, казалось, в нее вылили расплавленное сверкающее золото. Над нею высилась Варшава — голубоватые громады окутанных дымкой домов, сверканье стройных башен костелов.

<sup>6</sup> Так по синим мундирам назывались отряды полиции, сотрудничавшие с оккупационными властями, сформированные из поляков.

Тяжко, неподвижно навис над городом черный дым пожаров. Посредине Вислы плыла маленькая красная байдарка.

Малецкий позвонил еще раз. Чуть спустя он услышал шаги. Дверь открыла Пташицкая. Ему показалось, что в первую минуту она не узнала его.

— Добрый день, Феля! — шагнул он из солнца в полумрак прихожей. — Ты что, не узнаешь старого приятеля?

Она сперва смутилась, но тут же, по своему обыкновению, стала шумно выражать радость с неистовством, свойственным этой крупной женщине. С неженской силой она втащила его в прихожую.

— Вспомнил наконец обо мне?

И все же она была явно смущена его неожиданным визитом — он застиг ее врасплох.

— Я тебе не помешал? — спросил он.

— Да нет же, нет! — поспешно возразила она. — Только погоди минутку, ладно?

Она огляделась вокруг: куда бы лучше провести гостя?

— Иди сюда! — Она открыла дверь в маленькую гостиную. — Располагайся, я скоро вернусь, только закончу одно дело там у себя, наверху. Я скоро...

— Да ты не стесняйся, — улыбнулся он. — Я обожду.

Теперь, присмотревшись к Феле при ярком свете, он заметил, как сильно она изменилась со времени последней их встречи. Постарела по меньшей мере на несколько лет. На висках пробивается седина, черты слишком крупного лица, как ни старалась она смягчить их с помощью косметики, казались еще более неправильными. Фигурой великанша, лицом — некрасивая, преждевременно, уродливо стареющая женщина. А ведь ей нет еще и сорока.

— Так ты обождешь меня? — повторила она.

И уже в дверях сердечно, тепло глянула на него.

— Я очень рада, что ты пришел! — пробасила она, тщетно стараясь придать своему голосу нежные интонации.

— Ты даже не знаешь, какой важный для меня сегодня день...

Малецкий заколебался.

— Знаешь, кто у нас? — решил наконец сказать он. — Ирена Лильен.

— Ирена? — обрадовалась Пташицкая. — Что ты говоришь? Значит, она жива?

— Да.

— Я в последнее время часто вспоминала ее, — задумчиво сказала Пташицкая. — И меня так мучила совесть... Но мне пора, — спохватилась она. — Мы еще поговорим обо всем. Целую, пока!

Малецкий думал, что ему придется ждать несколько минут. Но прошло уже четверть часа, а Фели все не было. Потеряв терпение, он стал ходить взад-вперед по тесной, заставленной мебелью гостиной. Короткое, как уверяла Феля, дело, по-видимому, затянулось. Малецкий несколько раз останавливался у двери, прислушивался, не донесутся ли голоса сверху. Но нет. Дом будто вымер.

Вскоре ему накущило набивать синяки о мебель, и он встал у окна. Окно выходило в садик, за которым виднелась Висла. По асфальту бульвара ехала большая зеленая машина, в ней застыли немецкие жандармы в касках, с автоматами. На освещенном солнцем кусте сирени, щебеча, весело прыгала маленькая серая птичка. На минуту бульвар опустел. Потом, держась за руки, показались парень и девушка. Оба светловолосые, одетые по-весеннему, он — в полотняных брюках и голубой рубашке, она — в легком желтом платье.

Малецкий, опершись о подоконник, глядел, прищурясь, на раскинувшуюся перед ним Вислу и на Варшаву. И тут сверху, как два хлопка, донеслись приглушенные звуки двух коротких выстрелов. Малецкий вздрогнул. Но с места не тронулся — так его парализовал страх. Затаив дыхание, прислушался. Ни единый звук не нарушал тишины. Царил такой покой, что на миг ему показалось — то ли он ослышался, то ли выстрелы грянули на бульваре. Несколько успокоенный, хотя сердце у него екало, Ян подошел к двери. Открыл ее, выглянул в прихожую.

И тут наверху хлопнули двери. Послышались торопливые мужские шаги. По лестнице спускались по меньшей мере двое. Вот они показали на площад-

ке и тотчас заметили его. Малецкий не успел отступить в гостиную. От неожиданности оба застыли на месте и почти одновременно характерным жестом полезли за пазуху — очевидно, в плащах у них было спрятано оружие.

Молодые, в штатском, в плащах и высоких сапогах. В первую минуту Малецкий принял их за немецких агентов, и лишь когда они спустились в прихожую, в одном из них, высоком блондине со сверлящим взглядом глубоко посаженных глаз, узнал частого посетителя конторы — Залевского. И тотчас сооставил его присутствие здесь с рассказом Ирены о последнем увлечении Пташицкой. «Они убили ее!» — промелькнуло в голове Яна. И ледяной холод сковал его.

Залевский тоже узнал Яна. Темный румянец разлился по его лицу, даже лоб и тот покраснел.

— Что вы тут делаете?

Малецкий обвел их взглядом. Только теперь он заметил, что у второго парня, хмурого, широкоплечего брюнета, в руке револьвер.

— Что вы сделали с Пташицкой? — глухо спросил он.

Брюнет посмотрел на Залевского.

— Ты его знаешь? — кивнул он головой на Малецкого.

Тот взглядом подтвердил.

— Кто он такой? Он тебя тоже знает?

Залевский, наклонившись к товарищу, шепнул на ухо несколько слов. Брюнет закусил губу, исподлобья взглянул на Малецкого.

— Погоди... — взял его за руку Залевский.

Ян инстинктивно попятился к стене. Но в ту самую минуту, когда он коснулся спиной стены, щелкнул выстрел. Малецкий пошатнулся, схватился руками за грудь, привстал на цыпочки и с минуту стоял так, вытянувшись, словно в танце. Потом согнулся и рухнул. Залевский едва успел отскочить в сторону.

Наступила такая тишина, что слышен был птичий щебет во дворе, доносившийся через открытые двери гостиной. Солнце отбрасывало длинные лучи — они тянулись почти до двери в прихожую. В прихожей царил полумрак, зато лестничная площадка была залита светом.

Шурша широким плащом, брюнет наклонился к Малецкому, с минуту приглядывался к нему. Наконец махнул рукой, выпрямился и обернулся к товарищу. Тот стоял бледный, понурил голову.

— Ну? — Брюнет тронул его за плечо.

Залевский не шевельнулся. Брюнет спрятал револьвер в карман плаща.

— Ишь какой чувствительный. Не бери в голову. Ясно, что надо было убить его, иначе он бы нас выдал. И все, точка!

Он перешагнул через лежавший у двери труп, пересек гостиную, подошел к окну. Посмотрел на бульвар.

— Все спокойно! — сообщил он, вернувшись в прихожую. — Можно идти. И тут же ударил себя по лбу.

— Черт, а самое главное чуть не забыли.

Он сел на корточки около убитого, вынул из пиджака бумажник, стал внимательно просматривать его содержимое.

— Что ты делаешь? — спросил Залевский.

— Надо забрать его бумаги, — ответил тот, вынимая документы. — Зачем облегчать полиции работу?

Он сунул несколько бумажек в карман плаща, бумажник положил на место.

— Все! — Он посмотрел на Залевского. — Ну как? Идти можешь?

Тот приосанился.

— Конечно!

— Ну слава богу! Я думал, ты расклеился.

Залевский презрительно поморщился:

— Я? Ты еще меня не знаешь. Пошли!

У выхода брюнет задержался.

— Слушай, Зыгмунт, ты, надеюсь, не был влюблен в Фелю?

— Ты что, спятил? — пожал плечами Залевский. — В эту старуху? Она нам была нужна, только и всего.

— Правда твоя, — согласился брюнет. — Но она о нас тоже слишком много знала.

Залевский поджал узкие губы.

— Идиотка! — буркнул он. — И что она себе воображала? Что мы отпустим ее?

— Похоже на то! Но вообще-то она даже не испугалась, когда увидела револьвер.

— Ты так считаешь? — задумался Залевский.

— А этот явно ошалел от страха...

— Еще бы! — усмехнулся Залевский. — Он трус! Я ведь его знал. Гнилой интеллигент, чего с него возьмешь.

— Вон как! — заинтересовался брюнет. — Он что, либерал?

— Что-то в этом роде.

Брюнет хлопнул товарища по плечу:

— Смотри-ка! Выходит, мы ненароком сделали доброе дело.

Оба рассмеялись и, быстро шагая по залитому солнцем бульвару, все еще продолжали смеяться — весело и беззаботно. Навстречу им потихоньку ковыляла, опираясь на тонкую палку, седая старушонка в бархатном темно-зеленом салопе, в пожелтевшем кружевном жабо на шее и черных митенках на негнущихся от артрита руках. Она с интересом оглядела их поблекшими, некогда голубыми глазами, а когда они миновали ее, остановилась, обернулась и, сторбившись, опершись на палочку, осиянная весенним солнцем, долго с доброжелательной улыбкой смотрела вслед удалявшимся парням.

До полудня Анна была вполне спокойна. За будничными хлопотами они долго беседовали с Иреной и единодушно решили, что лучше всего будет, если, получив новые документы, Ирена уедет в деревню. У Яна с довоенных времен много знакомых среди помещиков, и он воспользуется этими связями, постарается устроить Ирену на жительство в какую-нибудь, по возможности безопасную, усадьбу. Если же это окажется трудным или вообще почему-либо сорвется, есть еще один выход: поместить Ирену в Гротнице, в древнем цистерцианском монастыре, который Ян в свое время начал реставрировать. Этот проект был Ирине особенно по душе. Она, правда, понятия не имела, что сейчас творится в Гротнице, Анна тоже, однако обе пришли к мысли, что в Гротнице, расположенной в самой красивой местности Предгорья, здали от железной дороги и окруженной средневековыми стенами, Ирена обретет идеальное убежище. Даже трудности переезда в далекое, незнакомое место не пугали их, казались легко-преодолимыми. Обе, хотя и по разным причинам — Анна по доброте сердечной, а Ирена от усталости и бессилия, — поверили, что им удастся обмануть судьбу. Один только раз, когда Анна сказала, что кончится война и все заживут по-новому, Ирена сникла, задумалась. Минуту спустя лицо ее просветлело, и они еще долго говорили про Гротницу. Анна не сомневалась, что их план понравится Яну.

Только часов около двух ее начало беспокоить отсутствие Яна — ведь он обещал вернуться примерно к часу дня, к обеду. Но минуло три, а потом и четыре часа, и тревога ее немного улеглась. Анна подумала, что у Яна возникли непредвиденные дела и он вернется только к вечеру. Но ей хотелось провести Страстную пятницу как положено, и она решила ненадолго сходить одна на кладбище при ближнем костеле в Вавжишеве. Было еще не поздно — всего начало шестого, и она рассчитала, что успеет домой как раз к возвращению Яна.

На лестнице Анна столкнулась с Тереской Карской. В свежем розовом платье, с любимой куклой в руках, девочка, напевая, прыгала со ступеньки на ступеньку.

— Где мамочка, Тереска?

— В город поехала, — ответила та.

Тоненько затянула свое «ля-ля-ля» и соскочила на нижнюю ступеньку.

— Смотри, Тереска, не упади, — предостерегла ее Анна. — Можешь больно ушибиться.

Девочка только покачала головой и соскочила еще на одну ступеньку ниже. Анна и во дворе еще слышала ее «ля-ля-ля».

Погода во второй половине дня выдалась прекрасная, солнце пригревало почти по-летнему. Дымная туча все так же висела над Варшавой, ветер дул с юга, со стороны гетто, и жаркий воздух и здесь был подернут мглой.

От трамвайной остановки шли люди. Анна задержалась у калитки поглядеть, нет ли среди них Яна. Из города в основном возвращались вавжишевские рабочие. Они быстро шли один за другим, усталые, запыленные, почти каждый нес под мышкой сверток, у некоторых из карманов торчали бутылки водки. Позади всех тащился, пошатываясь, изнуренный, хилый человечек, пиджак на нем висел, длинные брюки собрались гармошкой. Он шел, понунив голову, что-то бормоча под нос и размахивая руками. Такая же изможденная, как он, женщина, тощая, рябая, с губами в ниточку, забегала то с одного, то с другого боку, грозила ему кулаком, визгливо бранясь. Пьяный отмахивался от нее как от назойливой мухи. Наконец и они исчезли за углом. Яна все не было.

Неподалеку от дома Анна встретила Пётровских с Вацеком и мальчиком Осиповичей. Они, верно, возвращались с кладбища, из Вавжишева. Пётровские были одеты по-праздничному: он в светлом костюме, в красивых коричневых туфлях и в лихо сдвинутой назад шляпе, открывавшей низкий лоб; она в шелковом, зеленом, обтягивающем платье, тоже в шляпе и с розовым зонтиком, которым старательно прикрывала от солнечных лучей лицо.

Вацек и Стефанек отстали от них — они то и дело приседали на корточки, копали в песне ямки. Вацек управлялся с этим куда быстрее приятеля. Когда ямка была готова, а много времени это не занимало, он прыгал в нее, приседал и, вертя головой, кудахтал, как курица, снесшая яйцо. Маленький Осипович усердно ему подражал, но кудахтать никак не мог. Он багровел, его блеклые глазенки мутнели от усилий, но, как он ни напрягался, из его горла вырывался лишь жалкий писк.

Проходя мимо Малецкой, Пётровский, как истый варшавский шалопай, окинул ее взглядом.

— Приятной прогулки! — весело крикнул он, небрежно коснувшись белой полотняной шляпы.

Пётровская, чопорно выпрямившись, обернулась к сыну.

— Вацек! — ненатуральным голосом позвала она его и поджала губы.

Сразу за Белянами начинался Вавжишев. Но сперва надо было перейти сухое, неровное песчаное поле на месте вырубленного во время войны ельника. Зато чуть подальше начинались обширные луга, сплошь желтые от цветущей калужницы. Рожь за последние дни сильно подросла, и ее молодые, но буйные для ранней поры побеги серебрились на ветру. На лугу паслись козы, около них резвились белые козлята.

Самая короткая дорога к Вавжишевскому костелу проходила по окраине деревни. Загородный рабочий поселок с кирпичными домиками оставался в стороне, и тропинка вилась меж высоких, еще безлистных лип, бежала вдоль мелких прудов, потом снова выходила на простор, отделяя пастбище от полос ржи. На лугах желтели калужницы. Они золотились на фоне прозрачного, голубого неба. На крутом берегу одного из прудов цвел терновник. Его соцветия, похожие на пушистые неподвижные облачка, отражались в зеленоватой воде.

Малецкая, утомившись, присела на краю обрыва. Заросли терновника были внизу, совсем рядом. Она могла коснуться его нежных цветов рукой. Они уже начали осыпаться — зеленоватый склон был припорошен белыми лепестками.

Взрывы в городе были слышны и здесь, а клубы дыма казались отсюда еще мрачнее и огромнее. Весь город затащила гигантская черная туча.

Однако тут, у этого прудика, среди весенних полей, царил такой покой и тишина, что Анне захотелось воспользоваться этим кратким одиночеством, припомнить события последних дней, как-то осмыслить их и упорядочить. Она не умела жить в спешке и лишь тогда только чувствовала себя в мире с собой и близкими, когда ей удавалось самые разные впечатления и переживания сделать органичной частью всей своей жизни. Ничто так не мучило ее, как непостоянство и беспорядочные перемены. Ей было просто необходимо понять суть каждого явления и осмыслить его. Однако сейчас, едва она начала перебирать в уме события недели, ей стало ясно: эти переживания еще слишком свежи, чтобы она могла их воспринять как должно. Она поднялась и пошла дальше.

Маленький Вавжишевский костел одиноко стоял в поле, в окружении старых лип и пирамидальных тополей. Почки на деревьях только начали распускаться, и на фоне бурых стволов и голубовато-серых ветвей резко выделялся белый бачочный фасад. Это был типичный сельский костел, старый, уединенный. Неподдалеку, на голом взгорке прямо у дороги, стояли кресты и склепы — железную ограду кладбища разобрали. Потому, наверное, это маленькое кладбище, опустевшее, заброшенное, производило грустное впечатление. Среди каменных крестов выделялся высокий деревянный крест. Там была братская могила солдат, погибших при обороне Варшавы в сентябре тридцать девятого года.

Прежде чем войти в костел, Анна зашла на кладбище. Солдатские могилы, почти все безымянные, обозначенные только березовыми крестами, бежали ровными рядами — одинаковые низенькие холмики, обложенные дерном. Их было очень много. На всех цветы — деревенские букетики калужниц, кое-где веточки сирени и терна. У высокого креста лежала заржавевшая солдатская каска, над ней — крест-накрест две польские хоругви из бумаги, потрепанные, поблекшие. Тут было очень тихо. Маленькая старушка в платке и беленькая девочка расчищали узкие песчаные дорожки между могилами. Ни единого деревца тут не было — в тяжкие военные зимы все под корень вырубили окрестные жители.

Кроме старой женщины и девочки, здесь не было ни души. Лучи солнца, уже клонившегося к западу, ласково пригревали. Было особенно покойно, как часто бывает в предвечерние часы. Неподдалеку в молодой траве застрекотал кузнечик.

Анна опустила у креста на колени и молча, так и не собравшись с мыслями, начала молиться. Лишь чуть спустя она поняла, что молится за Юлека. Закрыв лицо руками, склонив голову, она долго, не шевелясь, стояла на коленях. Вдруг она вздрогнула, побледнела. В ней впервые резко толкнулся ребенок. Сердце ее забилось. Ребенок двигался так сильно, что она явственно ощущала, как шевелятся его ручки, ножки. Его толчки доставляли ей невыразимое наслаждение, но, прислушиваясь к собственному телу, Анна вдруг ощутила тревогу. Как могло случиться, что среди страданий, смертей и зла, на отчаявшейся несчастной земле в ней, Анне, наперекор всему зародилось новое существо, надежда на радость? И хотя тысячи женщин, подобно ей, должны были стать матерями, она чувствовала себя единственной, незаслуженно одаренной.

Одновременно ее пронзил страх за свое счастье и, раздираемая противоречивыми чувствами, она стала горячо молить Бога, чтобы Он смилостивился над ней.

В маленьком костеле было полно народу. Белые стены ласкали солнечные блики. Сильно пахло зелеными ветками и ладаном. Из-за главного алтаря виднелись золоченые одежды и патетически вздетые руки двух могучих барочных ангелов. Посреди расписанного рождественскими мотивами нефа покоился гипсовый Христос. Подле него стояли на коленях девочки в белых платьицах. Девушки и парни заглядывали в костел на минутку, останавливались в притворе и, неестественно застывшие, в праздничных нарядах, молча разглядывали плащаницу... В нефе было полно коленопреклоненных женщин и стариков. На скамьях сидели местные нищие и престарелые, согнутые в три погибели морщинистые старухи. Все пели погребальную песнь. Пели просто, неумело, деревянные голоса мужчин и жалостные, пискливые женщин звучали фальшиво, но нехитрая мелодия несколько сглаживала вопиющие недостатки исполнения. В паузах с улицы доносилось щебетанье птиц. Слышались и далекие взрывы.

Вернувшись домой, Пётровская, как была в шляпе, с розовым зонтиком в руках, тяжело плюхнулась на стул.

— Уф! — простонала она. — Чертова жарница!

Недавно купленные, впервые надетые туфли оказались тесноваты, да и каблук был слишком высок. Она с облегчением вздохнула, наконец скинув их с опухших ног.

— Уф, — снова простонала она и принялась растирать ноющие ступни.

Пётровский тем временем куда-то улетучился. Однако вскоре его выдало характерное постукивание ладони о бутылку. Она сразу догадалась, что он подбегает к предназначенной на праздники вишневке.

— Юзек! — крикнула она. — Как тебе не стыдно — в Страстную пятницу!

Он не отозвался. С кухни не слышалось ни звука. «Пьет, негодяй!» — с горечью подумала она. Чуть погодя он пррскользнул в комнату. Она окинула его подозрительным взглядом.

— Дыхни!

Он только рассмеялся в ответ, встал перед зеркалом, начал приглаживать свои черные, блестящие от помады волосы.

Пётровская, не спуская с мужа глаз, вытерла платком потное лицо.

— Признайся, сколько вылакал! Небось полбутылки?

— Да где там! — Он пожал плечами, поправил галстук. — Самую капельку, так только, горло промочил.

— Как же, как же, — не поверила она. — А то я тебя не знаю. Господи, ну что ты за человек!

Он обернулся, озорно усмехнулся, подбоченился.

— А что, или муж у тебя нехорош? Чем я тебе плох?

В эту минуту он показался ей таким красивцем, что у нее заняло сердце.

— Ну тебя, — нехотя проворчала она. — Какой от тебя толк?

Он захохотал, огляделся в поисках шляпы. Шляпа лежала на кровати. Он небрежно надвинул ее, еще раз взглянул на себя в зеркало.

— И куда тебя понесло? — встревожилась она.

— К приятелю, — уклончиво ответил он. — Дело есть.

И посвистывая, вышел.

С минуту она горько сетовала на свою долю, а когда, хромя и сопя от жары, подошла в одних чулках к окну посмотреть, куда направился муж, его уже не было видно.

— Вот негодяй! — разозлилась она. И как он так быстро скрылся, вот что непонятно.

Пётровский меж тем не выходил из дому. Он выглянул из подъезда — двор был пуст — и тотчас вернулся. На лестничной площадке второго этажа он наткнулся на Тереску. Она сидела на низком подоконнике, держала перед собой куклу и вела с ней серьезную беседу, грозя ей пальчиком.

Пётровский остановился.

— Слушай, ты не знаешь, пан Малецкий дома? Не видела, он сегодня возвратился?

Она удивленно взглянула на него и пожала плечиками.

Пётровский с минуту поколебался. Но выпитая водка сделала свое дело, он присвистнул и чуть спустя уже звонил в квартиру Малецких.

Услышав звонок, Ирена решила, что вернулся Ян. Она отложила книжку, поднялась с кушетки, отворила дверь и, увидев Пётровского, невольно попятилась от страха — настолько она была уверена, что это Ян.

Пётровский задержался на пороге.

— Пан Малецкий дома? — спросил он.

Застигнутая врасплох, Ирена ответила отрицательно. Пётровский улыбнулся, обнажив крепкие белые зубы. И не дав ей опомниться, с кошачьим проворством проскользнул в квартиру. Бесшумно затворил за собой дверь, повернул ключ.

— Значит, мы одни! — обернулся он к ней, сбил шляпу на затылок и подбоченился.

Ирена уже успела оправиться от испуга.

— Что это значит? — надменно спросила она.

Пётровский прищурился.

— Полегче на поворотах! — процедил он. — У нас есть время. Почему бы не пригласить гостя в комнату?

— Гостя? — презрительно повторила она.

Пётровский подошел к ней. Глаза у него блестя, смуглое лицо раскраснелось.

— Я уже несколько дней хочу с вами познакомиться, — сказал он внезапно охрипшим голосом. — С тех пор, как я увидел вас на балконе. Да все случая не было.

Он сунул руки в карманы штанов, искоса бросил пылкий взгляд на Ирену.

— А тут и случай подвернулся! — Он снова улыбнулся, оскалив зубы.

Пётровский стоял так близко, что она чувствовала на своем лице его горячее, сивушное дыхание. Но не попятилась.

— Не пойму, что вам, собственно, нужно,— сказала она холодно.— О каком случае вы говорите? Что все это значит?

— Не знаете? — дерзко усмехнулся он.

— Что вам нужно? — повторила она.— И вообще, кто вы?

Она вдруг перестала владеть собой.

— Я прошу вас тотчас же уйти! Слышите! — Видя, что он не двигается с места, она повысила голос: — Что мне, дворника позвать?

Пётровский отступил на шаг.

— Пожалуйста! — протянул он.— Сделайте милость, воля ваша! Зовите...

Он подтянул брюки, снял шляпу и повесил ее на вешалку.

— Ну, что же вы не зовете дворника? Я не против... Сделайте милость.

Ирена молчала. Пётровский в упор смотрел на нее.

— Не хотите? — блеснул он зубами.— В таком случае, может быть, вы пригласите меня в комнату?

Она поколебалась, но потом повернулась и, поправив непринужденным жестом волосы, прошла в комнату. Вынула сигарету из лежавшей на столе коробки, закурила, затаилась и поглядела на Пётровского — он стоял, прислонясь к двери.

— Вас ждет разочарование,— она небрежно стряхнула пепел в вазу,— поскольку...

— Поскольку? — подхватил он.

— У меня нет денег,— закончила она, глядя ему в глаза.— Ваши предшественники, или, вернее сказать... коллеги, с успехом потрудились.

Пётровский вспыхнул.

— А мне-то что? — Он пожал плечами.— Мне что, деньги нужны?

Он сказал это так убедительно, что Ирена смешалась.

— Что же вам тогда нужно? — неуверенно спросила она.

Он лишь хохотнул в ответ. Подошел ближе к Ирене, отодвинув в сторону стоявший на его пути стул.

— Такая красивая женщина и еще спрашиваете? — искоса глянул он на нее.

Теперь она поняла, что ему нужно. Но она не успела отшатнуться, как он схватил ее за руки и притянул к себе. Он, похоже, не ожидал сопротивления, и Ирене удалось одним прыжком высвободиться из его объятий. Он зашатался и наверняка бы упал, но в последнюю минуту успел ухватиться за край стола. Кровь ударила ему в голову. Какое-то время он постоял, опершись пятерней о стол и тяжело дыша, прищуренными глазами разглядывал Ирену. Она попятилась к стене. И тотчас поняла, что очутилась в ловушке.

С одной стороны ей преграждала дорогу большая кушетка, с другой — низкая книжная полка. Прямо перед нею стоял чертежный стол, на который опирался Пётровский. Он настиг ее одним прыжком. Она яростно защищалась — какое-то время они боролись молча. Наконец ему удалось опрокинуть ее на кушетку и навалиться на нее. Она подавила стон. Но силы покидали ее, она все слабела. Он же ловко парализовал одной рукой ее руки, пригвоздив ее своей тяжестью к кушетке, другой резко, нетерпеливо дергал ремень, стаскивая с себя брюки. Она сквозь платье чувствовала его жаркую, похотливую плоть и вся сжалась. И когда он, уверенный в победе, хотел сорвать с нее одежду, она, собрав остаток сил, рванулась, и он запутался в спущенных до колен брюках. Потерял равновесие — и ей удалось выскользнуть из его рук. Секунда — и она сползла на пол. Увидела, что двери балкона открыты. Подбежала, распахнула их и остановилась на пороге. Голоса детей, игравших внизу, донеслись до нее словно из тумана, из-за густой пелены. Она тяжело дышала. Машинально поправила задравшуюся юбку, измятую блузку.

Пётровский тем временем, придерживая рукой брюки, неуклюже слез с кушетки. Покачнулся и с минуту стоял ошеломленный, тупо поводя мутными, налитыми кровью глазами, рубашка нелепо торчала из-под помятого пиджака. Наконец он подтянул штаны и медленно, глядя исподлобья на застывшую в дверях балкона Ирену, привел себя в порядок. Выпрямился, обеими ладонями пригладил



встрепанные волосы. Но, едва он направился к ней, Ирена переступила порог балкона. Окна соседних домов отсвечивали на солнце красным. В пронизанном светом воздухе колыхался, подобный развеянному по воздуху пеплу, сероватый дым.

Пётровский остановился. Он стоял посреди комнаты — руки в брюки, грязная ухмылка скривила его губы. Какое-то время он разглядывал Ирену, потом издевательски расхохотался, повернулся на каблуках и вышел.

В прихожей он снова пригладил волосы, поправил съехавший галстук. Надел шляпу. Злобная ухмылка не сходила с его губ. С минуту он прислушивался, что делает Ирена. Но в комнате было тихо. Он направился к выходу, повернул ключ, хлопнул дверью и стал спускаться по лестнице.

На лестничной площадке на краю подоконника стояла на коленях Тереска Карская — она почти по пояс высунулась из окна. Скользя по ней взглядом, он пошел дальше.

И вдруг остановился как вкопанный. В открытых дверях их квартиры, скрестив руки на груди, воздвиглась Пётровская, огромная, неподвижная. Овладев собой, он спустился вниз.

— Ты чего тут торчишь? — рявкнул он.

Она смерила его презрительным взглядом. Ее маленькие глаза-буравчики светились бешеной ненавистью.

— Где ты был, негодяй?

Она оглядела его с головы до пят внимательно, изучающе.

— Где ты был? — повторила она.

— Не твое дело! — буркнул он и хотел пройти мимо нее в квартиру.

Но она загородила ему дорогу.

— Не мое дело, говоришь? — грозно понизила голос она.

И тут во дворе раздался пронзительный детский крик.

Ирена не вернулась в комнату. Ей казалось, что Пётровский никогда не уйдет из квартиры — так долго тянулись эти несколько минут. А что, если он раздумает и вернется? Только когда за ним захлопнулась дверь, страх отпустил ее.

Но она так обессилела, что у нее подкашивались ноги, ей пришлось опереться о перила балкона.

Внизу у подъезда, раскинув ручки и закрыв глаза, лежал на спине маленький Пётровский. Стефанек Осипович озабоченно склонился над ним.

— Чего лежишь, вставай...

— Нет! — отрезал Вацек.

— Почему?

— Я Иисус.

— Ты Иисус?

— А ты ангел! Нагнись, я же вишу на кресте.

Из окна лестничной площадки донесся тоненький голосок похожей на розовый комочек Терески:

— Мальчики, вы что делаете?

— Я Иисус! — откликнулся Вацек, приоткрыв один глаз.— Иди к нам!

Тереска, упершись ручонками в жестяной карниз, наклонилась так низко, что темная прядка упала ей на глаза. Она потянулась откинуть ее, но ее ладошка соскользнула с карниза, и девочка, потеряв равновесие, полетела вниз. Раздался короткий душераздирающий крик.

Первой во двор выбежала Пётровская. Увидев лежавшую на земле девочку, она схватилась за голову.

— Матерь Божья! — завопила она. — Что случилось? Господи Иисусе!

Вацек вскочил на ноги, орал как оглашенный. Маленький Осипович оцепенел от страха и лишился дара речи.

— Тереска убилась, Тереска убилась! — отчаянно выл Вацек, топоча и затыкая уши пальцами.

Пётровский — он тоже выбежал — подошел к неподвижно лежавшей на песне девочке, хотел было нагнуться к ней. Пётровская оттолкнула его.

— Вон отсюда, мерзавец! — рявкнула она. — Не смей касаться ребенка — это святое!

Он пожал плечами и отошел в сторону. Тем временем испуганные воплями Вацка во двор сбежались чуть не все жильцы. Первыми появились супруги Осиповичи, за ними Владек; спустя минуту спустился и Замойский в домашней куртке и шлепанцах. Из окон соседнего дома высунулись люди. С улицы — поглядеть на происшествие — прибежали двое подростков, один с самокатом, другой с деревянным ружьем. Они пробились сквозь толпу.

— Глянь-ка! — толкнул мальчишка с самокатом своего товарища. — Убилась.

Тот, потрясенный, кивнул. Глаза десятилетнего парнишки лихорадочно горели. Высунув язык, чтобы лучше видеть, он почесывал левой рукой исцарапанную ногу.

— Чтобы духа вашего тут не было! — возмутилась Пётровская. — Вас только не хватало!

Они отбежали в сторону. Владек с Осиповичем опустились на колени, перевернули Тереску на спину. Бледная как полотно, неподвижная, с закрытыми глазами, она казалась мертвой.

— Ну как? — на цыпочках подошел к ним Замойский.

Осипович приложил ухо к сердцу Терески. Послушал:

— Жива! Похоже, ничего страшного. Просто потеряла сознание.

— Надо послать за доктором, — посоветовал Замойский.

Пётровская протиснулась между ними:

— Ну что? Жива? Жива?

И тут взгляд ее упал на Ирену, которая стояла на балконе, обеими руками вцепившись в перила. Оплывшее лицо Пётровской побагровело.

— Жидовка! — крикнула она, указывая на Ирену. — Это она принесла несчастье!

Все взгляды обратились на балкон. Замойский побледнел, закусил губу. Тревожный шепот пробежал среди собравшихся. Лишь Пётровский, еле заметно усмехаясь, стоял в стороне.

— Пани Пётровская... — шепнул Осипович.

— Жидовка! — злобно вопила Пётровская.

Только теперь Ирена ушла с балкона. Но ее уход еще больше взбесил Пётровскую. Она пробилась сквозь толпу, шелестя тесным шелковым платьем, как фурия, взлетела на лестничную площадку. И вмиг оказалась на втором этаже.

— Откройте! — дубасила она в дверь кулаками. — Откройте немедленно.

Минуту-другую Ирена постояла посреди комнаты, заткнув руками уши. Она дрожала, кровь, казалось, отхлынула от ее лица. Она инстинктивно озиралась, ища, куда бы ей спрятаться. В дверь стучали все громче и настойчивее.

— Откройте! — истерически хрипела Пётровская.

Дальше выносить ее крик Ирена была не в состоянии. Трясаясь, с побелевшими губами она выбежала в прихожую.

Вид у Пётровской был страшный: красная, растерзанная, с пеной на губах.

— Что с вами? — пролепетала Ирена.

— То самое! — завопила Пётровская.

И, схватив Ирену за руку, потащила ее вниз. На первом этаже Ирена попыталась было вырваться. Но Пётровская, с силой дернув ее, вытолкнула во двор, в толпу.

Ирена отсутствующим взглядом поглядела на стоявших вокруг нее людей. Тереску держал на руках Осипович. Все смущенно прятали от нее глаза. Последним она увидела Пётровского. Он смотрел на нее, прищурился, руки в брюки, нагло, издевательски усмехаясь.

Пётровская глубоко вздохнула.

— Эй ты! — Она ткнула пальцем в Ирену. — Двигай отсюда! Чтобы духу твоего тут не было!

По другую сторону провололочной ограды столпились жильцы соседнего дома.

— Глянь! — толкнул товарища мальчишка с самокатом. — Еврейку поймали.

Тот кивнул головой. Он все почесывал ногу.

Остальные молчали. Даже Вацек перестал орать.

— Пани Пётровская, нельзя же так... — шепнула пани Осипович, держа за руку оцепеневшего Стефанека.

Пётровская обернулась к ней, подбоченилась.

— Почему же нельзя? — вызывающе сказала она. — Может, она еще скажет, что она не жидовка? Пусть скажет, кто она. Ну-ка, — двинулась она на стоявшую неподвижно Ирену. — Говори!

Ирене почудилось, что Пётровская хочет ее ударить.

— Не трогайте меня! — шепнула она.

Пётровская презрительно рассмеялась:

— Нужно больно тебя трогать! — Огляделась вокруг с сознанием своего превосходства, повелительно крикнула: — Чтоб духу твоего здесь не было! Возвращайся в гетто, найди там себе Сруля! Ну!

— Пани Пётровская... — снова шепнула жена Осиповича.

Но Пётровская хлопотала от злости:

— Ну! Все поняла? Вон отсюда!

В этот момент Тереска, которую все еще держал тощий Осипович, открыла глаза.

— Где мамочка? — шепнула она.

— Мамочка придет, — склонился к ней Осипович, — сейчас она придет.

— А Влодек?

— Он тоже придет.

Ирена стояла, не двигаясь с места, окруженная отводящими от нее глаза людьми, и ей казалось, что сердце у нее вот-вот выскочит. Ее вдруг охватила слепая лютая злоба. Она выпрямилась.

— Хорошо, я уйду! — неожиданно громко выкрикнула она. И уже с сознанием своего превосходства поглядела на Пётровскую в упор. — Но чтоб твой щенок поломал себе руки-ноги...

Пётровская побледнела, разинула рот, ошпилила. И ничего не ответила, только прижала Вацека к себе и заслонила его лицо руками.

Ирена взглянула на окружавшие ее смущенные, ставшие вдруг испуганными лица. И почувствовала радость, обжигающую, злобную.

— А чтоб вы все сдохли! — вырвалось у нее, она не помнила себя. — Чтобы вас всех сожгли, как нас жгут! Чтобы вас перестреляли, перебили...

Повернулась и в наступившей вдруг мертвой тишине медленно пошла к калитке. Отворила ее, пересекла улицу и ровной, спокойной походкой пошла по тротуару. Только свернув в боковую улочку, где ее уже никто не мог видеть, она прибавила шаг. Потом побежала.

Вскоре она дошла до трамвайной остановки, вскочила в отъезжающий вагон. Он был почти пуст. В такой поздний час, да еще в Страстную пятницу, мало кто ехал в город. Издалека доносилась сильная канонада — над гетто среди клубов черного дыма пылало кровавое зарево.

*Перевела с польского С. ТОНКОНОГОВА.*

## БЛАГОДАРЯ СТИХУ



*Имена Виктора Василенко, Моисея Цетлина, Льва Горнунга вряд ли известны читателям поэзии. Общность духа, биографии и судьбы соединила их здесь, на страницах журнала. Все трое принадлежат к старшему поколению нашей интеллигенции (они ученые-исследователи в разных областях гуманитарного знания). Каждый из них прожил долгую жизнь поэта, не опубликовав ни единой рифмованной строчки в течение десятилетий. Но вольное русское слово жило в них и с ними. Это та самая теневая культура, многие десятилетия существовавшая помимо печатного станка, но таинственно помогающая жизни своим свободнымдыханием.*

### ВИКТОР ВАСИЛЕНКО

\* \* \*

Не видела покосов  
промерзшая земля.  
Не задавал вопросов  
никто таких, как я.

И было мало света,  
и солнцу недосуг,  
и мне казалось: Лета  
течет с Усой — сам-друг!

Ни рощи, ни деревни,  
простор и пустота,

и ветер древний, древний  
носился у куста.

И молча шла дорога  
по грязи без столбов.  
И было все убого  
от скал до облаков.

И мертвая береза  
лежала на пути  
как знак того, что поздно  
куда-нибудь идти.

1954.

\* \* \*

Благодаря стиху остался  
я жив, нетронутый в аду.  
Как Данте по кругам скитался,  
и стих мой отводил беду.

Я верил и не слышал вьюги,  
гремевшей снегом на дворе,  
и стих звучал по всей округе,  
он заглушал хрипенье вьюги,  
стих, говоривший о добре.

1965.

\* \* \*

Шел я по рыхлому снегу,  
И звезда была, как свеча,  
Шел по самому тяжкому веку  
И не знал, что ему отвечать.

Проступали травы под снегом,  
И звезда уставала светить,  
И была середина века,  
До которой сумел дожить!

1981.

### Из письма жене

Я не знаю, сколько на свете  
остается жить, но спешу  
написать мне! Полярный ветер  
и моей коснулся души!

1954.

## МОИСЕЙ ЦЕТЛИН

## Глушь

Блажен, кто среди разбитых урн,  
 На невозделанной куртине,  
 Прославит твой полет, Сатурн,  
 Сквозь многозвездные пустыни.

*Владислав Хогасевич. 1912.*

Прошлым годом меня судьба  
 Случайно занесла в олоонецкую глушь.  
 Я шел по улице Рочдельских пионеров.  
 За ней тянулась улица Лассалья.  
 На площадь выйдя Розы Люксембург,  
 Увидел бюст ее на городском бульваре,  
 Перед артелью швейной.  
 Потрескавшийся весь и потемневший  
 За полстолетия.  
 Горбинка на носу, открытый взор  
 Напомнили забытый образ Розы.  
 Я вспомнил мрамор чопорных вельмож,  
 Безносых и безглазых,  
 В опустевших  
 Дворянских парках, в золоте листвы  
 Иль под дождем осенним.  
 Вспомнил юность —  
 Наивную восторженность и план  
 Монументальной пропаганды.  
 Подумал о Фурье и Кампанелле,  
 И о Сатурне тоже.  
 Мне стало тяжело дышать.  
 Вихляющей походкой  
 Юнец ко мне какой-то подошел,  
 С копной слежавшихся волос до плеч,  
 С тупым и наглым взором  
 Рыжих глаз.  
 Мне захотелось пнуть его ногой.  
 Я повернул  
 К разбитому ларьку,  
 Понурых двух увидев инвалидов.  
 Мы молчаливым обменялись взглядом.  
 Бутылку взяли на троих.  
 Я долго, пьяный,  
 Плакал перед Розой,  
 Прося простить меня,  
 За что — и сам не знаю.  
 Какая-то швея  
 Меня к себе с бульвара увела.  
 Очнувшись на скамье  
 Холодною зарей,  
 Не смея глаз поднять,  
 Побрел, сутулясь,  
 К станции глухой.

1974.

## Вигилии

Первая стража. Закат.  
 Стогны пустеют. Одни  
 Тени у терм. И уже

В сумерках тают они.  
 Полночь. Ущербна луна.  
 Птица Минервы летит.

Стража вторая. Не спит  
Рима волчица. И Тибр  
Топит созвездья в себе.  
Час привидений. Ноктюрн,  
Что ли, шопеновский иль  
Чья-то кончина, судьба?  
Призрак Гекаты. Еще

Внятны вигилий шаги,  
Но уж бледнеет Уран,  
И просыпается Рим.  
Гнилью несет от реки.  
Стража уходит на холм,  
И улетает сова.

1986.

### Соловки

Что молчите вы, окаянные  
Соловецкие острова,  
Потемневшая Иоанна ли  
Откровения вы глава?!

Свейский колокол и готических  
Букв чеканных немой язык:  
Anno domini... но величествен  
Полустертый надвратный лик.

Вековые и великие  
Скалы, звонницы и леса,  
Вы уходите, как святители  
И подвижники, в небеса.

Прах смиренного Авраамия  
Под плитою навек затих —  
Келарь Троицы, стертый в памяти  
Внуков суетных, чад своих.

1965.

### Сидящая у ног

Не ревность, нет, и не невроз,  
И не эдипов комплекс, нет.  
Но росчерк в небе душных гроз  
И бьющий с неба ярый свет.

И льды несущая река,  
Ломающая все окрест.

Чего же ждать, чего желать,  
Нет ни начала, ни конца,  
Есть только женственная мать,  
Сидящая у ног отца.

1944.

### Владимирка

Шли по Владимирке толпы.  
Каторга шла на восток.  
По большаку, не кончаясь,  
Бился о камни поток.

Шли декабристы и воры,  
Шел Петрашевский, хлысты,  
В тридцать седьмом, оглушенный,  
Шел, может статься, и ты.

Шла Катерина из Мценска,  
Маслова шла, и с крестом  
Шел покаянный убивец,  
Зло зарубив топором.

А далеко за Уралом  
В небе вставала заря.  
Сумрак бледнел. Фудзияма.  
Фиджи. Атоллы. Моря.

1981.

### ЛЕВ ГОРНУНГ

\* \* \*

И мелкий бисер частых звезд,  
И сосен неоглядный рост,  
И ранняя прохлада  
Умолкнувшего сада.

Сверчок стрекочет на печи,  
Облюбовавший кирпичи.  
— Уймись, бессонный, будет!  
Твой голос всех разбудит.

Сквозь ветви на небе видна  
Еще неполная луна,  
Но хоть окно и настезь,  
Ты, память, все мне застишь.

Нам нужно нынче отдохнуть,  
Мы выйдем ночью в звездный путь,  
К своей судьбе далекой  
Пойдем во тьме глубокой.

И будем бодрствовать, когда  
Проблещет по небу звезда,  
И вскрикнем: «Все пропало!  
Еще одной не стало!»

Но разве есть для бездны счет?!  
И наша жизнь звездой мелькнет,  
И невозвратны годы,  
Как с гор весною воды.

1929.

### Весна в Абрамцеве

Безлистые дубов кривые руки  
В пруду, как призраки, отражены,  
А день спешит расцвести в последнем звуке  
Перед порогом тишины.

Но он и цвел и буйствовал довольно,  
И солнцем радовал, и ветром пел,—  
Закат и звезды: только сердцу больно,  
Что легкий воздух потемнел.

Но вновь светает из-за черных елок,  
А тонкий месяц точно тайный знак,  
Что вдаль зовет еще сырой проселок  
По мелкошесью сквозь овраг.

И в дрему дней, еще не омраченных,  
Как в дивный мир вхожу я не дыша,  
И на руках деревьев обнаженных  
К сиянию звезд, зарей замороженных,  
Моя возносится душа.

1930.

\* \* \*

Древние пращурь, предки мои,  
Викинги и мореходы-варяги,  
Древние шведь. Но тысяча лет  
Нас разделяет, как бездна морская,

Вижу таинственный северный край,  
Скудное солнце зимой и метели,  
Скалы седье и сосны на них,  
Вставшие медно-зеленой стеной  
И устремленные в бурное небо.  
Слышу, как стонет и воет борей,  
Волны бросает на гулкие камни,  
Рвет паруса — и летят корабли  
К странам неведомь. Месяц февраль  
Именем звался моим у варягов  
И у германцев. Летят корабли  
Северным морем и, кутаясь в шкурь,  
Смелые люди стоят у руля.  
Ветер несется за ними вослед,  
Бьет паруса и вздымает пучину,  
Чайки мелькают над пенной волной  
И альбатросов могучие крылья.

27 декабря 1967.

---

---

# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

АНАТОЛИЙ МАРЧЕНКО

★

## МОИ ПОКАЗАНИЯ

*Главы из книги*

ОТ АВТОРА

**К**огда я сидел во Владимирской тюрьме, меня не раз охватывало отчаяние. Голод, болезнь и, главное, бессилие, невозможность бороться со злом доводили до того, что я готов был кинуться на своих тюремщиков с единственной целью — погибнуть. Или другим способом покончить с собой. Или искалечить себя, как делали другие у меня на глазах.

Меня останавливало одно, одно давало мне силы жить в этом кошмаре — надежда, что я выйду и расскажу всем о том, что видел и пережил. Я дал себе слово ради этой цели вынести и вытерпеть все. Я обещал это своим товарищам, которые еще на годы оставались за решеткой, за колючей проволокой.

Я думал, как выполнить эту задачу. Мне казалось, что в нашей стране, в условиях жестокой цензуры и контроля КГБ за каждым словом, это невозможно. Да и бесцельно: до того все задавлены страхом и поработены тяжким бытом, что никто и не хочет знать правду. Поэтому, считал я, мне придется бежать за границу, чтобы оставить свое свидетельство хотя бы как документ, как материал для истории.

Год назад мой срок закончился. Я вышел на свободу. И понял, что был неправ, что мои показания нужны прежде всего моему народу. Люди хотят знать правду.

Сколько жертв «вознаграждено» посмертно, сколько забытых и сейчас в лагерях, сколько новых туда попадает; и сколько тех, кто сажал, допрашивал, мучил, и сейчас занимают свои посты или мирно живут на пенсии, не понеся никакой — даже моральной — ответственности за свои дела. Едешь в подмосковной электричке и видишь в вагонах благостных, умиротворенных старичков-пенсионеров. Один читает газету, другой везет корзину клубники, третий нянчит внука... Может, это врач, рабочий, инженер, вышедший на пенсию после многих лет тяжелого труда; может, этот старик со стальными зубами потерял их на следствии «с применением физических методов» или на колымских приисках. Но мне в каждом мирном пенсионере чудится следователь, который сам выбивал людям зубы.

Потому что таких я достаточно повидал в лагерях. Послесталинские советские лагеря для политзаключенных так же ужасны, как сталинские. Кое в чем лучше. А кое в чем хуже.

Надо, чтобы об этом знали все.

Если у нас есть сколько-нибудь гражданской совести и истинной любви к родине, мы должны выступить в ее защиту, как это всегда делали настоящие сыны России...

Здесь, в этих записках, нет ни одного вымышленного лица, ни одной придуманной истории. Там, где есть опасность причинить вред другим людям, я не называю имен, умалчиваю о некоторых обстоятельствах и событиях.

...Однажды начальник отряда капитан Усов сказал мне:



— Вот вы, Марченко, всем недовольны, все вам не нравится. А что вы сделали для того, чтобы было лучше? Убежать хотели, и все!

Если я после этих моих записок попаду под начало к капитану Усову, я смогу ему ответить:

— Я сделал все, что было в моих силах. И вот я опять у вас.

## НАЧАЛО

Меня зовут Анатолий. Фамилия Марченко. Я родился в небольшом сибирском городке Барабинске. Мой отец, Тихон Акимович Марченко, всю жизнь проработал на железной дороге помощником машиниста. Мать, Елена Васильевна, работала уборщицей на вокзале. Оба они совершенно неграмотные, и письма от матери всегда написаны чужой рукой.

Проучившись восемь лет, я бросил школу и уехал по комсомольской путевке на строительство Новосибирской ГЭС. С этого началась моя самостоятельная жизнь. Я получил специальность сменного бурового мастера, ездил по всем новостройкам ГЭС в Сибири, работал на рудниках, в геологоразведке. Последняя моя командировка была на Карагандинскую ГРЭС.

Здесь я попал под суд. Мы, молодые рабочие, жили в общежитии, ходили в клуб на танцы. В этом же поселке жили сосланные с Кавказа чеченцы. Они были страшно озлоблены — ведь их выселили из родных мест в чужую Сибирь, к чужим и чуждым им людям. Между чеченской молодежью и нашей все время возникали потасовки, драки, иногда с поножовщиной. Однажды произошла большая драка в нашем общежитии. Когда она как-то сама собой кончилась, явилась милиция. Милиционеры похватали всех, кто был в общежитии (большинство участников успели убежать и скрыться). Среди арестованных оказался и я. Судили всех в один день, не разбираясь, кто прав, кто виноват. Так я попал в страшные карагандинские лагеря — Карлаг.

Дальше обстоятельства моей жизни сложились так, что я решил бежать за границу. Я просто не видел для себя другого выхода. Со мной вместе бежал молодой парень Анатолий Будровский. Мы пытались перейти иранскую границу, но нас обнаружили. Взяли в сорока метрах от границы.

Это было 29 октября 1960 года.

Пять месяцев меня держали в следственной тюрьме ашхабадского КГБ. Все это время я сидел в одиночке, без посылок, без передач, без единой весточки от родных. Каждый день меня допрашивал следователь Сафарян (а потом Цукин): почему я хотел бежать? КГБ предъявил мне обвинение в измене родине, и поэтому следователя мои ответы не устраивали. Он добивался от меня необходимых показаний, изматывая меня на допросах, угрожая, что следствие будет длиться до тех пор, пока я не скажу то, что от меня требуется, обещая за «хорошие» показания и раскаяние добавку к двухразовому тюремному питанию. Он не добился своего и не получил ни от меня, ни от сорока свидетелей никаких материалов, подтверждающих обвинение. Но меня все-таки судили за измену.

2—3 марта 1961 года Верховный суд Туркменской ССР рассматривал наше дело. Суд был закрытым: в огромном зале не было ни одного человека, кроме состава суда, двух автоматчиков за нашими спинами и начальника конвоя у дверей. Два дня мне задавали те же вопросы, что и на следствии, и я отвечал так же, отвергая обвинение. Мой товарищ по побегу Анатолий Будровский не выдержал следствия и одиночки, уступил давлению следователя. Выгораживая и спасая себя, он дал показания против меня. Показания же сорока человек свидетельствовали в мою пользу. Я спросил, почему суд не обращает на них внимания, и получил ответ: «Суд сам решает, каким показаниям верить».

Я отказался от защитника, но мой адвокат присутствовал на суде и произнес речь. Он говорил, что у суда нет оснований судить меня за измену родине: свидетельству Будровского нельзя доверять, поскольку он заинтересованное лицо, тоже подсудимый по тому же делу; суд должен был принять во внимание показания остальных допрошенных до суда; Марченко можно судить за попытку нелегально перейти границу, а не за измену.

От последнего слова я отказался, не признав себя виновным в измене.

3 марта суд вынес приговор: Будровскому за попытку нелегально перейти границу два года лагерей (меньше максимального срока по этой статье, трех лет), мне —

шесть лет по статье за измену родине (тоже значительно меньше предусмотренной максимальной меры, вышки — расстрела).

Мне было тогда двадцать три года.

Меня снова привезли в тюрьму, в мою камеру.

Честное слово, на меня не произвел впечатления срок. Это потом каждый год заключения растягивается на дни, на часы, и кажется, что шесть лет никогда не кончатся. Значительно позже я понял, что словами «изменник родины» мне искалечили не шесть лет, а всю жизнь. Тогда же у меня было только одно ощущение: совершена несправедливость, узаконенное беззаконие, и я бессилен, я могу только собирать, копить в себе обиду, отчаяние, копить, пока меня не взорвет, как перегретый котел.

Я вспомнил пустые ряды кресел в зале, равнодушный тон судьи, прокурора, секретаря суда (она все время жевала баранку), молчаливых истуканов-конвоиров. Почему на суд никого не пустили, хотя бы мать? Почему не вызвали свидетелей? Почему мне не дали копию приговора? Что это значило: «Приговор вам не дадут, он секретный»?

Через несколько минут мне в кормушку камеры протянули синюю бумажку: — Распишитесь, что приговор вам объявлен.

Я расписался. Все! Приговор окончательный, обжалованию не подлежит.

Я объявил голодовку. Написал заявление — протест против суда и приговора, подал его в кормушку и перестал принимать пищу. Несколько дней ничего не брал в рот, кроме холодной воды. Никто не обращал на это внимания. Надзиратели, выслушав мой отказ, спокойно уносили мою пайку и миску с супом, а в обед приносили снова. Я снова отказывался. Дня через три в камеру вошли надзиратели и врач. Приступили к операции под названием «принудительно-искусственное питание». Меня скрутили, надели наручники, воткнули в рот распиратель, ввели шланг в пищевод и стали лить через воронку питательную смесь, что-то жирное, сладкое. Надзиратели говорили:

— Снимай голодовку, все равно ничего не добьешься — мы тебе даже похудеть не дадим.

Та же процедура повторилась на другой день.

Я снял голодовку. Ответа на заявление я так и не получил.

Через несколько дней за мной пришел надзиратель. Он повел меня по лестницам и коридорам на первый этаж и впустил в обитую черной клеенкой дверь. На табличке надпись: «Начальник тюрьмы». В кабинете за столом, под большим портретом Дзержинского сидел сам начальник тюрьмы. На диване — знакомые мне по следствию прокурор по надзору и начальник следственного отдела. Четвертым был незнакомец, взглянув на которого я вздрогнул: так неестественна и отвратительна была его внешность. Маленькое, шарообразное тельце, коротенькие ножки еле достают до пола, тоненькая-тоненькая шейка. А на ней огромный сплюснутый шар — голова. Щелки глаз, еле заметный носик, тонкий улыбающийся рот тонули в желтом, тугом, лоснящемся тесте.

Мне сказали, что это заместитель прокурора Туркменской ССР. Предложили сесть. Разговор вели в дружески-фамильярном тоне. Спросили, как я себя чувствую, снял ли голодовку. Я поблагодарил за трогательную чуткость и внимание, сказал, что голодовку снял, и тоже спросил:

— Скажите, пожалуйста, когда меня отправят? Куда?

— Поедешь на комсомольская стройка. Будешь комсомолец, — ответило чудище, и лицо его расплылось в улыбку...

### ШИЗО

Я простудился еще в карагандинских лагерях, а медицинской помощи не было. С тех пор у меня хроническое воспаление ушей и время от времени бывают обострения. В этот раз уши тоже разболелись. Голова раскалывалась, в ушах стреляло, мутило, ночью было не уснуть, за обедом трудно рот раскрыть.

Я пошел в лагерную санчасть. Пошел, хотя лагерные старожилы говорили мне, что бесполезно, ушник приезжает раз в год, вызывает сразу всех, кто жаловался на уши в течение этого года. Таких набирается много. «Что болит?» — «Уши». Не глядя, регистрирует в журнале и выпишет перекинь водорода. Ни обследования, ни настоящего осмотра; освобождения от работы не дают, не жди. Вот если высокая температура, тогда могут освободить от работы на несколько дней.

Я обращался к врачу несколько раз и каждый раз слышал только оскорбительные утверждения, что раз у меня нет температуры, значит, я здоров и просто отлыниваю от работы. А в конце июня за невыполнение нормы меня посадили на семь суток в ШИЗО — штрафной изолятор, иначе карцер.

Что представлял собой штрафной изолятор в 1961 году? Обыкновенный лагерный барак, разделенный на камеры. Камеры разные: и одиночки, и на двоих, на пятерых, есть и на двадцать человек, а набить туда могут по мере надобности и тридцать и сорок.

В самом карцере голые нары из толстых досок, никакого тюфяка, ничего даже похожего на подстилку не полагается. Нары короткие — спи, согнувшись; когда я пытался вытянуться во весь рост, ноги у меня свисали. Посередине нар, поперек их, набита толстая нелепая полоса, скрепляющая доски.

На окне толстая решетка, в двери глазок. В углу неизменная спутница заключенного — параша: ржавая посуда ведра на четыре, крышка к ней приварена толстой цепью.

В шесть утра раздается стук во все двери:

— Подъем! Подъем на opravку!

Ведут умываться. Доходит очередь и до нашей камеры. Однако это только так называется — умываться. Не успел руки обмыть, тебя уже гонят в шею:

— Быстрее, быстрее, на воле будешь размываться!

На умывание одного зека приходится меньше минуты. Кто не успеет умыться — ополоснет лицо в камере над парашей.

И вот мы в камере, ждем завтрака. Кружка кипятка и пайка хлеба — 450 граммов на весь день. В обед дадут миску постных щей — почти одна вода, в которой выварена вянувшая квашеная капуста, да и той в миске почти нет. Наверное, и скотина не стала бы их есть, эти щи. А зек в карцере вышьет их через край, еще и миску корочкой оботрет и будет с нетерпением ждать ужина. На ужин — кусочек отварной трески со спичечный коробок, скользкой и несвежей. Ни грамма сахару, ни грамма жиру в карцере не полагается.

Жутко вспомнить, до чего доходит в карцере человек от голода. Выхода в зону ждешь больше, чем конца срока. Даже общая лагерная полуголодная норма кажется в карцере небывалым пиром.

Томительно ползет время между завтраком и обедом, между обедом и ужином. Ни книг, ни газет, ни писем, ни шахмат. Два раза в день проверка, до и после обеда получасовая прогулка по голому дворику за колючей проволокой — вот и все развлечения.

Во время тридцатиминутной прогулки можно сходить в уборную. Однако если в камере человек двадцать, успеть трудно: уборная на двоих. Выстраивается очередь, снова тебя торопят:

— Скорей, скорей, время кончается, нечего расслаживаться.

Не успел — в камере есть параша. А в уборную больше не выпускают, будь ты хоть старик, хоть больной. Днем в камере духотища, вонь. Ночью — даже летней — холодно: барак каменный, пол залит цементом, строят карцер специально так, чтобы там было холодно и сыро.

Нечего и думать взять с собой что-нибудь из продуктов или курева хоть на ползатяжки, бумагу, грифель от карандаша — все отберут при обыске. Тебя самого, скинутое тобой белье, брюки, куртку прощупают насквозь.

Ночью, с десяти вечера до шести утра, лежишь, скривившись на нарах. В бок впивается железная полоса, сквозь щели между досками тянет от пола сыростью, холодом. И хотел бы уснуть, чтобы хоть во сне забыть о сегодняшних мучениях, о том, что завтра повторится то же самое, но никак не уснешь. А встать, побегать по камере нельзя, надзиратель в глазок увидит. Промаяешься, ворочаясь к боку на бок, чуть не до света, только задремлешь — стук в дверь, крики:

— Подъем! Подъем! На opravку!

Срок пребывания в карцере ограничен — не более пятнадцати суток. Но это правило начальнику легко обойти. Вечером выпустят в зону, а на другой день снова посадят еще на пятнадцать суток.

В Караганде меня однажды продержали в карцере сорок восемь дней, выпуская только для того, чтобы зачитать новое постановление о «водворении в штрафной изолятор». Писателю Юлию Даниэлю в Дубровлаге дали два карцерных срока подряд за то, что он «грубил часовому». Это было в 1966 году.

Некоторые не выдерживают нечеловеческих условий, голода и калечат сами себя: авось положат в больницу и хоть на неделю избавишься от голых нар, от вонючей камеры, получишь более человеческое питание.

Пока я сидел в камере, двое зеков проделали следующее: отломали от своих ложек черенки и проглотили, потом, смяв каблуком черпачки, проглотили и их. Этого им показалось мало — они выколупали из окна стекло и, пока надзиратели отпирали дверь, успели проглотить по несколько кусков стекла. Их увели, и я их больше не видел, слышал только, что их оперировали в больнице.

Когда зек режет, или глотает проволочные крючки, или засыпает себе глаза битым стеклом — сокамерники обычно не вмешиваются. Каждый волен распорядиться собой и своей жизнью как хочет, каждый вправе прекратить свои мучения, если не в состоянии их вынести.

Одна камера в карцере обычно заполнена голодающими. Решил зек в знак протеста объявить голодовку, написал заявление — начальнику лагеря, в ЦК, все равно кому — это не имеет никакого значения, а без заявления голодовка не считается, хоть подохни не евши, — и перестал принимать пищу. Первые дни никто на его голодовку и внимания не обращает; через несколько дней — иногда через десять — двенадцать — зека переводят в отдельную камеру к другим таким же и начинают кормить искусственно через шланг. Сопротивляться бесполезно, все равно скрутят, наденут наручники.

Мало кто в состоянии долго выдерживать голодовку, добиваясь своего; однако мне известны несколько случаев, когда заключенные голодали по два-три месяца. Главное же, что это все равно бесполезно. На заявление о голодовке в любую инстанцию ответ такой же, как на прочие жалобы. Только что к голодающему начальник сам придет в камеру, поскольку ослабевший зек ходить не может.

— Ваш протест не обоснован. Снимайте голодовку, умереть мы вам все равно не дадим: смерть избавляет от наказания, а ваш срок еще не кончился. Вот выйдете на волю — пожалуйста, умирайте. Вы жалуйтесь, жалуйтесь на нас в вышестоящие органы! Пишите — это ваше право. Разбирать вашу жалобу все равно будем мы...

Вот в такой «санаторий» я попал из-за болезни. Отсидел семь суток и вышел, как говорится, держась за стены, — приморили.

### ВЛАДИМИРКА. ГОЛОД

Наверное, одно из самых тяжелых испытаний, выпадающих человеку в тюрьме, — это постоянно терзающее его чувство голода. Вот что получает заключенный на общем тюремном режиме: 500 граммов черного хлеба в день, 15 граммов сахара — его обычно выдают сразу на пять дней — 75 граммов; на завтрак — 7—8 штук тухлой кильки, миска «супа» (350 граммов) такого, как дали в первый день, и кружка кипятку — можно выпить «чай» с сахаром. Обед из двух блюд: на первое — граммов 350 щей (вода с гнилой капустой, иногда с крохотными кусочками картошки), на второе — граммов 100—150 жиденькой каши, чаще пшенной, очень редко овсяной; на ужин — 100—150 граммов картофельного пюре; снова такое жиденькое и так мало его, что помотришь в миску, а в ней на дне тоненьким блинчиком расползся твой ужин и дно просвечивает. Очень-очень редко вместо пюре на ужин дают так называемый винегрет: та же гнилая квашеная капуста, изредка попадает кусочек гнилого соленого помидора. Но и этот силос заключенные считают лакомством. Говорят, что на общем режиме полагается класть в пищу по несколько граммов какого-то жира. Может, это и так, но заметить этот жир в щах или каше мне не удалось ни разу.

На строгом режиме паек и того скуднее: ни сахару, ни жиров не полагается ни грамма; хлеба черного 400 граммов, на завтрак только килька и кипяток; обед — один щи, без второго; ужин такой же, как и на общем режиме.

Еще в паек входит пачка махорки (50 граммов) на шесть дней. Причем заключенный на общем режиме может пользоваться ларьком. До 15 ноября 1961 года разрешалось тратить 3 рубля в месяц на ларек, после 15 ноября 1961 года эту сумму уменьшили до 2 рублей 50 копеек. Раз в год можно получить одну посылку не более 5 килограммов.

О тюремном ларьке надо рассказать особо. Он бывает дважды в месяц — раз в пятнадцать дней. За несколько дней до этого заключенные начинают гадать: когда? В обед надзиратель через кормушку подаст список продуктов, которые можно кушать,

и бланки для каждого заключенного. После обеда он собирает заполненные бланки — кто что хочет купить, и продукты могут принести или в тот же день вечером, или на следующий утром. Все напряженно ждут этого момента. Вернее, ждут и обсуждают не все: один лишен ларька, другой имеет право купить, да у него нет денег — некому прислать; мог бы сосед написать своим родным, прислали бы денег товарищу, два с полтиной в месяц никого не разорят — да вель письма проверяет цензура, не пропустят такую просьбу. Итак, одни с нетерпением, другие с грустью ждут дня, когда можно заказать продукты. Что купить, как распорядиться установленной суммой? Ведь, кроме продуктов, нужно мыло, зубной порошок, носки, конверты. Так что приходится брать колбасы, сыра, маргарина даже меньше, чем разрешено (от хлеба никто не откажется — он стоит дешево, и им можно хоть раз наесться досыта). У тех, кто курит, почти все деньги уходят на курево. В тюрьмах курят много, пачки махорки хватает от силы на два дня; а в ларьке махорки нет, только папиросы — «Беломор», по 22 копейки пачка, «Север» — 14 копеек. Пачки на день еле-еле хватит, значит, в дополнение к махорке надо бы еще двадцать пачек в месяц — двух с полтиной не хватит...

Но вот принесли заказанные продукты. Изголодавшиеся за две недели люди набрасываются на них и съедают все за каких-нибудь два-три часа — и 2 кило хлеба, и маргарин, и сыр, и колбасу, что там купили. Далекое не у всех хватает выдержки растянуть удовольствие на два-три дня; и снова на голодном пайке две недели, чтобы потом зараз набить себе желудок двумя килограммами.

Я тоже решил наесться досыта — съел буханку хлеба сразу, мне стало очень плохо, началась изжога, замутило, но сытым все равно я себя не почувствовал, глазами ел бы еще и еще.

Нет, невозможно передать, что это такое, пытка голодом. Кто сам не пережил ее, тот вряд ли поймет.

..Наступает утро. Задолго до подъема уже никто не спит. Все ждут подъема, а вслед за ним — хлеба. Только прогудел подъем — встаем. Наиболее нетерпеливые рассказывают по камере: два шага вперед, столько же назад. Всем ходить невозможно — нет места, поэтому кто-то ждет сидя.

Прошла оправка. Открывают кормушку, в нее заглядывает раздатчик — сверяет для верности наличие со списком. Вся камера уже у кормушки — скорей бы, скорей!..

Вот так и идет день за днем. Ложись спать и думаешь: скорей бы ночь прошла да хлеба дали. Встал, дождался хлеба, баланды, еще пьешь ее, а уже думаешь: скорей бы обед; торопишь вечер: скорей бы ужин. Вытирая корочкой (если есть) со дна миски следы картофельного пюре, мечтаешь — скорей бы отбой, а за ним утро, свою пайку получишь... Свой счет времени, свой календарь у зека в тюрьме: хлеб — завтрак — обед — ужин и снова хлеб — завтрак — обед — ужин, день за днем, месяц за месяцем, год за годом.

От заключенных в камере требуется большая выдержка, большая моральная сила, чтобы в таких нечеловеческих условиях сохранить себя, свое человеческое достоинство, чтобы сохранить человеческие отношения между собой.

Просидишь в одной камере несколько месяцев, и тебя начинает все раздражать в соседях: и как он встал, и как сел, и как ходит, и как ест, и как спит. А ты, в свою очередь, раздражаешь его. Даже при внешне мирных отношениях нервы у каждого натянуты до предела, держишься только тем, что не позволяешь себе распускаться, срывать свою злость на соседе. А уж что делается в камерах у бытовиков, уголовников, где собраны люди, не привыкшие сдерживать себя!

Зимой чаще всего возникают ссоры из-за форточки. Дело в том, что форточку разрешено открывать в любое время (с шести утра до десяти вечера, конечно), чтобы проветрить камеру. А зимой в камере зверски холодно, но при этом не выветриваются вонь от параша и от плохо вымытых людских тел, мажорочный дым — хоть топор вешай. И вот кто-то из твоих сокамерников предпочитает мерзнуть, но подышать свежим воздухом. Другие не в состоянии перенести холод — они истощены, у них и без форточки зуб на зуб не попадает. Есть и старики и больные, которых знобит. Вот и повод для ссоры, для скандала — и неизменно итог спору подводит карцер.

Еще чаще возникают скандалы из-за пищи. Ведь в камере обычно часть заключенных на общем режиме, а часть — на «строгой норме питания» (это один из видов наказания — условия общие, а паек как на строгом режиме); у некоторых есть ларек,

у других нет; одним разрешены посылки, другим нет. Нелегко и тем и другим. Тем, кто без посылок, без ларька, как смотреть голодными глазами на соседа, получившего посылку? или на купившего в ларьке буханку хлеба? или хотя бы не получившего пятидневный паек сахара в 75 граммов? А тому, у кого продуктов чуть-чуть побольше, чем у соседа,— как ему быть? Поделиться голодному с еще более голодным? Не обращать внимания и есть, зная, что у товарища при этом голодные спазмы?

Не у всякого заключенного хватает сил поделиться посылкой или ларьком с сокамерниками. Но есть и видеть их голодные глаза — еще труднее, еще невыносимее. Поэтому некоторые заключенные, получив посылку, съедают свои продукты тайком, чтобы другие не видели,— иногда ночью под одеялом. Конечно, на воле каждый осудит такого — как это не поделиться с голодным товарищем?! Но я не уверен, что тот, кто осуждает этого заключенного, после полутора строгого тюремного режима сам бы не хранил свой сахар у себя под подушкой и не вытаскивал бы ночью из пачки по кусочку — тихонько, так, чтобы никто не услышал и не позавидовал бы. А сколько людей, никогда не только не бравших, но и не глядевших на чужое, становятся ворами — крадут из ящика продукты соседа!

### ГОЛОДОВКА

...Через несколько дней после перевода в нашу камеру один из заключенных, Андрей Новожицкий, объявил голодовку — очевидно, эту мысль он обдумал давно. Он написал заявление, в котором нагрозил кучу причин, побудивших его объявить голодовку: протест против того, что его судили закрытым судом; что ему не выдали на руки приговора; что за невыполнение нормы его посадили в тюрьму — но он не в состоянии был выполнить норму; протест против нечеловеческих условий содержания политзаключенных во Владимирской тюрьме... Через несколько дней после Новожицкого объявил голодовку Шорохов. В своем заявлении, адресованном в ЦК КПСС и в Президиум Верховного Совета СССР, он также протестовал против закрытого суда, несправедливого и необоснованного приговора, текст которого он, как почти и все мы, в глаза не видел...

У нас в камере стало двое голодающих. Их оставили вместе с нами в той же камере, хотя это и против правил: голодающих полагается изолировать. Тюремное начальство всегда нарушает это правило — поголодай-ка в общей камере, глядя, как твои соседи получают баланду, жуют хлеб! Некоторые не выдерживают — ведь это настоящая пытка! — и снимают голодовку через три-четыре дня. Я сам пережил эту пытку во время своей многодневной голодовки в карагандинских лагерях.

У голодающих одно преимущество: они могут лежать целыми днями на койках, не поднимаясь. Теперь дежурный по камере во время утренней проверки к обычному рапорту — «Гражданин начальник, в камере номер пятьдесят четыре пять заключенных» — добавляет: «Двое голодающих». Первые пять-шесть дней после заявления на них никто не обращает никакого внимания. Зайдет на четвертый-пятый день офицер, спросит: «Голодаешь? Ну и хрен с тобой!»

С пятого-шестого дня на утренних проверках кто-нибудь из надзирателей подходит к койке голодающего, откидывает с лица одеяло, проверяет, жив ли, и заодно: не наколол ли чего на лбу?

Люди в одной камере с голодающими обозлены, взвинчены до последней степени. Безразличие, даже злорадство начальства выводит из себя. И до правил никому нет никакого дела, и на наши протесты все чихать хотели! Просто невозможно есть свою пайку на глазах у товарищей, которые держат голодовку. У меня было такое ощущение, как будто я виноват, что не могу им помочь. Мы тоже старались проглотить свою еду поскорее, незаметнее...

Новожицкий и Шорохов сами отворачивались к стенке во время завтрака, обеда и ужина. Они не брали в рот ни крошки все эти дни. Иногда только попросят попить; поднесешь кружку воды — отопьют несколько глотков и снова отворачиваются к стенке. Другой раз кто-нибудь из нас не выдержит и начнет уговаривать Андрея или Николая: мол, возьми кусок от пайки, съешь потихоньку, один черт — из камеры не уберут раньше чем на десятый день, ну, хоть крошечку, надзиратель не узнает. Новожицкий обычно вежливо отказывался. Шорохов крыл такого добренького почем зря. И правда, чего ввязаться, человеку и так трудно.

Андрей и Николай страшно мерзли, хотя и лежали на койках, укрывшись одея-

лами с головой. Ведь даже нам, получавшим какую-никакую еду, расхаживающим по камере в бушлатах или телогрейках, удавалось согреться только на несколько минут дважды в день — утром и вечером, когда приносили кипяток. В камере было так холодно, что чайник с кипятком, оставленный на полу, остывал через четверть часа. А тут люди совсем без пищи и даже без кипятка — они ни разу не выпили горячего. И к тому же оба после нескольких лет недоедания в лагере, только что после настоящего голода на строгом тюремном режиме; да у них в теле не сохранилось ни капли запасов, какие есть у человека в нормальных условиях. С первого дня голодовки такой истощенный организм начинает пожирать себя сам.

Андрей перестал подниматься с койки на четвертый день, на десятый он уже не разговаривал. Николай мог встать на ноги еще на восьмые сутки после начала голодовки. Разговаривал он, хотя с трудом, до последнего дня, пока его от нас не забрали. За все время, что они были в нашей камере, к ним ни разу не заглянул врач.

Сестра, как обычно, каждый день — кроме воскресений — подходила к кормушке, задавала свой обычный вопрос: «Есть ли больные?» — и, не взглянув на голодающих, переходила к кормушке следующей камеры.

На одиннадцатый день после того, как Новожицкий объявил голодовку, ближе к вечеру в камеру вошло несколько надзирателей, дежурный доложил что положено. Надзиратели подошли к Новожицкому, подняли одеяло. Он, неподвижный, лежал на постели — в куртке, в брюках, в ботинках, и лицо у него было как у покойника. Надзиратели осмотрели его и убедились, что он еще жив. Тогда старший велел кому-нибудь из нас собрать его имущество и вывести его из камеры. Я взял кружку, миску, ложку Андрея, и мы вдвоем с Королевым подошли к нему, чтобы помочь ему выйти. Сам он не мог встать, мы подняли его и повели в коридор. Даже мы, истощенные и ослабевшие до того, что вдвоем с трудом выносили парашу, не чувствовали его веса. Это был живой скелет, одетый в форму зека. Впереди нас по коридору шел надзиратель. Он вошел в пустую камеру, мы за ним. Он велел нам посадить Андрея на голую койку. Андрей стал заваливаться в сторону, пока не привалился плечом к стене. Я задержался возле него, мне было страшно оставлять его, полуживого, в пустой камере. Но надзиратель отогнал меня:

— Попел, пошел! Ничего с ним не делается. Никто его голодом не морила, сам есть не захотел.

Я не выдержал и огрызнулся:

— Ну, конечно, разве мы здесь не досыта едим?

— У тебя-то, наверное, пайка слишком велика, грамм на сто больше, чем нужно, — ответил он.

Я понял угрозу и замолчал. Надзиратель запер Андрея и повел нас в нашу камеру. В ней тем временем надзиратели обыскали вещи Андрея и вели политбеседу с Шороховым: мол, все равно голодовка ни к чему не приведет, пусть снимает ее, а не то сам себя утробит... Нам велели отвести вещи Андрея в его камеру. Мы с Королевым потащили постель Андрея, и, право же, матрац был в несколько раз тяжелее, чем он сам. Андрея мы застали в той же позе, в какой оставили: он полулежал, привалился лицом к стене. Надзиратель велел Королеву разложить постель на пустой койке. А мне приказал поднять Андрея и держать под мышку, чтобы не упал. И вот обвисшее на моих руках тело он стал обсыкивать. Потом мы положили Андрея на постель, укрыли его одеялом, а поверх бушлатом и вышли. Надзиратель запер камеру.

Хотя мы слышали раньше от других заключенных, что голодающих держат в общей камере суток десять-одиннадцать, но все-таки не могли поверить, что такое издевательство обычно, что это — норма. Теперь мы сами в этом убедились. И Шорохов, голодавший седьмые или восьмые сутки, теперь знал, какая пытка ждет его в ближайшие четыре-пять дней. Он все-таки не снял голодовку, и на двенадцатые сутки его от нас забрали. Собирали и уводили его Королев и Иван-мордвин. Николай выглядел немного бодрее, чем Андрей, хотя продержался дольше на сутки и к тому же в последнее время перед голодовкой был на строгой норме питания из-за драки с Иваном.

Шорохова я больше никогда не встречал и ничего не слышал о нем. А Новожицкого через неделю снова привели в нашу камеру. Описать, как он выглядел, просто невозможно. Он снял голодовку: голодай не голодай, а все равно не добьешься того, чтобы кто-нибудь из начальства хотя бы обратил внимание на твою жалобу, хотя бы занялся проверкой... Умереть не дадут: в тот же день, когда Андрея забрали от нас,

его начали кормить искусственно — я уже рассказывал, что это за процедура. До этого и мы и наши голодающие Шорохов и Новожицкий все время требовали, чтобы их перевели из общей камеры, как это предусмотрено инструкцией; мы все думали, что это избавит голодающих от лишних мучений. Оказалось, что помещение в отдельную камеру служит только для продолжения издевательства. Искусственное питание превращено в пытку ежедневную, вернее, ежевечернюю. При этом я по своему опыту могу сказать: чувство голода не исчезает, даже не уменьшается, появляется только тяжесть в желудке, как будто тебе внутрь положили какой-то посторонний предмет. Зато изобретено дополнительное истязание — Новожицкий рассказал о нем.

Каждое утро надзиратели вносят в камеру пайку хлеба и миску баланды и ставят на табурет у самого изголовья. Поставят и уходят, а завтрак полдня стоит перед глазами голодающего. В обед переменят миску — и до вечера. Утром меняют пайку, спрашивают: «Сегодня пайку берешь?», «Завтрак брать будешь?», «Ужин брать будешь?» И так три раза в день; мы-то хоть от этого ритуала избавляли своих товарищей. Однажды к Новожицкому в камеру вошел начальник корпуса:

— Голодаешь? Напрасно! Жалобы писать можно и без голодовки. Жалуйтесь, пишете, мы вас этого права не лишаем...

— Куда, кому на вас, зверей, жаловаться?!

— Мы не звери, мы действуем строго по инструкции; если вам кажется, что мы нарушаем инструкцию, жалуйтесь, ваше право...

### ТРУДНО ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ

Вскоре нашу камеру 54 стали почему-то расселять. Первым вывели Новожицкого. Он был так слаб, что не мог сам нести свои вещи. Мы помогли ему собраться, вынесли его барахло в коридор и простились с ним. (Встретились мы снова только в 1966 году в Мордовии на одиннадцатом.) Вскоре увели и другого моего сокамерника — Королева.

Два дня мы оставались в камере вдвоем — Иван-мордвин и я.

Потом привели новеньких. Сначала старичка-религиозника лет шестидесяти пяти — семидесяти Павла Ивановича (фамилию я позабыл). Потом азербайджанца Илаоглы. Это был неразговорчивый человек лет тридцати пяти, маленького роста, черноволосый, смуглый, худой, как и все мы. Я не знаю, за что он сидел, — он плохо говорил по-русски. Дня через три привели Бориса Власова; его появление в камере мне особо запомнилось. Загremели ключи, открылась дверь, в камеру вошел в сопровождении надзирателей парень на костылях. Он подошел к койке, постелил, лег, и надзиратели сразу же забрали и унесли его костыли.

Борис Власов был переведен к нам прямо из больницы. Он давно в тюрьме, мучился-мучился, а потом однажды взял и проглотил две ложки — свою и соседа. Мало того — он проглотил костяшку за костяшкой целую коробку домино. Его потащили сначала на рентген, а потом на операционный стол. Вскрыли желудок, извлекли все казенное имущество и опять зашили. Еще лежа в больнице, Власов объявил голодовку. Голодал он с месяц, больше не выдержал. Снял голодовку — сразу после этого перерезал себе вены на ноге. Заметили вовремя, перебинтовали и вот перевезли из больницы в нашу камеру. Он еще не мог сам ходить, и первое время сестра делала ему перевязки прямо в камере. Через неделю он начал ковылять сам, и его стали водить на перевязки в санчасть — благо она была на нашем этаже, не надо ходить по лестницам.

Власов подружился с Иваном-мордвином. У обоих были пятнадцатилетние сроки, оба давнишние арестанты, у них и идут целыми днями разговоры о лагере да о тюрьмах: вольную-то жизнь уже позабыли, даже во сне не видят. Рассказывал-рассказывал Иван Борису о том о сем, дошел как-то до истории, приключившейся в нашей камере. И вот слышу — они вслух говорили, не стесняясь, — Иван начинает всякие гадости говорить об Озерове, о Королеве и Шорохове. Наверное, не будь меня здесь, и обо мне говорил бы так же. Другие-то наших прежних сокамерников не знают, слушают Ивана развесив уши. И на меня поглядывают, что я скажу. Тут у меня вдруг вспыхло все раздражение против Ивана, которое накопилось с самого его появления и которому до сих пор мне удавалось не дать выхода. Я резко оборвал Ивана: нечего врать о людях, когда их нет, при них побоялся бы. А он тоже разозлился и в ответ как-то гадко меня обозвал. Я как будто даже обрадовался, размахнулся и съездил ему по



физиономии — нашел выход злости. Я был так зол, что готов был разорвать его на части. Иван схватил чайник с остатками остывшего кипятка и замахнулся на меня. Я выбил чайник у него из рук, и он брякнулся на цементный пол и покатился. Вода разлилась по всей камере. Мы с Иваном сцепились. Я успел ударить его несколько раз по лицу, и все оно уже было в крови: кровь шла из носа, сочилась из десен и разбитых губ. Каков был я — не знаю, в ярости я не чувствовал боли. Ударил еще раз — он упал на мою койку. Я отвернулся и отошел, все еще дрожа от злости; сел на койку Павла Ивановича, попытался взять себя в руки. Но тут Иван вскочил и кинулся на меня. Я оттолкнул его, повалил на стол, прижал, сам не помню как. Под руку попалась его нога, я схватил ее и крутнул, выворачивая. Иван взвыл. Я нажал еще сильнее. Но тут мне послышался хруст. Это меня моментально отрезвило. Ярости, бешенства как не бывало, стало невыносимо стыдно и жалко Ивана. Я отпустил его, отошел от стола. Неужели это я только что ломал кости человека, чувствуя, как сердце заходится и горло сжимается от злости? Мне стыдно было смотреть на Ивана, на остальных.

В это время открылась дверь, и в камеру вбежали надзиратели. Растваскивать было уже некого, они остановились и стали разглядывать камеру и нас всех. Дежурная надзирательница, злобная, маленькая, старая, показывая пальцем на меня и на Ивана, начала объяснять:

— Гляжу в глазок (а она была такая карлица, что и до глазка не доставала, всегда таскала с собой легкую скамеечку; ходит от камеры к камере, ставит скамеечку, взбирается на нее и смотрит в глазок; вредная — в ее дежурство, в особенности если кто болеет или так задремлет, лечь не смеи: углядит — сразу рапорт, и провинившегося сажают в карцер), гляжу в глазок, а этот на этого чайником...

Почему-то по ее получалось, что это я чайником замахивался, ну да не все ли равно!

Часа через два нас обоих повели к начальнику корпуса.

Корпусной майор Цупляк разговаривал у себя в кабинете с надзирателями. Когда нас ввели, он прервал беседу, глянул на нас, на Ивана подольше, — видно, вспомнил:

— Пятьдесят четвертая? Подходяще разукрасили. Опять чужое съел? Обоих на месяц на строгое питание! Уведите их, давайте из семьдесят девятой.

Иван заикнулся было:

— Гражданин начальник...

Но нас обоих вытолкали, повели по коридору — и снова в камеру. На следующее утро мы уже получили по 400 граммов хлеба и завтракали одной килькой, без супа. Меня больше всего мучило, что на штрафном пайке Иван оказался из-за меня. А он тяжелее других переживал голод. Ему показалось, что месяца на строгом питании не выдержать, и он решил покончить с собой. Через два дня после нашей драки он достал где-то лезвие и вскрыл себе вены на обеих руках. Это произошло после раздачи хлеба. Иван получил свою штрафную пайку, съел ее, чтоб не пропадала, — а вдруг он умрет или окажется в больнице, так и не съевши свой хлеб? — и чиркнул лезвием по венам. В это время шла раздача завтрака, и надзиратели дольше обычного не заглядывали в глазок. Дали завтрак и в нашу камеру. Иван, у которого из обеих рук било по фонтанчику крови, попросил, чтобы его кильку никто не трогал. Его вырвало только что съеденным хлебом, блевотина перемешалась на полу с кровью. Однако мы, остальные, съели свой завтрак, как обычно, ничего не ощущая, кроме голода. Павел Иванович, обтерев корочкой свою миску, положил остатки хлеба в ящик и начал молиться. Вот разве молился он дольше обычного.

Наконец надзиратель заглянул в глазок и, обнаружив случившееся, вызвал сестру. Сестра перетянула руки Ивана жгутом и стала делать перевязку, приговаривая:

— Ну порезал себя, а зачем? Умер бы — кто бы о тебе доброе слово сказал? Разве вот они, — она кивнула на нас, — и то если ты человек хороший...

Глядя на Ивана, я думал: вот лежит человек, который из-за тебя голодал больше чем обычно, из-за тебя хотел умереть. Если он донимал тебя своей жадностью, разговором о жратве, если дошел до подлости — так разве он виноват в этом? А ты-то сам лучше, что ли? Кинулся на такого же обездоленного, как ты сам! Да если уж ты такой слабый, что не можешь совладать с собой, со своими нервами, отчего ж ты тогда не съездил по физиономии надзирателю, который издевается над тобой каждый день? Только потому, что за несчастного зека тебе грозит штрафной паек, самое большее карцер, а за надзирателя могут и расстрелять по указу. Значит, ты уже отравлен страхом, страх руководит твоими действиями...

Иван лежал не поднимаясь дня два-три. Потом начал вставать. Через несколько дней его уже выгоняли на прогулку и не разрешали прилечь днем, грозя карцером. Ему объявили постановление, что за членовредительство и за хранение лезвия лишают посылок на четыре месяца. На Ивана было больно смотреть — он ведь так мечтал о посылке. А тут еще строгое питание! Каждый день при раздаче пищи Иван-мордвин стоял у кормушки и канючил:

— Ну добавь хоть крошечку! Хоть пол-ложки плесни еще!

Ни разу ему не добавили ни грамма — и все-таки трижды в день он ныл и плакал у кормушки. Сначала всем нам, и мне в особенности, было жаль его. Потом это стало всех раздражать и злить. Но как его ни ругали сокамерники, Иван продолжал каждый день умолять о добавке. Ему уже не было стыдно, он чувствовал только голод, голод, голод.

### КАМЕРА БЕРИЕВЦЕВ

Одно время в прогулочном дворике по соседству с нашим гуляла камера бериевцев. Тогда еще дворики были отделены друг от друга старым щелястым забором, и мы хорошо видели бериевцев. Они тоже были на особом положении, не так, как мы: на прогулку ходили в своих добротных пальто, я никогда не видел на них зековской формы. Помню одного из них — маленького роста, плотный, он важно прохаживался по дворику в теплом пальто и черной папахе. Другой был тоже в папахе и сером гражданском пальто, которое сидело на нем, как шинель. У нас говорили, что это не бериевец, а армейский генерал по фамилии, кажется, Шренберг.

Камера бериевцев была рядом с нашей, и, идя на прогулку или с прогулки, мы видели ее (пока камера гуляет, двери остаются настежь, чтобы проветрить помещение; а выводили нас или чуть позже, или раньше, чем соседей). Трудно было глазам поверить. Все камеры во Владимирке так похожи друг на друга, что, введи зека в чужую камеру с завязанными глазами, а потом развяжи — и он отправится к своему привычному месту, даже не заметив, что попал не туда. Но камера бериевцев казалась нам роскошной жилой комнатой. Постели у них были покрыты теплыми домашними одеялами, на столе лежала красивая скатерть. Им разрешали лежать днем на койках сколько угодно, они получали в неограниченном количестве посылки от родных. Уж не знаю, как их там кормили, ели ли они тюремную баланду; да ведь если были посылки, то они могли жить на одних домашних харчах.

Как их ненавидели, этих пятерых наших соседей!

«Сволочи, педерасты, кровопийцы, на воле жили нашей кровью и здесь устроились неплохо», — говорили зеки. Даже прошел слух, что у бериевцев с правительством существует договор, имеются взаимные обязательства: одни млчат о более важных нарушителях «социалистической законности», а другая сторона создает им за это особые условия заключения. Рассказывали, что бериевцы то ли между собой, то ли с кем-то из obsługi судачили: «Ну что Лаврентий Павлович? Будто он один, а другие, нынешние, ни при чем? Все решения принимались сообща. Просто нужен был козел отпущения!»

Подобные слухи и разговоры в тюрьме, да и на воле, подогревались прежде всего тем, что всех бериевцев, как и самого Берию, судили закрытым судом. Чистые и честные дела тайком не делаются. Может, если бы их судили открыто, так потом не одну камеру во Владимирке пришлось бы занять подлинным государственным преступником...

И все-таки через некоторое время, уже в 1963 году, в обращении с бериевцами произошла загадочная перемена. У них отобрали одеяла, сняли со стола скатерть, их камера стала больше похожа на остальные. Посылки тоже сократили, оставили общий порядок. Сразу же произошла и перемена в них самих, в их отношениях между собой. Дружественного, спокойного тона как не бывало. Камера бериевцев стала одной из самых скандальных камер в корпусе. Не успели еще эти недавние герои доесть продукты из последней посылки, как передрались друг с другом из-за гнилой тюремной кильки. Кильку обычно давали на всю камеру в одной миске. Каждый по очереди брал по одной, вот и получалось всем поровну. Бериевцы никак не могли договориться, кто за кем берет, хватали не в очередь, скандалили. Раздатчики стали выдавать кильку в эту камеру каждому отдельно.

В нашей камере в это время сидел один парень, Володя Е. Он как только слышал, что раздатчики дают соседям-бериевцам кильку, так начинал громко язвить что-нибудь

насчет дружбы и солидарности этих лучших сынов народа. Раза два он попадал за это в карцер, а все-таки не мог удержаться: мол, волки и те не грызут друг друга, а эти из-за гнилой кильки грызутся.

### ТКАЧ

Я уже не помню, в какой именно камере произошел этот случай,— меня несколько раз переводили из камеры в камеру, как и других зеков. В камере нас было, как обычно, пятеро: Ричардас Кекитас, Петр Семенович Глыня, Костя Пынтя из Молдавии, старик по фамилии Ткач и я. Ткач был украинец, сидел, как он говорил, лет семнадцать — за участие в национально-освободительном движении. Сначала он, как и все, сидел в Мордовии, потом его перевели во Владимир за невыполнение нормы, за религиозность и еще какие-то подобные грехи. Старик был странный, уже не вполне нормальный — про таких зеки говорят «поехал» и выразительно крутят пальцем у виска. Маленький, с большой лысиной, с продолговатым, изможденным лицом и неправдоподобно громадными ушами, он сидел на своей койке, все время пугово и настойроженно переводя глаза с одного сокамерника на другого. Он всех и всего боялся.

Кекитас пошутил:

— Ты разве не знаешь, Голик — людоед! Сидит за то, что съел одного деда вроде тебя. Тут на твоей койке спал, так он ему отгрыз обе пятки.

Старик сначала не хотел верить.

Наш дед был не только немного чокнутый, но и физически очень нездоров. Он все жаловался, что у него болит голова, болит позвоночник, болит сердце. Однажды мы с ним записались на прием к врачу. Во время обхода сестра спрашивает через кормушку: «Больные есть?» Почти все зеки жалуются на какое-нибудь недомогание, особенно зимой. Сестра, не осматривая больного, дает какой-то порошок. А если жалоба превышает ее компетенцию, то она записывает на прием к корпусному врачу. Список обычно получается внушительный — больны почти все. Тогда сестра сама по своему усмотрению начинает вычеркивать «лишних». Прием происходит в присутствии надзирателя, принимают всех больных из одной камеры одновременно.

Ну вот, привел нас с Ткачом надзиратель к корпусному врачу. Жаль, не знаю ее фамилии, звали ее Галина. Она обращается к деду с обычным вопросом:

— На что жалуетесь?

— Ох, доктор, все болит, помогите.

— Все не может болеть.

— Весь я болею, дочка...

— Венерическими тоже болеете? — насмешливо спрашивает Галина, переглянувшись с надзирателем.

— А что это такое?

— В штанах, спрашиваю, ничего не болит?

— Ох болит, болит и в штанах.

— Что ж ты, дед, с педерастами путаешься в твои-то годы?

Тут только Ткач понял, о чем толковала молодая врачиха. Он сказал ей, что на тюремных харчах и молодой парень не захочет не только педераста, а и бабу. А он жалуетя, что ходит одной кровью и боли сильные (в нашей камере только у Пынти еще не было геморроя, да и то потому, наверное, что еще свежий, недавно с воли). Галина приказывает Ткачу снять штаны, повернуться задом и наклониться,

— Ну, у вас геморрой. Сколько раз в день оправляетесь?

— В два дня раз, а то и в три.

— Что ж вы хотите? Надо оправляться два раза в день.

— А с чего, дочка? С баланды? Так это же одна вода.

— Я тут ничем помочь не могу, я к питанию не имею отношения. Объясняю вам: при геморрое надо оправляться два раза в день. И еще надо парить это место теплой водой...

Ткач пожаловался на головные боли, на боли в позвоночнике. Ему измерили давление — оказалось, повышенное.

— Ничего, в вашем возрасте у всех людей повышенное давление и позвоночник у всех болит.

— Дочка, дай хоть разрешение днем лежать на койке.

Галина и слушать не стала: если таким, как Ткач, разрешить лежать, тогда весь корпус надо перевести на больничный режим.

Со мной повторилась та же процедура:

— Повернитесь задом... Геморрой... Надо чаще оправляться... Припарки теплой водой.

У меня очень болели уши, но смотреть их Галина не стала, она не специалист-ушник, ушника в тюрьме нет, надо ждать, когда вызовут из города. За два года ушник посетил Владимирку один раз; я попал к нему на прием — он выписал мне перекись водорода на две недели, легче от этих капель мне не стало, но проверить состояние было уже некому, когда там еще пригласят в тюрьму ушника. Впрочем, перекись водорода могла бы мне назначить не только Галина, а даже я сам, для этого не надо быть специалистом. Галина, однако, этого не делала; ведь она не столько лечила больных заключенных, сколько выполняла установленную формальность.

Итак, мы с Ткачом вернулись в камеру, обладая ценным советом чаще оправляться и делать припарки. А как? Кипяток дают в камеру перед завтраком и перед ужином, остывает он за пятнадцать — двадцать минут. Значит, мы должны парить свои задницы, как раз когда сокамерники располагаются пожевать — у них на глазах. Пришлось отказаться от этой лечебной процедуры.

Ткачу становилось все хуже, он стонал от болей, мерз, никак не мог согреться. Хоть бы разрешили деду лежать, хоть бы освободили от прогулки — зима же! Мы, его соседи, обращались к администрации тюрьмы, жаловались и надзирателям и офицерам, что старик слабеет, пусть ему разрешат хоть прилечь днем. Нам отвечали, что врач лучше знает, кто здоров, а кто болен. Ткач так мерз, что у него не гнулись пальцы, он не мог свернуть себе самокрутку. Кекитас делал ему самокрутки с утра на целый день.

Раз вечером принесли нам ужин — обычное жиденькое картофельное пюре. С ним мы, как всегда, справились за полминуты, вылизали миски и уже хотели споласкивать их, когда заметили, что Ткач все еще возится со своим ужином. Пынтя говорит:

— Что, дед, видно, тебе по ошибке кусок мяса в миску попал? Так ты же беззубый, отдай мне...

Мы все посмеялись, Ткач съел свое пюре, налил в миску воды из чайника, сидя ополоснул ее и пошел к параше выливать воду. Около параша миска выпала у него из рук и покатила по бетонному полу. А сам он стал шарить, ловить руками стену и упал на пол. Мы кинулись к нему, подняли, положили на койку. Он еще, кажется, был жив. Мы принялись стучать в дверь — звать надзирателя. Из дальнего конца коридора послышался его голос:

— Чего стучишь, чего стучишь, в карцер захотелось?

Подожел, заглянул в глазок. Узнав, в чем дело, отправился звать старшего. Прошло минут пятнадцать, никто не приходил, и мы снова застучали в дверь. Дежурный заорал:

— Прекратите стук! Освободится старший — придет, ваше дело маленькое.

Еще минут через десять явился старший, открыл дверь, вошел в камеру:

— Ну что тут у вас?

Мы ему снова объяснили, что произошло. Он взял руку Ткача, поискал пульс. Старик лежал без движения, без дыхания. Но старший надзиратель не торопился звать сестру или врача, он занялся допросом: как это случилось, кто что делал в эту минуту, кто что видел? Потом он ушел, пообещав прислать сестру. Прошло еще минут десять, пока в сопровождении надзирателей пришла сестра. Она тоже поискала пульс — пульса не было. Сестра смочила ватку нашатырем и поднесла к носу старика. Это не подействовало. Ткач не пошевелился. Сестра сделала ему какой-то укол. Ткач не пришел в себя. Тогда сестра попросила старшего вызвать дежурного врача из больничного корпуса. Врач пришла, посмотрела на Ткача, пощупала пульс и тихо положила неподвижную руку ему на грудь. Потом, расспросив нас, как и что было, вызвала старшего из камеры. Больше она к нам не входила, а старший, вернувшись, велел мне и Кекитасу вынести старика. Я взял его под мышки, Кекитас под колени, и мы потащили тело, куда нам велели, — в пустую камеру.

## РЕЛИГИОЗНИКИ

Религиозниками называют тех заключенных, которые сидят за веру в Бога. Верят в Бога не только они, среди других зеков тоже есть верующие. Но религиозники арестованы и осуждены именно за веру. Кого только нет среди них! И мусульмане с Кавказа и из Средней Азии, и православные, и баптисты, и свидетели Иеговы, и евангелисты, и субботники, и многие другие.

В газетах иногда описываются преступления фанатиков-сектантов, религиозные убийства, истязания детей и тому подобное. Мне трудно в это поверить: сколько я видел разных сектантов в лагерях и во Владимире — среди них никто никогда никого не убивал.

Фанатизм религиозников проявляется только в том, что они отстаивают свои собственные религиозные убеждения и правила. Это очень смиренные и спокойные люди, большей частью старики, но есть и молодые. К заключению они относятся не так, как другие зеки, — их утешает то, что они страдают за Бога и за веру, и они терпеливо переносят страдания и мучения.

Но все-таки и их, смиренных и покорных во всем, кроме вопросов веры, пачками отправляли во Владимирку — за невыполнение нормы, за отказ от работы в дни религиозных праздников. Здесь, в камерах, я близко столкнулся со многими из них. Чуть не в каждой камере то евангелист, то субботник, то свидетель Иеговы, а то сразу несколько из разных сект. Начальство над ними издевалось как хотело. Скажем, многие верующие по своим правилам носят бороды. И вот этих стригли насильно, в наручниках.

А посты? Казалось бы, о каких там постах может идти речь здесь, когда вообще есть нечего, изо дня в день годами длится сплошной пост, а люди истощены до полусмерти? Но большинство верующих хотели и здесь соблюдать свои правила — «а то грех перед Богом». Они хотели бы есть постную пищу, когда это полагается, но ведь в тюрьме ешь, что дают!

— Да в тюремной баланде в любой день, хоть под микроскопом ищи, жиринки не увидишь! — уговаривали мы их.

— А все-таки по норме немного жиру полагается, может быть, сколько-нибудь и кладут в котел, — отвечали они.

Надзиратели это знали. И вот в пост нарочно начинали разливать баланду с тех камер, где верующие. В полном термосе сверху, может, и плавает какое-нибудь пятнышко жира — так пусть оно попадет в миску того, кто постится... И вообще, верующие, зная, что им наливают сверху из полного термоса, опасаются есть, боясь согрешить. А надзиратели еще приказывают раздатчикам зачерпнуть и сверху и немного со дна, где погуще: эта миска все равно пропадет, а остальным достанется одна вода.

Когда наши верующие разгадали эту хитрость, они в свои постные дни стали вообще отказываться от вареного, сидели на одном хлебе и воде.

При таком голоде, как во Владимирке, не у всех хватало сил соблюдать посты и отказываться от пищи. Тогда надзиратели и начальство принимались их высмеивать:

— Все вы врете, что верующие, какой там у вас Бог, одно притворство!

Когда религиозник в тюрьме обращался к врачу, ему обыкновенно говорили:

— Вы зачем записываетесь? Вы запишитесь к своему Богу на прием, пусть он вас лечит...

## КАМЕРА № 79

Одно время я сидел в 92-й камере. Напротив находилась камера 79-я. На прогулку заключенных этих камер выводили вместе, и мы перезнакомились.

Мне очень понравился заключенный из 79-й камеры — учитель географии с Украины Степан. Сидел он уже лет тринадцать — и все время в тюрьме (общий его срок составлял двадцать пять лет). Он был спокойным и выдержанным человеком. Однажды в нашу камеру вошел прокурор по надзору, задал обычный вопрос:

— У кого есть жалобы, вопросы? — и, так как мы все молчали, вышел.

Прокурор делал общий обход камер. Первое время некоторые зеки еще обращались к нему с жалобами и протестами, но от этого было столько же толку, сколько от писем в ЦК, в Прокуратуру СССР и в Президиум Верховного Суда. Вот заключенные и успокоились.

На прогулке мы спросили зеков из 79-й:

— У вас вчера был прокурор?

— Был, как же. Они с нашим Степаном старые знакомые.

Прокурор вошел в 79-ю камеру, увидел Степана и смутился. Потом обратился к нему по имени и отчеству:

— А вы все еще сидите?

— Как видите.

Прокурор помялся-помялся, попрощался и вышел. А Степан рассказал, что они два года сидели вместе в одной камере в этой же тюрьме. В 1956 году прокурора реабилитировали. И вот они снова встретились в тюремной камере, только по разные стороны невидимой решетки.

Вместе со Степаном сидели два бывших уголовника — Сергей Оранский и Николай Ковалев по кличке Воркута. Бывшими они стали, когда им дали политические статьи и добавили сроки. А вообще-то это были настоящие уголовники, развращенные, скандальные и бессмысленные людишки. У обоих, как водится, наколки. У Сергея Оранского мелкими буквами почти незаметно на лбу: «Раб КПСС». А Воркута был весь разрисован: ни на лице, ни на теле живого места нет. Его потом ненадолго сунули в нашу камеру, и он при мне сводил одну наколку на лбу. Делал он это так. Брал лезвие и чиркал по тому месту, где надпись,— раз, другой, третий. Потом начинал раздирать порезы пальцами, тер долго — сам уже весь в крови, на лбу не кожа, а какие-то кровавые клочья. Тогда он густо засыпал лоб марганцовкой, которая специально для этой цели выдавалась в санчасти. Марганцовка разъедает раны, и Воркута корчился и вопил от боли. На другой день припухший, черный, обожженный марганцовкой лоб начинал нарывать. Через некоторое время кожа на месте нарыва облезала, рана зарастала новой. На месте наколки оставался только большой безобразный шрам.

Многие татуированные сводят свою «антисоветскую агитацию» вот таким способом. Это им кажется предпочтительнее операции в больнице — там кожу вырезают без всякого обезболивания, чтобы в другой раз неповадно было делать наколку. Сергей Оранский тоже сам свел себе надпись.

Воркута же после «операции» говорил, что это только сейчас шрам большой, а в лагере загорит, обветрится и станет совсем незаметным. Мы смеялись:

— Тебе, чтобы незаметно было, надо наново родиться.

И Воркута и Сергей не раз вскрывали себе вены. Сергей вспарывал живот и выпускал кишки, глотал всякую дрянь.

В их камере произошла такая история. С ними сидел венгр Антон. Я не помню его фамилии, все звали его Мадьяром. Мадьяр попросил Воркуту, чтобы тот, когда решит вскрывать себе вены, не давал крови литься на пол, а собрал бы ее в миску. Воркута сначала опешил, а потом согласился:

— А мне что, жалко, что ли? Все равно пропадет.

И вот Воркута в очередной раз порезал себе бритвочкой вены на руке, а Мадьяр подставил миску и собрал кровь. Остальные в камере старались этого не видеть. Они, как узнали, что Воркута задумал резаться, отвернулись и уткнулись в книжки.

Мадьяр собрал полмиски крови, накрошил туда хлеб и стал хлебать эту тюрю.

Тот же Мадьяр как-то решил на тайную голодовку. Тайная голодовка еще страшнее обычной, объявленной. Ему, видно, все на свете надоело, и он действительно хотел умереть. Не делая никаких заявлений, не отказываясь от пищи, он каждый раз брал свою пайку, баланду на обед. Но есть он ничего не ел, все потихоньку отдавал сокамерникам. Так продолжалось более недели. И все это время он, как и все, должен был ходить на opravку, на прогулку, не имея права прилечь днем. Все это время я каждый день видел его на прогулке, видел, как он буквально превращается в тень.

Однажды нас, как обычно, вели на прогулку. Мадьяр шел позади меня. Вдруг я почувствовал толчок в спину — он повалился вперед на бетонные ступеньки лестницы, перевернулся через голову, докатился по ступенькам до площадки и там остался лежать. Надзиратели заторопили нас, прогнали мимо Мадьяра. Он лежал как мертвый, с широко открытыми, остекленевшими глазами.

На другой день мы узнали от 79-й, что Мадьяр жив, его притащили снова в камеру, и он продолжает голодовку, но уже не тайную, а объявленную.

## РАБОТА

...Работа зеков сама по себе мало чем отличается от вольной. На воле я с апреля 1967 года работаю грузчиком — у нас тоже нигде не отмечаемые сверхурочные, и также вручную переталкиваем вагоны от склада к складу, и такой же заработок — рублей 70—75 (если не перерабатывать). На воле ешь посытнее, да из твоего заработка вычеты — только подоходный и за бездетность. В лагере такие же налоги (и за бездетность с зеков тоже берут!). Но потом 50 процентов от оставшегося отчисляют на содержание лагеря и его штаба от надзирателей до управления и врачей, на ремонт наших барачков, на больных и инвалидов. Из оставшихся 50 процентов около 13 рублей берут за питание, несколько рублей выплачиваешь за свою проклятую лагерную форму, выданную в расщорку; из того, что остается,— пятерка на ларек (если разрешат)... Так что не разбогатеешь. Дай Бог скопить за весь срок на костюм и ботинки.

В свое время у нас в лагерях, как и на воле, прокатилась волна «работы на общественных началах». Отрядный собирал зеков-активистов и подсказывал им новое ценное начинание. Был у нас библиотекарь, и ему за его работу шла хоть и ничтожная, но зарплата; так под нажимом начальства организовали дежурство заключенных в нерабочее время, даром. Библиотекаря уволили: хочешь — голодным сиди (инвалид работать не обязан), хочешь — иди через силу вкалывать на производство. Но это еще что — библиотека! Нас заставляли «на общественных началах» ремонтировать свой барак. Строят же вольные жилые дома бесплатно, в нерабочее время. Конечно, рабочий ходит на такие общественные стройки (я не знаю — все ли добровольно идут?), так, может, он в этом доме квартиру получит? А мы должны были «на общественных началах» ремонтировать свою тюрьму! И ремонтировали: откажешься — не получишь посылки от родных...

Так же, бесплатно и в нерабочее время, строили у нас зеки дом свидания. На эту стройку некоторые пошли на самом деле добровольно, потому что уж очень плохо и мал был прежний дом свиданий. Да еще те, у кого дорога дальняя, в отпуск не укладывались. Им приходилось отпрашиваться с работы за свой счет и все считанные дни своего отдыха проводить в Мордовии, простаивая у вахты. Многие женщины из-за этого совсем не могли приехать, и вот начальство расщедрилось: берите материал и стройте сами. Зеки строили дом на 20 комнат и радовались: вот теперь и моя жена сможет приехать! Хоть для лагеря строю, но в то же время как бы и для себя.

Администрации от такой даровой работы выгода двойная. Во-первых, похвалят за успешное «перевоспитание» заключенных, а главное — получается большая экономия. Ведь на всякие ремонты, на строительство в лагере все равно у зеков вычитают 50 процентов заработка. А так и деньги вычли, и строительство провели даром. За экономию начальству идут большие премии. Зеку, конечно, — шиш без масла.

Но главное зло лагерной работы — не то, что она каторжно-тяжелая, и не то, что работаешь почти даром, в общем, за пайку хлеба, а когда и за так. Главное, за что ненавидишь такой труд, — это за то, что он рабский, подневольный, унижительный, за то, что над тобой стоят дармоеды-надзиратели, за то, что тебя попрекают куском хлеба, который ты заработал своим горбом.

Когда я освободился и оказался в Москве, то, проходя мимо мебельных и радиомгазинов, все время останавливался возле витрин. Вот полированный стол, вот светлый нарядный гардероб, вот знакомые коробки «Радий-В», «Югдона», «Мелодия».

Вы покупаете себе новый шкаф и сидите вечером в уютной комнате перед телевизором. Вы заплатили за свой телевизор 360 рубльков и теперь наслаждаетесь законным уютом и благополучием. Мне и моим друзьям-зекам этот телевизор стоил пота, здоровья, карцера, долгих часов на разводе под дождем и снегом.

## И У НАС ВСЕ, КАК НА ВОЛЕ

В бараке полно народу, согнали всех, кого смогли. За столом — президиум, председатель ведет общее собрание отряда. В президиуме заключенные, рядом с ними — начальники отряда. Демократия! На повестке дня — выборы в совет коллектива. У кого есть предложения?

Поднимается какой-нибудь зек и зачитывает список — собравшиеся надевают еще один хомут себе на шею, начальству в помощь, и расходятся по своим делам. Зато быстро.

Другой раз — новое поветрие: выбирают и выдвигают по одному с «обсуждением» кандидатур. Тот же «свой» зек поднимается:

— Я предлагаю Иванова. Все мы знаем его как примерного производственника примерного поведения. Он активно участвует в жизни коллектива (не лагеря! — на собрании такие слова не произносятся, у нас просто дружный коллектив — вот и все), он участник художественной самодеятельности.

О Сидорове, Петрове говорится буквально то же самое, теми же словами, разве что вместо художественной самодеятельности поминается стенгазета, СВП — секция внутреннего порядка — и тому подобное. И хоть все мы знаем, что он был полицаем, осужден за кровавые преступления, все равно голосуем «за», лишь бы поскорее отделаться.

Почему так? Очень просто. Ведь на самом деле кандидатуры предлагают не зeki, а администрация через своих, заранее подготовленных людей. Хочешь не хочешь — начальство все равно настоит на своем, и в совете будет те, кто нужен начальству. Несколько раз бывало так, что машину голосования заедало, зеки отказывались голосовать за последнего подонка. Тогда поднимается отрядный.

— Вот вы, почему отказываетесь голосовать за нашего активиста? — обращается он к кому-нибудь из строптивых.

— Да он стукач, подонок, пробы негде ставить!

— Все равно не будет по-вашему, а будет по-моему! — отвечает откровенный отрядный.

И он затягивает собрание до бесконечности, пока не выберут того, кого он наметил.

Да и не все ли равно, кого выбирать в этот совет? Никогда он не сможет действовать по своей воле, пойти против решения администрации, не выполнить ее требований; он действует под ее контролем, и администрация всегда вправе распустить негодный ей совет или вывести любого зека из его состава. Так что эта организация — даже не видимость самоуправления, тут даже и видимости никакой нет. Все знают, что совет коллектива отряда или лагеря — это просто послушное орудие, дубинка в руках начальства, и с помощью этой дубинки начальство расправляется с любым заключенным будто бы по воле других заключенных. Может быть, на кого-нибудь вне лагеря это и производит впечатление: мол, сами заключенные могут потребовать наказания своего товарища. В зоне же все знают, что это значит.

Находятся среди нас идеалисты, которые говорят: «Вот, сами выбираем подонков, а потом жалуемся. Надо, чтобы в совете были порядочные люди» — и соглашаются войти в совет. Иногда администрация не возражает против таких кандидатур; все равно совет будет выполнять ее волю, зато зеки не смогут колоть глаза тем, что «в нашем совете одни стукачи и полицаи». Чем это кончается? Как всегда, крахом идеалистов: либо они сами под любым предлогом выходят из совета, либо их выводят из него.

Уж очень незавидная функция у этого органа. Любое его решение бьет по заключенным — по всем вместе или по кому-нибудь отдельно. То принимается решение в нерабочее время отремонтировать бараки — значит, отработал свои восемь часов принудилочки, а в «свободное» время строй тюрьму для себя и для других таких же, как ты сам. То обсуждают и осуждают чье-то поведение, заставляя человека работать сверх сил, зная, что он болен, не в состоянии выполнить норму. И ведь чем кончается такое обсуждение?! «Просить администрацию лишить такого-то заключенного ларька, посылки, перевести на пониженную норму питания, водворить в штрафной изолятор». Когда это делают тюремщики, еще понятно, но кто из заключенных согласится обречь товарища на голод — конечно, только последняя сволочь!

Вот и получилось: в совет коллектива на самом деле входили почти только одни бывшие полицаи. Раньше сотрудничали с фашистами, теперь — с администрацией нашего лагеря для политзаключенных. Ведь им-то все равно, лишь бы сносно прожить да поскорее освободиться. Они и на воле устроятся лучше прочих — выйдут с хорошей характеристикой, им все организации помогут, они оглядятся, приспособятся и заживут. Еще и в мелкие начальники успеют выбиться.

Когда отрядному говоришь: «Смотрите, кто с вами сотрудничает!» — он начинает вертеться, как угорь на сковородке; действительно, неудобно. Мы, правда, не обо всех членах совета знали, за что они осуждены (да и не стали бы интересоваться этим, если бы они вели себя порядочно!). Но вот приезжает суд пересматривать дела два-



дцатипятилетников, снижают им срок, если «заслужили». Эти заседания суда происходят открыто. Тут-то и выясняется, что один активист сотрудничал с фашистами, другой был карателем, у третьего — тоже что-нибудь в этом роде. Вот так случайно и я узнал, что наш председатель совета коллектива отряда был таким же активистом в одном из фашистских лагерей смерти. На суде он расплакался: «Я ничего плохого не делал, я только открывал и закрывал двери крематория». Бог его знает, вдруг там он действительно не был предателем, служил, чтобы самому не попасть в газовую камеру...

Что совет коллектива, что СВП — одна честь, и контингент один, и задачи те же — помогать тюремщикам справляться со своим братом заключенным. И цена за это та же — характеристика с формулировкой: «...прочно встал на путь исправления». Секция внутреннего порядка — это лагерные дружинники. То же самое, что капо. Кто не знает, подумает: что тут плохого, если заключенные сами поддерживают порядок, ведь в лагере нередки и драки, и скандалы, и пьянки, есть и уголовники. Но главная функция членов СВП — не порядок поддерживать, а следить, шпионить за зеками, доносить начальству, кто что говорит, у кого недозволенная связь с волей. И опять же лишать зеків ларька, посылок, свиданий, вернее «просить администрацию лишить...».

...Начальство, особенно на верхах, очень гордится: вот у нас в лагере все, как на воле, самоуправление, заключенные перевоспитываются, сами следят за порядком, это ли не доверие к заключенным? Наверное, они забыли про капо? Или не знают, как вербуют в СВП и совет коллектива? Может, им там, наверху, неизвестно, кто идет в эти лагерные организации? Лагерное начальство хорошо знает — это те же самые капо и полицаи, а процент «перевоспитавшихся» прямо зависит от количества подонков в зоне.

### ПВЧ — ПЕСНИ, ПЛЯСКИ И СПОРТ

С давних времен, еще со сталинских лагерей, существует в лагерях самодеятельность. Не знаю, может, когда-то это действительно была самодеятельность, люди собирались, пели, читали стихи. Говорят, что даже сценки, спектакли разыгрывали, оперетты ставили. Говорят, что театр на Воркуте возник из такой вот лагерной самодеятельности. Она существовала сама по себе, потом под покровительством КВЧ — культурно-воспитательной части, работники которой больше доверяли зекам, чем себе, в отношении искусства. Теперь это не КВЧ, а ПВЧ — политико-воспитательная часть; и она не столько покровительствует искусствам, сколько контролирует их, руководит ими. И вообще, это уже не самодеятельность, а принудилровка — еще одна в добавление к работе и прочему. Ни одна программа концерта не пройдет без ПВЧ. Да что не пройдет! Программу-то и составляет только ПВЧ, и хорошо еще, если среди гимнов и маршей удастся вставить одну-две лирические песни, или романс, или стихи Пушкина, Блока, Есенина. Концерт, во-первых, должен воспитывать слушателей; во-вторых, должен свидетельствовать о том, что выступающие уже вполне «перевоспитались»; в-третьих, должен понравиться комиссии, и наша зона таким образом должна переплюнуть соседние в соревновании. А как переплюнешь? «Отговорила роща золотая...» — это еще неизвестно, хорошо ли, нет ли — дело вкуса, а «Стихи о советском паспорте» безусловно обязаны нравиться всем; в-четвертых, самого концерта могло бы и не быть, хрен с ним, да галочку надо поставить в отчете. Этим определяется все: и программа, и состав участников, и отношение зеків к «самодеятельности».

Вот начинает отрядный вербовать в хор или в кружок художественного слова. К одному подойдет, другого к себе вызовет. Тому пообещает посылку — не какую-нибудь дополнительную, нет, законную, очередную, но ее ведь надо заслужить; тому — хорошую характеристику. Любитель стихов отвечает ему:

— «И кому на ум пойдет на желудок петь голодный!»

Мастер художественного слова скажет:

— На х.. мне эта самодеятельность перед обедом?

Но находятся и такие, что соглашаются. Некоторые за посылку, но это контингент венадежный, текучий: получил посылку — и только его на репетициях и видели, а на сцену и арканом не затянешь. Основной состав хора и прочих кружков — это двадцатипятилетники-полицаи, зарабатывают себе хорошую характеристику на суд; авось срок скостят.

И вот концерт объявлен. Теперь у надзирателей и воспитателей задача согнать на него слушателей. Тут уж их заедает амбиция.

— Ты почему не идешь? Болен? А справка от врача есть? Ах не хочешь? Почему? Не нравится? Не отвечаешь?

Зек обязан отвечать, зек обязан быть вежливым с представителями охраны и администрации. Нарушение! Одно, два, три таких нарушения — и ты уже лишен ларька, не за то, что не ходишь на концерты, это дело добровольное, а за «невежливость по отношению...».

Новички ходят на концерты — любопытно ведь. Я тоже несколько раз поглазел — ну и комедия! Если бы начальник ПВЧ майор Свешников специально старался вести разлагающую зеків агитацию, и то лучше бы не придумал. На сцене хор полицейев исполняет песни «Партия наш рулевой», «Ленин всегда с тобой». В зале хохот, улюлюканье, надзиратели орут: «В карцер за срыв мероприятия!» Хор хоть слаженно поет — здесь большинство украинцев, а они петь умеют. Один раз пели «Бухенвальдский набат», но это начальству почему-то не понравилось.

Та же история со спортивными мероприятиями. Силой — моральной, конечно, за те же послышки, за характеристики — загоняют зеків в спортивные секции, заставляют участвовать в спартакиадах. Смотреть на эти спортивные игры — и смех и слезы. Бегут старики, только что не безногие, прыгают по стадиону (под чутким руководством начальника лагеря Пивкина превратили в стадион плац для проверок, теперь на одиннадцатом свои пивкины), худые, кривые ноги в венозных узлах торчат из длинных трусов, задыхающиеся рты ловят воздух. Добежал, отметился у отрядного, и скорее на койку — отдышаться.

...А между тем какие в лагерях певцы, какие гитаристы! Соберемся после работы вечером (где-нибудь в углу зоны да как заведем песни — блатные, под гитару, да старинные романсы. Эстонцы раз устроили свой концерт народных песен. И литературные вечера — памяти Шевченко, памяти Герцена. Кто-нибудь расскажет о писателе, другие читают стихи Шевченко на украинском языке, поэты — свои стихи, переводы на русский. Но это все, конечно, не только без ПВЧ, но и тайком от начальства, а то как раз в карцер угодили бы — ведь на таких вечерах каждый говорит, что думает, читает, что хочет.

### ПВЧ — ПОЛИТЗАНИЯТИЯ

В семь часов вечера закрывается столовая, и зеки, которые работают в первой смене, разбредаются по зоне. Это время до самого отбоя наше. Кто идет в библиотеку, кто на волейбольную площадку, кто, сидя в секции, пишет письмо родным, любители забивать козла устраиваются около какого-нибудь стола, друзья собираются поболтать, поспорить, некоторые просто так в одиночку расхаживают вдоль запретки — прошел шагов сто в один конец, повернулся и пошagal обратно, глядя перед собой, думая о своем.

Но сегодня четверг, день политзанятий. Ровно в семь каждый должен быть в своем бараке; посещение политзанятий — одна из главных обязанностей зеків. Однако каждый старается как может от этой обязанности увильнуть. Что уж тут хорошего: запинаясь и спотыкаясь чуть ли не на каждом слове, почти по складам отрядный читает по тетрадке-конспекту очередную «лекцию». Отрядные в большинстве безо всякого образования, особенно которые постарше, — они даже эту беседу не в состоянии самостоятельно подготовить, да им это и не доверяют — мало ли что они наплетут по неграмотности. Каждую беседу готовит сам Свешников, перед политзанятиями диктует ее отрядным, те старательно записывают (воображаю, сколько грамматических ошибок в конспекте!), а потом толкают нам. Что мы узнаем из такой беседы? Газету прочесть и разобраться в ней каждый и сам умеет, общие слова и лозунги давно всем надели и приелись еще с воли. У большинства политических десятилетка, многие с высшим образованием, с кандидатскими диссертациями — люди, думающие самостоятельно, специально изучавшие философию, работы Маркса и Ленина, Гегеля и Канта, современных философов и социологов.

Смех один, когда отрядный, повторяющий, как попугай, чужие слова, не умеющий разобраться даже в собственных записях, проводит с ними политбеседу на уровне четвертого класса школы. Да у нас в лагере даже уголовники знают и понимают больше, чем отрядные, — прислушиваются к разговорам других заключенных, участвуют в спорах. Я попал в лагерь совсем темным, с образованием восемь классов, но думать

старался сам, без подсказки. Ну вот, захотел разобраться что к чему — зачем я буду слушать лепет отрядного? Прочел всего Ленина том за томом, начал читать Плеханова.

На политзанятия я не ходил, был всего несколько раз из любопытства, и меня за это постоянно лишали ларька, за весь срок ни разу не разрешили посылки. Помню мой первый разговор с отрядным на эту тему... Вызывает меня Алешин к себе в кабинет:

— Садитесь. Что же это вы, Марченко, только успели приехать из тюрьмы в лагерь, а уже нарушаете правила режима? Ведь вас перевели из тюрьмы раньше срока — опять захотели туда же, нюхать парашу?

Я ответил, что не вижу в этих занятиях ничего для себя интересного и занимательного. Тогда он, видя, что я не поддаюсь на запугивания, зашел с другого бока:

— Другие же ходят! Вы считаете, что вы умнее других? Что вы уже все знаете?

— Я не думаю, что все знаю, наоборот, я знаю слишком мало, поэтому дорожу своим временем. Я никогда не считал себя умнее всех, но уж и не дураче тех, кто проводит занятия. Что другие ходят — это их дело. А за себя я как решал, так и дальше буду решать сам.

Алешин стал говорить мне, что посещение политзанятий — моя обязанность; что я могу не слушать, лишь бы пришел и отсидел положенные два часа; что, хочу я или не хочу, меня все равно заставят подчиниться.

— Не подчинитесь — я вас буду наказывать.

...Не пойдешь — лишат ларька, очередной посылки, сократят свидание, дадут плохую характеристику: «...упорствует в своих ошибках, не стал на путь исправления...» Так что те, кто дорожит посылкой или характеристикой, ходят «добровольно». Но ведь в лагере большинству терять нечего — ларька и так за что-нибудь лишили; свидание не скоро, через год; до полсрока далеко, так что посылки все равно не положено; у начальства ты и без того на плохом счету, на характеристику плевать, все равно сидеть от звонка до звонка, срок могут скостить только двадцатипятилетникам. Вот большинство на занятия и не идут. А надо, чтобы ходили все, от отрядных требуют стопроцентного охвата заключенных политико-воспитательной работой. Дутую цифру в отчеты не вставишь — сам Свешников может проверить в любой момент или другой отрядный донесет. Вот и приходится изворачиваться.

...Без десяти семь. Библиотеку в четверг в это время закрывают, всех выгоняют из читального зала. Но на волейбольной площадке еще летает мяч; доминошники стучат по столу костяшками; зеки бродят кто где. Открывается дверь штаба, и оттуда в зону входит толпа отрядных — человек тридцать. Все идут ловить своих зеков. Надзиратели бегают по зоне и выгоняют зеков из укромных уголков.

Наконец согнали всех, кого могли, некоторые пришли сами. Начинаются занятия. Офицер бубнит себе под нос по конспекту, зеки занимаются кто чем: дописывают письма, читают книжки. Офицер старается этого не замечать. Только уж если открыто читают или пишут в первом ряду, предлагает пересесть подальше, чтобы Свешников не увидел, если войдет. Иногда это ответственное дело — чтение конспекта или статьи из журнала «Коммунист» — поручают активным зекам, чтобы была видимость участия зеков в политзанятиях. Чаще всего эти активисты полуграмотные старики, читают еле-еле, так что коллективная работа не получается. И уж совсем редко отрядный решается задать кому-нибудь вопрос по теме предыдущего занятия. Кого спросить? Этого нельзя — неграмотный, двух слов не свяжет; того тем более нельзя — чересчур грамотный.

Зато нередко сами зеки, согнанные на занятия насильно, засыпают своего преподавателя вопросами — главным образом о материальном положении:

— Вот вы говорите, что надо жить честно, не обманывая государство, а как можно прожить семье на 50—70 рублей? А у вас какая зарплата? Вы только что рассказывали о росте благосостояния трудящихся — как вы связываете понятие «рост благосостояния» с ростом цен на продукты, с повышением норм на производстве?

Этот последний вопрос задал при мне мой товарищ Коля Юсупов. Наш отрядный замаялся, а потом ответил:

— Вы, Юсупов, неправильно понимаете нашу политику. Вы нарочно заостряете внимание на отдельных недостатках, к тому же временных.

Все зеки засмеялись, а я спросил:

— Как долго длится, каким сроком исчисляется это «временно»? Мы же знаем, например, что декрет о цензуре был принят только «временно» и даже на «короткое время». Это было около пятидесяти лет назад, а цензура существует и сейчас...

— Вам, Марченко, мало дали, надо бы добавить. А остальным кое-кому, я вижу, в карцер захотелось?

— Убедил, убедил,— загадели зеки.

Занятия кончаются, слушатели расходятся, перебивая косточки «воспитателям», «пропагандистам». Смеются над ними все, даже стукачи.

### НАЧАЛЬНИКИ БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ

Власть исходит от народа...  
Но куда она заходит?  
И куда она приводит?  
До чего она доводит?

*Бертольт Брехт.*

Как только разносится слух, что в лагерь едет Громов, поднимается страшный переполох. Шутка ли, сам Громов! Начальник лагеря бегаёт, гоняет офицеров-отрядных, отрядные — надзирателей, а все вместе, конечно,— зеков. Генеральная уборка, повальный обыск в бараках. Даешь перевыполнение плана! Ты от работы отлыниваешь? Карцер! Одет не по форме, волосы отросли на два сантиметра? Остричь! Лишить ларька! Громова бояться как огня и вольнонаемные, и офицеры, и сам начальник лагеря, и просто жители. По всем поселкам от Потьмы до Барашева, по всем зонам — мужским и женским, бытовым и политическим — все трепещут при одном имени Громова. Он все может, он здесь удельный князь.

Вот он выходит из штаба в зону. Его почтительно сопровождает свита — из управления и местного начальство. Офицеры косятся то встревоженно-льстиво на Громова, то грозно на зеков — не было бы какого-нибудь нарушения или беспорядка. И все-таки недоглядели. Около самого штаба к Громову подошел, опираясь на палку, старик зек и стал что-то говорить. То ли жаловался, то ли о чем-то просил — я не слышал. Слышал только, как Громов рывкнул начальнику лагеря:

— Куда это годится?! — и, не глядя, двинулся дальше.

В свите произошло замешательство, один из отрядных подошел к деду, стал его громко уговаривать:

— Что же вы раньше не сказали? Зайдите завтра ко мне в кабинет, мы все уладим.

Дед, благодаря начальство, заковылял к бараку. В это время Громов обернулся и загремел:

— Куда? Я сказал — в карцер его, в карцер! Куда же это годится! Распустили заключенных, пройти не дают! Почему не разъяснили, что должны записаться на прием ко мне и обращаться только в положенное время?

Пока он так отчитывал наше начальство, двое надзирателей уже подбежали к старику, выхватили у него палку, отбросили прочь и потащили беднягу в карцер — а он было обрадовался, что Громов за него заступился.

В другой раз Громов приехал к нам из-за того, что горел план. Начальству в штабе, наверное, был разнос, потому что Агеев выскочил за Громовым в зону красный как рак. Ему было велено отправить на завод всех инвалидов — нетрудоспособных, которые кое-как работали в жилой зоне: дневалили, убирали территорию и тому подобное. Для начала всеобщий инвалидный аврал — согнать их всех в один барак и провести собрание. Громов на ходу отдает распоряжения, а Агеев бежит рядом, ошалев от страха, и спрашивает:

— Товарищ полковник, а с лежачими как быть? Нести на собрание или оставить?

— Выполняйте приказание, майор!

И так было везде, где бы он ни появлялся. Начальство бегало с вытаращенными глазами, обалдев от страха, наказания сыпались на нас... Когда Громов приезжал к нам в больницу, сам майор Петрушевский, начальник САНУ, пачками сажавший санитаров в карцер — за пыль на стекле, за паутину в углу, за то, что из печки угли выпадали, — сам Петрушевский бежал за Громовым сбоку и заглядывал ему в глаза: доволен ли, не гневается ли? Нечего и говорить, что санитаров за день-два до появ-

ления Громова переводили из наших корпусов в общий барак — не дай Бог узнает, что санитары-зеки живут по двое-трое в отдельных комнатах: это что за роскошь, может, им еще отдельные квартиры предоставить, жен выписать?

Однажды Громов приехал в больницу с комиссией из Москвы — заместителем министра МООП. Комиссия проходила по палатам, врачи отвечали на вопросы, начальница больницы, как обычно при Громове, заискивающе улыбалась, кивала головой, поддакивала. На зеков — больших и санитаров — никто не смотрел, никто их ни о чем не спрашивал. Но в одной палате больные сами подняли голос, пожаловались, что холодно. Громов не удостоил их ответом. А приезжий полковник, посмотрев на градусник на стене — в палате было пятнадцать градусов, — подошел к одной койке:

— Вы кто такой, откуда, фамилия, за что осуждены?

Больной ответил. Это был язвенник, его только недавно привезли из лагеря в тяжелом состоянии. Фамилия его Сикк, он из Прибалтики, осудили за национализм. Услышав это все, московский полковник раскричался на весь корпус:

— И вы еще жалуетесь, холодно вам! Да таких, как вы, на морозе надо держать, а не в больнице! Все вы там, в вашей Прибалтике, враги и бандиты! Воевали против нас с оружием в руках, а теперь требуете, чтобы с вами нянчились!

Он еще долго орал на больного. Громов все это время стоял совершенно спокойно, не вмешиваясь, не спеша поддерживать начальство. Он вообще держался независимо, ни перед кем не заискивал.

Громов служил в системе лагерей давно, еще со сталинских времен. Он был тогда начальником лагеря, строившего в Омске нефтеперерабатывающий завод. В Мордовии и сейчас еще встречаются зеки из этого лагеря. Я сидел вместе с одним зеком, который был там прорабом. Слушаешь его рассказы — и страшно становится, известно, что были за лагеря в сталинское время в 50-е годы! А теперь Громов командует не одним лагерем, а целым управлением, под его началом десятки лагерей.

Порядки несколько переменились, да сам-то он остался тем же, таким же самодуром, каким был. Разве что пошел на повышение, дослужился до полковника. Пожалуй, на пенсию выйдет генералом.

Вообще-то после 1953 года, когда расстреляли Берию, многие работники лагерей со своих мест полетели. Кто помельче, тех снимали с работы или понизили в чине, разжаловали. Кто покрупнее и в возрасте, тем предложили уйти на пенсию, и они со своими крупными пенсиями уехали куда-нибудь в Крым на заслуженный отдых. Но даже уволенные и разжалованные бывшие эмвешники пристроились около оставшихся лагерей на тепленьких местечках с солидным окладом. Стали начальниками производства, начальниками снабжения, комендантами, даже простыми мастерами, лишь бы в зоне, где деньги платят не за работу, а за то, чтобы ты жал соки из зеков. Они пристроились кто где и ждали своего часа. Верили, что они с их опытом еще пригодятся, что их еще позовут. И дождались. Они сами рассказывали, что сверху получили не то совет, не то указание писать жалобы, просьбы о восстановлении на службе, о возвращении им добрых имен. Конечно, каждый писал, что служил верно и честно, что его оклеветали, поступили с ним несправедливо, что он никогда не превышал своей власти, а действовал только по распоряжениям начальства и обещает так же поступать и впредь. Потихоньку их стали восстанавливать, возвращать на любимую работу. Они достали свои еще не успешные выцветшие мундиры и снова сделали начальниками лагерей, отрядов, сотрудниками управлений.

Из сталинских кадров у нас были начальник «семерки» Коломийцев и его заместитель Агеев. Одно время нашим отрядным был какой-то сначала разжалованный, а потом восстановленный в звании подполковник. О заместителе начальника режима на «семерке» Шведе мне рассказывал один зек, который сидел в Мордовии с 1949 года, что этот Швед принимал участие в массовых расстрелах зеков на разводе. В те годы, бывало, выводили заключенных бандеровцев и самостийников в лес якобы заготавливать дрова и там расстреливали всю колонну под предлогом «массового организованного побега». Так уж и знали — если ведут на заготовку дров, то оттуда не вернутся. И зеки на разводе отказывались идти на работу в лес. Швед, тогда майор, подходил к отказчикам и стрелял в упор. Шведу уволили и разжаловали, но потом вернули на работу в лагерь, правда, не восстановив в звании. Так он и остался всего только старшиной, хотя было ему уже под пятьдесят.

Крепкий, небольшого роста, спокойный, даже медлительный, этот мужичок-украинец имел круглую физиономию и бычью шею, которые всегда были красными.

Зеки говорили: нашей кровушки напился, как клоп. Поскольку он являлся заместителем начальника по режиму, от него зависело очень многое. И он делал все от него зависевшее, чтобы отравить нашу жизнь.

Мы, аварийщики, выходили в рабочую зону по три-четыре раза в сутки, а то и чаще. Как подадут вагоны под выгрузку или погрузку, так и иди — день ли, ночь ли, в любое время, в любую погоду. И вот Швед придумал для себя удовольствие — вагоны еще не поданы, а нас уже вызывают на вахту. Придем, ждем надзирателя, а его нет — пошел в рабочую зону вылавливать «отлынивающих», кто спит по углам в рабочее время. Ждем, нервничаем, проходит час или больше, пока попадем на работу. Отработали свое, разгрузили вагоны, идем «домой» — и опять то же самое, ждем больше часа, пусть дождь, пусть снег, стоим у ворот вахты. А ведь нас через два-три часа могут снова вызвать! Швед выйдет с вахты, любителю. Мы к нему с жалобой, а он:

— А что Швед может сделать? Не разорву же я надзирателя на две части, чтобы одна половина лодырей ловила, а другая на вахте дежурила. У нас надзирателей не хватает, слишком дорого вы государству обходится.

Как-то вечером меня вызвали в дежурку к Шведу — во время обыска в бараке у меня нашли под подушкой гражданскую фуражку. Предстояло объяснение и скорее всего наказание.

Постучавшись, вхожу в кабинет. Там сидит Швед, играет с надзирателем в шашки; еще двое надзирателей сидят просто так. Минуты через три Швед оторвался от доски: «Отряд?» Я ответил. Молчание, потом после очередного хода: «Бригада?» Опять пауза, ход, вопрос: «Фамилия?» Я ответил на вопросы, стою жду. Наконец игра кончилась. Швед выиграл и сиял от удовольствия. Он аккуратно сложил шашки в коробку и, прежде чем заняться мною, сказал надзирателю: «Сходи в дом свиданий, пусть заканчивают, пора уже. Да скажи Тарасовой, чтоб продуктов не пропускала ни грамма, ни-ни. А зека веди сюда, я его обыщу». Швед обычно сам обыскивал зеков после свидания — то ли не доверял надзирателю, то ли любил это дело. Потом он обернулся ко мне:

— Знаешь, зачем тебя вызвали? Догадываешься?

— Что мне гадать, сами скажете.

— Почему держишь фуражку вольного образца? Что задумал?

Я не успел ответить, ввели зека со свидания, старика лет шестидесяти. Швед поднялся, направился к нему, балагурия:

— Шо, дед, подержал старуху за титьки?

Старик сначала было замялся, потом все-таки вступил в разговор:

— Да уже все, старый стал.

— Позвал бы меня, раз сам не можешь, я бы уважил.

— Да у меня и старуха уже старая...

— Ничего, что старая, я не побрезговал бы. Тебе сколько лет?

— Осталось одиннадцать.

Швед захохотал:

— Ты что, надеешься еще одиннадцать лет прожить? Да я тебя, дурак, не о сроке — от роду сколько тебе лет, спрашиваю. Ладно, давай обыщу.

Швед снял с головы деда кубинку, ощупал ее всю, каждый шов, и отложил в сторону. Дед тем временем снял куртку. Швед, прощупывая куртку, спросил по-приятельски:

— Скажи сразу, сколько грошей несешь со свидания?

— Да какие гроши, ни рубля нет, раз в год придет старуха, так и куска сахара нельзя передать.

Швед так же добродушно ответил:

— А я тут при чем? Закон есть закон. Раз закон не позволяет, чтобы у зека был сахар, сало и другие продукты, значит, не положено. Закон надо соблюдать. Завтра Шведу скажут, что зекам положены передачи и посылки, — Швед пропустит хоть вагон.

Меня просто с души воротило от его тона, от его мерзких шуточек...

Швед ощупал старую нательную рубашку и велел делу разуться. Старик, кряхтя, снял кирзовые сапоги, подал один начальнику. Тот пошарил в сапоге, ничего там не нашел, выгнали стельку, осмотрел ее, прощупал голенища — в сапоге ничего не было. Так же спокойно он принялся за второй сапог; когда он вытащил из него стельку, лицо его озарилось счастливой улыбкой: к стельке с обратной стороны была подклеена красная бумажка — десятирублевка. Швед начал стыдить старика:

— А говорил, грошей не несешь! Старый человек, верующий, наверное, как же тебе не стыдно обманывать?

Старик молчал, его поймали с поличным, тут ничего не скажешь.

Швед аккуратно отклеил бумажку, разгладил ее, положил на стол и продолжал обыск — прощупал снятые дедом брюки, велел спустить подштаники, повернуться задом, потом передом, потом присесть (дед при этом чуть не упал), потом прощупал подштаники. Больше нигде ничего спрятано не было. Но Швед остался доволен: он же знал, что зек не уйдет пустым со свидания, все зеки такие, все жулики и обманщики! Он с удовольствием составил акт, подписал его, дал подписать надзирателям, потом приказал надзирателю отдать десятку жене старика под расписку. Старик в это время уже одевался, бурча под нос, что вот не разрешают ни продуктов, ни денег, хоть с голоду подыхай. Швед уже потерял к нему всякий интерес и, бросив на ходу: «Мы с тобой еще поговорим», — занялся мной. Видно, ему уже надоело «работать», и он коротко сказал мне, что составит на меня рапорт и передаст начальнику, пусть начальник сам со мной разбирается и наказывает.

— Можете идти.

Мы со стариком вышли из дежурки вместе. Когда отошли подальше от вахты, я его пожурил: что ж это он десятку не сумел спрятать? Дед хитро ухмыльнулся:

— Не Швед меня, а я его обдурил.

И он объяснил мне, в чем хитрость. У него на свидании была старуха с зятем, а зять тертый мужик, сам отсидел на Кольме десять лет, да и старуха всего пять лет как из лагеря, и на свидании они не первый раз. Зять еще дома заделал в каблук своего сапога 25 рублей, здесь надел сапоги старика.

— А на мне зятевы!

Десятку же подложили под стельку нарочно, а то Швед заподозрил бы все равно, что деньги где-то припрятаны...

Начальником сбыта готовой продукции на «семерке» был Чекунов. Говорят, раньше он служил в МВД, а потом его разжаловали. Мы-то знали его уже по производству. Нам, аварийщикам, именно с ним приходилось иметь дело: он командовал погрузкой, закрывал нам наряды...

Этот самый Чекунов не то что лишнего ничего в наряде не пропустит, а и за выполненную работу не заплатит. Мы, например, переталкивали и груженные и пустые вагоны вручную — работа тяжелая, а платить нам за нее никогда не платили. Чекунов нам еще и мораль читал:

— Государственные денежки даром получать хотите? Народное добро расхищать, государство разворовывать? Я, как коммунист, стою на страже народного достоинства!

И вдруг пронесся слух, что Чекунова поймали на хищениях, Чекунова будут судить. Он, оказывается, хорошую мебель списывал как бракованную, сам обставился, всех начальников Дубровлага и представителей местной власти обеспечил мебелью по дешевке, а то и совсем даром. Он вообще проделывал какие-то махинации с браком: возвращают мебель, побившуюся в дороге, он ее списывает как брак, а потом зеки ее ремонтируют и снова отправляют как новую. Таким, а может, и еще каким другим способом он наживался, ну, словом, оказался натуральным жуликом. Что-то он там не поделил с парторгом, тот на него донес — и вот нашего Чекунова будут судить. Мы радовались, но рано. Поначалу до суда дело не дошло, а только объявили ему строгий выговор по партийной линии. А парторгу — благодарность за бдительность. И снова Чекунов ходит в начальниках, снова на нас покрикивает:

— На народные денежки рты разинули?

А парторга погода куда-то убрали, перевели.

Но парторг, видно, не успокоился, написал в Москву, теперь уже не только на Чекунова, а и на других начальников тоже — прикрывают, мол, преступление. Хочешь не хочешь, пришлось местным властям заняться этим всерьез. Хоть Чекунов и свой в доску, но с Москвой лучше не связываться, Чекунова сняли с работы и отдали под суд. Но не упрятали в тюрьму до суда, как делали с нами всеми, а оставили на свободе, пока шло следствие. Он заметал следы, договаривался со свидетелями, распахивал имущество знакомым.

Но чаще до суда не доходит, дело стараются замять тихо-мирно, сор из избы не выносить. Один из начальников лагеря отгрохал себе домину — материал государственной, рабочая сила дармовая — зеки. Обставился мебелью со своего завода, жил как бог. Но ему все было мало, жадность обуяла, и он погорел на какой-то махинации. Его

не судили, а предложили уйти на пенсию. Он продал дом, погрузил все добро в контейнеры и уехал куда-то на юг — жаль же кидать на слом. Мы, зеки, узнали об этом от вольных, да и надзиратели только о том и говорили: вот, мол, гад, сам наживался не от трудов праведных, а нам так и дров с завода не давал.

Зеки долго после этого кололи офицерам глаза: что же это вы нас учите жить честным трудом, а ваш начальник сам ворюга да еще безнаказанно вывернулся?!

Офицеры сначала убеждали нас, что это все неправда, а потом махнули рукой — все равно ведь не скроешь! — и только отбояривались тем, что в семье не без урода.

Никто из офицеров и служащих не может удержаться от того, чтобы чем-нибудь задаром не поживиться. Вынести, вывезти какой-нибудь пустяк из зоны — это и за воровство-то не считается, ведь не чье-нибудь, а государственное, государство не обеднеет (тут как-то забываются и политзанятия и беседы о морали). Тем более никто не задумывается «попросить» зека поработать на себя, хоть в рабочее время, хоть в нерабочее, — каждому ясно, что зек рад услужить начальству.

Наш отрядный лейтенант Алешин «попросил» своих зеков нагрузить ему машину дров. Правда, это значит, что надо не только нагрузить, а раньше еще напилить и наколоть. Но кто откажется? Ведь от этого самого Алешина зависит, получишь ли ты ларек, посылку, свидание, — словом, все твое лагерное существование. Напилили, накололи, погрузили при надзирателе (он следит, когда грузят машины, чтобы кого-нибудь под дрова не спрятали, да еще на вахте перetyкают всю машину железным штырем и осматривают со всех сторон)... Машина подъехала к вахте. А тут нелегкая несет коменданта зоны:

— Откуда дровишки? Кому? Где квитанция?

Надзиратель, который сидит сверху на дровах, подает ему квитанцию, что за дрова уплачено. Комендант смотрит то на бумажку, то на машину:

— Ах.., вашу мать, выписал один куб, а нагрузил целых четыре! Разворачивай машину, выгружай дрова! Или пусть Алешин в бухгалтерии доплачивает.

Подошел Алешин, и началась перепалка. Как раз был развод. У вахты столпились зеки и, слушая, покатывались со смеху. Разговор шел такой:

— Ты... в рот, обнаглел на х..! Выписал куб, а здесь четыре.

— А тебе-то не один х..? Твое, что ли?

И такого разговора минут пятнадцать под общее веселье. Не знаю, сколько бы они еще переругивались, но тут к вахте подошел начальник лагеря — в это время уже Коломийцева, ушедшего на пенсию, сменил Дворецков. Оба кинулись к нему — комендант с жалобой, Алешин с просьбой, чтобы разрешил вывезти дрова. Начальник замаялся: Алешина обижать не хочется, а разрешить на глазах у зеков неудобно. Он не сказал ни да, ни нет, отговорился, что занят, разбирайтесь, мол, сами, и ушел. Алешин плюнул, махнул рукой и велел отгрузить с машины три лишних куба. Он потом свое возьмет, не платить же зазря денежки из своего кармана.

А несколько дней спустя он как ни в чем не бывало читал нам очередную лекцию, как всегда, сводя ее к поучениям о чести и совести советского человека.

С другим отрядным была стычка у меня лично — все из-за тех же дров. Дело происходило осенью 1965 года. Я тогда работал в литейке в ночную смену. Пришел утром с работы, выпил свою баланду и лег спать. Я тогда здорово выматывался на работе, болели уши, голова, от боли я никак не мог уснуть. А тут только уснул, меня будит дневальный:

— Иди к отрядному, вызывает.

Как мне не хотелось, как трудно было встать! Одеваюсь, а сам прикидываю: зачем бы это? за что? Вроде ничем не провинился, чтобы в карцер. Думал и решил, что, наверное, пришел ответ на одну из моих жалоб насчет болезни. Стучусь, вхожу в кабинет, начальник мне что-то говорит, я не слышу — в ушах сплошной гул. Дневальный отрядному подсказывает, чтобы погромче говорил. Тот повторяет громче:

— Пойдете с дневальным на завод. Можете идти.

Я, мало что соображая спросонья, поплелся к вахте. Там уже ждали несколько зеков из нашего отряда, тоже с ночной. Ну повели нас, как обычно, через ворота, только в рабочей зоне и очутился, спрашиваю:

— А куда нас ведут, зачем?

— Зачем, зачем! Дрова грузить отрядному.

Ах я дурак! Поплелся, как осел, холуйствовать на отрядного! Я до того разозлился



и на себя, и на дневального, и на отрядного, и на весь свет, что повернулся и пошел обратно. Да не тут-то было! Кто же меня одного из рабочей зоны выпустит? Придется ждать на заводе, пока нагрузят дрова. Значит, ко всему еще и без обеда останусь — я же в ночной, и мой обед сегодня в жилой зоне. Ничего не поделаешь. Нашел укромное местечко и завалился спать — не стану же я, в самом деле, ишачить на своего тюремщика. Задремал — опять будят, надзиратель грубо толкает под бок:

— А-а, отлыниваешь?! Пошли в карцер!

Я хотел было ему объяснить, что я не на работе, а отработал свое, отдыхаю. Но он и слушать не стал, потащил к вахте. Ну, думаю, сейчас на вахте все выяснится. А там, как назло, нет того надзирателя, который обыскивал и выводил нас в рабочую зону. Я снова попытался объяснить, что только с работы и мне в ночь опять на работу,— где там! Провели через вахту и прямо в карцер. Шуметь, требовать, добиваться отрядного — наверняка заработаешь десять — пятнадцать суток за дебош и сопротивление. Я плюнул и лег на голые нары. В обед выпил штрафную баланду без хлеба. А часа в четыре меня выпустили: сверились в нарядной и убедились, что я работаю в ночную смену. Выпуская, только сказали:

— За каким же хреном ты спал в рабочей зоне?

После ужина меня снова вызвал отрядный:

— Почему вы не работали, ушли от остальных?

После всего случившегося я был зол, как черт, и не стал сдерживаться: сказал, что хоть я и зек, а не человек, но обслуживать своих тюремщиков не хочу и не буду. И в приговоре у меня это не обозначено — батрачить на отрядного...

Отрядный сказал, что ему сейчас некогда спорить со мной, он договорит потом, а сейчас я могу идти и собираться на работу. Я вышел, убежденный, что в этом месяце ларька не получу.

Так оно и случилось.

## САМОУБИЙЦА

...А если я на проволоку? Если  
Я на запретку? Если захочу,  
Чтоб вы пропали, сгинули, исчезли,  
Тебе услуга будет по плечу?  
Решайся, ну! Тебе ведь тоже тошно  
В мордовской Богом проклятой дыре.  
Ведь ты получишь отпуск — это точно,  
Домой поедешь, к матери, сестре...

*Ю. Даниэль.*

Это случилось в воскресенье 4 октября 1964 года. Мы пришли с разгрузки-погрузки в пятом часу утра и легли спать. Часов в восемь я встал — здорово хотелось есть. Собрался было разбудить Валерку, но он спал так сладко, что я его пожалел: лучше недоесть, чем недоспать. Отрезал ложкой от своего пайка кусочек хлеба и пошел в столовую.

Утро было ясное, солнечное, все радовались, что к обеду будет тепло. Для зека теплая погода — подарок судьбы. Я шел в столовую тоже в очень хорошем настроении. Столовая по воскресеньям утром открыта до девяти, но почти все успевают позавтракать гораздо раньше. Очереди уже не было, только на скамейках сидели несколько десятков зеков, ожидавших конца завтрака,— может, у повара останется несколько мисок баланды и он даст прибавку.

По-видимому, сегодняшний завтрак фигурировал в меню как «суп лапша» — в миске плавало несколько несчастных лапшинок. Ложке тут было делать нечего, я спрятал ее в карман и в несколько глотков опорожнил миску с «супом лапшой» через край. Осталось только проверить, не пристала ли к стенке какая-нибудь лапшинка. Вдурт раздался одинокий выстрел.

Все подняли головы и замерли. Никто не смел звякнуть миской. Погодя минуту кто-то негромко сказал:

— С угловой, возле пекарни.

Слушали, ждали. Должны были последовать еще два выстрела. Минута тянулась долго, выстрелы запаздывали. Что это могло значить? Стрелял автоматчик с вышки — следовательно, какой-то зек полез на запретку, чтобы покончить с собой. В этом случае часовой должен дать два предупредительных выстрела вверх, а третий — в «белгца». Но обычно бывает наоборот: первый выстрел дают по живой мишени, а потом два в воздух.

Не один ли черт, зеку все равно погибать, чего тут долго чикаться? Пульнешь в небо, а он еще раздумает кончать с собой, и тогда прощай благодарность, прощай дополнительный отпуск и поездка домой! Короче, никто из нас не знал случая, чтобы часовой стрелял в порядке, указанном в инструкции; главное — израсходовать три патрона.

Так или иначе, должно было быть три выстрела, а мы слышали только один. Только вышли из столовой на крыльцо — прозвучало подряд еще несколько выстрелов. Стреляют там же, у пекарни, но звук выстрелов не такой, как в первый раз.

Зеки со всего лагеря шли к пекарне. Я тоже пошел. Меня обогнала группа зеков, среди которых был мой знакомый по Владимирке Сергей Оранский. Проходя мимо, он крикнул мне:

— Опять кого-то застрелили!

Ох уж эти «опять»! Сколько их было только при мне, таких «побегов»! Последний раз это случилось несколько месяцев назад летом, в июне или июле. Автоматчик пристрелил «беглеца» у деревянного забора, и тот лежал, уткнувшись лицом в нагретую, мягко вспаханную землю, подгробал ногой. Зеки побежали в санчасть, привели фельдшера. Но что тот мог сделать? Раненый лежал в запретке, за двумя рядами колючки, а часовой никого и близко не подпускал к проволоке: заключенным в запретку нельзя, да и убитого или раненого должны сначала сфотографировать на месте, составить акт в присутствии нескольких начальников и лишь после этого убирать и оказывать помощь.

Раненый лежал, время от времени подергиваясь. Заключенные шумели, кричали, не обращая внимания на орущих надзирателей и на автоматные очереди над головами. Так продолжалось долго, часа полтора. Наконец на той стороне появилось начальство: подполковник Коломийцев, его заместитель майор Агеев, другие офицеры. Коломийцев приказал ломать забор — раненого или убитого нельзя выносить через зону. В заборе проделали дыру, и два надзирателя, взяв тело за ноги, волоком потащили его за зону. Голова заключенного билась о землю, оставляя на ней кровавый след. Зеки вопили. Тогда в проломе забора показалась физиономия Агеева, и он крикнул:

— А за каким х... вас несет на запретку?

Потом нашего фельдшера вызвали на вахту «для оказания скорой медицинской помощи». Позднее туда же пришли вольная сестра и врач. Фельдшер рассказывал, что самоубийца был еще жив. Его отправили в больницу, но не довезли, он умер по дороге.

Я вспомнил этот случай и другие такие же, идя вместе со всеми к пекарне. Что же произошло сегодня? Ктой этот несчастный?

У пекарни уже собралась огромная толпа, почти вся зона. Я нашел здесь своих бригадников. Коля Юсупов показал на забор — там на проволоке, на козырьке, зацепившись одеждой за колючку, висел какой-то зек. Со стороны зоны видны были только его ноги, он свесился на другую сторону, на волю.

Мы с Колей полезли на крышу ближнего домика — бывшей посылочной. Отсюда было хорошо видно и запретку, и забор, и волю. На той стороне тоже собралась толпа: офицеры, солдаты-автоматчики, вольные. Рядом с нами сидел на крыше какой-то зек, который наблюдал все с самого начала. Он был страшно возбужден и рассказал нам, как все было:

— Сижу я у Кирюхи в кочегарке, пришел потреться и за хлебом. Слышим, часовой с вышки орет: «Не лезь, стрелять буду! Не лезь же... твою мать, убью! Куда ты среди бела дня, на х..., лезешь?» Мы с Кирюхой выскочили из кочегарки, смогрим, а зек уже один ряд колючки перелез, путается во втором. И доску с собой тянет. Я узнал его — мы вместе в карцере сидели, он тогда болел, не давал норму, потом на работу не вышел; Коломийцев сам и выписал ему пятнадцать суток. Я ему кричу: «Ромашов, с ума сошел, вернись, пристрелят же!» «Ну и хер с ними, — отвечает, — один хрен умирать. Скорее отмучаюсь». Он все время хворал, а врачи ему освобождения не давали, мало того что на работу гоняют. еще и норму жмут. Я бегаю вдоль колючки, уговариваю его вернуться, а он махнул мне рукой, через второй ряд колючки перебрался — и к забору. Чуть не под самой вышкой. Часовой, видно, парень хороший, в первый раз такого вижу: орет матом на Ромашова, а не стреляет. Потом, слышим, звонит на вахту, мол, зек лезет на запретку, пусть надзиратели придут и заберут его. Что ему там с вахты отвечают, не знаю, слышим только, как он кричит в трубку: «Пристрелять недолго, да его можно забрать, он еще во втором ряду путается.— Потом уж грубо, зло орет: — А вы за каким хреном там сидите?! Мое дело увидеть и предупредить, ваше дело забрать, вот и забирайте к ... матери! Я стрелять не буду, я вас предупредил».

Он и не стрелял, пока Ромашов на самый забор не залез. Тогда часовой дал один выстрел в воздух и все время орал, чтобы зек слезал и мотал в зону. Но Ромашов как не слышал. Он стоял на заборе на четвереньках, ногами на козырьке, руками упираясь в зубцы доски. И похоже, вообще не собирался оттуда слезать.

Потом с той стороны затарахтел мотоцикл, слышно было, как он подъехал к забору около Ромашова и остановился. Кто-то крикнул часовому: «Какого хрена смотришь? У тебя зек на заборе сидит!»

Ответ часового не был слышен, потому что сразу же за окриком раздалось подряд несколько пистолетных выстрелов. Ромашов оторвал руки от забора и стал заваливаться, падать туда, наружу. Но вот зацепился штанами и повис...

Коля спросил очевидца, кто стрелял из пистолета.

— Да я точно не могу сказать, я сразу полез на крышу посмотреть, но мотоцикл уже отъезжал. По голосу и по красной роже, кажется, Швед,— ответил парень.

Пока мы слушали этот рассказ, за забором появились офицеры, и среди них Агеев и Швед. Они походили, посмотрели, спросили что-то у часового, потом Агеев пошел в зону, а Швед остался снаружи. Скоро Агеев появился с этой стороны, прошел через толпу зеков в сопровождении офицеров и надзирателей. Он двигался не спеша и никакого внимания не обращал на возмущенные крики: «Убийцы!», «Людоеды!», «Да снимайте же скорей, может, он еще живой!» Офицеры подошли вплотную к проволоке, и Агеев крикнул на ту сторону: «Давай приступай!»

Фотограф, примерившись, щелкнул несколько раз аппаратом с разных точек. Несколько минут спустя над забором появилась физиономия Шведа. Он смотрел сверху на зеков и улыбался! Зеки взбесились. Из толпы неслось: «Паук!», «Вот по ком могила плачет!», «Когда ты только лопнешь от нашей крови!»

Рядом со Шведом появился надзиратель, и они, не обращая внимания на крики, занялись своим делом. Они выпугивали Ромашова из колочки, разрывая на нем штаны. Толпа замолкла, и было так тихо, что я, казалось, слышал, как рвалась материя. Когда ничто больше не удерживало тело, Швед и надзиратель, подержав его секунду за ноги вниз головой, отпустили, и было слышно, как оно шмякнулось о землю. По зоне пронесся тихий не то вздох, не то возглас. И тут же поднялся дикий шум, крик, чуть ли не истерика. Я сам видел, как плакали некоторые зеки, старые воркутяне и колымчане, те, из которых не могли выжать слезы ни пытками, ни голодом. Сейчас они плакали от оскорбления и бессильной злости.

А Швед стоял на лестнице над забором, глядел на зону и улыбался.

Потом сестра сказала нам, что Ромашова сняли уже мертвым. Видно, он был убит выстрелом в упор.

## БУКЕТ

В Мордовию свозят политических заключенных со всего Союза, из всех республик. Особенно много украинцев и прибалтов — литовцев, латышей, эстонцев. Мало того что их привезли в Россию в лагерь, их даже на свиданиях с родными заставляют говорить по-русски, чтобы надзиратель мог понять. Но между собой эти заключенные, конечно, говорят на родном языке, поют свои песни, тайно устраивают вечера памяти своих поэтов и писателей.

Кроме того, в лагерь иногда приезжают представители общественности разных республик. Эти «представители» не смотрят, в каких условиях содержат их земляков, не спрашивают, каково им здесь, они даже избегают непосредственных разговоров с зеками, боясь обвинений в том, что они вмешиваются в лагерные порядки. Все разговоры они ведут только в присутствии лагерной администрации и кагэбистов (бывает, что и сам «представитель» — кагэбист и даже в форме). Они вообще ничего не желают слышать о лагере, рады бы и глаза закрыть и уши заткнуть, зато они рассказывают о жизни своих республик. Но зеки тоже не хотят их слушать: как можно верить человеку, если невооруженным глазом видно, что у него дрожат колени перед начальством и КГБ. И при этом он твердит, как ему и всем хорошо и свободно живется!

Сначала на эти «встречи с земляками» мало кто ходил, зеков туда загоняли силой, как на политбеседу. Тогда вместе с этой общественностью стала приезжать какая-нибудь художественная самодеятельность. После этого в клуб-столовую на такую встречу стало не пробиться, приходили не только латыши или украинцы, но и другие зеки. Всем хотелось послушать песни, стихи, посмотреть танцы. На сцене артисты в нацио-

нальных костюмах, а не в зековских робах. Их встречали очень дружелюбно (не то что ораторов), преподносили цветы, благодарили.

Летом 1965 года к нам в лагерь приехала общественность одной из Прибалтийских республик; после беседы обещали концерт. Народу в клубе собралось много. Сначала, как обычно, выступил «представитель». Когда он кончил говорить, из зала послышались вопросы — это тоже обычно. Оратор не мог на них ответить, он был приперт к стенке — ведь зеки не стесняются и не боятся спрашивать о том, о чем не спрашивают на воле. Дискуссию, как обычно, прикрыли офицеры:

— Товарищ, не обращайтесь внимания на провокационные вопросы, у нас здесь провокаторов полно. — И зекам:— Кому-то, кажется, строгий режим в тягость? Здесь и особый близко!

И вдруг на сцену поднялся молодой прибалт-зек, бывший студент юридического факультета. В руках у него был плотно обернутый в бумагу букет. Видно, он хотел преподнести цветы своему земляку. Такого еще не бывало, цветы дарили артистам, лекторам же — никогда.

В зале наступила тишина. Парень обратился к лектору:

— Разрешите мне от имени всех земляков передать нашей родине цветы, которые растут здесь, вдали от нее.

Он говорил с акцентом, но по-русски, чтобы поняли все. Пока он произносил свою короткую речь, в зале нарастало возмущение. И вот уже со всех сторон неслось: «Подонки!», «Стучачи!»

Кипел от негодования и я. Зек тем временем уже закончил речь и протянул свой букет лектору. Тот взял его, и тогда парень сорвал бумагу... Букет был из колючей проволоки. В первый момент и в зале и на сцене все разинули рты и замерли. Лектор в растерянности топтался около стола президиума. Через минуту в зале началась буря. Таких аплодисментов, как тогда, я здесь ни раньше, ни позже не слышал. Хлопали буквально все, даже известные стучачи-эсвэпэшники в повязках.

Катэбист за столом опомнился. Он подбежал к лектору и выхватил у него букет. Но он и сам не знал, что с ним делать. Он сел на место и положил «цветы» перед собой на стол, потом сунул их вниз себе под ноги. Зал продолжал бушевать.

Парень, вручивший букет, спустился со сцены. К нему кинулись надзиратели, но зеки закричали еще громче. Начальник ПВЧ отдал распоряжение офицеру, тот подбежал к надзирателям, что-то сказал им, и они отошли от парня. Конечно, все мы понимали, что отступление начальства временное и вызвано только присутствием гостей.

Кое-как зал утихомирился.

Тут же поспешили объявить концерт.

После концерта артистам преподнесли цветы — на этот раз настоящие. Когда передавали букеты, зеки и артисты понимающе переглядывались и улыбались.

Вечером того парня забрали в карцер, а через пятнадцать суток перевели в БУР на камерный режим.

Через несколько дней после этого случая мы прочитали в газете Дубровлага «За отличный труд» о том, как «...в седьмом подразделении встреча с земляками прошла в теплой, дружеской обстановке».

### БОЛЬНИЦА (ТРЕТЬЕ ЛАГОТДЕЛЕНИЕ)

А тех, кого мастер заплочный калечит,  
Они лагают, штопают, лечат  
И шлют в застенки назад.

*Бертольт Брехт.*

17 сентября 1965 года часов в восемь утра всех нас, кого в этот день отправляли в больницу, собрали на вахте с вещами. Обходные листки (в них отмечено, что ты сдал все лагерное имущество — матрац, подушку, — рассчитался на работе) мы заполнили еще накануне. Собралось нас человек двадцать — кто мог, пришел на своих ногах, лежачих принесли на носилках. Носилки поставили прямо на землю в предзоннике. Ждем шмона. Вот надзиратели начали вызывать нас по одному на вахту. (Когда очередь доходит до лежачих, их вносят на вахту на носилках.) Всех без исключения догола раздевают, ос-

матривают, ощупывают, в барахле перещупывают каждый шов, отбирают деньги, колющие и режущие предметы, чай. Словом, все, как обычно. Ищут главным образом записки, письма — как бы зек другому зеку не передал весточку с оказией. Ведь переписка между заключенными строго запрещена. Обыскали одного — выводят его в предзонник, отделенный от зоны и от первого предзонника. Зовут следующего.

Пока обыскивают, да строят по пятеркам, да сверяют с личными делами, да пересчитывают — проходит часа два. Наконец повели: ходящих — в строю под конвоем, тех, кто не может идти, везут на подводах, тоже, конечно, под конвоем. Добрались до вокзала. Ждем поезда. Это тот же небольшой состав, который ходит от Потьмы до Барашева, — всего несколько вагонов, вагончик обычно в хвосте, так что посадка не с перрона, а прямо с земли. Нам-то, ходячим, еще ничего, а вот с носилками приходится помучиться: поднимать высоко, двери узкие, в коридорчике не развернешься. Носилки поворачивают то боком, то чуть ли не стоямя. Впрочем, у санитаров уже есть споровка, ведь возят часто. По вторникам и пятницам — этап на третий для политзаключенных по всей дороге, со всех лагерей; за бытовиками закреплены другие два дня. Надо отметить, что, хотя возят из лагеря в больницу каждую неделю, больных в лагере не убывает; одних язвенников, желудочников в каждой зоне чуть ли не половина, для всех в третьем лаготделении места не хватает. В третьем больных не вылечивают, а только обследуют, чуть-чуть поставят на ноги — и обратно в лагерь, на работу. А на их место везут новых. Так и идет нескончаемый круговорот.

В вагонзаке — даром что везут больных — давка, сесть негде. Только-только носилки установили, остальные приткнулись кто как сумел. Ничего, как-нибудь доедем, ехать всего часов около двух. На opravку не водят, говорят: ехать, мол, недолго, потерпите. А нас сигнали еще утром, так что терпеть не два часа, а с восьмью утра. И опять же больные. Но, хоть плачь, терпи.

На каждой станции подсаживают новых больных — и снова двери на замок.

Наконец приехали. Вот он, третий, — больничная зона. Такой же лагерь, как и все остальные: забор, колючка, вышки, несколько бараков.

От станции до вахты совсем близко, метров, может, сто. А все равно порядок есть порядок: начальник вагонзак сдает зеков начальнику конвоя, как и принял, по счету и по делам; конвой, проведя нас эти сто метров, сдает, опять же пересчитывая, сверяя зека с фотокарточкой в деле, надзирателю на вахте. Здесь снова шмон. Собирают всех на вахте в одной большой камере и перегоняют по одному в другую через коридор. А в коридоре сдают несколько надзирателей, велят раздеться догола, перещупывают каждую ниточку в вещах и каждое место на теле... Впрочем, вещи нам все равно на руки не дают — сдают в каптерку. Рассортируют по корпусам — кого в хирургический, кого в психиатрический, кого в терапевтический — и в корпусе выдадут полотенце, кальсоны, рубашку, тапочки. С собой можно взять зубную щетку, пасту, мыло, пару книжек, продукты, какие есть. В общем, похоже, что привезли в обычную вольную больницу. Вот разве пижаму здесь не дают, да еще первый «осмотр» ведут надзиратели, а не медики.

Я попал в седьмой корпус — терапевтический. Длинный барак, коридор во всю длину, по обе стороны коридора палаты коек на двенадцать — двадцать, кабинет врача, процедурный, раздаточная. Хозобслуга корпуса — санитары, раздатчики — живет здесь же. В палате чисто, койки стоят хоть и тесно, но не в два яруса. Белое постельное белье. Висят халаты — на палату штук пять-шесть, кому надо выйти в коридор, надевают, а по палате ходят в белье. Почти как на свободе. Разница состоит в том, что из обычной больницы все рвутся поскорее выписаться, поскорее попасть домой, а здесь, наоборот, стремятся полежать подольше. Отсюда дорога обратно не домой, а в зону, к тем же начальникам, воспитателям, надзирателям. И опять все пойдет, как и прежде: разводы, шмоны, подневольная, постыдная работа...

Да еще в больнице на воле ждешь приемных часов, когда к тебе приходят родные, приносят что-нибудь вкусное. Здесь, в лагерной больнице, никто тебя не навестит, лагерные друзья разве что привет передадут с очередным этапом.

И никаких передач, если только тебе не полагается очередная посылка (и если ты притом не лишен права получить ее). Болен или здоров — ты зек и никаких дополнительных льгот не жди, дай Бог, чтобы законных не лишили...

Я чувствовал, что превращаюсь в инвалида, что просто не в состоянии оставаться в бригаде; день ли, ночь ли — велят идти на разгрузку, ворочать бревна. Работенка та-

кая, что и здоровому спину ломит. А тут еще осень идет, за ней зима — дожди, холодный ветер, потом морозы. На работе взмокнешь, на вахте прохватит тебя осенним ветром — к весне попадешь если не в покойники, так в инвалиды. Ребята меня уговорили проситься в больницу и постараться там прокантоваться подольше.

На третьем ушник, почти не глядя, прописал мне какие-то капли в ухо. Лечение выписали на пять дней. Значит, через неделю в очередной этапный день снова в зону, в родимую аварийную бригаду.

К счастью, в хирургическом корпусе встретился мне знакомый из хозобслуги — старый санитар Николай Сенник. Да и фельдшер-зек тоже меня немного знал. Они посоветовали мне проситься в санитары: все-таки если что, так врачи близко, будут подлечивать помаленьку. Да и работа хоть и не из легких, но в помещении, под крышей. Вообще-то зеки в санитары идут неохотно, только при крайней необходимости или ради хорошей характеристики. Дело в том, что больничная зона никакого дохода не приносит, один чистый расход, вот начальство и старается сократить эти расходы насколько возможно. На целый корпус — два-три санитара. А работа — и печи топить, и мыть, и чистить, и халаты врачам стирать, и раздавать пищу, и посуду мыть, и за лежачими больными ходить. К тому же с санитаря-зека спрашивают не так, как в вольной больнице: на воле, если санитарку будут чересчур донимать требованиями, она возьмет расчет и уйдет — найди-ка другую на ее место при мизерной-то зарплате. Нигде на воле я не видел в больницах такой чистоты, как в больницах лагерных. У нас врач на обходе белой ваткой водит и по стенам и по стеклам, по каждому листику цветка — не дай Бог обнаружит пыль! Так что санитару приходится целый день крутиться. 50 процентов зарплаты здесь, как и везде, отчисляют; после вычетов за питание и одежду ничего не остается, даже на ларек не хватает. Вот и идут в санитары в основном зеки вроде меня, рассчитывающие подлечиться.

Я решил проситься в санитары в хирургический корпус — для хозобслуги здесь были маленькие комнатухи на двоих. Это огромное благо — после барака пожить почти в отдельной комнате (правда, жил я там «нелегально», вся хозобслуга больничной зоны помещалась в особом бараке, и, когда являлась комиссия, всех нас, кто работал в хирургическом корпусе, спешно «эвакуировали» из наших комнатенок).

Коля Сенник рекомендовал меня сестре-хозяйке. Та переговорила с главврачом, главврач ходатайствовал перед начальником режима — и я стал санитаром. Советы друзей оказались правильными: меня продолжали лечить и даже назначили какие-то уколы. Работа, хоть ее и хватало, меня не тяготила — моя мать в свое время работала уборщицей, и я еще мальчишкой привык ей помогать. Что было нелегко, так это топить печи. Топор-то в зоне держать не полагается! А дрова привозили такие, что в печку они не лезли. Хоть зубами их перегрызай. Конечно, как и всегда, выход в конце концов нашлся, добыл я себе топор. Но работать с ним во дворе на виду нельзя. Приходилось залезать под крыльцо и, согнувшись, чуть не на коленях рубить полешки украдкой — как будто я для себя что-то выгадывал, а не для больницы старался.

По штату у нас в хирургическом полагалось два санитара. Меня взяли уже сверх штата, а потом пришлось взять еще двоих, один разделил обязанности с Колей Сенником, другой — со мной. По списку мы числились больными, так что зарплату нам вообще не начисляли. Работали мы только за лечение и питание получали как больные.

В нашем корпусе были и бытовики, и зеки со «спеца», и даже женщины из женской больничной зоны приводили к нам на операцию — их операционная еще ремонтировалась.

Женская больничная зона находится за бытовой. Как я уже говорил, операционная там одно время не работала, и женщин оперировали у нас. За лежачими больными посылали обычно Сенника и меня, после операции относили их тоже мы. В операционный день отправлялись мы по вызову под конвоем на вахту женской зоны, укладывали больную на носилки и несли ее прямо в корпус. Здесь в маленьком коридорчике перед операционной ставили носилки, раздевали больную до рубашки и уже на руках несли ее в операционную. А за дверьми коридорчика толпились выздоравливающие, стремящиеся хоть бы поглядеть на женщину, к тому же почти раздетую. Не важно, что она больная и не может даже ходить.

После операции больная еще под наркозом, а мы уже снимаем ее со стола, кладем на носилки, укутываем потеплее — на дворе зима, мороз — и несем к вахте. Здесь ставим носилки, начинаем просить дежурного, чтобы дал поскорее конвой, а он не торо-

пится. Мимо стоящих прямо на земле носилок идут офицеры, врачи, и никому нет никакого дела до нас и до нашей больной, каждый вольный здесь давно привык к мысли, что зек не человек. Мы злимся, кидаемся к одному, к другому:

— У нас послеоперационная больная, наркоз скоро кончится, она станет метаться, раскроется, простынет! Поторопите конвой!

Офицеры отвечают:

— Мы не врачи, наше дело вас караулить, а остальное нас не касается.

Мимо идет пожилая представительная дама в светло-коричневом пальто с меховым воротником — начальница больницы, майор медицинской службы Шимканис. Даже не взглянув в сторону носилок, она оскорбленно отвечает нам на все наши призывы и обращения:

— Мы врачи, наше дело лечить, делать операции. К конвою мы отношения не имеем. Что вы от меня хотите?

Посадили в лагерь здорового человека, а вернули инвалидом — разве майору Петрушевскому или майору Шимканис за это когда-нибудь придется держать ответ? Перед кем?..

Вот стоим, ждем, ждем, наконец выползает конвой, и нас ведут на вахту в женскую зону. Идем медленно, боимся упасть — ботинки скользят по смерзшемуся снегу, а ведь на носилках тяжело больной человек. Пока дойдем, несколько раз останавливаемся, отдыхаем. Носилки приходится ставить прямо на снег. На вахте нас принимают две надзирательницы — толстые грубые бабы в шинелях, в погонах с лычками, — ведут в корпус. Здесь ждем в коридоре, пока санитарки снимут нашу больную и освободят носилки. Тоже смешно: одно управление, по сути, одна больничная зона, только разделенная на политическую и бытовую, но в каждом отделении свое имущество, свои носилки, и ради того, чтобы за них отчитаться, нам разрешают задержаться среди женщин-заключенных. Хотя всякое общение запрещено и преследуется, но когда речь идет даже о таком ничтожном имуществе, как носилки, так и на правила наплевать!

Пока дожидаемся носилок, нас в коридоре обступают женщины-заключенные, больные и санитарки. Они рады хоть поговорить, хоть поглядеть на мужчину — не охранника, не надзирателя. Среди них большинство бытовички, и чего только не наслушаешься от них! У некоторых есть друзья в бытовых лагерях — эти просят передать своим знакомым приветы, записочки-ксивы — к нам ведь везут больных со всего Дубровлага. А мы тоже оглядываемся вокруг, как будто мы в другом мире, — не замечаем ни истощенности, ни убогой одежды окружающих нас женщин. Вернее замечаем, жалеем их очень, но, несмотря на несчастный, убогий вид, они кажутся нам такими привлекательными! В коридор выходит дверь в небольшую палату, откуда несется писк, похожий на мяуканье. Заглядываем туда. Вдоль стен в два ряда стоят железные койки, такие же, как у нас, поперек коек по несколько на каждой лежат сверточки. Новорожденные.

— Чья это? — спрашиваем мы.

— Дети ГУЛАГа! — отвечает бойкая молоденькая зечка.

Среди женщин немало таких, у которых дети родились здесь, в лагере. «Моему Валерию уже годик!» «А моей Нинке пять!» У кого нет родных, которые взяли бы детишек на волю, у тех дети растут и воспитываются в лагерных яслях, в детдоме. Мамка в зоне за проволокой, ребенок сначала при ней, а потом в спецдетдоме — тоже не на свободе. Так и растут...

Иногда женщины на операцию приходят без санитаров, но под конвоем, конечно. Они и чувствуют себя неплохо, и операция им предстоит какая-нибудь несложная. Приводят к нам в корпус сразу пять — семь женщин, ведут в процедурную, здесь они раздеваются (тоже до рубашки) и ждут, когда их вызовут на операцию. В коридоре толпятся выздоравливающие мужчины. Политические ведут себя поскромнее, а бытовички прямо кидаются на баб; да и среди женщин разные попадают. Какой-нибудь бытовик начинает просить Колю Сеника: «Слушай, ты выведи ее в уборную, а я уж там буду Ну выведи хоть минут на десять, а?»

Наш хирургический корпус был хорош еще и тем, что врачи здесь работали молодые, еще не обтершиеся в этой системе, еще не привыкшие и не приспособившиеся к ней. Кончили институты, приехали по распределению. От них я не раз слышал: «Скорей бы отработать эти три года и уехать отсюда куда угодно, хоть к черту на рога!»

И это несмотря на то, что практика у них на третьем такая, о какой начинающий врач и мечтать не может: операции любой сложности, травмы, даже пулевые ранения.

Молодые врачи рвутся с этой работы главным образом потому, что они ничем не могут помочь своим больным. Видят же: и несправедливость повсеместно, и голод. Они проходят здесь школу бездушия, школу безразличия — делай свое прямое дело и ни во что не вмешивайся. Врачу, конечно, трудно совместить этот принцип с принципом своей профессии. Но некоторые привыкают, остаются здесь навсегда, становятся такими же, как начальство, как офицеры. Таких немало, особенно в самих зонах.

Наши хирурги были совсем иными — и начальник отделения Заборовский и врачи Кабиров и Соколова. Они и с больными беседовали и сквозь пальцы смотрели на то, что вечерами мы, санитары, собирались в процедурной. А сколько раз наши врачи ходили к начальнику больницы, добиваясь, чтобы нам выписывали больше дров! Соколова, так та в самые морозы не велела мне топить ее кабинет, сидела в шубе — лишь бы больше дров осталось на палаты и больным было теплее. По сути, это и все, что могли сделать для нас врачи, помимо, конечно, самого лечения. И еще, у них совершенно не было характерного высокомерия вольных по отношению к зекам.

### ДУБРОВЛАГ

Суд окончен давно, и готовы бумаги.  
Значит, нам суждено жить с тобой в Дубровлаге,  
По сигналу вставать, дожидаться отбоя...  
Дни неволи считать, дни неволи считать  
суждено нам с тобою.

Здесь и днем и в ночи мысли голову кружат.  
Стиснув зубы, молчи, чтобы не было хуже,  
И не мучай души сожаленьем напрасным —  
Это строгий режим, это строгий режим  
для особо опасных...

Здесь порою часы, как недели, проходят,  
Здесь свирепые псы, автоматы на взводе,  
И колючкой не зря огорожены зоны —  
Это спецлагеря, это спецлагеря  
для политзаключенных.

Не жалеешь ты, Русь, арестантской баланды!  
Декабристов союз угодил в арестанты.  
Чернышевский был там и «Народная воля»,  
А теперь вот и нам, а теперь вот и нам  
эта выпала доля.

*В. Ронкин.*

Я вернулся из больничной зоны в лагерь, но уже не на «семерку», а на одиннадцатый. Здесь оказалось очень много зеков с седьмого, а больше всего меня обрадовала встреча с друзьями. Как повезло, что я попал туда же, где были Валерий, Коля Юсупов, Буров и другие мои старые знакомые! Лагерь тем еще страшен, что то и дело рвутся тесные дружеские связи. Если только начальство узнаёт о дружбе зеков, оно поскорее их разводит по разным зонам. И тогда даже письмами не обменяешься, ведь переписка между зеками запрещена. Но вот нам повезло, мы снова оказались вместе.

Одиннадцатый был набит битком, первое время жили даже на чердаках — мест в бараках не хватало. Но друзья помогли мне устроиться, да и сам я был не новичок в лагере. Меня зачислили снова в аварийную бригаду; я и не пытался доказывать, что мне с моим здоровьем и слухом невозможно работать на разгрузке, — доказывай не доказывай, все равно бесполезно. Начальству виднее. На следующий день я уже должен был выйти на работу.

Мы сошлись с Валерием и Колей, чтобы обменяться новостями. Что пишут родные, как живут? Мой срок кончался через восемь месяцев, но с первого дня моего пребывания на одиннадцатом мы с друзьями обсуждали, как я выйду, как буду устраиваться на воле. Тоже проблема не из легких: как будет с пропиской, с работой? Из-за потери слуха я не смогу больше никогда работать по своей специальности — буровым мастером. А в лагере я не мог получить никакой новой профессии. Видно, теперь и на воле придется идти в грузчики, просто нет другого выхода. Но как быть со здоровьем? Валерий настаивал, чтобы я первым делом занялся лечением. Ну ладно, впереди еще восемь месяцев, успею все обдумать, да и вообще там видно будет.



Мы поговорили о событии, которое занимало всех зеков-политических,— о процессе над писателями Синявским и Даниэлем. Первые сведения о нем застали меня еще на третьем, а теперь суд кончился, значит, скоро они будут в Мордовии. Один из них наверняка попадет к нам на одиннадцатый: подельников обязательно разделяют, сажают в разные зоны, применяют к ним разную тактику воздействия. Пока что мы не знали ни одного из них.

В лагерях зеки много спорили об этом процессе и о самих писателях. Вначале после первых газетных статей, еще до суда, все единодушно решили, что они либо подонки и трусы, либо провокаторы. Ведь это неслыханное дело — открытый политический процесс, открытый суд по 70-й статье! Мы тогда еще не знали, что уже весь мир говорил об их аресте и только поэтому наши не могли о нем умолчать. Мы думали, что эти двое будут плакать и каяться — продались за доллары и работали по заданию Запада. Сколько в зоне таких, как они, но никого не судили открыто. Мы ожидали очередной суд-спектакль, где подсудимые послушно сыграют свою роль.

Но вот появились первые статьи «Из зала суда». Подсудимые не признают свою вину! Они не каются, не умоляют простить их, они спорят с судом, отстаивая свое право на свободу слова. Это было очевидно даже из наших газет, так же ясно было видно, что в статьях искажают суть дела и ход процесса. Но последнее мало волновало нас, скоро все услышим от самих подсудимых.

Приговор мы определили сразу, с первого дня: Синявскому дадут семь, Даниэлю — пять. Как-никак большинство из нас люди опытные. Но какой бы ни был приговор, КГБ потерпел на этот раз сокрушительное поражение. В этом все мы были единодушны. И дело даже не в честном поведении подсудимых. Главное, теперь мир узнал, что у нас есть политические заключенные. Хрущев во всеуслышание заявлял, что политических у нас нет, что за убеждения у нас не сажают,— куда же теперь денут этих двоих? В отдельный лагерь, что ли?

Мы с Валерием и Колей поговорили об этом процессе: что думают на одиннадцатом? а что на третьем? Решили помочь на первых порах тому из двух осужденных, кто попадет к нам. А не мы, так другие помогут, люди найдутся. Молодежь в особенности заранее относилась к этим писателям с уважением.

В первый же день состоялось знакомство с отрядным капитаном Усовым:

— Ну, Марченко, надеюсь, вы одумались и стали на путь исправления. Вступайте в СВП, помогайте администрации, и мы поможем вам получить посылку, свидание с родными.

Я ответил, что почти весь срок отсидел и уж как-нибудь досижу оставшиеся восемь месяцев без посылок. Зато на воле смогу честно смотреть в глаза любому из нынешних своих товарищей.

— Марченко, у вас неправильное представление о чести и совести. Как вы будете жить на свободе с вашими взглядами?

— Да уж как-нибудь буду!

Назавтра отрядный снова вызвал меня, чтобы прочитать мораль о необходимости посещать политзанятия. Под конец он сказал:

— Вот вы, молодежь, всем недовольны, все вам не так. Вы бы здесь потрудились — так нет, за границу сбежать хотели.

— Ну хотел бежать. А тех, кто открыто просит выезда, вы ведь не пускаете!

— Еще чего!

— А зачем тогда СССР подписал Декларацию прав человека? Там сказано, что каждый имеет право жить, где хочет, выбирать любую страну, где ему больше нравится. Подписали, а выполнять и не думаем...

— Марченко, откуда вы знаете, что написано в Декларации? Где вы могли ее прочесть? Кто вам давал? Кто вам рассказывал, что в ней написано?

— Она опубликована в «Курьере ЮНЕСКО», и, хоть у нас мало кто добирается до этого журнала, вы, гражданин начальник, могли бы его достать, если захотели бы. Может, вы мне объясните, кстати, почему у нас в печати нигде ничего нет о содержании этой Декларации?

— Не знаю, я не в МИДе работаю, а в МВД. И вы зря думаете, что в Америке рабочим лучше живется, чем нашим. Не от хорошей жизни бастуют.

— А наши не бастуют, потому что хорошо живут?

— Конечно, тут и спорить не о чем.

Тут я привел Усову сравнение заработной платы наших и американских рабочих. Сколько у нас зарабатывают на строительстве, он знает, сам наряды подписывает — если без туфты, то рублей 70 начислят в месяц. А в Америке около 500 долларов.

— Откуда, Марченко, вам это известно? Кто вам рассказывал? Я, например, нигде об этом не читал.

— А я читал Можете и вы прочесть в журнале «Мировая экономика и международные отношения».

— Но ведь доллары дешевле рубля?

— По курсу дешевле. А по реальной стоимости? При зарботке в 500 долларов американский рабочий может купить такой телевизор, как наш «Радий-В», за 99 долларов. На одну зарплату пять телевизоров! А сколько телевизоров по 360 рубликов можно у нас купить на одну рабочую зарплату?

— Марченко, вы начитались буржуазной пропаганды и теперь заблуждаетесь!

— Где уж нам! Ваша лагерная цензура не то что буржуазную пропаганду, а от родной матери письмо конфискует.

— Вы мне, Марченко, мораль не читайте. Не вы мой воспитатель, а я — ваш.

— Тогда вы, мой воспитатель (Усова тут перекосило), убедите меня, что я заблуждаюсь. Убедите меня, что наш рабочий живет лучше американского и потому не бастует,— вы же с этого начали.

— По-вашему, у нас рабочие мало зарабатывают, плохо живут. Ладно. А этим двоим,— он показал на старую газету со статьей о Синявском и Даниэле,— им чего не хватало? Может, тоже мало зарабатывали? Небось у каждого по машине, как у министра! Но им все мало — продались за доллары и франки, работали на ЦРУ. Убеждения у них! Знаем таких.

— Гражданин начальник! Вам известно об их связи с ЦРУ? В газетах этого не было.

— Пока не было. Но будет! Не может не быть.

— Ну увидим. И с ними познакомимся. Ведь их к нам привезут?

— Тут и знать нечего, я вам точно говорю, продались. А вы, Марченко, подумайте о себе. Одумайтесь. Ведь вас отпускать нельзя с вашими представлениями о советской действительности.

На том разговор и кончился. Такие беседы отрядный провел и с Валерием, и с Колей, и со многими другими зеками.

Дня через два после этих накаток прихожу я с работы в зону. Заглянул в секцию — Валерки нет. Я пошел в раздевалку переодеться. Туда заглянул наш Ильич — Петр Ильич Изотов,— увидел меня и кричит:

— Привезли, привезли!

— Кого?

— Писателя привезли!

— Ну? И где он?

— К нам в бригаду зачислили, в твоей секции будет жить. Валерка повел его в столовую.

Я не спросил, которого из двоих привезли. Хорошо, что с ним Валерка, он все сумеет рассказать и показать.

Пока я переодевался, Валерка вернулся, а с ним парень лет тридцати пяти — сорока. Новичок, во всем своем еще, но видно — готовился к лагерю: стеганая телогрейка, сапоги, рыжая меховая ушанка. Телогрейка нараспашку, а под ней толстый свитер. В общем, вид его показался мне смешным: телогрейка без воротника не вязалась с добротной шапкой. Ноги он переставлял косолапо, как медведь, сильно сутулился, держался немного смущенно и растерянно. Это был Юлий Даниэль. Мы познакомились. Да еще при разговоре он наставлял на меня правое ухо, просил говорить громче. А сам говорил тихо. Я тоже поворачивался к нему правым ухом и отгибал его ладонью. Тоже глухой, как и я. Это нас обоих рассмешило.

Подожли еще наши бригадники, окружили новичка, стали расспрашивать про волю. То и дело в наш барак забегали поглазеть на Даниэля — знаменитость! Вопросы сыпались на него со всех сторон. Мы узнали, что процесс был только по названию открытый, а пускали туда по особым пропускам. Из близких в зале Юлий увидел только свою жену и жену Синявского.

— Я уверен, что друзья пришли бы, но их не пустили,— сказал он.

Большинство в зале составляли кагэбэшники, но были и писатели. Некоторых

Юлий знал по портретам, а кое-кого и в лицо. Одни опускали глаза, отворачивались; двое или трое сочувственно кивнули ему.

— Ну а как ты думаешь, почему такая гласность?

Оказывается, Юлий думал так же, как кое-кто из нас, наверное, на Западе подняли шум. Сидя в следственном изоляторе, он, конечно, ничего не знал, но кое-что понял со слов судьи и из допроса свидетелей.

— А в изоляторе был в своей одежде или дали тюремную?

— В своей, конечно. И под следствием, и на суде.

— А в камере сидел один?

— Только первые несколько дней. А остальное время вдвоем. Хороший сосед попался, мы с ним партий сто в шахматы сыграли...

Ишь ты, как Пауэрс какой-нибудь! Нас всех обряжали в тюремное с первого дня ареста. Меня все пять месяцев в одиночке держали, других тоже. А эти — ну да, их готовили для «открытого процесса».

— А что вы с Синявским писали?

— А машина у тебя есть? Какой марки — наша или заграничная?

— Той же марки, что и твоя.

Через комнату, где мы разговаривали, прошел капитан Усов. На ходу спросил:

— Новенький? Шапку и свитер сегодня же сдать в каптерку — не положено.

Юлий стал расспрашивать нас о работе. Его подбадривали, как и других новичков: — Работа тяжелая, но не робей, привыкнешь. Не ты один, многие раньше ничего, кроме авторучки, в руках не держали, теперь лопатой орудуешь — будь здоров. Вытянешь!

Больше, чем о себе, Юлий говорил об Андрее Синявском:

— Вот это человек! И писатель, каких сейчас в России, может, один или два, не больше.

Он очень беспокоился о друге: как-то он устроился в лагере, на какую работу попадет, не было бы ему слишком тяжело. Это нам всем понравилось.

Хотя Даниэль обязан был выходить на работу завтра же, бригада договорилась в первые три дня не брать его. Пусть осмотрится в зоне. К тому же мы знали, что у него перебита и неправильно срослась правая рука — фронтовое ранение. Надо же, нарочно поставили на самую каторжную работу в лагере! Как он сможет со своей искалеченной рукой поднимать бревна, кидать уголь? У начальства на то и был расчет: оглушить его этим адом, чтобы он не выдержал и попросился на более легкую работу. А тогда его голыми руками можно брать: напишет и в лагерную газету и по радио выступит, — а его за это поставят библиотекарем, врачи дадут третью категорию труда. Не через неделю, так через месяц все равно этот интеллигент сломается. На суде не казаясь — здесь покается. Узнает, почем фунт лиха.

Мы советовали Юлию терпеть, как ему ни будет тяжело, ни о чем не просить начальство. Да он и сам не собирался, готов был к трудностям.

Далеко не все зеки относились к Даниэлю доброжелательно. Некоторые настороженно ждали, как он поведет себя в лагере. А некоторые злорадствовали:

— Пусть-ка погнется вместе с нами! Знаем мы этих писателей, все они продажные, сами живут в тепле и сытости — вот и пишут про нашу райскую жизнь. Эти двое попались, так пусть здесь испугают свою подлинную вину.

Зеки очень злы на писателей. Ведь сколько раз читали и в газетах и в книгах о «перековке преступников честным трудом», о суровом, но справедливом начальнике-воспитателе. И ни слова про голод, про произвол, доводящий зеков до самоубийства! Один Солженицын осмелился написать правду, да и то не всю. Остальные подонки, и из-за них, сволочей, режим в 1961 году усилили. Расписали писатели лагеря — спасибо им!

— Давай их, начальник, к нам в аварийку, мы им самые большие лопаты под уголек! — кричали наши уголовники Футман и Воркута еще до прибытия Юлия.

— Да, как же, станет Даниэль у станка горбить или лопатой ворочат! — говорили другие. — Он и здесь пристроится на тепленькое местечко, евреи везде устраиваются.

(Мы уже знали из газет, что Даниэль еврей. В лагере, как и на воле, хватает антисемитов, хотя и здесь одни еврей-зеки вкальвают наравне со всеми а другие ищут непьющих работенки, не отличаясь, впрочем, этим от зеков иных национальностей.)

Начальство своими «беседами» подогревало подобные настроения, зная, что большинство зеков хорошо относятся к Синявскому и Даниэлю за их честную пози-

цию на суде. Юлия сунули в аварийку еще и для того, чтобы скомпрометировать в глазах рабочих, чтобы он своей физической слабостью сам подорвал свой авторитет.

— Держись, Юлька, держись из последних сил,— говорил ему Валерка.— Покажи всем, что тебя сломить не удалось.

Отношение Футмана и даже Воркуты к Даниэлю переменилось в первые же дни. То ли они переняли уважение от других, а скорее всего он сам расположил их к себе. Он ведь был совсем простым парнем, слава и знаменитость ничуть не вскружили ему голову. Он считал, что просто случайно стал известным, ему повезло больше, чем другим, таким же, как он. И еще он оказался очень участливым и никогда не оставался равнодушным к чужим бедам. Скоро все убедились, что Юлька не ищет себе легкой участи,— на разгрузке он вкалывал как мог, конечно, делая меньше других, где ему было тягаться с такими, как Коля Юсупов. А уставал, намучивался он больше всех. Сказывались и отвычка от тяжелого труда — с войны после ранения ему не приходилось работать физически — и больная рука.

Очень скоро у него начались боли в плече, там, где была раздроблена кость. Но Юлька и тут не пошел на поклон к начальству. Тогда мы в бригаде решили подобрать ему работу по силам. Такая работа у нас была — уборка лесобиржи. После разгрузки леса остается много мусора: всякие доски, палки, мелкие бревна, растяжки, которыми крепят лес в вагонах. Дела хватает на всю смену, но не требуется большой физической силы. Самое большое — это приходится раскатывать крючком бревна, да и то небольшие. И по ночам не поднимают, отработал смену — и спи. Вот мы и настояли, чтобы бригадир поставил Юльку на эту работу. Проходил он в уборщиках всего несколько дней. Об этом узнало начальство, и лагерный КГБ сразу приказал перевести его опять на разгрузку. И все-таки из замысла начальства ничего не получилось. Даниэль не обращался с просьбой об облегчении его участи, а все наши зеки помогали ему как могли. Коля Юсупов, так тот просил бригадира в Юлькину очередь ставить его, Колю, но тот не решался — боялся начальства. На разгрузке угля Футман, Юсупов, Валерий, закончив свою работу, всегда приходили на помощь Юльке.

Наших бригадников стали вызывать в КГБ.

— Кто помогает Даниэлю работать?

— Все помогаем!

— Почему? Он что, сам не может? Отлынивает? Может, вы хотите за него и срок отбывать?

Один языкастый парень нашелся:

— А в моральном кодексе у нас что написано? Товарищеская взаимопомощь, человек человеку друг, товарищ и брат.

С этим кагэбисты ничего не могли поделать. Тогда они убрали Даниэля из нашей бригады, перевели в машинный цех, будто пошли ему навстречу, раз у него рука искалечена. Но ведь она покалечена не вчера, об этом знали с самого начала, а все-таки послали его на аварийку, заставили работать на разгрузке. Мы все понимали: дело не в доброте начальства. Просто не понравилось, что зеки помогали Даниэлю. Да и какая там доброта? В машинном цехе и у здорового голова гудит от рева станков. А у Даниэля уши больные, и начальству отлично это известно, так же как и про его руку. Кстати, на руку у станка тоже приходится порядочная нагрузка. Не такая, конечно, как на угле, но все-таки... Помочь здесь уже никто не может, у каждого своя норма.

Юлька продолжал дружить с нами. Хоть мы теперь жили в разных бараках, но по-прежнему держались вместе, кто что добудет — делили на всех. Теперь к нам пристроился и Футман. Он к Юльке больше всех привязался, опекал его всячески, даже ревновал к другим зекам. Сколько раз повторялась такая сцена: Юлька, лежа на своей верхней койке, читает, или пишет письмо, или сочиняет стихи. Кто-нибудь из нашей компании входит:

— А где Даниэль?

К нему то и дело приходили спросить что-нибудь, рассказать о своей беде, просто потрепаться. Ему и отдохнуть не давали в первое время. Футман тут как тут:

— Кто потревожит Даниэля, будет иметь дело со мной!

Охотников на это не находилось.

Вообще этот парень, подружившись с Юлькой, здорово переменился. Был из уголовников уголовник — вечный зек, что называется. В политику он влип, как и другие уголовники. Он на все и на всех плевал, всех крыл матом — и начальство и зе-

ков, ему море было по колено. При случае он, по-моему, не задумался бы и ножом пырнуть. Он и не собирался жить на воле. Теперь Футман стал куда спокойнее, стал много читать, задумывался о своем будущем. Он, может, впервые в жизни почувствовал к себе человеческое отношение. Начальству это очень не понравилось. Они вызывали то Юльку, то Футмана, пытались настроить их друг против друга, рассказывая каждому о другом всякие гадости. А когда им не удалось разбить эту дружбу, они перевели Даниэля в другой лагерь. Это случилось, когда я уже освободился.

Начальство раздражала не только дружба Даниэля с нами, с Футманом. Его полюбили, пожалуй, все в лагере. Он невольно стал центром, вокруг которого объединялись разрозненные компании и землячества. То литовцы его в свой кружок зовут послушать песни, то ленинградская молодежь на чашку кофе, то украинцы почитать стихи.

Даниэль рассказывал нам, как ехал в лагерь:

— Куда же, думаю, меня повезут? Как в песне поется: «Куда, куда меня пошлют?» С кем сидеть придется? Политических-то всех десять лет назад выпустили. Слышал я, правда, что одного киевского еврея посадили то ли за связь с Израилем, то ли еще за что-то в этом роде. Он да мы с Андриюшкой — трое; ну, может, еще десяток-другой наберется вроде того еврея. Наверное, посадят с уголовниками. Я уже прикидывал, как я с ними полажу. Вспоминал фронт — у нас в части были уголовники. А в Рузевке-то, говорят, — тысячи политических. Здорово нас облавнивают, ничего не скажешь.

А еще смеху было, когда мы узнали, что он с собой взял.

— Жена, — говорит, — перед отправкой вещей нанесла вагон и маленькую тележку. Теплое, видно, все дружка собрали. У кого что было. Меховые лагерные рукавицы — тестя; телогрейку, помню, ее товарищ надевал на обмеры; теплое белье — его у меня сроду не бывало. Ну и мое кое-что: свитер, шапка и единственный костюм, белая рубашка. Да, валенки новые передала, сапоги вот. Куда мне столько? Я немного теплого отобрал, а еще взял костюм, ботинки, рубашку. В прежние лагерные времена зеки в своем ходили. А парадная одежда, может, пригодится в самодеятельности выступать, на вечере стихи прочесть. А тут смотрю, полицаи на сцене поют «Партия наш рулевой». И все как один в робах...

Мы хохотали, и Юлька вместе с нами. Теперь он лихо носил лагерную кубинку, прикрывая ею бритую голову.

Начальство стало донимать его не мытьем, так катаньем. В июне 1966 года ему дали пятнадцать суток за «симуляцию и невыполнение нормы». И зеки и администрация знали, что у него нагноилась старая рана, под гнойником оказался обломок кости. Врач не дал ему освобождения, и тогда Юлька не вышел на работу, вот и угодил в карцер, отсидел пятнадцать суток. Вечером вышел, а утром новое постановление — еще десять суток, и опять все знают, что ни за что, просто допечь хотят. Некоторые зеки протестовали по этому поводу. Я знаю, что, например, заключенный Белов написал протесты в ЦК и в Президиум Верховного Совета, требовал прекратить травлю политзаключенного Даниэля и оказать ему медицинскую помощь. Толку от этих протестов, конечно, не было, как и в других подобных случаях. Его продолжали донимать до самого моего освобождения: ни разу не дали полного свидания с женой, даже папиросы не разрешали взять со свидания. Но все это делалось по инструкции, так что и не поспоришь.

Нам всем было приятно видеть, что Юльку не удалось согнуть.

У нас на одиннадцатом, как и в других больших зонах, имелась своя санчасть: кабинет врача, аптека, лаборатория. Заболел — можешь обратиться к врачу. Вначале нас было до четырех тысяч зеков, а прием вела одна врачиха. Если она по болезни или еще почему-либо не выходила на работу, больных принимал муж начальницы санчасти, хирург местной вольной больницы. При санчасти находился стационар на двадцать пять коек. Коек восемнадцать из них были постоянно заняты одними и теми же неподвижными паралитиками (теперь таких не активируют, они так и умирают в зоне, зеками). Остальные койки обычно пустовали. Чтобы попасть в стационар, надо, чтобы тебя чуть ли не без сознания принесли туда на носилках. Так оказалось там и я.

Числа 17 марта нам поставили под разгрузку три вагона березового кряжа — полные вагоны толстых полутораметровых бревен. Выгружали вручную; кран, как обыч-

но, простаивал. Бревна мокрые — сверху дождь со снегом. Кончили работу, постояли еще около часу на ветру у вахты — ждали конвой. Я продрог до такой степени, что и на койке под одеялом не мог согреться, меня всю ночь трясло. Ночью подали еще два вагона угля и три вагона такого же кряжа. Бригадир стал меня поднимать, а я не могу встать. Валерий говорит:

— Не трогай его, он болен, не видишь?

Бригадир оставил меня в покое, но я знал, что утром мне придется объясняться с отрядным, и вполне возможно, что я уже заработал карцер.

Еле дождался утра, чтобы пойти в санчасть. Голову просто разламывало. Попытался подняться с койки, но голова закружилась, и меня вырвало. Я снова лег, авось пройдет, тогда и двинусь. Но с каждой минутой становилось все хуже. Я уже не мог и пошевелить головой. Сразу сильное головокружение и рвота. Футман побежал в санчасть и привел нашу врачиху. Она осмотрела меня и велела Футману и Валерию нести в больницу.

В этот день нятку меня не смотрел. На другой день обход делал хирург из вольной больницы:

— Что болит?

Я даже говорил с трудом. Фельдшер-зек объяснил, что меня принесли с головокружением и рвотой. А когда врач ушел, фельдшер сказал, что вызовут ушника из третьего лаготделения, а этот доктор лечить не может, не его специальность. Еще через два дня на обходе хирург повторил, что нужен ушник, что он обещал приехать, как только будет свободное время.

Наконец на шестой или седьмой день приехал ушник, тот самый, который смотрел меня на третьем. Он держался со мной по-приятельски, расспросил, прописал какие-то уколы. Я спросил его:

— Доктор, что это со мной?

— Ничего страшного, полежите немного, все пройдет.

Вечером фельдшер пришел делать укол. Оказывается, ушник прописал уколы пеницилина; я вспомнил, что ведь в свое время он говорил мне, что на меня пенициллин не действует.

Три дня меня кололи, а лучше не становилось. Все это время я не мог ничего есть, мутило от одного взгляда на пищу. Выплюю за весь день несколько глотков больничного компота — и все. А паек отдавал соседу по палате.

На четвертый день после посещения ушника у меня поднялась температура — 39,8. На следующем обходе фельдшер сказал об этом хирургу, и тот отменил уколы, раз они все равно не помогают. Хирург попросил, чтобы еще раз вызвали ушника, но его все не было, а потом сказали, что и вовсе не будет. Он уехал на четыре месяца усовершенствоваться.

Так я и валялся на больничной койке дней двадцать, и все это время мне помогал только сосед по палате Рафалович, подавая пить, меняя на голове холодные компрессы. Мне было так плохо, что я был уверен: здесь я подожду.

Дней через двадцать мне стало легче, я постепенно начал приходить в себя: сперва стал поворачиваться на койке без головокружения и рвоты, потом подниматься и даже ходить, держась за стенку. Только на пищу я по-прежнему не мог и смотреть. Наконец я мог выбраться на улицу. Была уже середина апреля, тепло, солнечно. Валерий притащил ко мне какого-то врача-зека — он на воле был врач, а здесь рабочий, строитель. Он меня расспросил обо всем и поразился:

— Ну и ну! Теперь сто лет будешь жить, раз сейчас не умер. У тебя ведь был менингит!

Температура у меня упала, и я, хоть и нетвердо, уже держался на ногах. Теперь на обходе хирург смотрел на меня с подозрением и выговаривал:

— Марченко, температуры у вас уже нет, пора вас выписывать в зону.

— Доктор, да ведь я еле хожу, куда же мне на работу! И уши-то все равно болят.

— В ушах я не разбираюсь, ваши уши здесь лечить некому, а держать вас в больнице я больше не могу. Еще два дня, так и быть, пофилоните — и все. Через два дня в зону.

Я смотрел на его татуированные руки (знакомое, сто раз виденное «нет в жизни счастья») и думал: «Сам ты филон, сволочь, гад! Врач называется! Сам знаешь, в каком я состоянии, а посылаешь уголек кидать. Не лучше начальников!»

Я боялся, что через несколько дней разгрузки меня снова принесут на бушлате, а умирать не хотелось, тем более за полгода до освобождения.

В этот же день я написал большую жалобу в ЦК. Написал, что болен, что меня не лечат, хотя дважды и подержали в больничной зоне и один раз в лагерной больнице. Что меня, больного и глухого, все время заставляют работать в аварийной бригаде на самых тяжелых лагерных работах. Что лагерные врачи каждый раз дают заключение: «З/к Марченко в медицинской помощи не нуждается, работать может на любых работах»,— и вот в результате этого я едва не отправился на тот свет. И если мне отказывают в медицинской помощи здесь, у нас, я вынужден буду обратиться за помощью в Международный Красный Крест.

Я заранее знал, что мне от этой жалобы не будет никакого проку, а может, будет и хуже. Знал, что даже на воле мне ни в какой Красный Крест не дали бы обратиться, а не то что отсюда, из лагеря. Но пусть у них хоть этот документ будет — себе я оставил копию. Через два дня меня выписали в зону — и сразу же на работу. Хорошо, что рядом были друзья. Валерий, Толя Футман теперь помогали мне, как и Юльке. Я ходил на вызовы днем и ночью, но работать мне они не давали. Только и меня и Юльку мучило то, что мы грузом ложились на остальных, а им и без нас тяжело приходилось. Уж лучше карцер до конца срока!

Но ребята нас уговаривали и успокаивали; мол, и ваша помощь другим когда-нибудь пригодится.

Через две недели в лагерь явилась комиссия из САНО — перекомиссовка зек-ков, определение категории труда. Двое незнакомых мужчин в гражданском, три женщины, наш хирург с татуированными, как у урки, руками. Все хорошо одетые, чистые, сытые врачи! Когда меня спросили, я рассказал им о своем состоянии.

— Где работаете?

— В аварийной бригаде.

— Какой характер вашей работы?

Я объяснил.

— Когда придет ушник, он вас осмотрит. А теперь можете идти. Первая категория.

Я вышел, стиснув зубы от злости.

Месяца два спустя меня вызвали в больницу:

— Вы жалобу писали? Получен ответ. Распишитесь, что он вам объявлен.

На руки нам никаких ответов не дают, можно записать себе номер и от какого числа.

Читаю: «Ваша жалоба получена и направлена на рассмотрение в САНО Дубровлага».

Ну, конечно! На них жалуясь — пусть они и разбираются. Так всем отвечают. Читаю дальше: «Медслужбой 11-го лаготделения установлено, что з/к Марченко А. Т. в лечении не нуждается. Нач. САНО Дубровлага майор медицинской службы Петрушевский».

Через четыре месяца после этого ответа, выйдя на волю, я обратился к врачу. Доктор Г. В. Скуркевич, кандидат медицинских наук, осмотрел меня и дал заключение: немедленно оперировать левое ухо, потом нужна будет операция на правом. Он и оперировал меня. Потом говорил, что редко к нему попадают больные в таком запущенном состоянии. Григорий Владимирович пытался что-то такое сделать, чтобы восстановить слух, но это уже не удалось — было поздно. Зато вычистил весь накопившийся гной; он рассказал, что, когда вскрыл полость, гной брызнул оттуда как под высоким давлением.

Хорошо, что я вовремя освободился, а то, наверное, так и загнулся бы в лагере от гнойного менингита, по-прежнему «не нуждаясь в медицинской помощи».

#### «ПЕРЕВОСПИТАНИЕ»

Месяца за три или за два до освобождения меня вызвали в кабинет КГБ на беседу. Беседовали со мной трое: кагэбист, начальник ПВЧ и отрядный Усов. Я хорошо запомнил этот разговор: в последний раз они пытались переубедить меня, перевоспитать «по хорошему».

— Марченко, вы скоро освободитесь. Вы понимаете, что, выйдя на волю, вы должны вести себя и думать, как все? Воля — это вам не лагерь, где у каждого свое мнение.

— Гражданин начальник, вряд ли и на воле сейчас все думают одинаково.

— Опомнитесь, Марченко! С такими убеждениями снова у нас будете.

— Что-что, а это я и сам знаю. Чуть кто с вами не согласен — в лагерь его! Завтра в другую сторону будете гнуть — и опять единодушно соглашайся! Слава Богу, за шесть лет навидался. Таких изменников, как я, полны лагеря. Но одного я не понимаю — как вы, коммунисты, можете мне говорить, что меня посадят за мои убеждения? Ведь в других странах легально существуют целые оппозиционные партии, в том числе и коммунистические, которые ставят своей целью изменить строй. Их, коммунистов, когда они возвращаются к себе из Москвы с очередного совещания, не судят за измену родине. А меня, рабочего, не члена никаких партий, вы шесть лет держите за провокацию и снова грозите тем же.

— Что вы нам про другие страны говорите! У них свои законы, у нас свои. Все вы на Америку тычете — тоже нашли свободную страну! Была бы там свобода, зачем бы негры бунтовали? А рабочие забастовки?

— А Ленин говорил, что забастовки и борьба негров в США — это как раз и есть признак свободы и демократии.

Когда я это сказал, мои воспитатели так и подпрыгнули. Они накинулись на меня все трое:

— Как вы смеете клеветать на Ленина?

— Где вы слышали такую ложь?!

— Повторите, повторите, что вы сказали!

Я помнил эту цитату дословно и повторил ее, даже назвал номер тома. Начальник ПВЧ направился к двери:

— Какой том, вы говорите? Сейчас, минуточку.

Он принес из своего кабинета книгу в темно-синем переплете — последнее издание, я видел в его шкафу все тома, корешок к корешку, плотно уставленные за стеклянной дверцей. Он дал мне книгу:

— Ну покажи, где здесь написано то, что ты говоришь.

Пока я листал слежавшиеся страницы, они втроем ждали, как собаки на охоте: сейчас меня уличат. Они были уверены, что у Ленина нет таких слов, он не мог такого говорить. Тут еще много значило и то, что в их головах не укладывалось, чтобы парень без образования вроде меня самостоятельно изучал Ленина или что-нибудь еще. Они сами-то его толком не читали.

Я подав им раскрытую книгу. Начальник ПВЧ вслух прочел там, где я показал. Усов растерянно уставился на него. Кагэбэшник подошел к начальнику ПВЧ:

— Ну-ка дай мне.

Они вместе стали листать страницы, наверное, надеясь найти там какое-нибудь подходящее объяснение или опровержение прочитанному. Но ничего не нашли, и капитан КГБ сказал мне, ничуть не смущаясь:

— Вы, Марченко, наверное, неправильно поняли Ленина. Вы с вашими взглядами понимаете Ленина по-своему, а это не годится. Долго вам на воле не прожить!

— А как же по-другому можно понимать эти слова? Ведь и на самом деле забастовки и массовые беспорядки бывают только в демократических странах, а при тоталитарных режимах народ зажимают с помощью террора. При Гитлере, например, в Германии не было никаких забастовок.

Опять началось:

— Да как вы смеете? За такие слова надо к стенке ставить!

Потом, поостыв, они снова взялись за «воспитание»:

— Народы всего мира идут к коммунизму, который завоевывает себе все больше сторонников...

— Если бы сторонники знали, что они ведут свои народы к тюрьмам и лагерям, так еще, может, задумались бы. Но об этом вы вслух обычно не говорите, разве что когда передеретесь. То чуть не в каждой газете: «Китай на пути к коммунизму!», «Успехи социалистического строительства в Китае!» А теперь что? Сто миллионов китайцев в концлагерях — что же их, в один день посадили, что ли?

— Это вы тоже у Ленина вычитали — сто миллионов? Сто миллионов — это же седьмая часть всего населения! Бред сумасшедшего!



— Тогда это не я сошел с ума, а тот лектор, что приезжал прошлым летом на седьмой. И почему это бред? У нас, что ли, не сидели десятки миллионов? Себе я, может, не поверил бы, подумал, что недослышал про Китай. Но не я один, все зеки слышали и смеялись, что ученики переплюнули учителей.

— Сто миллионов — это клевета! Вот возьмите бумагу и карандаш и напишите, что в Китае сто миллионов заключенных. Знаете, что вам будет, если это неправда?

Я взял бумагу и написал: «Я, з/к Марченко А. Т... тогда-то и так-то слышал на лекции, что в Китае сейчас 100 миллионов заключенных. На беседе с представителями КГБ и ПВЧ я упомянул об этом, сославшись на лектора, но мне сказали, что это неправда. Прошу выяснить, правда ли это, и объяснить мне».

Я поставил число и расписался. Потом спросил:

— Когда я узнаю ответ?

— Мы все это проверим. Когда надо будет, вас вызовут. Можете идти.

Но меня по этому поводу так и не вызвали.

### ЕЩЕ РАЗ В КАРЦЕРЕ

В карцер я угодил чуть ли не перед самым освобождением, 30 сентября. 29-го мы работали днем с восьми до пяти, потом еще ночью пришлось идти разгружать цемент, а под утро гонят в третий раз. А у меня снова озноб и головокружение. Я не пошел, отказался. Антон Накашидзе (из грузинского ансамбля) тоже остался, он встать не мог от усталости.

Утром я поплелся в санчасть, записался, дождался очереди. Врачиха дала мне градусник, я сунул его под мышку, сижу и думаю: «Температуры у меня, кажется, нет, в тот раз тоже поднялась только через неделю. Но в больницу не положат — сам пришел, своими ногами. Что же делать?»

Врачиха взяла градусник:

— Почти нормальная. На что жалуетесь?

— Да все то же. головокружение, головная боль.

— Зачем же вы ко мне пришли, Марченко? Вы же знаете, что вам к ушнику надо! Возьмите таблетки от головной боли, а больше я ничем помочь не могу.

Взял я в окошке таблетки и поплелся в барак. Ну просто еле ноги переставляю. Наши все уже вернулись с работы, спят, один только Антон не спит. Ему уже отрядный выписал пятнадцать суток карцера. Тут вскоре наш дневальный Давлианидзе приходит:

— Марченко, к отрядному!

Пошел.

— Почему ночью от работы отказался?

Я объяснил, и мне показалось, что Усов поверил:

— Ну ладно, идите.

В секции Антон спрашивает:

— Сколько — десять или пятнадцать?

— Да вроде бы ничего.

Антон даже не поверил:

— Да ну? Не ожидал!

Я залез к себе на койку и попытался уснуть. Но только было задремал, как кто-то принялся толкать меня под бок, тянуть за ногу. Открыл глаза — надзиратель:

— Собирайся!

— Куда?

— Не знаешь, куда отказчиков водят?

Ну и черт с ним, карцер так карцер. Неизвестно еще, что хуже — карцер или лес разгружать. Стали мы с Антоном собираться, надеваем что потеплее, а надзиратель предупреждает:

— Зря обряжаетесь, все равно отберем.

Действительно, отберут. Давно в карцере не сидел, забыл. Взяли мы телогрейки, зубные щетки, мыло, полотенца — и готовы. Я и спрашивать не стал, сколько мне выписали. Уже когда пришла, объявили, что тоже пятнадцать суток.

Нас с Антоном развели по разным камерам. Моя оказалась крошечная, два на три, но сидел я в ней один. Всегда так норовят: либо в одиночку, либо уж в маленькую камеру набьют человек двадцать. Я обрадовался, что хоть усну спокойно, да не

тут-то было. Вместо коек деревянные полки, как в вагоне, обе подняты к стене и заперты на замок. Лежать разрешается только от отбоя до подъема. Хорошо еще, я один, хоть сесть можно. А когда двое, один сядет на чурбачок, приваренный к полу, а другой на ногах — сидячее место одно. Разве что на парашу садись.

На ночь принесли отобранную телогрейку, отомкнули полку. Я лег. Сначала телогрейку подстелил под себя. Но скоро замерз.

Холод собачий, завтра уже октябрь, а топить начнут только восемнадцатого числа. Вытащил я из-под себя телогрейку, кое-как укрылся ею. Теперь холод стал пробираться снизу — полка из досок, в ней щели чуть ли не в пол-ладони и в полу такие же. Словом, заснуть так и не удалось от холода. Всю ночь топтался по камере, пытаюсь согреться. Хорошо было Юльке — он сидел в ионе!

Утром мою лежанку опять на замок, телогрейку отобрали до следующей ночи, а самого повели во дворик на работу. Работа старушечья — весь БУР и карцер плетут сетки авоськи. Норма — семь или восемь штук в день. Никто, конечно, не только норму, но и до полнормы не дотягивает. Мы как-то провели опыт: плели целый день без передышки. И все равно даже самые работающие застряли на третьей авоське. Когда меня посадили, норму с нас не требовали, лишь бы от работы не отказывался, гарантийку получишь. Правда, кроме лагерного пайка больше ничего. Но через неделю объявили: кто сделает меньше трех сеток, тех переведут на пониженную норму питания. Никто с заданием не справился, и всех нас перевели на 1300 калорий. Нам то в карцере неделю-другую голодными высидеть еще можно, а каково тем, кто в БУРе? У них-то срок по шесть месяцев — и все это время на голодном пайке! И ни посылки, ни ларька.

В этих условиях обмануть начальство для зека — вопрос жизни. «Они умеют искать, а мы умеем прятать», — говорят в лагере. Даже БУРу и карцеру зона умудряется помогать. Друзья с «воли» — зона по отношению к карцеру, конечно, воля — переправляют своим то курева, то хлеба немного, то сахару, то маргарину. Для такой передачи зеки изобрели «коня». Ребята в зоне заворачивают в тряпочку махорку, хлеб, еще что-нибудь, делают тугой-тугой сверток и спутывают его тоненькой веревочкой со множеством висячих петель — это и есть «конь». В удобный момент его перекидывают через забор под самые окна тюрмы. А там уж зеки к этому готовы. Согнут из проволоки крючки, добудут нитки — кто-нибудь пожертвует для этого свой носок — и закидывают эту удочку так, чтобы крючок попал чуть дальше пакета. Начинают потихоньку тянуть. Переползая через пакет, крючок непременно зацепится за какую-нибудь из петель. Если сверток с «подогревом» чересчур велик и не проходит через решетку на окне, его тут же за решеткой разворачивают, разбирают руками и по частям втаскивают в камеру. Лишь бы кто-нибудь втащил «коня», а «подогрев», попав в тюрму, уже дойдет до того, кому предназначен, — зеки передадут или на оправке, или на работе, или еще как-нибудь.

«Конем» пользовались до лета 1965 года. И так наловчились в этом деле, что вся операция занимала не больше минуты. Но об изобретении зеков стало известно начальству. Начальник режима распорядился повысить бдительность и прекратить это безобразие. На окна наварили дополнительные стальные прутья. Теперь решетка стала втрое чаще — не решетка, а сетка. Сквозь нее не то что руку, а даже два пальца не протиснешь.

Осенью, когда я сидел в карцере, «коня» уже не было, он отслужил свое. Нового зеки тогда еще не придумали. Но придумают обязательно. Я в этом уверен. А как же иначе?

15 октября я вышел из карцера в зону, шатаюсь, как пьяный, от недоедания. До конца срока мне оставалось семнадцать дней.

## ОСВОБОЖДЕНИЕ

Я, как и раньше, ходил на разгрузку, таскал бревна, кидал лопатой уголек и цемент. Поднимался ночью по вызову, шел со всеми на вахту, ждал конвоя. Как и раньше, у меня были головокружения, но я больше не отказывался от выхода на работу — не хотелось последние дни просидеть в карцере, я надеялся провести их с друзьями.

Каждую свободную минуту мы собирались вместе. Разговоры шли об одном: куда мне ехать, где и как устраиваться на воле. Наш начальник спецчасти давно уже

предупредил меня, что «по положению о паспортах» мне запрещено жить в Московской и Ленинградской областях, в портовых городах, в пограничных районах. Кроме того, есть режимные города, в них тоже не пропишут.

— А что это такое — режимные города, какие?

— Где не пропишут, там, значит, и режимные.

— Ладно, где же мне можно жить?

— На воле узнаете, а пока куда вам билет и справку выписывать?

— Ну в Калининскую область, что ли.

Майор усмехнулся:

— В Калининской не пропишут.

— Тогда пусть Курская.

— Я могу дать вам справку с направлением в Курск. Но, Марченко, прямо скажу: поезжайте лучше на Север или в Сибирь по оргнабору, чтоб зря не мотаться.

— Из одного лагеря в другой такой же, только без проволоки? Нет уж, спасибо. Да и не возьмут меня по оргнабору с моим-то здоровьем.

— Как хотите, дело ваше, а только станете своего добиваться, опять к нам падете, пропишем вас в мордовских лагерях лет на пять — семь без всякой волокиты. Друзья больше всего волновались, удастся ли мне сразу же пробиться на прием к хорошему врачу-ушнику. Строили и более отдаленные планы моего будущего. Валерий настаивал, чтобы я непременно учился:

— Заканчивай вечернюю школу, поступай в институт. Тебе не поздно.

— Валерка, ну какой же из меня ученик? Я же в математике бревно бревном. Валерий начинал доказывать, что неспособных к математике нет, кроме клинических идиотов. Просто обычно математике плохо учат.

— Захочешь — одолеешь.

— Да я глухой, урока не услышу.

Юлий Даниэль сказал, что в Москве можно купить слуховой аппарат:

— Придется денежки выложить. Зато девушки не узнают, что ты глухой. Вот только волосы отрастишь — дужку прикрывать.

Обсуждали все, вплоть до мелочей: как я оденусь в вольное, где что купить, чтоб и дешево и сердито. Ехать-то придется в лагерном бушлате, так получилось, что у меня из своей одежды остался только старый лыжный костюм да ботинки. Скинуть бы этот бушлат поскорей, как он мне осточертел!

Последние дни в лагере особенно мучительны, тянутся и тянутся, и кажется, что никогда не кончатся, и не верится, что он действительно наступит, день освобождения, и не знаешь, чего ждать потом.

Еще накануне освобождения я сдал все казенное имущество и спецовку. Рано утром 2 ноября пришли попрощаться друзья и знакомые, которые уходили на работу в первую смену: Буров, два Валерия из Ленинграда — Ронкин и Смолкин, их поделник Вадим, подошли другие, с кем я не был близко знаком. Все желало мне хорошо устроиться на свободе, давали адреса своих родных — может, удастся заехать, если будет по пути, просили не забывать их, тех, кто остается в Мордовии, тех, кто сидит во Владимирке. Но вот почти все ушли на работу, остались только самые близкие друзья: Валерий, Юлий, Коля, Толик Футман, Антон. Юлий подарил мне книгу Лебедева о Чаадаеве — он знал, что она мне очень нравится. На первой странице он написал:

«А, в общем, неплох

Забавный удел:

Ты здесь и оглох,

Ты здесь и прозрел.

Гордись необычной удачей —

Не каждый, кто видит, зрячий.

С уважением и самыми дружескими пожеланиями  
Толе Марченко от Юлия Даниэля».

Футман с Валерием подарили мне на память «Манон Леско» Прево — наверное, не без намека. В десятом часу вся компания проводила меня до вахты. Здесь мы еще раз обнялись и попрощались. Не могу передать своих ощущений. Радость ис-

чезла, в горле стоял ком. Жаль было расставаться с друзьями, оставлять за проволокой тех, кто стал дорог. Хоть назад возвращайся!

— Иди, Толик, иди, на поезд опоздаешь! — торонили и подбадривали они меня.

Я шел по предзоннику, нас уже разделяла колючая проволока. Помахав им на прощание рукой, я вошел на вахту. Теперь предстояло совсем другое прощание.

Меня ввели в кабинет. Помимо надзирателей, там находились начальник режима, старший опер и главный лагерный кагэбист.

— Разденьтесь догола. Встаньте здесь. Присесть, вытянуть руки! Стойте в углу!

После этого стали прощупывать одежду. Затем дошла очередь до чемодана. Там почти ничего не было, только полотенце, мыло, зубная щетка, несколько носовых платков, тетради с моими конспектами, книжки. Каждую вещь прощупали пять или шесть пар рук. Тетради и книги проверяли особенно внимательно, перелистывали по одной страничке. Надзиратель открыл «Чаадаева» и увидел надпись Юлия. Он сразу показал ее кагэбисту. Тот взял книгу и вышел с ней из кабинета. С тетрадками они тоже то и дело выходили в коридор, кому-то показывали, с кем-то совещались. Вернувшись с «Чаадаевым», кагэбист отложил книгу в сторону...

В кабинет вошел сам майор Постников — глава КГБ мордовских лагерей. Ему показали «Чаадаева». Постников повертел книгу, прочитал надпись и приказал:

— Вырезать и составить акт.

Я попросил объяснить мне, что в этой надписи недозволенного, почему ее конфискуют.

— Видите ли, Марченко, по-моему, Даниэль выразил в этом стихотворении свои взгляды.

— Да уж, наверное, свои, а не чужие. Но что в них крамольного?

Постников не ответил. Он стал просматривать мои тетради:

— Я вижу, Марченко, вы здесь всего Ленина прочитали. Вообще-то это хорошо, но... Боюсь, с вашими взглядами вы снова к нам попадете.

С этим напутствием, получив свой чемодан, «Чаадаева» с вырезанной страницей, паспорт и справку, я направился к выходу. Меня сопровождал майор, начальник спецчасти. Мы прошли несколько дверей, у каждой майор предъявлял в окошко какие-то бумаги, дверь открывалась и тотчас же закрывалась за нами. Открылась и захлопнулась за мной последняя дверь — и я оказался на улице.

Мимо вахты, по дороге между жилой и рабочей зоной, мимо праздничных плакатов и лозунгов гнали колонну женщин-заключенных. Слышны были грубые окрики автоматчиков-конвоиров: «Разговоры! Кому сказано?» Женщины двигались медленно, волоча ноги в больших кирзовых ботинках. Темно-серые телогрейки, ватные брюки, серо-желтые лица. Я всматривался в них — может, эту вот носил на операцию, может, та говорила мне: «А моему Валерке уже годик». Нет, я никого не мог узнать. Все они в этой колонне были как одна — зечки.

Колонна прошла. Я вдохнул полные легкие свежего воздуха, хоть мордовского, но уже вольного, и зашагал от вахты. Шел снег. Большие снежинки садились и сразу же подтаивали на еще теплой, не успевшей остыть одежде.

Было 2 ноября 1966 года, пять дней до 49-й годовщины советской власти...



## «Я ВЕРЮ В СИЛУ СВОБОДНОЙ МЫСЛИ...»

*Письма В. И. Вернадского И. И. Петрункевичу*

Длительный и непростой жизненный путь прошел В. И. Вернадский (1863—1945) — путь, в котором научные, философские, социальные, этические поиски теснейшим образом переплетались между собой, образуя внутренне связанное, гармоничное и наряду с этим противоречивое единство. Были на этом пути относительно плавные, эволюционные восхождения со ступеньки на ступеньку — периоды, где царствовала гармония, а противоречиям доставались побочные партии; но были и такие переломные этапы — а в жизни каждого человека они возникают неизбежно, — в которых солировали противоречия и которые несли на себе печать кризисов, нередко болезненных, психологически нелегко Вернадским переживавшихся...

Именно с этими переломными этапами прежде всего связано наибольшее количество белых пятен биографии Владимира Ивановича, проблем, еще ожидающих до настоящего времени своей исторической реконструкции и осмысления. Объясняется это не только объективными причинами — неразысканностью части архивных документов, их утерей, временной недоступностью и т. п. Есть — увы! — причины и субъективные. Сказать о них во весь голос необходимо в переживаемое нами ответственной временем коренной перестройки отечественной историографии вообще, истории науки и техники в частности, в том числе и в научно-биографического жанра.

Часто — слишком часто — в 60—80-е годы, издавая впервые по рукописям (и даже переиздавая ранее уже публиковавшиеся!) материалы из творческого наследия Вернадского, редакторы и составители прибегали к изъятиям из текстов «неудобных» мест. Унылая фигура умолчания стала постоянной гостьей на страницах трудов нашего великого ученого...

Сглаживая острые углы, спрямляя изгибы линий, состругивая сучки, мы тем самым, по существу, выворачиваем наизнанку исконный смысл понятия «исторический источник», по определению абсолютно не допускающий никаких подобных операций. В недавнем прошлом при издании трудов Вернадского как и работ о нем, такое выворачивание выступало особенно наглядно, принимая нередко, я бы сказал, широкозахватный, воинствующе-агрессивный и тем более невежественный характер.

Публикуемые ниже по ксерокопиям без единого изъятия девять писем В. И. Вернадского И. И. Петрункевичу, оригиналы которых хранятся в библиотеке Колумбийского университета (США), относятся в основном к периоду пребывания Владимира Ивановича во Франции в 20-х годах в заграничной научной командировке (самой длительной в его жизни). Как раз этот — во многом переломный и противоречивый — период биографии Вернадского, пожалуй, наиболее насыщен вопросами, на которые нет еще достаточно определенных, тем более однозначных ответов. Исследователям творчества и жизненного пути Вернадского письма Петрункевичу помогут уяснить некоторые важные моменты его биографии, созревания его научных и философских замыслов, поиска адекватной его идеалам социальной ориентации, воплотившейся впоследствии в концепции ноосферы. Широкому читателю они будут интересны как живые человеческие документы.

**Б. С. СОКОЛОВ,**

*академик,*

*первый заместитель председателя*

*Комиссии АН СССР по разработке научного наследия академика В. И. Вернадского.*

Иван Ильич Петрункевич (1843—1928) — интересная, своеобразная, нами еще настоящему не изученная и по достоинству не оцененная фигура в либерально-демократическом русском освободительном движении второй половины XIX — начала XX века. Сведения о нем, если иметь в виду отечественную литературу, весьма скудны и отрывочны.

В августе 1890 года И. И. Петрункевич с семьей переезжает на постоянное жительство в Москву, а в сентябре того же года сюда перебирается и В. И. Вернадский, зачисленный в штат преподавателей минералогии физико-математического факультета Московского университета. В Москве и произошло знакомство Ивана Ильича, его жены Анастасии Сергеевны и супругов Владимира Ивановича и Наталии Егоровны Вернадских, вскоре переросшее в тесные дружеские отношения (см. в этой связи, например, дневниковые записи Вернадского 1891—1893 годов — «Новый мир», 1988, № 3).

После Октябрьской революции Петрункевич уезжает в Крым, откуда в 1919 году эмигрирует. За границей он занимается литературной деятельностью и на родину более не возвращается...

К сожалению, ответы И. И. Петрункевича на публикуемые ниже письма В. И. Вернадского в Архиве АН СССР, где хранится основной фонд ученого, отсутствуют. Не исключено, что со временем они будут обнаружены в других архивных фондах нашей страны или за рубежом.

### ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Париж. 10.III <1>923<sup>1</sup>.

Дорогой Иван Ильич,

Так рад был получить Ваше письмо. Я все-таки очень надеюсь побывать у Вас — хочется Вас повидать. Сейчас веду переговоры о продаже своей книги (лекций в Сорбонне) франц<узскому> изданию<sup>2</sup>, и хотя они, говорят, платят плохо — но получу возможность приехать к Вам<sup>3</sup>.

На следующей неделе надеюсь кончить лекции и буду свободнее, даже если придется спешно готовить их к печати.

Мне хочется ответить на некоторые Ваши сомнения. Сперва о мелочи. Молчание обо мне русской прессы (мне только приятно) здешней, я думаю, зависит только от желания меня не компрометировать. П. Н.<sup>4</sup> я видел не много, но несколько раз. Внутренних политических разговоров мы не затрагивали — но старая с молодости связь не порвалась. Мне представляется его судьба трагичной. Мысль его застыла. Удивительно чувствуется «антик», вроде здешних позитивистов. Его статьи — скучны, и, верно, все это схоластика. Комично, что в «Руле»<sup>5</sup> вдруг как-то появилось известие об открытии никеля и кобальта в растениях, приписанное Парижскому Институту Пастера; в действительности это было сделано нами в Киеве в Укр<аинской> Акад<емии> Наук. Я поместил об этом заметку в здешней Акад<емии> Наук, и после моей появилась работа Бертрана из Инст<итута> Пастера, указывавшая, что они сделали то же самое. Но это просто характеризует положение русских ученых в русском обществе — все это не сознательно.

Мне хочется как раз коснуться положения науки в России. Мне кажется, здесь не сознают того огромного дела культурного, которое сделано. Сделано при страданиях, унижениях, гибели. Научная работа в России не погибла, а наоборот, развивается. Сравнимая то, что сделано там и здесь, в Европе, — французами, напр<имер>, — я вижу, что мы стоим, как равные. Несомненно, этого не должно было бы быть по логике, это иррационально, но это факт. Мне представляется отношение многих здесь к этому великому факту русской жизни обычным для ничему не научившихся русских верхов — ведь все пропустили в свое время — и искусство, и красоту (творческое создание) Петербурга и Пушкина. Создали божков из преходящего и потеряли из политических стремлений гораздо большее — религиозную веру и нравственное чутье. Научная работа в России спасена и живет большой жизнью благодаря сознательному волевому акту. Приходилось и приходится бороться каждый день, каждый шаг. Но в конце концов — пока — здесь идет сейчас огромная творческая работа удачно. В разговорах скажу, как это достигнуто и сколько погибло! Людей погибло. Вы знаете, что наука в России никогда не была в фаворе. Можно сказать, что правительственная машина в наше время стала действовать лучше с 1911—1912 <гг.> — но и то! Вроде на радиий — даже на радиий — я получил в 1914 году средства после 4-х отказов. Но с 1915 года начался огромный расцвет и проявилась воля и сознание. В 1917 году открывались возможно-

сти, большие, чем даже государственные возможности России. То, что сейчас сделано, — мало по сравнению с <тем, что> было — возможным, — но много по сравнению с положением остальных культурных и живых проявлений русского народа.

Ни одна научная организация не погибла за эти годы. Очень пострадали — а на Украине и совсем (м<ожет> б<ыть>, в связи с шовинист<ической> политикой украинск<их> большевиков) — университеты, но научная жизнь во всех сохранена. Русская Акад<емия> Наук единственное учреждение, в котором ничего не тронуто. Она осталась в старом виде, с полной свободой внутри. Конечно, эта свобода относительная в полицейском государстве, и все время приходится защищаться<sup>6</sup>... Одновременно создано многое новое, главным образом в Москве и Петербурге, de facto многое, по сравнению с планами 1915—1917 <г.> — мало. Любопытно, что много создано и в провинции. В этом отношении иногда и сам не веришь, напр<имер>, союз северных научных обществ, деятельность общества мироведения (Н. А. Морозова)<sup>7</sup> и Ак<адемии> Наук по организации работы на местах. Меня удивляло и удивляет, как все начато идет, несмотря ни на что. Когда я был в Ростове, Екатеринодаре, Н<ово-> Черкасске, я вел — с Арнольди<sup>8</sup> — переговоры об изучении Азов<ского> моря. Вопрос был поставлен в Русск<ой> Ак<адемии> Н<аук> в 1915 <г.> и Укр<аинской> в 1918 <г.> — переговаривал с Куб<анским> и Донск<им> правительствами. Падение Деникина остановило все. Но все это возобновилось, и этим летом уже первая экспедиция состоялась, и дело начато и сейчас готовится дальше. В 1916 г. началась обработка радиев<ых> руд (Воен<ное> мин<истерство>) — в 1921 <г.> завод, который был в это время (в 1920 <г.>) построен — стал действовать, и в декабре получен первый радий! Тут при этом погибли люди, но руда (8000 пуд<ов>) пропутешествовала благополучно (это стоило! — и сил, и энергии, и воли) из Петрограда на Чусовую в Березняки, а оттуда на Каму. И так всюду. В Киеве мне дорогие Академия Наук и Публ<ичная> библиотека выжили, и научная работа — в ужасающих условиях — идет все время и сразу выживет при лучших условиях. В Укр<аинской> Публ<ичной> библи<отеке> больше или около 1 000 000 книг... Здесь я кое-что прочел из новых русских книг, изданных ужасно по внешности, но стоящих наряду с лучшим сделанным за это время. Центр мысли и научной работы не в эмиграции, а в России, хотя здесь много можно было и надо было сделать. Высылка ученых большевиками «исправит» многое...

И все же все это непрочно — но мы привыкли теперь к непрочности. Будущее для меня темно — но я думаю, что оно тяжелое: в России подымается тяжелое национальное чувство, озлобленное чувство унижения и гордыни. И это грозит многими бедствиями. Чувство патриотизма — зоологического — там по существу больше, чем здесь, и, главное, в новых — невежественных — слоях.

Если бы не дети и не то, что я чувствую, что мне нужно кончить научную работу, которая для меня самое дорогое, — я, м<ожет> б<ыть>, не захотел бы отсюда уехать. Но годы идут и идут, осталось мне жить немного, а сказать и сделать хочется много.

Это заставляет меня стремиться в Америку. То, чего я хочу там, — не кафедры и не лекций. Я считаю необходимым организацию особой биогеохимической лаборатории. Об этом своем проекте я и написал в Институт Карнеги. Не знаю, выйдет ли из этого что-нибудь — шансов немного. Но если это удастся — я думаю, я получу возможность сделать много. Такую лабораторию можно было бы устроить в России<sup>9</sup>, но нам там приходится для получения результата тратить в несколько раз больше сил. И затем это еще долго будет самым тяжелым местом жизни.

Прикладной характер научной работы меня привлекает. Я вижу в нем великое будущее. Я уверен, что этим путем наука получит ту власть в жизни, которая так сейчас необходима.

Ведь сейчас ее значение не отвечает ее действительной силе, и выявилась огромная опасность политических и социальных организаций для развития силы знания и развития человечества. С демократией приходится считаться как с неизбежным злом, и надо так или иначе дать науке средства защиты и против нее и против возможных реставраций — вероятных диктатур. Наука их получит в овладении прикладными задачами.

Но и сверх того эти задачи дают такое новое для развития науки, какого не дает часто одна личная интуиция. Обе должны дополнять друг друга.

Наш горячий привет Вам и А<настасии> С<ергеевне>.

Ваш В. Вернадский.

PS. Только что пришло письмо А<настасии> С<ергеевны>. Нат<алья> Е<горвна> ответит на него. Из Петрограда все время имеем известия. Ал. Ал. Корнилов<ову><sup>10</sup> лучше. Он пишет — и печатает — второй том Бакуниных, новое издание своей истории и ищет покупателя на свои воспоминания. А так жизнь его тяжела.

<sup>1</sup> В течение почти трех с половиной лет, с середины 1922 по конец 1925 года, В. И. Вернадский находился в научной командировке во Франции.

<sup>2</sup> Лекции Вернадского по геохимии были изданы в Париже на французском языке в 1924 году.

<sup>3</sup> В 1923—1924 годах И. И. и А. С. Петрункевичи жили в Праге и Женеве.

<sup>4</sup> Миллюков в Павел Николаевич (1859—1943) — политический деятель, историк и публицист, один из лидеров конституционно-демократической партии, с 1920 года в эмиграции.

<sup>5</sup> Надетская эмигрантская газета, издавалась в Берлине в 1920—1931 годах.

<sup>6</sup> Здесь и в последующих письмах отточия В. И. Вернадского.

<sup>7</sup> Морозов Николай Александрович (1854—1946) — революционер, ученый, общественный деятель.

<sup>8</sup> Арнольди Владимир Митрофанович (1871—1924) — морфолог растений и альголог, член-корреспондент Российской Академии наук, в 1919—1922 годах преподавал в Кубанском университете. На юг России (Ростов. Екатеринодар, Новочеркасск) Вернадский выезжал в 1919 году по делам Украинской Академии наук.

<sup>9</sup> Биогеохимическая лаборатория была образована под руководством В. И. Вернадского в системе Академии наук в 1928 году.

<sup>10</sup> Корнилов Александр Александрович (1862—1925) — историк, друг Вернадского.

## ПИСЬМО ВТОРОЕ

Париж. 22.VI.<1>923.

Дорогой Иван Ильич,

Горячо благодарю Вас за Ваше письмо. Как Вы знаете, я в Цюрих в конце концов не поехал, хотя у меня была уже и виза. В конце концов остановился перед расходами ввиду некоторых сомнений в правильной организации совещания. Но, конечно, решающим было то, что мне бы пришлось проехать мимо Женевы, где Вы были! В Женеву думал заехать и в связи с моими там научными связями, которые тоже не хотел забрасывать: там списался с Дюпарком и др. Сейчас не знаю, когда удастся туда направиться — но я так страшно сильно хочу Вас видеть и с Вами переговорить, что крепко надеюсь, что мы с Вами еще увидимся. И в этом смысле нас очень взволновал Ваш намек на Париж.

То, что свидание с Вами может мне повредить по моем возвращении в Петроград — мне кажется, не должно никоим образом быть принимаемо во внимание. При русской бесплочности и невежестве мы никогда не можем рассчитывать, что может повредить и что нет. Я говорю там всегда только то, что есть: в политическую работу я не вмешиваюсь — но затем калечить свою личность боязнью сношений с близкими и дорогими считаю прямо невозможным. Это было бы действительно подчинением ненавистному для меня коммунизму. И мое неучастие в политической борьбе основано на моей критике прошлого и на сознании, что всякая культурная и бытовая работа в данный исторический момент гораздо важнее. Форм для политической борьбы сейчас нет, и быт сейчас гораздо сильнее в борьбе с коммунизмом, чем все интервенции, заговоры (которых к тому же почти нет!) и болтовня а la Миллюков, Кусков<sup>1</sup> и т. д. Споры о республике и монархии мне представляются гниением. Интервенция — несчастьем, т. е. она в конце концов может привести к раздроблению России, и внесение гражданской борьбы в измученную среду есть величайшее несчастье. Силы у эмиграции нет, и идеалы многих из них чужды в русской среде. Как изменится русская власть — трудно сказать. Конечно, она может измениться только насильем — но едва ли его формой может быть интервенция. Для меня неясно даже, сохранится ли старая Россия или распадется и кто создаст крупный центр на Востоке — Москва или Варшава. Польский и украинско-русский вопрос мне рисуется сейчас основным вопросом русской жизни. А сила русская сейчас в творческой культурной работе — научной, художественной, религиозной, философской. Это единственная пока охрана и русского единства, и русской мощи.

Мне кажется, резкая разница между русским патриотизмом здесь и там в том, что там оберегают оставшуюся территорию России и мечтают о воссоздании потерянного и боятся дальнейшего дробления. Здесь — считают лучшим вырвать от большевизма



хоть части («Жаль, что поляки взяли мало» — деятели Нац<ионального> Ком<итета><sup>2</sup> так говорят!), веря, что Россия восстановится. Но эта «вера» ни на чем не основана.

Всего лучшего. Наш горячий привет Ан<астасии> Серг<еевне>.

Ваш всегда В. Вернадский.

<sup>1</sup> Кускова Екатерина Дмитриевна (1869—1958) — общественная деятельница, примыкала к кадетам, в 1922 году выслана за границу.

<sup>2</sup> Вероятно, имеется в виду руководящий центр «Русского национального объединения» — белоэмигрантской организации правых кадетов, призывавших к вооруженной борьбе с советской властью.

### ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Paris. 30.IX. <1>923.

Дорогой Иван Ильич,

Пишу Вам несколько слов, чтобы сказать, что наши планы изменились и мы останемся здесь до весны. Я — помимо всяких моих стараний — получил продление моей командировки от Академии Наук до мая 1924 <г.>. Это постановление сделано по предложению Сергея Федор<овича> Ольденб<урга>, который сказал мне о своем поступке *post factum*<sup>1</sup>. Вместе с тем, гоже совершенно неожиданно, я получил предложение остаться здесь до весны от французов, прочесть зимою курс в Сорбонне, а весной в *Museum d'histoire naturelle*. Все это мне устроил Лакруа<sup>2</sup>, который переговорил с руководителями этих учреждений и влиятельными профессорами. Он мне ничего об этом не говорил, и его предложение было неожиданностью! Они от себя обратились официально в Академию Наук о продлении моей командировки.

Я очень тронут этими проявлениями дружбы С<ергея>Ф<едоровича> и Лакруа. И чрезвычайно рад остаться здесь еще год в интенсивной научной работе в культурных условиях. Известия из России, более новые, чем сведения С<ергея>Ф<едоровича>, очень тяжелые. Идет окончательный разгром высших школ: подбор неподготовленных студентов — рабфаков, которые сверх того главное время проводят в коммунист<ических> клубах. У них нет общего образования, и клубная пропаганда кажется им истиной. Уровень требований понижен до чрезвычайности — Университет превращается в прикладную школу, Политех<нические> Институты превращаются фактически в техникумы. Понижение образования чрезвычайное и объясняется «демократизмом». Уровень нового студенчества неслыханный: сыск и доносы. Висит (Москов<ский> Университет) объявление, что студенты должны доносить на профессоров и следить за ними — и гарантируется тайна. Друг за другом следят: при сдаче задач (Петерб<ургский> политехнич<еский>) студенты доносят преподавателям на товарищей! Женская и мужская коммунистическая и коммунистующая молодежь все время в меняющихся временных браках! Теперь принялись за научные общества: требуют исключения членов — из Моск<овского> Математич<еского> Общ<ества> при его регистрации потребовали исключения из совета — Д. Ф. Егорова<sup>3</sup> (старый профессор) и В. А. Костицына<sup>4</sup> (новый профессор из старой социал<истической> эмиграции). В конце концов остались членами общества — а Егоров даже исп<оляющим> об<язанности> председателя! Из Общ<ества> Испытателей природы исключают из членов двух старых хороших ученых В. С. Гулевича (химика) и М. И. Голенкина (ботаника)<sup>5</sup>. Выгоняют из Университета и запрещают преподавание — Картеву, Гресву<sup>6</sup> и др. После хлопот оставляют им «оклады» профессоров впрямь до выяснения пенсий. Закрывают (Дзержинский) научные общества — Общ<ество> Люб<ителей> Истории и Древностей Российских — старые — за научное бездействие (!) и затхлость и Общество Мирозведения (новое, очень живое с множеством отделений в провинции. Во главе Н. А. Морозов) — т<ак> к<ак> оно касается областей других обществ: члены должны быть перераспределены между этими обществами! Жизнь улучшается, но гнет в этой области увеличивается. По-видимому, Зиновьев — Алфельбаум и Шмидт (математик) инспирируют эту политику. Год будет тяжелый.

Несмотря на это, многие полны веры в большое будущее и думают — «переменется». Мне кажется, сейчас все больше зависит от внешних условий, и если продлится такое состояние несколько лет — Россия поколениями не оправится от последствий. Но ведь поколениями русская интеллигенция подготовляла (и с какой энергией и страстностью) этот строй. Как химическая реакция: полученный результат освещает весь процесс. Должна в нашем самосознании произойти коренная перестройка ценностей! Радищев, Пестель, Желябов, Перовская и *tutti quanti*<sup>7</sup> ближе к Магницкому, Бенкен-

дорфу, Победоносцеву, чем к нам. Деятельность «Отечественных» записок или «Русского богатства», по существу, деятельность глубоко реакционная! Ну, всего лучшего. Наш горячий привет Вам и Ан<астасии> Серг<еевне>.

Ваш В. Вернадский.

<PS.> Мне в Ливерпуле говорил Доннан (изв<естный> англ<ийский> химик), что Гувер<sup>8</sup> говорил ему, что, по их впечатлениям, Россия окончательно выбита из колеи — на 100 лет крестьянское царство.

<sup>1</sup> Ольденбург Сергей Федорович (1863—1934) — друг Вернадского, неперемный секретарь АН СССР, посетил его в Париже летом 1923 года.

<sup>2</sup> Лакруа Альфред (1863—1948) — французский минералог и петрограф, член Французской академии наук, с 1914 года ее неперемный секретарь, с 1893 года и до конца жизни профессор Национального музея естественной истории в Париже, почетный член АН СССР с 1925 года.

<sup>3</sup> Егоров Дмитрий Федорович (1869—1931) — советский математик, почетный член АН СССР, президент Московского математического общества (1922—1931).

<sup>4</sup> Костицын Владимир Александрович (начало 1880-х—1963) — русский математик и геофизик; участник революционных событий 1905 года в Москве, был близок к большевикам, находился в эмиграции; с начала 20-х годов — профессор математики химического факультета МГУ.

<sup>5</sup> Гулевич Владимир Сергеевич (1867—1933) — советский биохимик, академик АН СССР; Голенкин Михаил Иванович (1864—1941) — советский ботаник.

<sup>6</sup> Гревс Иван Михайлович (1860—1941) — историк, писатель, профессор, друг Вернадского.

<sup>7</sup> Все прочие (лат.)

<sup>8</sup> Доннан Фредерик Джордж (1870—1956) — физикохимик; Гувер Герберт Кларк (1874—1964) — государственный деятель, президент США (1929—1933), промышленник, был пайщиком и директором предприятий в царской России, в 1919—1923 годах возглавлял Американскую администрацию помощи, деятельность которой в РСФСР была разрешена Советским правительством во время голода в Поволжье в 1921 году.

#### ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Paris. 2.XI.<1>923.

Дорогой Иван Ильич,

Очень порадовало меня Ваше письмо, но смутил несколько его конец: «Я буду счастлив, если буду знать, что Вы сохранили ко мне прежние дружеские чувства». Отчего могло у Вас зародиться такое сомнение? Что могло в моем письме вызвать такое настроение? Я совсем теряюсь. Мне кажется, наши дружеские отношения глубоко охватили нас и никогда и ничем не могут быть искажены. Если бы между нашими мнениями были глубокие различия — если бы они даже были, чего я все же не вижу, — это ни в чем не могло бы ослабить нашу дружбу. С ней вся моя жизнь и, верю, и Ваша.

Из Вашего письма я вижу, что я в своем письме неясно передал свое настроение. Я меньше всего сосредоточиваю всю цель жизни для всех вокруг науки. И вовсе не считаю ее более высокой формой проявления личности, чем всякое другое творчество и глубокое искреннее человеческое переживание. Знаменитый физиолог И. П. Павлов считает даже эту форму человеческого творчества более низкой, чем, напр<имер>, деятельность политика — настоящего политика; в этом я за ним не слеую. Но и примата научному творчеству не даю. В настоящий момент — для русских я придаю, правда, углублению и расширению научной работы огромное значение...

Мне хочется еще коснуться критики прошлого. Я думаю, что Вы и я были *gaй aves*<sup>1</sup> в русской жизни — мы совсем никогда не были затронуты социализмом — всегда видели в нем проявление насилия над человеческой личностью. И, осматривая свою жизнь, я вижу, что я не понял в пережитом, что ни в каком случае нельзя было соединяться в действиях с социалистической по партийности или с социалистической по существу толпой. «Демократия» социализма и «демократия», о которой мы говорили, была разная. Уважения к человеческой личности нет и не может быть в социализме, так же как его не может быть в якобинизме. И с этой точки зрения, если духовным предком моим и может быть Радищев, то только одной стороной своей личности, — а среди декабристов Пестель рисуется мне скорее предком большевиков в их якобинских проявлениях. В политической борьбе, какую мы переживали, те из нас, которые понимали варваризацию, вносимую в жизнь социализмом, и для которых уважение и признание ценности человеческой личности не позволяло идти по пути якобинизма — как, напр<имер>, я, — не оказались достаточно стойкими. Я вижу в прош-

лой своей политической деятельности большие ошибки: видел опасного врага культурной работе не там, где он был...

Но я пока оставляю эти воспоминания и как-нибудь вернусь к ним позже. Мне хочется написать Вам об одной части моей теперешней научной работы, которая меня невольно приводит к размышлению над ходом истории и человеческой жизни.

Изучая химическую историю земной коры, я мог вывести в ней непреложные правильности, определенный порядок процессов. Он мне представляется столь же стойким и неизменяемым человеческой волей, как какое-нибудь течение небесных светил. В этом ходе превращений элементов огромное значение имеют организмы — которые, взятые в целом, составляют живую материю. Их количество, их состав, их энергия являются неразрывной частью большого целого и не могут подвергаться коренным изменениям. На почве геологической истории, которую мы теперь исчисляем десятками, пожалуй, сотнями миллионов лет, мы видим только колебания этих проявлений организмов, всегда очень небольшие, в ту и в другую сторону.

Можно убедиться, что точно так же неразрывно связана со всей историей земной коры деятельность культурного человечества. Человек в этой форме своей жизни является геологической силой большего значения, чем мы это себе представляем. И эта сила, созданная всей предшествовавшей жизнью, не может ни исчезнуть, ни повернуть назад.

То, что мы называем цивилизацией, поскольку она проявляется в перемещении на земной поверхности химических элементов, не есть случайное явление, а есть проявление гораздо более мощного процесса — это неизбежное следствие строения нашей планеты. Начавшийся в последние века увеличенный темп добычи каменного угля или производства железа, изменение лика природы созданием культурной среды жизни есть такой же стихийный процесс — как любое другое проявление геологических сил нашей планеты — и столь же мало может быть изменено каким бы то ни было *deus ex machina* <sup>2</sup>.

Я не касаюсь того, что явления жизни вообще, а культурного человечества в частности, связаны с увеличением свободной, способной производить работу мировой энергией, чего мы не видим ни в каком другом природном явлении, кроме разве радиоактивности, и подозреваемых — но не доказанных — космических процессов в звездах и в, может быть, не существующем мировом эфире.

Оставляя в стороне эту, еще более глубокую черту жизни — человеческая цивилизация является причинным следствием стихийного планетного процесса, законы которого доступны нашему изучению, и мы подходим к их пониманию. Она не может быть остановлена и не может переменить свое направление. Бессознательно человечество, творя свою историю, производит явление большой мощности.

Когда говорят о возвращении к эпохе варварства, забывают эту сторону человеческого существования — неслучайность, неизбежность характера и направления коллективной человеческой работы. Как приливы и отливы, или движение морских течений, или ход палеонтологического изменения животных и растительных форм, точно так же неизбежен и неизменим ход человеческой истории, поскольку он проявляется в производимом им движении материальных масс на земной поверхности. Человек, однако, может производить эту работу, только увеличивая силу и мощь своей цивилизации.

Всматриваясь в изменения, вносимые новой геологической силой — силой культурного человечества — созданной подготовкой миллионов лет изменения живой материи, — видишь, что агентом, приводящим ее в движение, является сознание, ум, новая сила на нашей планете. Неизбежно она получит такие условия своего проявления, которые дадут ей максимум возможного действия. То же мы видим кругом в том удивительном механизме, Порядке Природы, который сейчас понемногу раскрывается перед нашим творческим научным усилием. И так же как цивилизация — творческая человеческая мысль обеспечена в своем полном развитии, т.е. она совершает геологическую работу — составляет часть организованного целого.

Изучая с этой точки зрения характер человеческого воздействия, открываем любопытные явления и изменения в ходе земных химических процессов. Эти изменения могут быть в целом ряде случаев ясно и определенно выражены. Мне кажется, мне здесь удастся отметить важные частности.

Но я не могу здесь этого касаться. Мне хочется только дать Вам понять область явлений, к которой я подошел и которая странным образом научно заброшена, осо-

бенно в той ее части — не главной, — которая связана с человечеством и человеческой личностью.

Можно ли предвидеть будущий ход их изменения в связи с этой их созидающей геологической работой? Можно ли предвидеть неизбежный ход человеческого будущего?

Если и ход цивилизации, и развитие человеческого ума — сознания окружающего — причинно связаны с геологическим процессом нашей планеты — то это будущее может быть в общих чертах предвидено.

Из всего охвата фактов, точно установленных, мне кажется, вытекает, что этим будущим является автотрофность человечества — более простыми словами, независимость его существования от окружающего живого вещества — растений и животных<sup>3</sup>. Мы знаем сейчас два типа организмов, независимых в своем существовании, питании, — зеленые растения и некоторые бактерии. Человек и все остальные существа — в своем питании — связаны с другою жизнью. Зеленые растения и некоторые бактерии могут получать все им нужное для жизни непосредственно из минерального царства. Если бы исчезла вся, кроме них, жизнь — они бы могли существовать — но, оставленные одни, грибы, животные, человечество, — быстро бы погибли.

Человечество быстро идет к такой автотрофности: научным исканием оно подходит к решению задачи добычи пищи помимо живых организмов. Мне кажется это неизбежным следствием хода планетного существования. Автотрофное человечество увеличит до чрезмерности с нашей обыденной точки зрения свою силу и с точки зрения геологической силы достигнет большего равновесия.

Какие будут последствия для него от такого его изменения? Во что оно выродится? Может ли оно перейти в него целиком или из него выдвинется новый сверхчеловек, переживший это огромное изменение? Не присутствуем ли мы при его рождении?

Во всяком случае, мы живем в эпоху огромного геологического изменения, идущего в нашей среде, где мы являемся и пассивными, и активными участниками...

Я не хотел сперва касаться этих вопросов в той книге, которую я пишу, — но теперь решил ввести их, так как вижу, что, оставляя в стороне эти следствия, — я занимаю свою мысль другим и не даю ей возможности углубиться в эти новые достижения...

Вот, Дорогой Иван Ильич, несколько набросков, которые сделают Вам понятным мое переживание совершающегося.

Для моей работы необходимо образование особой — с особыми приборами и методами работы — биохимической лаборатории<sup>4</sup>. Я пытаюсь добиться ее организации на Западе или в Америке — пока тщетно. Но если я здесь этого сделать не могу, буду добиваться в России — в ее варварском социалистическом строе, как ни тяжело мне лично жить в рабской стране и как ни будет масса времени теряться на не существующие в других странах трения...

Сейчас сдал в печать свою *La géochimie*. Можете бы, Вы прочтете некоторые ее части. Страшно хочу Вас повидать и приеду к Вам, когда Вы позволите и когда будет у меня финансовая возможность. Можете бы, проведем в Россию через Женеву. Всего лучшего. Наш горячий привет Вам и Ан<sup>астасии</sup> Сер<sup>геевне</sup>.

Ваш всегда В. Вернадский.

<sup>1</sup> Редкие птицы (*лат.*).

<sup>2</sup> Бог из машины (*лат.*), здесь: внешнее, приводящее обстоятельство.

<sup>3</sup> Замечательная, намного опередившая свое время статья В. И. Вернадского «Автотрофность человечества» впервые была опубликована во Франции в 1925 году Впоследствии неоднократно перепечатывалась на русском языке.

<sup>4</sup> См. прим. 9 к первому письму.

## ПИСЬМО ПЯТОЕ

Paris. 20.IV. <1>924.

Дорогой Иван Ильич,

Давно все хочу Вам написать, но все время совершенно завален работой — вероятно, года дают себя знать, и я не могу так много успевать, как это было раньше.

Я еще задержался здесь и имею надежду остаться здесь еще год. Вырешится это в ближайшие недели, должно быть. Очень может быть, что я получу из одного из

здешних фондов некоторую сумму для научной работы в области изучения живого вещества<sup>1</sup>. Сумма эта (не менее 20 000 fr.) даст мне возможность прожить здесь. Это не то, чего я добиваюсь, — я хотел бы создания научного института, посвященного этому изучению, — но трудно здесь пробиться иностранцу вообще и в новой области знания в частности.

Мои идеи проходят медленно и, как всегда, встречают непонимание и недоверие. Думаю, что, м<ожет> б<ыть>, после выхода моей Géochimie, которая кончается печатанием, мне будет легче бороться. Но, с другой стороны, история науки мне говорит иное. Сейчас, перечитывая эту книгу, я сам недоволен формой, в которой я изложил свои мысли.

Лекции и в Сорбонне и в Muséum закончил. Последние буду сейчас печатать. Это теория, выработанная мною в основных чертах в 1891—1901 годах, и она только теперь начинает входить в научное сознание. Пересматривая весь научный материал, после моей последней работы в этой области (1912—1913), я вижу, что дальнейшее научное движение утверждает мои идеи и теоретические построения<sup>2</sup>. Так это странно переживать — особенно когда сознаешь — как это я глубоко понимаю — временность по существу всех наших построений.

Сейчас, помимо решения вопроса о фонде, меня задержала здесь и научная работа. Я натолкнулся, изучая минералы Конго, на новые и мало понятные явления в области радия. М<ожет> б<ыть>, имею в руках что-нибудь новое и очень большое. Но надо ж д а т ь результата еще недель 6: выделяются излучения лучей α, и только через 6 недель выяснится, может ли это быть полонием или что-нибудь новое. Во всяком случае результат интересный, и я из-за одного этого не могу уехать сейчас.

Хотел бы проехать в Россию и вернуться — не знаю, окажется ли это возможным.

Чем более вдумываюсь в происходящее, тем более вероятным мне представляется положение в России мрачным. Я учитываю возможность продления кризиса еще 10—15 лет и не много хорошего предвижу от замены большевиков новыми.

Возможна анархия и развал России, в частности отделение Украины. Конечно, все может измениться и каждый час — но чем раньше это изменится, тем вероятнее анархия и развал.

Сейчас среди научной работы опять подхожу к философским исканиям и сейчас готовлю небольшую работу об учении о симметрии в философском и научном мировоззрении<sup>3</sup>. Хочется написать свои идеи об автотрофности человечества: я считаю мало вероятным, с точки зрения естественных земных процессов, опасения гибели цивилизации, о которой сейчас многие думают...

Пока живешь — все углубляется и угоняется мысль. А между тем я как-то очень просто и спокойно смотрю в глаза приближающейся смерти. Кругом уходят близкие. И болезнь Павла Иван<овича><sup>4</sup>, так дорогого и родного мне, особенно ярко ставит эти вопросы. Переживаю, как переживал уход дорогой моей Нюты<sup>5</sup>. Для меня ясен антропоморфизм и представлений о конечности личности, и всех построений больших религий, даже лучших, как христианства или индийских. Сейчас отход наших обычных идей о времени и о материи особенно ярко разрушает текущие представления... Ниночка<sup>6</sup> пишет об ожидании смерти Павлом Иван<овичем> (она за ним ухаживает) как об огромном радостном подъеме его личности. Горячий привет от нас обоих Вам, дорогой друг, и дорогой Анаст<асии> Серг<еевне>.

Ваш В. Вернадский.

Если бы я был совсем моложе — я бы эмигрировал. Во мне чувство общечеловеческое много сильнее национального. Но сейчас это трудно и невозможно, так как всегда требует нескольких лет, потраченных на приобретение положения.

Я не делаю никаких иллюзий — жить в России чрезвычайно трудно, и труд настоящим образом не оплачивается. М<ожет> б<ыть>, я оттуда скоро и уеду.

Даже если бы мои попытки переезда в Америку устроились бы — все равно я считал бы себя обязанным вернуться и затем уехать.

На днях прочел книжку Т. Богданович о Короленко<sup>7</sup>. И вот я его <Короленко> прекрасно понимаю, и то, что я сейчас испытываю, очевидно, и он испытывал в своих моральных решениях, которые Другими рассматривались как общественные или политические <решения>. М<ежду> пр<очим>, эта книжка интересна, т<ак> к<ак> она подчеркивает жизнь К<ороленко>, как глубоко религиозного (но не конфессион<ального>)<sup>8</sup> человека, что, я думаю, верно. «Цель — оправдывает средства» — чем жила и живет русская интеллигенция — была для него всегда неприемлема<sup>9</sup>.

Я читал некоторые из статей в «Times», о которых Вы пишете, и читал все статьи того же автора, который писал их в Парижском «New York Herald». В «Times» они расширены и переработаны. Думаю, что в общем он верно описывает результаты большевизма, как они теперь вырисовываются. Но исторический результат может быть и иным. Я не знаю, будет ли расцвет русской жизни или начнется то падение, какое, напр<имер>, пережила испанская нация? Нельзя забывать, что все сейчас сдерживается террором, моральные основы коммунизма, а мне кажется, и социализма, в России иссякли. Сдерживать долго террором и убийствами нельзя без конца, и когда эти пути исчезнут — проявится настоящее содержание русской жизни. Не знаю, не развалится ли тогда Россия и, в частности, не отойдет ли в новое Украина — национальное самосознание в которой за эти года делает огромные успехи. Мне представляется, что думать сейчас о реставрации в России — немыслимо. И в то же время, несомненно, в стране идет своеобразное творчество. Здоровые силы в ней очень велики. Осложняет возможность выводов и большая эмиграция, среди которой, мне кажется, очень велико здоровое зерно.

Я не вижу ни в России, ни в эмиграции тех сил, которые создадут политически новую Россию. Центр этих сил — где-то в молодых поколениях, которые не ответственны за грехи отцов. Если в научной работе в России — старые люди составляют главную сплывающую силу огромного творческого значения, — <то> этого ядра в политических кругах нет, все слишком мало оказались понявшими происходящий процесс... Вожди будут новые. И, очевидно, они должны найтись где-то среди молодых.

Из России я имею много писем и думаю, что картина жизни в ней чрезвычайно сложная, — но все же самая главная сила, которая в конце концов переберет все, — <это> мысль и умственное творчество — науки, философии, религии, искусства. И оно сейчас в России не иссякает. В той области, которую я больше знаю — в научной, — научная работа, несмотря ни на что, развивается. Высшая школа разбита — но старые идеалы все больше приобретают тяги: нового творчества нет. Как это ни странно, Луначарский и Покровский — прямые продолжатели Делянова и Кассо, и корни коммунизма только отчасти в социальных построениях социализма — частью <они> в старой русской государственности. Не только коммунисты, но и все социалисты — враги свободы, т<ак> к<ак> для них личность человеческая исчезает перед целым.

Всего, всего лучшего.

Ваш В. Вернадский.

<sup>1</sup> В 1924 году специальный комитет французских ученых принял решение выделить Вернадскому денежную дотацию для работы над проблемами биогеохимии из фонда, основанного богатым промышленником и меценатом Розенталем.

<sup>2</sup> Имеется в виду концепция каолинового ядра, основания которой были заложены В. И. Вернадским в его магистерской диссертации «О группе силлиманита и роли глинозема в силикатах» (М. 1891) и которая разрабатывалась им в последующие годы. Ле Шателье оценил ее как «гениальную гипотезу» (Анри Ле Шателье. Кремнезем и силикаты. Л. 1929, стр. 267). В развитие этой концепции Вернадский опубликовал в 1923—1925 годах несколько статей в английских и французских изданиях.

<sup>3</sup> См.: В. И. Вернадский, «Принцип симметрии в науке и философии» (В. И. Вернадский. Философские мысли натуралиста. М. 1988).

<sup>4</sup> Новгородцев Павел Иванович (1866—1924) — юрист и философ, друг Вернадского.

<sup>5</sup> Короленко Анна Сергеевна — племянница Вернадского, скончалась в марте 1917 года.

<sup>6</sup> Вернадская (Толль) Нина Владимировна (1898—1987) — дочь В. И. Вернадского.

<sup>7</sup> См.: Т. А. Богданович. В. Г. Короленко. Биография (1853—1921). Вып. 1. Харьков. 1922.

<sup>8</sup> То есть не связанного с каким-либо конкретным религиозным направлением, свободного от исполнения церковной обрядности.

<sup>9</sup> См.: Т. А. Богданович. В. Г. Короленко. Стр. 22—23.

## ПИСЬМО ШЕСТОЕ

<Париж>. 21.VIII. <1>924.

Дорогой Иван Ильич,

Очень рады мы были получить Ваши письма перед отъездом. Не отвечали сразу, т<ак> к<ак> мы тоже переезжаем и много было всякого дела, заканчивая лето. Нат<алья> Ег<оровна> на днях напишет Ан<астасии> Серг<еевне>. Мы здесь

опять лечимся — я приехал третьего дня — съездил в Роснов в Бретани, где Ниночка собирает мне материал (морских растений и животных) для моей работы.

1-го сентября кончается срок моего возможного возвращения в Петербург. Я туда не еду и, весьма вероятно, порываю с Академией, оставаясь, однако, ее членом, как Ростовцев, Струве или Кондаков<sup>1</sup>. Но для меня здесь важный моральный вопрос права моей личности. Я считаю, что никакое учреждение не имеет права мне предписывать, раз только для меня ставится научное задание. Я просил продления командировки без содержания на год ввиду того, что я не могу бросить научную работу, которая кажется мне важной и дает мне основания думать, что я подхожу к новым и большим научным находениям. Очень возможно, что я ошибаюсь или что я не справлюсь с трудным и запутанным явлением, с которым столкнулся. Но для меня сейчас возможность подхода к новому большому несомненна, и — при таких условиях — я, как всякий ученый, который бы к такому явлению подошел, не могу его оставить по каким бы то ни было соображениям. Мы знаем, какое значение имели такие «случаи» в истории науки — как удивительный африканский материал, который находится в моем распоряжении, — раз только настойчиво их исследовали по новым путям. До сих пор в течение нескольких месяцев не очень настойчивой работы мне и моей помощнице, талантливой девушке, русской сирийке<sup>2</sup>, не очень много удалось выяснить. Оставляя в стороне ошибку, которая мне представляется невероятной, я подхожу к 4<-м> возможным объяснениям, всем интересным, 3 из которых приводят к новым совсем явлениям. Очевидно, бросить эту работу я не могу и в таком смысле на днях посылаю свой ответ Академии<sup>3</sup>.

К сожалению и большому моему огорчению, та же работа и та же причина мешает мне приехать на съезд в Прагу<sup>4</sup> и повидать Вас. Я прервал работу на месяц (до 15.IX), т<ак> к<ак> лаборатория Кюри закрылась до IX, а моя помощница уехала отдыхать до 15.IX, — но дальше откладывать работу, прерванную на середине, я не могу; около середины сентября я начну ее и буду неуклонно вести. Надеюсь получить результаты в ближайшие месяцы. Мечтаю о приезде в Прагу в декабре<sup>5</sup>.

Мне кажется, Ваше впечатление об отчете Академии<sup>6</sup> неправильно — жизнь научная в некоторых областях идет, и, несмотря ни на что, получают крупные результаты, совершенно сравнимые с работой Запада. Вообще, логика никогда не может охватить разнообразия жизни, и, вопреки всем нашим расчетам, в жизни совершается многое, что, кажется нам, — при данных условиях — не могло бы в ней совершаться. Почти во всех областях научной мысли русская научная работа не прервалась, даже растет, причем несравнимо большая ее часть совершается в пределах России. Насколько долго это может совершаться — трудно сказать, но факт существует, и с ним приходится считаться. Я мрачно смотрю на ближайшее будущее России — и мне кажутся эти искания и достижения непочтеными — но они есть и достигаются огромной волей и самопожертвованием работающих. Отчет Академии указывает на реальное, а не на потемкинские картины. Любопытны указания — которые я имею с разных сторон — в области точного знания — на появление молодых талантов из народной страны<sup>7</sup>. Может быть, в этом главная возможность возрождения. Я уверен, что все решает человеческая личность, а не коллектив, élite страны, а не ее демос, и в значительной мере ее возрождение зависит от неизвестных нам законов появления больших личностей. Сейчас русские ученые — выросшие в тяжелых условиях старой России — в целом ряде областей стоят в первых рядах мировой научной армии. Если действительно на смену идут новые силы — а факты, к моему совершенному удивлению, как будто начинают на это указывать, — возрождение России может совершиться скорее, чем я думаю. Конечно, если тот же процесс будет проявляться одновременно в разных областях культуры, а не только в науке. Мне указывают на появляющиеся новые большие молодые таланты в области точного знания и естествознания, и это факт, который может дать новое направление русской культуре. Конечно, так же ничего не сделает с этим социалистическая схоластика, как не сделало царское самодержавие и православный синод. В силу свободной мысли я верю как в единственную реальную силу, более могущественную, чем мы это думаем в политических наших расчетах.

Будущее в молодежи — в том общем, что должны найти белая и красная русская молодежь и молодежь украинская. Если они найдут *modus vivendi*<sup>8</sup> — жизнь русская возрождается быстро. Молодежь должна сама искать выхода, и я считаю возможным, что удастся единение немногих избранных этих трех течений русской общности, за которой пойдут остальные.

В возможность победы одних над другими я не верю, т<ак> к<ак> не вижу реальных указаний реальных фактов. Возрождение старого мне представляется фантазией.

Но я не верю в чудеса и думаю, что все это совершится медленно; процесс ускорится, если в стране — неведомыми путями — действительно окажутся молодые, богато одаренные и сильные волею люди.

Большая научная работа и сейчас в России возможна в исключительных случаях — она идет у Павлова, у Иоффе и других в зависимости от талантливости руководителей, и русская научная литература и работы русских ученых и сейчас заметно начинают все больше приобретать значение в текущей мировой научной работе.

Я сейчас завален работой и не справляюсь с тем, что хочу и должен сделать. Конечно, м<ожет> б<ыть>, жаль, что мне не удастся здесь добиться большой научной организации, которую, м<ожет> б<ыть>, удалось бы устроить — в тяжелых условиях жизни рабской страны — в России. Но ведь научная работа в России никогда еще не жила в вольных условиях — хотя социалисты, как это логически, по-моему, следует из их учения, — побили в этом рекорд. Я — и многие другие — всегда чувствовал себя во многом тяжело в русских условиях, — но все же в конце концов — с огромным лишним трудом — удалось поставить русскую научную работу на большую высоту. Она не очень зависит от политических и социальных условий.

Моя французская книга наконец вышла, и я пришлю Вам ее в сентябре — м<ожет> б<ыть>, Вы пробежите некоторые места. Не знаю, какое она произведет впечатление. Удивительно, как своеобразно идет входжение идей: сейчас начинают оказывать влияние мои идеи о силикатах 1890-х годов — высказанные 30 лет назад. Мне приходится даже восстанавливать их существование ввиду «новых открытий» старого. Отчасти виноват я — писал по-русски.

Вы не думайте, дорогой Иван Ильич, чтобы, писавши это, я восторгался своей работой. Наоборот, я вижу, что эти мои теоретические выводы временны и должны скоро уйти, как ушло многое из более важного. Но странно, что это временное влияние совершилось так поздно: их скоро придется заменить другими построениями, которые дадут другие. Но миновать их как будто было нельзя.

Всего лучшего. Будем рады узнать, как Вы устроены в Праге. Надеюсь, Георгий<sup>9</sup> был у Вас — а Ниночка, как только приедет, зайдет и обещала написать. Наш сердечный привет Вам и дорогой Анаст<асии> Серг<еевне>.

Ваш В. Вернадский.

<sup>1</sup> Ростовцев Михаил Иванович (1870—1952) — историк и археолог, академик Российской Академии наук (с 1917 года), с 1918 года в эмиграции; Струве Петр Бернгардович (1870—1944) — политический деятель, экономист и философ, академик Российской Академии наук (с 1917 года), с 1920 года в эмиграции; Кондаков Никодим Павлович (1844—1925) — историк, академик Петербургской Академии наук (с 1898 года), с 1920 года в эмиграции.

<sup>2</sup> Шамье Е. А. — сотрудница Радиевого института имени П. Кюри, возглавлявшегося Марией Кюри. С помощью Шамье В. И. Вернадский исследовал в лаборатории Радиевого института слитки чистого уранового свинца с атомным весом 206, выделенные из минерала кюрита, образцы которого были подарены М. Кюри за несколько лет перед этим владельцами радиевого рудника в Конго. Работа эта очень увлекла Вернадского, так как кюрит оказался совершенно неизученным минералом с весьма загадочными свойствами. Одно время ему и Шамье даже показалось, что они натолкнулись на новый, ранее не известный химический элемент. Сообщение об этом было встречено с энтузиазмом М. Кюри. Вскоре, однако, обнаружилась ошибочность такого заключения, а нового материала для продолжения работ над кюритом в институте не было.

<sup>3</sup> В 1924 году В. И. Вернадского посетили в Париже, находясь в заграничной командировке, академики А. Ф. Иоффе и П. П. Лазарев. Его научные изыскания произвели на них вполне благоприятное впечатление. Для завершения своих исследований Вернадскому необходимо было еще около года, после чего он обязан был отчитаться о проделанной работе перед ученым комитетом фонда Розенталя. Однако его просьба о продлении командировки до октября 1925 года без оплаты на этот срок его проживания за границей была академией отклонена. Общее собрание (конференция) вынесло решение о желательности скорейшего возвращения Вернадского в Ленинград и установило 1 сентября 1924 года в качестве предельного срока («Известия Российской Академии наук», VI серия. 1924, т. XVIII, № 1 — 11, первая часть, стр. 598). Узнав об этом решении, Вернадский направил в Академию наук обширное письмо, которое было зачитано на заседании отделения физико-математических наук 3 сентября 1924 года. В этом письме Вернадский отмечал, что он не считает для себя возможным бросить начатую в Париже научную работу, которая находится в самом разгаре, и поэтому не может подчиниться решению академии и немедленно вернуться в Ленинград (см.: В. И. Вернадский, «Письмо в Рос-



сийскую Академию наук». — Там же, стр. 598—600). После обмена мнениями по этому вопросу отделение вынесло следующее решение: «Признать, что В. И. Вернадский с 1 сентября сохраняет только звание академика, вместе с тем, имея в виду большое научное значение работ В. И. Вернадского, с которыми в общем могли ознакомиться в Париже П. П. Лазарев и А. Ф. Иоффе, положено просить Наркомпрос сохранить за Академию право при возвращении В. И. Вернадского в Ленинград включить его вновь в число действительных членов Академии без новых выборов» (там же, стр. 600).

<sup>4</sup> Речь идет о проходившем в Праге научном съезде.

<sup>5</sup> Поездка эта не состоялась.

<sup>6</sup> По всей вероятности, имеется в виду «Отчет о деятельности Российской Академии наук за 1923 год» (Л. 1924).

<sup>7</sup> Очевидно, описка; следует читать: «среды».

<sup>8</sup> Образ жизни, способ существования (*лат.*).

<sup>9</sup> В е р н а д с к и й Георгий Владимирович (1887—1973) — сын В. И. Вернадского, известный историк.

## ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

«Париж». 15.XI. <1>924.

Дорогой Иван Ильич,

Влад<имир> Анд<еевич><sup>1</sup> передаст Вам это письмо. Я пишу редко, но часто мысль с Вами. Очень надеюсь, удастся с Вами свидеться.

Я весь в научной творческой работе и сейчас соприкасаюсь с новыми областями, которые мне кажутся важными. Выйдет ли из этого что-нибудь — не знаю, и как-то меня это не интересует. Я ясно вижу это новое, а главное, ярко чувствую его связь со всем окружающим. И моя мысль все чаще и чаще захватывается общими философскими вопросами. Мне хочется к ним ближе подойти и кое-что высказать. Очень часто мне кажется, что моя концепция живого и мира является резко отличной от концепций, окружающих меня, и что я должен это — перед концом моей жизни — высказать. А так как для меня совершенно ясно, что в мире есть Порядок — и «случай», которым сейчас так кругом злоупотребляют, есть категория того же уровня, как и те религиозные догматы, над которыми смеются сторонники случая и создания мира игрой слепых сил, — то для меня не является случайностью и проявление во мне этих новых концепций...

Как бы то ни было, я, наряду со своей чисто научной работой, обдумываю и начинаю обрабатывать некоторые общие вопросы философского характера.

В этом и этим живу. И этим оправдываю для себя мой уход из России, где так тяжело сейчас жить и где так много нужно делать. И можно делать — в этом я в корне не согласен с здешним господствующим мнением. Не только работа Росс<ийской> Акад<емии> Наук — но и работа Украинской в Киеве есть огромное национальное дело, и, несомненно, она останется. Уже то, что она была в эти ужасные годы, есть факт великого значения.

Одно из поучений переживаемого есть крушение человеческой логики: действительность есть ясное проявление большего базиса жизни, чем тот, которым неизбежно орудует наш разум в своей критике и в своих суждениях — и в своей оценке происходящего. Эта оценка — логически истекает из посылок, которые неизбежно не совпадают целиком с жизнью, и нет никакого сомнения, что оценка современников чрезвычайно неверна. Мне кажется, что эта оценка особенно неверна по отношению к культурной работе людей, оставшихся в России, в понимании происходящих там больших духовных и заметных идейных течений. Мне это бросается в глаза. Я вовсе не отношусь с сомнением к человеческому разуму вообще — наоборот, — но думаю, что и в жизни, как и в науке, особенно в жизни, мы не должны всегда идти построениями гипотетическими — теми, напр<имер>, какие дает социализм всех толков и которые сейчас продолжают строиться в эмиграции (напр<имер>, Струве). Я эмпирик в своей научной работе, и в целях областей знания — а также особенно в жизни — эмпирическое обобщение непременно должно, мне кажется, преобладать над чисто логическими построениями разума. Обычно не отделяют и не видят огромного отличия эмпирического обобщения от научной или иной гипотезы. А между тем оно огромно, и особенно должно иметь значение эмпирическое обобщение в явлениях общественной жизни.

Не знаю, как сложится моя дальнейшая жизнь. Может быть, через год придется вернуться в Россию — в Петроград или в Киев — может быть, удастся устроиться иначе. Мне кажется, в происходящей сейчас трагедии русской эмиграции и русского общества вообще — недостаточно учитывается значение ее работы, долженствующее быть, но не осуществляемое в осколках русской государственности или русского племени —

в окраинных государствах и в Польше. Я думаю, отрыв этих областей произошел на многие поколения, особенно в Польше. Я знаю, что к Польше русские здесь и в России — относятся пренебрежительно, но мне, м<ожет> б<ыть>, потому, что я близко знаком с украинск<им> движением, будущее которого мне представляется очень большим, это представляется иначе. Я думаю, что русским надо везде в этих странах считаться с вероятной длительностью сложившегося порядка и с необходимостью роста и развития русской культурной работы в этих новых рамках. В частности, в Чехии этот вопрос стоит для Угорской Руси...

Несомненно, многое кругом неустойчиво и изменится — но совершенно ясно, что соотношение сил не позволит уничтожить или ослабить одно какое-нибудь течение настолько, чтобы установился строй, ему одному соответствующий. Коммунизм в основном чрезвычайно силен — а рядом идет глубокая драма исканий новой веры, и, может быть, возрождение и усиление христианства — м<ожет> б<ыть>, в форме той или иной гегемонии католичества. Но сейчас в наш мир выступили великие создания Востока с их удивительно иногда глубоким проникновением в человеческую душу и в природу вообще. Если даже нам или нашим детям суждено пережить новый ужас войны — она не может создать ничего прочного: коренным образом новая война ничего не может изменить<sup>2</sup>.

Боюсь, что эти наброски мыслей во многом непонятны и, м<ожет> б<ыть>, Вам поэтому скучны. Но невольно, обращаясь к Вам, мне хочется высказать то, чем живу. Думаю, м<ожет> б<ыть>, так или иначе эти мысли изложу, если смогу, связню.

Горячий привет Ан<астасии> С<ергеевне>.

Ваш всегда В. Вернадский.

<sup>1</sup> О ком конкретно идет речь, установить не удалось.

<sup>2</sup> Впоследствии, в 1939—1941 годах, когда началась вторая мировая война (особенно со вступлением в нее Советского Союза), точка зрения В. И. Вернадского существенно изменилась: эту войну он рассматривал как начало коренного перелома в истории человечества на его пути к ноосфере, о чем сохранились многочисленные записи в его дневниках и письмах того периода.

## ПИСЬМО ВОСЬМОЕ

<Париж>. 8.I. <1>925.

Дорогой Иван Ильич,

Мы всегда страшно рады известиям от Вас и от Анаст<асии> Серг<еевны>, и я очень часто мыслью и всегда сердцем с Вами.

Мне хочется коснуться здесь некоторых мыслей, возбужденных Вашим письмом. М<ожет> б<ыть>, вследствие характера моего, а м<ожет> б<ыть>, в связи с тем, что я в последние годы ушел в новые области научных исканий и углубился в научную и философскую мысль, — я, несомненно, многое переживал совсем иначе, чем переживается вокруг меня. И прежде всего я глубоко убедился в неправильности всех оценок и построений, которые делались по отношению с переживавшимся нами событием, и не вижу никаких гарантий и никаких указаний на то, что дальнейшие — теперешние — оценки тех же людей были верны. Вследствие этого я стал чрезвычайно терпим к оценке совершаемого другими, т<ак> к<ак> знаю, что едва ли их мнения (так же как и мои) заключают много истинного. Для меня гораздо важнее оценка личности — человека в целом, чем оценка его поступков, связанных с его пониманием происходящего. И в этом отношении те различия мнений, какие, напр<имер>, существуют между мной и дорогими мне людьми, как С. Ф. Ольденбург или А. Е. Ферсман, нисколько не меняют моего к ним отношения. Оставляя в стороне те поступки, которые связаны с их неизбежными ошибками — с точки зрения их же мотивов, — для меня кажется совершенно странным и неприемлемым многое из того, что они сознательно и не ошибаясь проводят. Но эти различия между нами нисколько не нарушают моего к ним отношения. Как-то Франкфурт<sup>1</sup> сказал мне то, что, вероятно, верно: «Мы не знаем, так ли оценит будущее большевиков, как оцениваем их мы, вероятно, оно оценит их во многом совсем иначе». Ремюза<sup>2</sup> как-то напечатал записки китайского государств<енного> деятеля во время катастрофы, постигшей Китай при Чингиз-хане. Он пошел к татарам и сделался ближайшим помощником Чингиза: и благодаря ему, а не его моральным противникам, Китай не постигла судьба Средней Азии, где все было уничтожено. И этот мандарин был морально прав. Поэтому я знаю,

что как бы мы разное с Вами ни смотрели на окружающее — если мы смотрим разное, чего я не думаю,— это ни в чем и никогда не изменило бы ни моего чувства к Вам, ни моей оценки. Сейчас вообще, я думаю, главное — оценивать все от себя — считаясь только со своей совестью: слишком сложно происходящее для того, чтобы можно и нужно было бы считаться с мнением окружающих.

По существу, в научной области мы всегда идем так, и я это особенно чувствую теперь, когда вся моя работа о живом веществе является новаторской, идет вразрез с мнением и привычками мысли окружающих.

Конечно, наука не политика и не связанная с ней жизнь — но в трагические моменты нет ничего большего, на что можно было бы опереться, кроме личного «я». Те, кто может, могут опираться на соборное сознание, вроде церкви,— но для меня оно чуждо, и, придавая ему огромное значение, я считаю его равноценным — но не выше — искреннему и творящему личному сознанию...

Одна из наших ошибок была — рационализирование жизни,— но жизнь сложнее всех наших логических построений, и я, к удивлению, сейчас вижу, как, вопреки логике, при гибели отдельных лиц — и целого строя — идет сейчас в России творческая научная работа и она захватывает не только отживающих, но новые поколения. И то же идет в других областях духовной жизни. В этом я вижу залог будущего и принимаю его как факт, как эмпирический факт, который существует, хотя я не могу дать ему объяснения.

По отношению к науке я должен сказать следующее: современная русская научная литература — в области мне известной,— не сдвинута; наоборот, сейчас в ней нам приходится искать и находить много нового и важного. Я считаю ее, напр<имер>, равной французской (и теперь) и выше итальянской.

В числе работ ряд новых лиц. Та молодежь, которая начинала работать в эпоху революции, выросла и в значительной мере не погибла. Всюду сообщают о страстном стремлении к знанию и его исканию при невероятных трудностях жизни. И несомненно, среди этих людей есть люди низоы, которые вышли на поверхность благодаря революции.

Я привык в природных процессах видеть достижение результатов гибелью многих — одна из миллиона родившихся рыб, напр<имер>, доживает до зрелого возраста. И вот, если в стране есть достаточное количество ростков — она может выжить; и тогда деятельность таких людей, как Ольденбург, оправдается.

Выживет или нет — я не знаю. Когда говоришь с некоторыми из приезжающих и пошедших дальше, чем Ольд<енбург>, в приспособлении к тамошней жизни — видишь, что они говорят о «чуде» — о будущем расцвете. Едва ли может быть расцвет в связи со всякой революцией, а особенно с такой, как коммунистическая. Но, по-видимому, страна справляется с этим несчастьем духовно лучше, чем я думал...

Эти недели я совсем ото всего ушел в одну работу, забросив даже свои радиевые изыскания и лабораторию. Мне кажется, что я подхожу к большому обобщению в области явлений жизни и хочу выразить его математически. В моих мечтах передо мной вскрывается такая область, о существовании которой еще недавно я и не подозревал<sup>3</sup>.

Сию часами над вычислениями, и если сейчас пишу Вам — то только потому, что из-за нездоровья сижу дома — и дальше не могу вычислять. Запустил всю переписку и пользуюсь минутой, чтобы побеседовать с Вами.

К сожалению, то, что удастся сделать — если удастся,— маленькое по сравнению с тем, что вскрывается и что не смогу и я — как, несомненно, и мои предшественники, выразить словами...

Мое положение здесь очень непрочное. Обеспечен на год — но что же дальше? Достать те средства, какие я хотел,— я не смог, и я не знаю, как сложится мое будущее. Хотя я не подчинился решению Академии — она со мной не порвала и я эмигрантом еще не сделался. Неужели станет опять вопрос о возвращении? Мне иногда кажется, что, не усложнив мое отношение к России моим украинством,— я бы не уехал. Но сейчас все эти вопросы отходят перед тем новым, чем я могу заняться и на работу над которыми у меня, д<олжно> б<ыть>, не было бы «досуга» в России,— я заканчиваю начатое в 1918—1920 <гг.> в Киеве и в Крыму.

Всего лучшего, дорогой Иван Ильич. Страшно хотел бы Вас повидать и с Вами поговорить и насколько не сомневаюсь, что мы бы вполне смогли понять друг друга.

Н<аталия> Е<горовна> получила письмо дорогой А<настасии> С<ергеевны>, которое нас так перенесло к Вам...

Ужасно жалею, что Ниночка и Георгий еще Вас не видели,— но Ниночка сейчас вся в срочной и тяжелой работе, но все же я хочу, чтобы они к Вам приехали...

Ваш всегда В. Вернадский й.

Дорогая Анастасия Сергеевна, Вы не можете себе представить, как мы были рады получить Ваше дорогое письмо. Сейчас не хочу откладывать отправление письма Влад<имира>, но скоро напишу.

Всей душой Ваша Н<аталия> В<ернадская><sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Франкфурт С. Л. — профессор, ученик К. А. Тимирязева, друг Вернадского. В 1918—1919 годах во время пребывания Вернадского в Киеве оказывал ему помощь в экспериментальном изучении биогеохимических проблем.

<sup>2</sup> Ремюза Ж. П. Абель — французский востоковед.

<sup>3</sup> В 1924—1926 годах В. И. Вернадским была опубликована на французском и русском языках большая серия биогеохимических заметок и статей, в которых им впервые стали широко применяться математические методы анализа.

<sup>4</sup> Приписка, адресованная А. С. Петрункевич, сделана рукой Н. Е. Вернадской.

## ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

<Берлин>. 14.VI. <1>927.

Дорогой Иван Ильич,

Пользуясь отъездом Георгия<sup>1</sup>, хочу Вам написать несколько слов. Он Вам расскажет. Я чувствую — как очень тяжелый гнет, — что меня не пустили в Чехословакию, несмотря на все мои и Академии хлопоты<sup>2</sup>. Причина для меня и для других совсем непонятная: задержки были не от полиции, а от Мин<истерства> Ин<остранных> Дел, и Литвинов уверял Акад<емию>, что это общее решение, которое может измениться через несколько месяцев — но которое сейчас для него непреодолимо. Я думаю, что это какие-нибудь нам не известные партийные обстоятельства. Я уже подал в Академию заявление о моей предполагаемой командировке в Прагу в 1926/7 году.

Теперь несколько общих впечатлений. Жизнь чрезвычайно тяжела в России, благодаря исключительному моральному и умственному гнету. И это несмотря на то, что Ак<адемия> поставлена в исключительное положение (<это> единственное учреждение, сохранившее «юридически» самоуправление; конечно, приходится считаться с реальной обстановкой — но <делать это> самим) и что я могу вести и организовывать свои работы очень широко. Мы думали — еще до происшедших трагических событий<sup>3</sup>, — что этот год будет для интеллигенции (и для Академии) очень тяжел; вероятно, он будет еще тяжелее, чем <мы> думали.

Я нашел <в России> очень мало улучшений жизни по сравнению с 1922 <годом> — они, конечно, есть, — но, в общем, слышком малы по сравнению с тем, как за это же время изменилась мировая — хозяйственная, политическая и бытовая — обстановка. Но я думаю, что изменение духовное очень велико. Большевизм (и социализм) изжит, и всякий престиж пал. Это изменение сейчас охватывает чрезвычайно широкие круги и все увеличивается — напр<имер>, за мое время <пребывания в России> по общим указаниям <произошло> резкое изменение — к бездарному, правда, — преподаванию «полит. грамоты» — которая всюду называется «законом Божиим», и отношение к ней, как к насилию и чепухе, ярко растет; сейчас еще всюду ввели военные предметы. Вообще, военщина и «гвардейски» держащаяся (не «коммунистически») офицерская молодежь — новое для меня явление. В Петербурге военный характер в городе — сильнее Берлина. Москва — местами Бердичев; сила еврейства ужасающая — а антисемитизм (и в комму<нистических> кругах) растет неудержимо.

Логически я благоприятного выхода не вижу. Но учитываю, что моя логика не может охватить все явление и пропущенные мною члены могут коренным образом изменить выход. Должен сказать, что первое отчаянное впечатление ослабляется — а не увеличивается — с большим присматриванием к жизни. Я боялся больше, чем теперь, биологического вырождения. Раса, кажется, достаточно здорова и очень талантлива. Может быть, выдержит.

Огромно стремление к знанию; и начинается ясное — мне кажется, растущее — понимание того, что дают и его убожества. Мне поразительно было — очень спокойное отношение к будущему России хорошей (частию прошедшей через коммунизм, идейно или реально ушедшей из партии) молодежи. Вера в большое будущее у нее есть. Много идейной работы в тех кругах, где мне приходится работать.

Религиозное движение (и не православное) очень чувствуется, но широкие круги молодежи и интеллигенции стоят вне. С монархическими настроениями мне не пришлось сталкиваться, и даже удивительно, как слабы корни династии.

Вы чувствуете огромный исторический сдвиг: для меня ясно, что вековое — поколениями шедшее — стремление народа освободиться от помещиков — навсегда — и получить землю исполнилось. И это — основной процесс. По-видимому, есть и разочарование — но то, что произошло, и крепко, и чувствуется, как завоеванное. Очевидно, собственность на землю — есть основное достижение, и не только мелкая собственность. На этом не остановится. Сейчас в этом будет основная борьба.

Огромно и интересно решение национального вопроса. Вся азиатская Россия находится в очень сильном движении. Много глубоко важного и интересного. Опасность потери русским населением Тихоокеанского приморья: захват корейцами, входящими в ком<мунистическую> партию. Идет всюду огромная и разнообразная интересная культурная работа. Массовое и широкое научное исследование. Многие смотрят оптимистически с точки зрения русского языка и значения русской культуры. У меня есть серьезные сомнения и беспокойство. Но идущий процесс огромен, очень интересен — не коммунистический — и меняющий облик России.

Патриотическое чувство в России меньше, чем на Украине. Украина, мне кажется, сейчас окрепла национально, и коммунисты там должны считаться с национальным движением больше, чем в России. Это сейчас важный фактор внутренней политической жизни, и с ним приходится считаться на каждом шагу, в частности, им определяется, напр<имер>, и новый строй нашей Академии Наук. Ведь серьезно был поставлен вопрос (в связи с Днепровск<ими> порогами)<sup>4</sup> о выходе Укр<аины> из Союза. На Укр<аине> украинскими шовинистами-самостийниками являются евреи, имеющие там огромное значение — но только в городах.

Высшее образование и культ<урная> работа на Украине слабее, частью в связи с украинизацией — дикой и возбуждающей. Но цензура слабее. Университеты там уничтожены. Научная работа растет.

Научная работа в огромных областях во всем Союзе идет и действует на жизнь больше, чем обычно думают. Но все непрочно. Поражают бедность, пьянство, бюрократизм, воровство, аморализм, грубость.

Экономисты говорят, что изменение режима неизбежно — но могут пройти несколько лет, — но коренное изменение эконом<ической> жизни не может быть ни отсрочено надолго, ни не быть коренным. Все может быть, и очень быстро. Все идет к полной капитуляции власти в этой области. Это сознают большевики, и, говорят, <это> выражается в их литературе.

Мне кажется, и здесь во многом <это> вопрос талантливости расы — вопрос биологический, законы которого нам неизвестны. Решают личности, а не толпа.

Моя личная работа расширяется и углубляется. Я подошел к новым и большим проблемам. Она задерживается недостатком средств; но должен сказать, что я все-таки многого добился и сейчас имею 25 помощников, работаю в разных местах, разных учреждениях. Есть талантливая, горячо преданная делу молодежь. Если так продлится два года — будут большие результаты.

Горячо обнимаю Вас и Ан<астасию> Серг<еевну>, дорогой, горячо любимый друг.

Ваш В. Вернадский.

<sup>1</sup> Это письмо было отправлено Вернадским с сыном, отъезжавшим из Берлина в канун открытия там недели русских ученых и русской науки. Делегацию советских ученых возглавлял нарком здравоохранения Н. А. Семашко. Кроме Вернадского в состав делегации входили Н. К. Кольцов, И. И. Шмальгаузен, А. Ф. Самойлов, А. Ф. Иоффе, П. П. Лазарев, В. Н. Ипатьев, А. Е. Чичибабин, А. В. Палладин, А. А. Борисляк, А. Е. Ферман и другие.

<sup>2</sup> Заграничная научная командировка В. И. Вернадского весной и летом 1927 года ограничилась двумя странами — Германией и Норвегией.

<sup>3</sup> Какие трагические события имел в виду Вернадский, установить не удалось.

<sup>4</sup> По плану ГОЭЛРО в 1927 году ниже днепровских порогов было начато строительство Днепродзёса.

\* \* \*

Читатель, вероятно, уже обратил внимание на то, что письма В. И. Вернадского И. И. Петрункевичу 1923—1927 годов по своему нравственному, социально-философскому, эмоциональному настрою во многом созвучны недавно впервые опубликован-

ным в нашей стране письмам В. Г. Короленко А. В. Луначарскому. Обстоятельство это не случайно.

В. Г. Короленко и В. И. Вернадский были троюродными братьями. Впервые их знакомство произошло в Петербурге в 1877 году, когда Короленко некоторое время работал корректором в типографии своего двоюродного дяди Ивана Васильевича Вернадского (1821—1884), отца Вернадского, называвшейся «Славянская книгопечатня». Этот период жизни Короленко впоследствии нашел отражение в «Истории моего современника»...

В годы Великой Отечественной войны В. И. Вернадский принимает близкое участие в сложившейся очень нелегко судьбе дочерей Короленко Софьи Владимировны и Натальи Владимировны, помогает им материально. Интересна тогдашняя переписка между ними. С. В. Короленко Вернадский, в частности, писал: «Вашего отца я не только любил и ценил как писателя, но по моему отцу Вы являетесь самыми близкими для меня родственниками» (письмо от 10 апреля 1942 года.— Архив АН СССР, ф. 518, оп. 2, ед. хр. 52, л. 319); «Я смотрю на Вас и на Вашу сестру как на самых близких людей, т<ак> к<ак> Владимир Галактионович не только был моим кровным, но и дорогим, и близким по духу» (письмо от 15 апреля 1943 года.— Там же, ед. хр. 57, л. 103).

И. И. Петрункевича, В. Г. Короленко и В. И. Вернадского разделяла десятилетняя разница в возрасте. Годы их рождения (1843—1853—1863) оказались в той или иной степени связанными с этапными периодами истории России — обстоятельство, отмечавшееся Вернадским в одной из последних записей в дневнике. Всех троих роднила любовь к Украине и России, а обе культуры — украинская и русская — глубоко отразились в их духовном облике. «На Украине моя родина,— писал Петрункевич,— там протекла почти половина моей жизни, <!...> с Украиной я связан не только холодными идеями права и государственного единства России, но и чувствами, коренящимися в крови, в воспоминаниях и впечатлениях природы, в звуках народного языка, во всем, что накладывает неизгладимую печать на человека и отмечает его национальное происхождение. Но все эти местные влияния не заслоняют во мне всей родины, и единство России для меня не только государственная идея или сожительство двух национальностей, а живое и неделимое целое, имеющее свое удивительно художественное и бесспорное отображение в таких одаренных людях, как Гоголь и Короленко, у которых украинское и русское, как частное и общее, отразилось с необыкновенной ясностью. Попробуйте выделить в них украинское от русского: не получится ни того, ни другого, живое будет превращено в мертвое. <!...> Гоголь и Короленко в своем творчестве пошли за Пушкиным и признали своим и язык восточных славян, не изменяя своей родине Украине» (письмо В. И. Вернадскому от 14—17 июля 1917 года.— Архив АН СССР, ф. 518, оп. 3, ед. хр. 1261, лл. 14, 16).

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

## ПОСТАВАНГАРД: СОПОСТАВЛЕНИЕ ВЗГЛЯДОВ

МИХАИЛ ЭПШТЕЙН



### *Искусство авангарда и религиозное сознание*

**М**арселю Дюшану, одному из основоположников и столпов европейского авангардизма, был задан вопрос, верит ли он в Бога. «Нет, вовсе нет. Не спрашивайте об этом! Для меня этого вопроса не существует. Бог — изобретение человека... Я просто не хочу даже говорить об этом. Я не разговариваю с вами о жизни пчел по воскресеньям, не так ли? А это то же самое».

В этих словах Дюшана заключен как бы суммарный ответ всего авангарда XX века на вопрос о вере — нет, а впрочем, «я... не хочу даже говорить об этом». Действительно, художники-авангардисты предпочитают молчать, словно бы избегая нежелательной темы, но само уклонение от нее выдает ее глубоко запрятанную значимость. В предисловии к книге своих бесед с Дюшаном интервьюер замечает: «Он говорит спокойным, ровным, размеренным голосом... Только один вопрос вызвал в нем явно выраженную реакцию — когда, ближе к концу, я спросил, верит ли он в Бога».

Почему же наиболее сильную реакцию вызывает вопрос, за которым отрицается сколько-нибудь существенный смысл? Почему об этом так не хотят говорить?

**АНТИИСКУССТВО — ЖЕСТ ЮРОДИВОГО** Авангард часто характеризуется как область саморазрушения искусства, отрицания художественности. Наш официальный критик авангарда пишет: «Авангардистские творения не выдерживают критериев не только великого искусства, но и искусства вообще. Поэтому их невозможно анализировать с искусствоведческой точки зрения (нельзя применять методы искусствоведческого анализа к тому, что по природе своей перестало быть искусством)...»<sup>1</sup> Но если авангард, как принято про него говорить, представляет собой антиискусство, то следует задуматься: какая же сила вытесняет искусство из его собственной сферы и занимает его место? Определение «антиискусство» требует зторого, содержательного определения этого же феномена — как социального, религиозного или какого-либо другого.

Разрушение разрушению рознь. Сопоставим два события, происшедших примерно в одно время и имеющих общую предметную основу. В 1917 году Марсель Дюшан попытался выставить на нью-йоркской выставке в качестве художественного объекта обыкновенный писсуар под названием «Фонтан» (в чем ему было в конце концов отказано). В 1919 году в Петербурге состоялся съезд «деревенской бедноты», делегаты которого были размещены в Зимнем дворце. Вот что вспоминает об этом М. Горький: «Когда съезд кончился и эти люди уехали, то оказалось, что они не только все ванны дворца, но и огромное количество ценнейших севрских, саксонских и восточных ваз загадили, употребляя их в качестве ночных горшков. Это было сделано не по силе нужды, — уборные дворца оказались в порядке, водопровод действовал. Нет, это хулиганство было выражением желания испортить, опорочить красивые вещи».

Статья печатается в сокращенном варианте.

<sup>1</sup> В. Ванслов, «Модернизм — кризис буржуазного искусства» («Модернизм. Анализ и критика основных направлений», М. «Искусство» 1980, стр. 19).

В одном случае писсуар выставляется как художественный объект. В другом случае художественный объект используется как писсуар. Очевидно, что между разрушением искусства и созданием антиискусства есть принципиальная разница, такая же, как между жестом насильника и жестом юридического. Употребление северских ваз в качестве ночных горшков — акт чистейшего нигилизма, имеющий социальную природу: отношение темных, невежественных масс к созданию «аристократического» искусства. Иное дело — художник, «кощунственно» передвигающий границы своего искусства в область низкого, безобразного. Искусство тем самым сбрасывает себя с возвышенного постаamenta, добровольно унижает себя, вызывая скандальную реакцию (вместо привычного пиетета и благоговения).

«Жизнь юридического...» — пишет исследователь древнерусской культуры А. М. Панченко, — это сознательное отрицание красоты, опровержение общепринятого идеала прекрасного, точнее говоря, перестановка этого идеала с ног на голову и возведение безобразного в степень эстетически положительного<sup>2</sup>. Но ведь это и является в вину авангарду его критикой с позиции «хорошего вкуса» и «возвышенных идеалов» (образцы которой можно найти и у марксистских, и у ортодоксально-религиозных авторов). Авангард — это юридствующее искусство, сознательно идущее на унижение, на уродование своего эстетического лика вплоть до того, что место скульптуры на выставке занимает писсуар, а вместо прекрасных и осмысленных созвучий — убогое, кривляющееся «дыр бур шил убешур». Очевидно, что такое юридство — феномен антиэстетический, позитивно же его можно определить как феномен религиозный. А. М. Панченко полагает, что «безобразие юридства также возможно лишь потому, что эстетический момент поглощен этикой. Это возвращение к раннехристианским идеалам, согласно которым плотская красота от дьявола... В юридстве словно застыла та эпоха, когда христианство и изящные искусства были антагонистическими категориями» (стр. 80). В этом контексте проясняется смысл авангарда как религиозного отрицания искусства средствами самого искусства. Искусство впадает в убожество, чтобы причаститься участи Божества, пройти вслед за ним путь позора и осмеяния.

Конечно, авангард может не ставить себе сознательно этой религиозной цели, поскольку остается все-таки искусством, и лишь в том жесте, каким он снимает с себя все эстетические определения, обнаруживается его сверхэстетическая природа. Религиозное приводит сюда не как цель самоутверждения, а как момент самоотрицания, поэтому авангард не ставит себе задач религиозной проповеди. Это не священник, поучающий с амвона, а именно юридический, валяющийся в грязи. Очень важен здесь акт самоуничтожения, благодаря которому антиискусство все-таки остается искусством, хотя и включает упраздняющий его религиозный момент. Ведь это упразднение совершается в его собственной сфере, тогда как социальное насилие, приходящее извне, упраздняет самую сферу искусства. Самоуничтожение искусства — это акт религиозный, придающий самому искусству новые, парадоксальные, свойства антиискусства.

В самом типе поведения авангардного художника обнажен этот разрыв с привычками и условностями общественной среды. «Чистые» и «святые» понятия подвергаются глумлению. Художник осыпает публику плевками и бранью, чтобы вызвать ее ответные возмущение и насмешки. «...Он постоянно провоцирует зрителей, прямо-таки вынуждает их бить его, швыряя в них камнями, грязью и нечистотами, оплевывая их, оскорбляя чувство благопристойности» (стр. 90). Эта характеристика, данная юридическому, вполне может быть отнесена и к скандальным формам поведения русских и итальянских футуристов, французских дадаистов и сюрреалистов. Скандал — опрокидывание устоявшихся общественных норм, обнажение более глубокой парадоксальной системы ценностей, где высокое принимает обличье низкого. По сути, скандалом — в рамках законнического иудейского миропонимания — было поведение Христа: тот, кто объявил себя Сыном Божиим, явился в облике нищего странника и водил дружбу с мытарями, рыбаками, блудницами. Сам феномен юридства основан на этом изначальном парадоксе христианской религиозности, и искусство авангарда вновь возрождает во всей остроте кризисное переживание эстетических, моральных ценностей, которые отбрасываются перед Сверхценностью чего-то нелепого, немислимого.

<sup>2</sup> Д. С. Лихачев. А. М. Панченко, Н. В. Понурко. Смех в Древней Руси. Л. «Наука». 1984, стр. 80. В дальнейшем постраничные ссылки на этот труд даются в скобках.



Это не отрицание веры, но отрицание верой. Даже богохульство, порой исходящее из авангардистской среды, может найти параллель в поступках юродивых. Так, «Василий Блаженный на глазах потрясенных богомольцев разбил камнем образ Божией Матери на Варварских воротах, который истари считался чудотворным. Оказалось, что на доске под святым изображением был нарисован черт» (стр. 104). Многие в богоборческих элементах авангардистского сознания можно было бы объяснить сознательной или бессознательной борьбой с идолопоклонством. Даже такие эпатирующие заявления у раннего Маяковского: «Я думал — ты всесильный божище, а ты недоучка, крохотный божище... Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою отсюда до Аляски!» — никак нельзя отнести по ведомству «научного атеизма»: во-первых, потому, что борьба с Богом предполагает признание его живым (вспомним борьбу Иакова с таинственным незнакомцем), во-вторых, потому, что герой обнаруживает свою причастность к смыслу веры через принесение себя в жертву: «... — где боль, везде: на каждой капле слезовой течи распял себя на кресте».

Следует различать нигилистическое отрицание, уничтожающее смысл веры, и «протестантское» отрицание, очищающее этот смысл. Авангардизм ближе ко второму. Как бы ни выглядел надменно и повелительно художник-авангардист, в нем ощущается уязвимость добровольно приносимой жертвы. Он грубит аудитории, чтобы унижить себя перед ней: «Это взвело на Голгофы аудиторий Петрограда, Москвы, Одессы, Киева, и не было ни одного, который не кричал бы: „Распни, распни его!“»

Авангард тяготеет подчас и к отрицательным формам выражения: косноязычию, зауми, а в пределе — и вовсе к молчанию, к освобождению от знаковости. В этом публике, воспитанной на традиционных образцах звучной, изящной, эстетически оформленной речи, мерещилось кощунство. Но в футуристической зауми, снимающей все обязательства поэзии перед общепонятностью и требующей «читать права поэтов... на непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку» (манифест «Пошечина общественному вкусу»), опять-таки угадываются некоторые черты религиозного обращения с языком. «Отчуждая себя от общества, юродивый и язык свой отчуждает от общеупотребительного языка» (стр. 106). «Дыр бур шил убещур» Алексея Крученых или «гзи-гзи-гзос» Владимира Хлебникова родственны такому явлению, как «глоссолалия, косноязычное бормотание, понятное только юродивому, те «словеса мутна», которые произносил Андрей Цареградский» (стр. 96). Косноязычие есть способ выразить невыразимость невыразимого — вещи, не поддающиеся языку, ускользающие от наименования. Авангард — это художественное освоение именно тех областей бытия, которые незрими, неосязаемы, неизрекаемы, но специфика искусства в том и состоит, что сама неизрекаемость должна быть изречена (а не сохранена в молчании), незримость должна быть показана (а не укрыта во мраке). Этот парадокс содержания, отрицаемого собственной формой, и сближает авангард с юродством.

**ИСКУССТВО ВТОРОЙ ЗАПОВЕДИ** Один из общих признаков авангарда, свойственный самым разным его течениям, — отказ от художественного жизнеподобия, от следования формам самой действительности. Авангардное искусство, как правило, нефигуративно — и в этом подчас усматривают его уход в солипсизм и агностицизм, бессилие справиться с реальностью, отказ от ее познания и воспроизведения. Однако не нужно далеко ходить за аргументами, чтобы в неизобразительности авангарда увидеть свойство сакрального искусства, сторонящегося подобий и удвоений действительности — как изготовления фальшивых монет. Жизнеподобие — опасная вещь, ибо создает иллюзию устойчивости, завершенности тех форм, которые отображает, и соблазн их обожествления. Поэтому вторая заповедь гласит: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли» (Исход, 20, 4).

Изобразительность есть зло перед лицом Господа... И строго монотеистические религии, такие, как иудаизм и мусульманство, исполняют эту заповедь, налагая запрет прежде всего на изображение живых существ. В этом смысле авангард есть продолжение и развитие древнего принципа нефигуративности. Но поскольку он возникает на почве европейской культуры с ее сильнейшими изобразительными традициями, идущими от иконописи от попытки запечатлеть лик вочеловечившегося Бога, постольку авангард допускает фигуративность в качестве основы, предпосылки, подлежащей наглядному стиранию и уничтожению. В спектре авангардных течений выделяются более и менее фигуративные — от кубизма, условно геометризующего природу, до

абстракционизма с его чисто фантастической геометрией. Но абстракционизм не стал и не мог стать господствующим направлением авангарда, ибо добивался победы слишком легкой ценой — полностью упраздняя предметность. Тем самым упразднялся и парадокс, удерживающий в напряжении авангардистское полотно, придающий живую и мучительную трагичность всему авангардистскому мировоззрению. Образ стирает в себе черты образа. Бесплотное должно явить себя во плоти — распятой и уязвленной.

Конечно же, в своем отказе от фигуративности, точнее, допуская ее на правах жертвы, авангард вдохновляется не прямым наследием монотеистических культур, а живым ощущением кризиса современной цивилизации. Никто не запрещает изображать сущее, но само сущее утрачивает образ, разлагается и расплывается под мощным дуновением Духа, очищающего мир от коросты материи. Художество утрачивает былую радость: «О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд, и выпуклую радость узнавания!» (Мандельштам). Это стон классика, попавшего в «темные» века, где господствует варварское искусство бестелесного загробья. Предметный мир расчленяется на потоки энергий, скрыто являющиеся по проводам, на черточки и значки, мельтешащие в вычислительных машинах. Где здесь поверхность, которую можно любовно обвести округляющим взглядом?

Физика начала нашего века, точная и сухая, вдруг забила тревогу о пропаже материи. Вещный мир провалился куда-то в тартарары, в пропасть пульсирующих полей и растекающихся энергий. Как же было искусству не почувствовать то же роковое оседание материальных платформ в раздвинувшиеся пустоты?

Еще Н. Бердяев уловил в кризисе пластических искусств тончайшее свидетельство о материальном «распластовании» самого мира: «Мир развоплощается в своих оболочках, перевоплощается. И искусство не может сохраниться в старых своих воплощениях... Истинный смысл кризиса пластических искусств — в судорожных попытках проникнуть за материальную оболочку мира, уловить более тонкую плоть, преодолеть закон непроницаемости... Так свершается судьба плоти мира, она идет к воскресению и к новой жизни через смерть» (из публичной лекции «Кризис искусства», произнесенной в Москве 1 ноября 1917 года).

Авангард ближайшим образом связан с апокалиптическим мироощущением, достигшим предельной остроты в раннем христианстве, а затем на долгие века вытесненным из традиций обмирщенной религиозности. Эти традиции всячески прикрепляли живущего к миру, и возникновение светского искусства как раз вытекало из задачи обустройства в стенах материального дома. От Возрождения до XIX века включительно идет прикипание искусства к поверхности мира, вплоть до буквалистской неразличимости и нераздельности. Но вот в доме, так прекрасно обжитом, ветер срывает двери с петель, распахивает окна, и тьма мира грядущего наваливается на глаза...

В авангарде лишь потому так трудно угадать черты религиозного искусства, что оно не предшествует светскому, а следует за ним. Авангард ближе к иконе, чем к картине, и ближе к письменам и знакам единобожеских храмов, чем к иконе, ибо его предмет — прохождение мира, свернутого и запечатанного, как свиток, накануне великого преображения. «Проходит образ мира сего», — сказано у апостола Павла (I Кор. 7, 31) — и можно ли иначе запечатлеть этот мир как не в растрате, исчезновении его образа? Авангард — это и есть искусство построения Образа методом его прохождения, отсложения от зримой, кажущейся поверхности мира. Это реализм апокалиптического века, осознавшего нетвердость и призрачность всех способов устройства мира в себе и для себя, — апокалиптический реализм.

У нас иногда религиозным искусством считается такое, где изображаются какие-то атрибуты конкретных вероисповеданий: кресты, купола, иконы, свечи (например, на картинах И. Глазунова)... Но совершенно очевидно, что искусство, столь рельефно изображающее некий религиозный предмет, выводящее религиозно в зону предметности, вовсе не обязательно является религиозным. Можно изобразить чашку на столе, а можно свечку на алтаре, и при этом ничто не дрогнет в руке художника, живописующего мир в его ярких и сочных подробностях. Современное религиозное искусство не играет с религиозными предметами, не объективирует священного, но пребывает в нем. «Черный квадрат» Малевича или композиции Кандинского заключают в себе не меньшую концентрацию религиозного чувства, направленного на выход за пределы чувственного мира, чем чувственное смакование религиозного предмета, какое мы находим у их старших современников Васнецова или Нестерова. Священна не вещь, а

Дух, бегущий вещеподобия. «Черный квадрат» — это глубина поглощения на белом фоне отталкивания, зримый образ проходящего мира, открытый нам туннель перехода да в иные миры.

Чем же навлекается подозрение, что авангардизм прямо связан с бесовством нашей эпохи, что от него веет демоническим холодом и развращенностью? Тем, что в авангардистских произведениях абсурд господствует над смыслом. Лицо предстает в отчужденных формах, каких-то распавшихся кусках и кривых лезвиях, индивид враждебен самому себе и обнаруживает скорее свойства растения, молекулы или дыры, чем человека. Здесь — кризис реальности, которая не вмещается в человечески освоенные формы, тает, исчезает, становится все менее ощутимой и постижимой...

Но разве не вернее предположить, что именно реальность, пышущая здоровьем, чувственно округлая, полнотелая, скорее могла бы послужить демоническому искушению человечества, совратить его на земные пути и уклонить от небесных? Консервативное сознание, совпавшее в каких-то точках с религиозной традицией, не желает расстаться с той любимой реальностью, внутри которой с большим или меньшим удобством расположились организационные и идеологические структуры традиционных вероисповеданий. Они срослись с тем миром, для осуждения и разрушения которого явились на свет, вошли в плоть этого мира, полюбили его округлость, его эстетическую видимость, которую в таком блеском выставляет традиционное, «реалистическое» искусство.

Между тем авангард, по сути, гораздо ближе исконному эсхатологическому духу этих вероисповеданий, их чаяниям конца мира. Религиозное мироощущение по природе своей вовсе не консервативно — оно кризисно: это крах всех норм, ломка всех устоев — идущая поверх мироздания волна новых времен и пространств.

Какое искусство может выразить эту глубину религиозного бунта против ставшего и воплощенного? Традиционное — то, что рисовало прекрасных мадонн с прекрасными младенцами на руках? Но то искусство исходило из положительного ощущения ценности и оправданности мира в его тварных формах, вдохновлялось сюжетами бывшего Откровения. Когда же растет чувство Откровения грядущего, в прах рассыпаются все надежные, освященные прошлым образы реального, осыпаются, как штукатурка, под ударами невидимых сил извне. Эти вмятины на стенах, эти проломы и зигзаги, растушие у нас на глазах, и воспроизводит авангардное искусство. Оно религиозно в том смысле, в каком сама религия авангардна, то есть движется вперед всех законченных результатов мирового процесса, оставляя позади все, что успело приобрести господство и устойчивость. Авангардная вера находит свое место не в стенах храма, а за границами мира, откуда ускоренно надвигается на человечество новая земля и новое небо, беглыми очерками и зияниями мелькая среди распадающихся пластов реальности.

В произведениях авангардистов реальность теряет зримость и антропоморфность, становится теоморфной, «боговидной», готовится к принятию и запечатлению тех форм, которые выводят за грань исторического существования человека. Авангард оголяет субмолекулярную структуру вещества, прорисовывает схемы мировых сил, дремлющих в подсознании, идет дальше воплотимого, дальше прекрасной видимости, эстетики середины, сотрудничает с воображением до конца — конца, не вмещающегося ни в какую зримую историческую перспективу. Авангардизм есть эстетика конца и является для искусства тем же, чем для религии — эсхатология. Искусство второй заповеди — это искусство и последнего Откровения: нельзя изображать того, что в мире, ибо мир сам теряет свой образ.

#### **АПОФАТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ: КОНЦЕПТУАЛИЗМ**

В теологии наряду с катафатическим, «утвердительным», направлением, которое выносит определенные положительные суждения о природе и свойствах Бога, существует апофатическое, «отрицательное», считающееся более совершенным. Апофатическая теология выражает абсолютную трансцендентность Бога через нетождественность, иноположность Его всем видимым проявлениям и возможным обозначениям, через отрицание Его имен и атрибутов. Любое определение оказывается несоизмеримым с тем, что должно оставаться скрытым в себе Абсолютом. В своем отношении к высшей реальности авангард тоже как бы разделяется на два направления, которые условно можно обозначить теми же терминами.

Авангард 10—20-х годов — экспрессионизм, футуризм, конструктивизм, супрематизм — был преимущественно катафатичен в том смысле, что пытался позитивно запечатлеть какие-то высшие эманации Духа (как в поэзии и прозе А. Белого и Хлебникова или в живописи Кандинского и Малевича). Но утопизм раннего авангарда был скомпрометирован и отброшен именно опытом реализации этих утопий в самой исторической практике, которая обнаружила ужас или убожество тех «высших реальностей», к буквальному воплощению которых — в этике и онтологии мистического коммунизма — призывали Маяковский и Малевич, а в другой политической версии — Маринетти. И отчасти поэтому авангард второго призыва, 60—70-х годов, скорее антиутопичен, раскрывая в горизонте искусства присутствие совершенно безыдейных, чисто коммерческих вещей (поп-арт) или совершенно беспредметных, чисто идеологических знаков (соцарт).

Еще одно влиятельное направление современного авангарда — концептуализм — как бы разом освобождает и вещи и знаки от взаимной ответственности, точнее, вводит их в поле «безответственного соответствия», где раздутые в своем значении знаки и нищие в своей предметности вещи призваны свидетельствовать друг о друге<sup>3</sup>.

Возьмем, к примеру, произведения художника-концептуалиста Ильи Кабакова: «Мусорный роман» (в 16 томах) и его же «Мусорный человек». «Роман» — серия альбомов, куда вшиты и подклеены устаревшие документы, пожелтевшие бумаги — квитанции, билеты, талончики, образчики картонов и прочая чепуха. «Человек» состоит из прикрепленных к массивному деревянному стенду частиц повседневного хлама: пушинок, ниточек, осколков, очинков — всего, что мы находим на полу, под диваном, в глубине ящика. Перебирая взглядом один пустяк за другим, поначалу не понимаешь, для чего они собраны вместе и какая тут сквозит художественная идея.

Между тем к каждому предмету прикреплена этикетка, напоминающая, когда и в какой связи он был куплен, подобран, использован, выброшен, дающая краткую справку о сопутствующих житейских обстоятельствах. Все элементы мусора строго документированы и вплетены автором в канву собственной жизни. Причем в расположении этих предметов нет никакого разгула, разгрома, хаоса, подобающего мусорной куче, — напротив, они очень тщательно подобраны, стройными продольными и поперечными рядами расположены на стенде, аккуратно подклеены в альбоме. Этот идеальный порядок, уместный в государственном архиве или в музее значительного лица, так же как и важный тон описаний, вступает в очевидное противоречие с ничтожеством самих предметов. Вот какая-то веревочка, а вот семечко от яблока — и все прокомментировано с той сухой обстоятельностью, которая пристала вещам историческим.

И вдруг постигаешь совместную значимость и этого порядка и этого ничтожества. Порядок — то, чем должна стать наша жизнь, что мы пытаемся из нее сделать, а ничтожество — то, из чего она в действительности состоит. Каждая подпись — это отчаянный порыв к смыслу и к вечности, который расплывается в скоротечности и ненужности того хлама, который столь старательно описан. Порыв — и его сгорание: горстка пепла. Тщательность — и ее тщета: груда мусора.

Мусор, снабженный этикетками, притягивающими к пылинкам все разнообразие личной жизни, вдруг позволяет обозреть эту жизнь как целое. Да что же она такое? Разве не из этих вот пылинок она состоит? А встречи? А болезни? А страх? А надежды? Разве не были они в конечном счете лишь сдвиганием, подметанием, накоплением, разрежением все тех же пылинок? И вдруг в сердце от этого мусора пропечатывается библейское «прах ты и в прах вернешься». Ничтожеством своим это концептуальное создание заставляет униженно пережить ничтожество собственной жизни, и если какой-то последующий жест оправдан, то — стукнуться лбом об пол, зарыдать и взмолиться: «Помилуй, Господи!» Ибо ничего, кроме праха, из жизни своей человек не производит, ведь и сам из него состоит.

<sup>3</sup> Соотношение соцарта и концептуализма не так уж просто определить. Поначалу думалось, что соцарт — «тамошнее», более открытое название того, что у нас более мудро и замаскировано стали называть концептуализмом. Но постепенно выявились свои преимущества у «здешнего» термина — более глубинная, корневая связь со всей системой мышления и культуры (концепт, концепция, концептуализм — как течение средневековой философии наряду с номинализмом противостоявшее реализму), а главное — прикрепленность не к одному какому-то общественному устройству, а к идеологическому сознанию как таковому, какая бы идеология при этом ни исповедовалась.

Тема мусора приобретает у Кабакова глубоко эсхатологический смысл — как прощание с пыльной материальностью мира. Вся жизнь, переполняясь малозначащими подробностями, становится одной из них — легко отлетающей пушинкой.

Концептуализм, всего лишь одно из многих течений западного авангарда в 70-е годы, получил особое значение в нашей стране: поучительная, идеологически насыщенная словесность легко переводится на язык антихудожественных схем — концептов, выставляющих себя в качестве концепций отсутствующих и уже, по сути, ненужных произведений. Зачем создавать еще одно песнопение на тему любви к жизни или преклонения перед Пушкиным, если Л. Рубинштейн уже написал: «Жизнь дается человеку на всю жизнь...», а Д. Пригов добавил: Пушкин — «бог плодородия и стад охранитель и народа отец»? «Молодым везде у нас дорога», «Герои живут рядом», «Счастье грядущих поколений», «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», «Если партия прикажет, комсомол ответит „да!“»... Перечитайте список тем в количестве двухсот, из года в год предлагаемый восьмиклассникам для экзаменационных сочинений по литературе, — и вы получите ключ не только к загадочному методу «социалистического реализма», но и довольно точный переводитель по концептуальной словесности.

Псевдоискусство, занимавшееся подделкой образов под идеи, породило из себя антиискусство, которое разделяется с самими идеями, показывая их бесплодность и внеобразность. Концепт — оборотная сторона «идеала», совершенно выморочного и умерщвляющего все живое; но вывернутый наизнанку, он обнаруживает такую мажорность, мохнатость, косматость — как обношенная шкура неубитого медведя, — что хочется лишний раз прикоснуться к нему рукой, чтобы убедиться в подлинности его неподлинности. Концептуализм доставляет нам такое удовольствие — смеясь, расставая с пугалами нашего воображения, удостоверившись, что это не «люди будущего», а только витринные образцы, расфранченные манекены, на которые покупателю никак не хочется быть похожим (в чем, кстати, отличие пропаганды от рекламы).

Так, в стихах Д. Пригова среди идей, включенных в концептуальную игру, — «полная и окончательная победа» (название одноименного сборника), образцовый город, столица мира, рассылающая с семи холмов свет народам (сборник «Москва и москвичи»). Кстати, использование известных, примелькавшихся названий — тоже одна из черт этой поэтики, отбирающей в свое пользование именно то, что уже побывало в руках у других и несет на себе печать этой чужести, цитатности, захватанности (ср. названия рассказов Вик. Ерофеева — «Письмо матери», «Девушка и смерть»). В поэме Т. Кибирова, посвященной К. У. Черненко, в каноническом жанре героического жизнеописания развернут весь набор идеологией прошедшей эпохи — от босоногого детства и мальчишески отчаянной, непримиримой вражды с кулаками (архетип Павлика Морозова) до высокаторжественной речи на пленуме Союза писателей о свободе творчества, повергающей в слезы и восторг всех присутствующих — начиная Расулом Гамзатовым и кончая Гомером (архетип «спасибо партии!»). Это не значит, что только общественно-политические идеи образуют сюжет концептуального творчества — в эту сферу входит «идейность» как таковая, проявляющая себя во всяческих «предрассудках любимой мысли»: гуманистических, моралистических, национально-патриотических, обиходно-массовых, философско-космических и прочих.

Концептуализм редко может похвастать произведениями, сделанными мастерски — в традиционном смысле слова. Язык — убогий, примитивный, ходульный, картины нарисованы кое-как, еле-еле — художник явно ленится... Но отсутствие образа и есть единственно возможный способ художественного раскрытия этих идей, чей образ давно уже прошел, как образ мира, испорченного грехом.

Идеалы и концепты вместе составляют одно целое, как бублик и дырка от бублика, как опустошенная форма и оформленная пустота — раздвинутые края одной исторической эпохи, которая начинала с «идейности», а кончает «концептуальностью». В концептуализме есть нечто родственное буддизму или дзэн-буддизму: некая реальность обнаруживает свою иллюзорность, призрачность и уступает путь восприятию самой пустоты. Концептуализм — царство мелких надоедливых пустяков, за которыми открывается одна большая притягивающая пустота.

Среди самых действенных приемов авангардного искусства наших дней — автоматизация. Здесь для наглядности можно провести параллель с тем приемом позднего реалистического и раннего авангардного искусства, который В. Шкловский назвал остранением. Известный, привычный предмет, многократно виденный и отработанный

глазом, вдруг обнаруживает странность, задерживает наше внимание (например, у Маяковского: «всех пешеходов морда дождя обсосала»). В. Шкловский считал, что на этом приеме вообще основано искусство, высшая цель которого — выведение нашего восприятия из автоматического режима, более полное переживание мира в его необычности, непредсказуемости.

В позднем авангарде действует скорее противоположный прием — автоматизация восприятия. Тот же дождь мог бы вызвать у Л. Рубинштейна такие строки:

Если идет дождь, то это вызывает грусть.

---

Это Хемингуэй?  
Три, четыре, пять.

---

Нет, какой же это Хемингуэй, когда это Кафка.  
Ну, поехали!

---

А он все идет.  
Пауза.

У Д. Пригова:

Мокнет мокнет под дождем  
на посту милиционер  
а гуляет под зонтом  
где-то там миллионер

и конечно дождь тот самый  
что берет под козырек  
градом зонтик тот побьет  
и мир от ядерных дождей очистит

вот и не будет того атомного зонтика

Эти сборные цитаты-модели вымышлены автором статьи с целью продемонстрировать, как на одном и том же материале у концептуалистов<sup>4</sup> действует сам прием автоматизации. Задача уже не в том, чтобы острять и подчеркивать, а скорее устранять и перечеркивать. Не подробнее и красочнее увидеть мир, а явить его как очередной повтор, вчитаться — и вычесть прочитанное из себя, поскорее перевернуть страницу. Страница нужна, много страниц, но именно для разгона восприятия, чтобы оно отлетало от строк с ускорением, чтобы еще быстрее замелькало то, что уже примелькалось. Все существующее переводится в модус банальности, все высказывания как бы берутся в кавычки — это кто-то уже сказал, это само собой разумеется, так говорят. Для произнесения таких стихов нужен особый выговор: один поэт ворчит, другой тараторит, третий напекает и бормочет. Вот почему легче придумать за них что-то свое, чем искать в их текстах наглядный пример: они ведь тоже говорят как бы от имени и по поручению некоего персонажа. У каждого сразу узнаваема и отличима только манера, интонация, а словесный мусор, который она пережевывает и выплевывает, — примерно один и тот же. Используются не просто готовые речевые клише, но сознательно и мастерски клишируются целые мировоззрения, ситуации, характеры, элементы сюжета, суждения о жизни. Вся словесность переводится в автоматический режим быстрогоговорения, проборматывания готовых фраз — как будто сплошных фразеологизмов. Вместо трудного порождения речи, несущего удивление, — жевание и пробалтывание речи, вызывающее скуку. Все сказанное должно как можно быстрее узнаваться и прискучивать — отбрасываться в сторону. И любой предмет — от самых низких до самых высоких (любовь, вера, жизнь) — подпадает под это оскучняющее воплощение. Рубинштейн обрамляет свои «высказывания о жизни» такими убыстряющими, снимающими смысл выражениями, как «три-четыре», «ну, поехали», «дальше» и т. д. Сами тексты строятся по принципу каталога — автоматического перебирания карточек. Карточки и существуют для того, чтобы их перебирать, а не задерживаться на них, само устройство каталога (в отличие от книги) рассчитано на скорейший перебор множества ненужной информации.

<sup>4</sup> С их творчеством можно познакомиться по подборкам в альманахах «Поэзия» (М. «Молодая гвардия», 1989, № 52) и «Зеркала» (М. «Московский рабочий», 1989).

Такова «отрицательная» эстетика современного авангарда<sup>5</sup>, пришедшая на смену «утвердительной» эстетике ранних его течений. Вместо того чтобы спровоцировать полное, затрудненное восприятие вещи — дается ее облегченное восприятие, проскальзывание, отбрасывание глазами.

Но для чего эта банализация вещей, которые сами по себе не всегда банальны? Можно ли это назвать нигилизмом — и покончить с явлением? Нет, нигилизм — это довольное собой, уверенное в себе отрицание высших ценностей. Концептуализм прямо противоположен нигилизму: это переживание недостойности, неосмысленности каждой из открывшихся сфер бытия. Нигилизм провозглашает о себе жестокими и звучными словами, лозунгом, резолюцией, приговором: «Пальнем-ка пулей в святую Русь!..» Концептуализм пользуется словами дребезжащими, плоскими, глуповатыми:

Человек не может жить,  
Если нету у него!

(Л. Рубинштейн)

Но почему они звучат так плоско, коряво? Не потому ли, что за ними угадывается какой-то смысловой объем, на фоне которого — по контрасту с которым — они и выглядят плоскими? Унижение речи, опошление смысла — способ указать на иную, молчаливую реальность, для которой нет и не может быть слов. Любая ценность умаляется в предположении о такой Сверхценности. Ее нельзя явить — но только то, чем она не является.

Нигилизм утверждает силу, гордость, правду отрицания. Концептуализм облакает отрицание в такие ветхие лохмотья пошлости и бессмыслицы, что оно само отрицает себя. Нигилизм утверждает отрицание. Концептуализм отрицает утверждение. Такова разница между сатанинским смехом, разрушающим веру, и смехом юродивого, обличающим идола.

Любые утверждения — высокого, истинного, святого, вечного — выглядят пошлыми, снимаются в поэтике концептуализма. «Потому до нее (причины всего, сверхценности.— М. Э.) невозможно коснуться мыслью. Она не есть ни знание, ни истина, ни царствие, ни мудрость, ни единое, ни единство, ни божественность, ни благодать, ни дух в том смысле, как мы его знаем»<sup>6</sup> — так писал в V веке автор «Ареопагитик», основоположник апофатического богословия (отвергнувший истинность всех имен Божиих и не оставивший нам собственного имени).

Концептуализм — это и есть обесмысливание того, что мы знаем, ради более полного знания того, чего мы не знаем. Незнание «открывает мрак таинственного безмолвия, превышающий всякий свет» (Псевдо-Дионисий. «Таинственное богословие»). Вот почему всякий просветительский экстаз перекрывается и снимается концептуальными приемами, этой техникой устранения идеологических зажимов сознания и исцеления от соционеврозов, чтобы вести в глубь мрака, превышающего свет, в глубь неясности, превышающей ясность. Даже «истина», «благо», «мудрость», «дух» — все это отслаивается и закавычивается в концептуальном пространстве как принадлежащее другому, сказанное кем-то другим. Ведь Сверхценность (она же Не-ценность) молчит, и чем больше слов о ней мы закавычим, тем больше приблизимся к ее «авторскому» слову о себе, которое есть молчание, то есть пребывание в самой себе и наше пребывание в ней. Слушать концептуальные сочинения — значит через скуку и душевную пустоту, снимающую все художественные «категории» и «пафосы» как пошлые, чужие, вслушиваться в немолчу, вглядываться во мрак,глохнуть и слепнуть, приближаясь к Абсолюту как отрицанию всяких утверждений. Такое изложение Абсолюта «по мере восхождения приобретает все большую сжатость, а достигнув цели восхождения, и вовсе онемевает и всецело соединяется с неизреченным» («Таинственное богословие»).

...Быть может, прием устранения столь же свойствен большому искусству, как и прием о-странения, да и действуют они часто сообща: одни элементы действительности вводятся в автоматический режим восприятия, а другие выводятся из него. Одним придается резкость за счет стирания других. Так, Пушкин в «Евгении Онегине» (гл. 1, XXII) устраняет из восприятия посредством поспешного перечисления привычные элементы театрального быта: «Еще амуры, черти, змеи на сцене скачут и шумят;

<sup>5</sup> Быть может, эту эстетику «отступления», сознательной вторичности, стилевой расщепленности следовало бы уже именовать «карьергардом»?

<sup>6</sup> «Антология мировой философии». В четырех томах. М. 1969, т. 1, ч. 2, стр. 609.

еще усталые лакеи на шубах у подъезда спят; еще не... еще... еще...» Самим синтаксисом добивается автоматизации одних элементов, чтобы остранить и подчеркнуть другой — преждевременный уход Онегина из театра, нарушение эстетической условности. Самые обычные слова: «...а уж Онегин вышел вон; домой одеться едет он» — выглядят остраненными на фоне предыдущих, устраняющих, слов. По сути, этим и занято искусство — творческим пересозданием действительности: акцентируются одни ее элементы, ретушируются другие, чтобы выигрывал прежде всего сам контраст искусства и действительности. Ластик для этих целей столь же необходим, как и подчеркивающий карандаш. Назовем это законом контрастности искусства в отношении его к окружающей реальности. Ведь зритель или читатель, внутри этой реальности пребывающий, говорящий на ее языке, испытывает величайшую потребность именно в таком контрасте со стороны искусства, которое восполняло бы недостатки реальности и устраняло ее избытки, «переговаривало» бы ее на своем «иностранном» языке.

Когда действительность недостаточно проявлена и определена, искусство ее остраивает, когда же она проявляет повышенную активность и натиск на человека, искусство начинает ее устранять. Или в терминах теории информации: если вокруг слишком много шума, нужно его артикулировать, довести до членораздельности; если отовсюду вещает, трубят из всех громкоговорителей один и тот же голос, хорошо бы его приглушить, пройтись рябью и плеском по его волне. Концептуализм — это шум нашего сознания, который перекрывает ревущий там голос и позволяет хоть ненадолго побыть в тишине, вслушаться в другие, тайные, почти неслышимые звуки.

**ПОЧВА РОССИЙСКОГО АВАНГАРДА** Существует мнение, что в России, с ее сильными реалистическими традициями в литературе и живописи, авангард — явление беспочвенное, почти целиком заимствованное у Запада. Действительно, Россия очень многим в своем укладе обязана влиянию чужеродных культур — но в этом, как ни парадоксально, и проявляется ее склонность к авангардному мышлению, забегающему в область нестывшего, невозможного, несуществующего.

Петр приказал России образоваться, чтобы были газеты, заводы, университеты, академии, они и появились, но в формах искусственных, не способных скрыть свою умышленность, приказной порядок возникновения. По сути, мы имеем дело с концептуальным, или номинативным, характером цивилизации, составленной из правдоподобно выписанных этикеток: это — «газета», это — «академия», это — «конституция»; но все это не выросло естественно из национальной почвы, а было насажено сверху в виде гладко обструганных прутиков — авось приживутся и прорастут. Слишком многое шло от идеи, от замысла, от концепции, к которой подверстывалась реальность. Но подверстывалась не до конца, оседала, проваливалась, расплзалась ключьями; поэтому идея вырождалась в концепт, демонстрирующий свою умозрительность и несовпадение с реальностью.

Грандиозным концептом, отчасти предопределившим судьбы российской культуры нового времени, был, конечно же, сам Петербург — европейская столица России, воздвигнутая на «чухонском болоте». «Петербург — самый умышленный город на свете», — писал Достоевский, который прекрасно чувствовал изнутри петербургского своего бытия всю фантастичность действительности, которая никак не сходится сама с собой, но вся состоит из каких-то вымыслов, умыслов, бредов и видений, хмарью поднявшихся над гнилой, непригодной для строения почвой.

Зыбкость была заложена в самое основание имперской столицы, ставшей впоследствии колыбелью трех революций. Осознание ее нарочитости, «идеальности», так и не обретшей под собой твердой почвы, породило один из первых, и гениальнейших, словесных концептов — у Достоевского: «Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: „А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизый город, подыметесь с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, по ж а л у й, д л я к р а с ы, бронзовых всадник на жарко дышащем, загнанном коне?“» («Подросток», разрядка моя. — М. Э.)<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> У писателя есть несколько вариаций на тему этого видения, глубоко его поразившего, в том числе от первого лица, — в «Слабом сердце» (1848), в «Петербургских сновидениях в стихах и прозе» (1861), в набросках к «Дневнику писателя» (1873).



Картина, словно только что сошедшая с полотна художника-концептуалиста, вполне представима, например, у такого мастера, как Э. Булатов. Нет, не из западного авангарда, а скорее из этого вот петербургского гнилого тумана и «навязчивой грезы» Достоевского вышел современный наш концептуализм. Ему недостаточно показать, что «земной град», пышно и горделиво вознесшийся на болоте,— это мхари и призрак, прикрывающий доподлинную реальность самого болота: его густое застывшее испарение. Многие наши почтенные реалисты — не «соц», а по традиции просто критические — ограничивают себя именно этой задачей: показать болото, на котором все мы живем, и доказать, что оно неумолимо затягивает нас в свою пропасть, прорываясь то стихийными бедствиями, то потрясением социальных основ. Концептуалисты же делают неприличную вещь: не только показывают нам трясину под испарившимся городом, но и втыкают в нее священный обломок этого города, фигуру основателя, на челе которого навеки застыла градостроительная дума.

К чему же эта концептуальная вольность, непочтительная шутка? А п о ж а л у й, д л я к р а с ы! Такова эстетика концептуализма, показывающая реальность одних только знаков в мире призрачных и упраздненных реальностей. Неразрешимый парадокс в том, что город уже успел поставить памятник своему творцу, хотя сам еще находится в его голове. Не таков ли архетип и феномен нынешней цивилизации, ознаменовавшей себя величайшими проектами и утопиями в истории человечества, а также такими приоритетными свойствами, как плановость и идейность? Планы, идеи, вышедшие из голов своих создателей, так и возвращались в эти головы, но уже чуждые, медные, гипсовые, застывшие с тяжелой «думой на челе». А действительности неслась мимо них, остереженая, как Нева, безумная, как Евгений. Бред рациональности, оргия сплошной организованности, органик в голове градоустроителя — таков самозаводящийся механизм концептуального творчества.

Тем более эта недоволошенность идей выявилась в последующую эпоху, когда град будущего строился уже не на болоте, а в котловане — точнее, строился сам котлован, за которым забывалась и отпадала идея города. Действительно, в облике наших городов и зданий, даже и выросших все-таки из подготовленной для них могилы, порой заметна какая-то неустраима общарпанность, обветшалость. И едва появляется какое-нибудь човенькое, «с иголочки» сооружение, как в ближайшие дни его так «в меру» порастрясут, оборвут, обклеят бумажками, выхлестнут помоев, что оно волей-неволей превратится в недостроенное. По сравнению с именем, обозначающим «идеально» некую полноту предмета, сам предмет оказывается ущербным, покоробленным, на чем и играет концептуальное искусство. Город оказывается лишь отчасти городом, работа — лишь отчасти работой, культура — лишь отчасти культурой. Предмет обнаруживает свою форму или концепцию настолько, чтобы тут же вступить с ней в противоречие. Наличие идеи колбасы — при отсутствии в ней реального мяса. Наличие плана производства — при отсутствии самой продукции. Какая-то мистическая нехватка одних элементов в действующих структурах при наличии других проявляется на всех уровнях: от буднично-бытовых до общественно-государственных. Присутствие хлеба позволяет определить «идею» данного магазина как «кондитерского» — но в нем отсутствует сахар. Есть печенье, но нет пирожных. В одних науках есть интересные теории, но почти нет экспериментальной базы (физика), в других — масса эмпирических исследований, но нет обобщающих теорий (большинство гуманитарных наук). В политической системе есть только одна партия, хотя данный элемент по сути своей частичен и предполагает наличие других («партия», собственно, и означает часть). В хозяйственной системе есть производители и потребители, но отсутствуют посреднические элементы между ними, образующие рынок. Само собой напрашивается определение цивилизации данного типа как системы с необходимым отсутствием необходимых элементов — «общество дефицита».

Именно такая «минус-система» необыкновенно благоприятствует развитию авангардного искусства — оно тоже строится на вычитании определенных элементов из структуры мироздания. Мы оказываемся в мире выгнутых, растекающихся поверхностей, где отсутствуют прямые линии, или в мире прямых, негнущихся линий, где отсутствуют поверхности. Мироздание воспроизводится не как одна завершенная «плюс-система», а как множество расходящихся «минус-систем» с необходимыми изъянами — предполагаемыми, но пропущенными связями. Та «минус-система», внутри которой мы живем, сошла как будто с полотна художника-авангардиста. Дороги, ведущие к исчезающим деревьям; деревни, к которым не ведут никакие дороги; стройки,

которые не становятся строениями; строители жилья, которым негде жить. Не оттого ли и пребывали все направления авангарда под запретом, что они могли бы воспроизводить эту реальность, какова она есть, то есть именно как минусовую?

А так называемый реализм 30—50-х годов исходил из вторичных, взятых напрокат от прежних культур представлений об этой реальности как о «плюс-системе» со всем необходимым набором взаимосвязанных элементов: где корова, там и пастух, где закат, там и красноватые отблески на лице пастуха. Между тем лица у него давно уже не осталось, как не было и стада вокруг,— а был скелет пастуха, пашего скелеты коров, и единственное, что могло отражать багровый свет заката,— это сам толстый поблескивающий кнут. Иными словами, реализм этой нас окружающей реальности как раз и был вытеснен из искусства, а взамен его допускался реализм только давно прошедших реальностей, который в таком случае становился иллюзионизмом.

Петр I был великим, но отнюдь не первым и не последним государственным концептуалистом — за ним последовали другие радикальные реформаторы, которые, вроде Угрюм-Бурчеева, начинали строить Россию из своей головы, а голова сама-то была заводная, с органичком, застрявшим на некоей преобразовательной идее. И так без конца, точнее без начала: одно заводное устройство заводится от другого. Но где же само естество, чтобы выносило идею и преобразование из себя, не по приказу образоваться? Оказывается, легче возместить, изобрести, выработать по плану это недостающее естество — народную веру, народную культуру, народное хозяйство. И вот идет работа, органичок трещит от напряжения и сыплет искрами...

То, что Достоевский назвал умышленностью, впоследствии приобрело другое, более почтенное терминологическое обозначение — «идейность». Подчиненность заданной и несомненно прекрасной и возвышенной идее определяла все литературные, художественные, научные построения, которые обязаны были «воспитывать», «формировать», «пробуждать», «укреплять», «воодушевлять». Исследование истины, создание красоты, делание добра — все идеологизировалось, пропитывалось «тенденцией», работало на «идею», которая предсуществовала всему, задавала ход, двигала науками и искусствами, призванными ее подтверждать, обосновывать, проводить в массы. «Назидательность» и «душеполезность», «умышленность» и «фантастичность», «идеальность» и «утопии», «партийность» и «тенденциозность», «идейность» и «плановость» — все это разные названия и стадии прохождения той доминанты нашей культуры, которую мы сегодня определяем как концептуальность, хотя и это тоже одно из очередных названий. Общая суть: концепция выдвигается на первое место и авангардно шествует впереди самой реальности. Авангардное искусство порождается самими этим жизненным авангардизмом, постоянно отлетающим от почвы,— или сама она так зыбка, что на ней крепко держатся только воздушные замки?

Единственная заслуга концептуальности в том, что она осознает и выставляет на обозрение ту этикеточную природу, которую тщательно скрывали «идейность» и «плановость», пытаясь выдать за свойства самой действительности, законы истории. Концептуальность — та стадия развития идейности, когда она уже не пытается «выдать свои создания за нечто другое, чем они есть на самом деле» (Фейербах), но обнажает их искусственный и насильственный, поддельно-нарочитый характер.

Концептуализм — это критика не столько определенной идеологии, сколько идеологизма вообще. Трудно соперничать с идеологией, глядя ей прямо в глаза,— уж очень у нее выдержанный, немигающий взгляд. Разве можно спорить с такими очевидными утверждениями, как «счастье грядущих...», или «каждая кухарка...», «моя милиция...», или «проходит как хозяин...», «учиться (3 раза)», или «трудиться (сто тысяч раз)? Как не согласиться с «борьбой за мир», если она в своем двуединном значении не только завоевывает все пространства суши и воды, но и приобретает самых искренних и преданных друзей? Нет, не поспоришь, надо сдаваться! Но если посмотреть на эти истины в их концептуальном преломлении, то они уже не так режут глаза своей правотой, а скорее видятся все более дальним и затухающим призрачным огоньком, «малой искрой», пропадающей «во тьме пустой». Долго она тлела в ночи XX столетия, разгораясь невиданными пожарами салютами, заревами...

Концептуализм не спорит с прекрасными утверждениями, а раздувает их до такой степени, что они сами гаснут. В этом смысле он есть продолжение и преодоление всей нашей утопически-идейной традиции, двоякое отраже-

ние ее: повтор — отбив, воспроизведение — отбрасывание. Современный концептуализм — хитроумное оружие Персея в борьбе с горгоной Медузой, этим мифологическим чудовищем нашей эпохи, которое, как и подобает утопии, уносится на своих волшебных крыльях ввысь и вдаль, но встречным оцепеняющим взглядом превращает в камень все живое. Любое оружие было бессильно против Медузы, которая поражала своих противников, так сказать, идейно — взглядом, настаивающим на расстоянии, и тот, кто боролся по старинке с мечом, вдруг застывал как вкопанный, отдаваясь на растерсание. Выход был только один: взглянуть не прямо на чудовище, а приблизиться к нему, глядя на его отражение. Персей победил Медузу, потому что смотрел на нее в блестящую поверхность своего щита. Не разящий меч, но отражающий щит — вот надежное оружие и против горгон XX века: удваивать могучего противника и побеждать чарами его собственного отражения.

Разумеется, у концептуализма были предшественники: Козьма Прутков, обэриуты — однако их место в русской культуре тех времен более локально, поскольку высшей своей умышленности культура, ставшая уже эрзацем и пародией на себя, достигла в позднейшее время. Герой обэриутов, например, Н. Олейникова, Д. Хармса, близкого к ним М. Зощенко, — это по преимуществу естественный человек, овладевающий начатками «культурного» жаргона, который либо не дается ему, либо, напротив, начинает обслуживать совершенно внекультурные потребности (например, у Олейникова лирический герой признается в любви к мясу с теми же интонациями, какими объясняется в любви женщине), что создает двойной эффект издевательства над тупой природой (ранний Заболоцкий) или утонченной культурой (Олейников). Здесь играет сама физическая, «обывательская», вечно здоровая и простая природа человека, отбрасывающая, отторгающая от себя все идейные определения и литературные словеса.

Герой концептуализма, напротив, — предельно социализированная личность, говорящая преимущественно на хорошо отрепетированном, высокоидейном и высоколитературном языке идейных и литературных штампов. Здесь уже нет игры естества, комической на фоне общепризнанных общественных нормативов, есть сплошные нормативы, дошедшие до полного автоматизма и потому действующие комически. Звучат хорошо узнаваемые интонации гимнов и рапортов, старинных романсов и заветых шлягеров, классических произведений критического и социалистического реализма, внутриполитических передовиц и международных фельетонов... Обэриуты выставляли жалкое, трогательное, смешное естество, придурковатость натуральной, внеобщественной, обывательски-бытовой жизни, ее вечный абсурд, противостоящий социальной правильности. У концептуалистов, наоборот, абсурдна сама социальность и все ее исправно буксующие механизмы поведения, мышления, говорения, а быт и естество только иногда прорываются сквозь этот «железный занавес», как исчезающая ласка почти забытой матери-природы. Если обэриутство — это абсурдизм естества в эпоху строящегося социализма, то концептуализм — это абсурдизм самого общества в эпоху социализма уже построенного. Там источник комизма — противокультурное в естественном человеке, здесь — противоестественное в человеке социальном.

Та эпоха, которую ныне принято именовать застойной, имела свое внутреннее движение: жизнь остановилась и как бы замерла, но сквозь нее все яснее просвечивали, все жестче выпирали вековые идеи, у которых началось уже известкование в сосудах и суставах — отсюда растущая негибкость, однозначность, отслоение от ткани действительности. Было бы наивно возводить все эти полудеи-полумифы: официальные («классовая борьба», «бесклассовое общество»), полуофициальные («власть старейшин», «почитание мощей», «культ персоны») и неофициальные («ничего не разрешено, но все позволено», «ничего не продается, но все покупается») — только к истокам последних десятилетий, их устои глубже. Оттого, что время не двигалось, прояснилось вневременное — идееносная, идеепорождающая модель исторического развития, которая вдруг вышла за рамки самой истории, перестала толкать ее вперед. История, вконец загнанная, отказалась идти на поводу у идей, железная узда которых привела к финишу не гордого скакуна, а его крадущуюся тень.

Вспомним, как поэтически это начиналось: «Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта?» (Пушкин. 1833). Правда, и тогда еще прозвучало что-то вроде предупреждения, точного намека на крутоватый жест: «Россию поднял на дыбы». Но помчались, «напрягая медные груди», гоголевские вихри-кони, опережая народы и государства (1842). Достоевский уже все понял: «...на жарко дышащем, загнанном коне».

(1875). Но чем больше конь превращался в клячу, тем сильнее хотелось загнать его до полного изнеможения: идея — всадник, история — конь: у кого в руках поводья? «Клячу истории загоним», — раздался еще более авангардный клич из 1918 года (Маяковский).

И вот спустя лет шестьдесят история окончательно пала на сияющем перевале, а вперед с гиканьем и свистом, высоко размахивая кнутом, понеслись одни идеи. На том рубеже, где был обещан конец человеческой предыстории и решающий скачок в царство свободы, в самом деле что-то кончилось: история обнажила свою анатомию, свой идейный костяк, раньше запрятанный в цветущую плоть, и дальше начался уже могильный танец самих костей — эпоха концептуализма.

И тогда понятна становится роль современного авангарда в том самоочистительном процессе, через который должна пройти отечественная культура. Авангардизм как черта самой нашей истории подчеркивается и перечеркивается художественным авангардизмом. Взшедший на той самой болотистой почве, где взбрыкнул передними копытами и увяз задними Медный всадник, авангард, напротив, отталкивается от идеи и приводит к реальности. Концептуализм — это мрачно-веселое погребение тех идей, которые долгое время терзали народную душу тщетою невероятной власти, счастья, единства, победы. Это ударный марш, исполняемый на костяшках идей и потому перерастающий в похоронный...

Концептуализм не выговаривает своей веры — он сокрушает ложные веры. Он предотвращает сужение веры до вероисповедания, а затем превращение ее в вероупоклонство — поклонение вместо Бога самой себе. Концептуализм родствен тому, что в религиозной сфере именуется раскаянием и вытекает из потребности самоочищения. В отличие от проповеди, переделывающей мир, раскаяние обращено грешником к самому себе. Оно ничего не утверждает о Боге, но признается в отступлении от Бога. Предмет раскаяния — всегда отступление, незнание, недостижение. Большого, чем это незнание, нам пока не дано знать. Вот почему не стоит задавать авангардному искусству вопрос о вере — оно заявляет о ней тем, что отвергает вопрос.

## А. Л. КАЗИН



### *Искусство и истина*

...художнику дано лишь острее других ощутить гармонию мира, красоту и безобразие человеческого вклада в него — и остро передать это людям. И в неудачах и даже на дне существования — в нищете, в тюрьме, в болезнях — ощущение устойчивой гармонии не может покинуть его.

*А. И. Солженицын.*

**Е**сть старая пословица: у кого что болит, тот о том и говорит. У всех нас сейчас болит та сторона души, которая обращена к духовной истине. Истиной, правдой озабочены наши писатели, ученые и политики. В известном смысле мы проходим сейчас через чистилище, через трудный, мучительный этап очищения души для того, чтобы она в состоянии была вынести свет истины. В том числе и в сфере искусства.

Но существует ли истина в искусстве? Со школьной скамьи нам памятли слова поэта: сейте разумное, доброе, вечное. Что же это такое применительно к сложнейшей историко-культурной и нравственно-эстетической ситуации, в которой мы оказались? Не устарели ли эти понятия сегодня, когда из-под запрета вышла так называемая вторая культура («андерграунд»), связанная с постмодернизмом и целиком направленная против официальных канонов и ханжеских добродетелей прошлого? Вокруг нас царствует электроника, музыкальные синтезаторы, видеокино. Нам доступны сказания всех народов мира точно так же, как в телепередачи с Луны, а наука говорит нам о многомерности Вселенной. Быть может, та истина, которую готов предложить современный поэт или музыкант публике взамен опороченных полигических и идеологических мифов, — это грустная истина о человеке, заблудившемся на путях истории, испробовавшем почти все в философии и искусстве и пришедшем в итоге к своего рода «игре в бисер», когда

художника-творца в подлинном смысле уже нет, а есть, так сказать, чудесник, устроитель эстетических аттракционов? Чем как не гигантским представлением — от изощренных звуковых хэппенингов до полного молчания — является, к примеру, современная авангардная музыка? Чем как не вариацией на темы всех возможных архетипов цивилизации оказывается нынешняя «метаметафорическая» живопись и поэзия? Все на свете уже было — как бы говорит нам подобная полистилистика. Не так давно на «Музыкальном ринге» Ленинградского телевидения талантливый «комбинатор звуков» (так он сам себя представил) Сергей Курехин в ответ на комплименты его «Поп-механике» как идеально выраженному плюрализму современного мышления точно сказал, что его творчество не относится к сфере искусства — оно прежде всего символизирует конец истории. Действительно, удел просвещенного постмодерниста сегодня — это смакование всего наработанного человечеством за века художественного богатства, что-то вроде поп-механики души, какой-то «новый александризм»...

Что вы предлагаете? — может спросить автора читатель. Уж не возврат ли к испитанному правилу «держаться и не пуцаться», когда одни делали вид, что свято веруют в устаревшие и внутренние им самим смешные лозунги, а другие наживали политический капитал на их полуполюгальном опровержении? Я предлагаю прежде всего серьезно подумать о том новом, что идет на смену старому в искусстве. Думать об этом следует при одном условии: при убеждении, что искусство имеет отношение к истине. В противном случае, то есть при взгляде на искусство как особое царство эстетической игры, отделенной от истины и добра, от религии, миропонимания и политики, — при таком взгляде всякий разговор об истине как художественной ценности бессмыслен, и читатель может смело отложить эту статью в сторону. Тем же, кто согласен поразмышлять вместе с автором об указанном предмете, я предлагаю начать издаалека.

Напомню афоризм Джона Рёскина: девушка может петь о потерянной любви, но скряга не может петь о потерянных деньгах. А почему, собственно, не может? Разве деньги, да еще потерянные, заработанные тяжким трудом, — не такой же предмет искусства, как и потерянная любовь? И то, и другое — человеческое...

Разница, однако, состоит в том, что любовь имеет отношение к высшему в человеке. Любовь выводит человека из животного самогождества самому себе, она есть самоотрицание через утверждение себя в другом, как выразился когда-то Владимир Соловьев. Другими словами, любовь как предмет искусства относится к человеческому идеалу, в то время как деньги — это элемент человеческой реальности. Живем мы по деньгам, тогда как должны были бы жить по любви. Как в этой ситуации быть искусству? Идеалы или интересы поставить ему во главу угла?

Самое характерное состоит в том, что это именно вопрос нашего времени. Искусство античности или средневековья такого вопроса не знало. Космическое понимание искусства от Пифагора (музыка небесных сфер) до Платона и неоплатонизма (божественные идеи) предполагало совпадение истины («естины», того, что есть) с идеалом (с тем, что должно быть). На таком же совпадении истины с идеалом настаивало и христианство, с той, однако, принципиальной разницей, что безличной упорядоченности космических структур пришло на смену их иерархическое всеединство, установленное абсолютным творцом. Вопрос «что есть истина?» сменился вопросом «кто есть истина?». Художественный образ в христианской мысли рассматривался именно как отражение, подобие своего божественного прототипа, как «видимое невидимого». О том, насколько эта диалектика «неподобного подобия» существенна для христианской эстетики, свидетельствуют слова П. А. Флоренского, сказанные много веков спустя о символической роли иконостаса: «...Если бы все молящиеся в храме были достаточно одухотворены, если бы зрение всех молящихся всегда было выдающим, то никакого другого иконостаса, кроме предстоящих Самому Богу свидетелей Его, своими ликами и своими словами возвещающих Его страшное и славное присутствие, в храме и не было бы».

Решительное изменение такого положения вещей совершила эпоха Возрождения. Это был переворот, последствия которого Запад, а отчасти и Россия, переживает до сих пор. Некоторые современные ученые (и вслед за ними слои широкой публики) склонны рассматривать Возрождение как величественный синтез античности и средневековья, сконцентрированный в образе Человека — этого главного действующего лица Ренессанса. Действительно, гуманистический образ человека для мыслителей и художников этой эпохи являлся средоточием их поисков в науке и искусстве, своего рода критерием истины того и другого. То, что в античности и в средние века существовало само по себе — объективные ценности эстетического порядка, — эпоха Возрождения поставила

в связь с обликом человека, его реальными (а не идеальными) духовными качествами. Иными словами, Возрождение стало зачинщиком диалога — между миром и человеком, между искусством и истиной — как порождающего принципа культуры. Деятели Ренессанса с энтузиазмом провозглашали устами Рабле: «Делай, что хочешь!», не подозревая (или не показывая, что подозревают), каковы могут быть нравственно-эстетические следствия такой творческой свободы. Как пишет в своем фундаментальном исследовании А. Ф. Лосев, Ренессанс был действительно далек от буржуазной ограниченности. «Он еще не понимал и не предвидел абстрактной жестокости и беспощадности, которые ожидали его в дальнейшем в связи с быстрым созреванием буржуазно-капиталистической формации. Возрожденческие поклонники человеческой личности и человеческой красоты были пока еще честными людьми. И как они ни увлекались этим эстетическим индивидуализмом, субъективизмом и антропоцентризмом <...>, они все-таки видели, что изолированный и чисто индивидуальный человеческий субъект, на котором базировались, которым они увлекались и который они превозносили, в сущности говоря, вовсе не являлся такой уж полной, такой уж окончательной и абсолютной основой для человеческой ориентации в мире и для всего человеческого прогресса в истории».

Собственно говоря, уже маньеризм<sup>1</sup> вскрыл своего рода тайную болезнь начавшейся художественно-культурной эпохи, ее как бы двуличность, ее неуверенность в своей истинности. Связь времен начала рваться раньше, чем об этом заявил Шекспир словами Гамлета. Впрочем, и Шекспир, и Сервантес, с социологической точки зрения, лишь констатировали в своих гениальных творениях ряд общественно-культурных фактов, затронувших так или иначе всех людей того времени. Коварство, тщеславие, лож, цинизм — все, против чего сражался Дон-Кихот и от чего погиб Гамлет, — явились в конечном счете закономерным следствием корыстного разделения и отчуждения социокультурной практики, начало которой приходится в Западной Европе как раз на XVI столетие. Именно тогда смысл труда, перестав быть непосредственно общественным или символически-религиозным, свелся в конце концов к накоплению и потреблению. Правда, мещанский дух капитализма пытался найти для себя оправдание в протестантской этике «труда и личной ответственности», освящавшей труд как богоугодное дело, однако фактическое содержание его отдавалось на откуп частной выгоде. Так человек из центрального положения «держателя» своей судьбы попал на ее фабричную окраину, стал величиной настолько пустой и малой, что ему потребовались доказательства собственного существования.

Декартовское «мыслю, следовательно, существую» — одна из главных рационалистических попыток подобного доказательства. В этом тезисе ярчайше запечатлелся юридизм и субъективизм западноевропейской культуры, ее духовная «робинзоада». Частичный, частный человек превратился в непротяженную точку, переживающую свою отъединенность от других людей и мира, в ничто, имеющее вне себя все. Соотнести «я» и «не-я» — эта задача на века станет центральной для «фаустовского» (О. Шпенглер) души Запада. Не случайно аналитическая наука (точная, естественная) и кантовский категорический императив («с отвращением в душе делай, что требует долг!») возглавили в XVII—XVIII веках буржуазную культурную практику.

Кантовская философия вообще дала целую университетскую энциклопедию такого миропонимания. Андрей Белый в своей «Драматической симфонии» 1902 года писал: «...в соседней комнате был ужас отсутствия и небытия. Там лежала на столе „Критика чистого разума“». Непереходимой стеной «вещи в себе» отгородил Кант явление от сущности, нравственность от любви, искусство от истины, хотя в своей последней критике — «Критике способности суждения» и пытался отчасти снять это разделение. Если в античности и в средние века, например, ни о каком искусстве для искусства (как и о науке для науки) не помышляли, а существующие поэтические и умственные формы рассматривали только в составе более широкого по отношению к ним духовного синтеза, то осознавший себя капитализм искусство, науку, мораль и философию выдвинул в относительно самостоятельные сферы, несоизмеримость которых устраивала практиков-дельцов и служила источником трагических переживаний для мыслите-

<sup>1</sup> Маньеризм — течение в западноевропейском искусстве XVI века, противопоставившее гармоническому идеалу Высокого Возрождения условно-аллегорическую манеру композиции, цвета и рисунка. Тот же Лосев характеризует маньеризм как первую «трещину» в эстетике Ренессанса, как «колоссальный порыв вырваться за пределы всего успокоенного, всего гармоничного и благоприличного» (в его кн.: «Эстетика Возрождения», стр. 65, 461).

лей и поэтов. Характерно, что вся «послекантовская» культура (как художественная, так и научная) стремилась тем или иным способом «преодолеть» Канта, однако так и не смогла этого сделать, оставаясь на почве буржуазного устройства жизни.

Немалые усилия здесь предпринял, например, Гегель. Прекрасное и истинное, по Гегелю, суть в конечном счете одно и то же в качестве различных проявлений абсолютного духа. «...Художественные произведения,— писал Гегель,— должны создаваться не для изучения и не для цеховых ученых, а они без этого кругового пути обширных и не всем доступных сведений должны быть понятны и служить предметом наслаждения непосредственно, сами по себе. Ибо искусство существует не для небольшого замкнутого круга, не для немногочисленных очень образованных людей, а в целом для всего народа». Вместе с тем присущая гегельянству как типу мировоззрения «гордыня интеллекта», имевшая своим источником все тот же возведенный в божественное достоинство антропоцентризм, привела к несколько комическому положению, будто Истина, Добро, Красота и другие ценности сначала побывали на приеме у Гегеля, а потом уже осмелились выйти через его посредство на кафедру и на страницы ученых сочинений. Уже в XX веке Б. Брехт охарактеризовал «Большую логику» Гегеля как «одно из величайших произведений мировой юмористической литературы. Речь там идет об образе жизни понятий, об этих двусмысленных, неустойчивых, безответственных существах; они вечно друг с другом бранятся и всегда на ножах, а вечером как ни в чем не бывало садятся ужинать за один стол. Они и выступают, так сказать, парами, сообщая, каждый женат на своей противоположности... Только Порядок что-то выскажет, как его утверждения в тот же миг оспаривает Беспорядок — его неразлучный партнер»<sup>2</sup>. Эта критика поясняет, почему гегелевская мировая (одновременно художественная, религиозная и научная) идея, многообещающе начав путь в абсолютном, скромно заканчивала его в бюргерской Пруссии.

Философия Гегеля была высшей точкой западноевропейского торжествующего гуманизма. Человек как мера всех вещей получил в сочинениях Гегеля статус мирового разума. И не случайно, вероятно, в той же Германии через полвека после смерти берлинского теоретика появилось произведение, наделяющее человека столь же абсолютными эстетическими и правами. Жизнь оправдана только как эстетическое явление — таков был основной тезис Ф. Ницше, по видимости продолжающий победную поступь гуманизма, но на деле превращающий его в ту змею, которая кусает себя за хвост. «Если для молодого Шеллинга (как и для поздних романтиков) красота — это истина бога, то для молодого Ницше красота — это иллюзия бога, хотя и жизненно необходимая для него. На место божественного единства красоты и истины пришел их «пантрагический» разлад»<sup>3</sup>. Говоря словами самого Ницше, «вся книга (его работа «Рождение трагедии».— А. К.) признает только художественный смысл, явный или скрытый, за всеми процессами бытия,— Бога, если вам угодно, но конечно только совершенно беззаботного и неморального бога-художника, который, как в созидании, так и в разрушении, в добром, как и в злом, одинаково стремится ощутить свою радость и свое величие, который, создавая миры, освобождается тем самым от гнета полноты и переполненности, от муки сдавленных в нем противоречий», который умеет «найти свое спасение лишь в и л л ю з и и...».

Мы не имеем, конечно, намерения рассмотреть здесь сложнейшую историю взаимоотношений искусства и истины в полном объеме. Мы взяли только некоторые, на наш взгляд, характерные моменты этой истории, чтобы яснее очертить тенденцию, которая представляется нам главной. Эта тенденция направлена от идеального совпадения духовной истины и красоты (искусства) в античности и средние века через подвижное их соотношение в классической западной философии XVI — начала XIX века к отделению красоты от истины в более поздний период времени. Разумеется, были и отступления от этой линии, и открытое противоборство с ней. Но чем была обусловлена она сама?

На этот вопрос не ответить лучше, чем это сделали Маркс и Энгельс своей характеристикой общественно-культурной эволюции Европы от феодализма к Новому времени. Эта эволюция направлена к такому гражданскому обществу, которое выступает для индивида средством его частных целей. Перестав быть свидетелем един-

<sup>2</sup> Бертольд Брехт. Театр. В пяти томах. М. 1964, т. 4, стр. 61.

<sup>3</sup> Ю. Н. Давыдов. Искусство и элита. М. 1966, стр. 199.

ства — духовного и природного, личного и родового, буржуазное искусство стало свидетелем их распада.

«Буржуазия повсюду, где она достигла господства, разрушила все феодальные, патриархальные, идиллические отношения. Безжалостно разорвала она пестрые феодальные пути, привязывавшие человека к его «естественным повелителям», и не оставила между людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, бессердечного «чистогана». В ледяной воде эгоистического расчета потопила она священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской сентиментальности. Она превратила личное достоинство человека в меновую стоимость и поставила на место бесчисленных пожалованных и благоприобретенных свобод *огну* бессовестную свободу торговли. Словом, эксплуатацию, прикрытую религиозными и политическими иллюзиями, она заменила эксплуатацией открытой, бесстыдной, прямой, черствой.

Буржуазия лишила священного ореола все роды деятельности, которые до сих пор считались почетными и на которые смотрели с благоговейным трепетом. Врача, юриста, священника, поэта, человека науки она превратила в своих платных наемных работников» («Манифест Коммунистической партии»).

Таковы, нравятся нам это или нет, культурно-политические итоги XIX века — во всяком случае, для Западной Европы. «Век девятнадцатый, железный...». Духовная истина — в искусстве, в науке, в морали — оказалась предметом потребления. Начиная с Возрождения, главной фигурой, заказывающей музыку, стал богатч-меценат, делающий это по своему вкусу и превращающий, таким образом, в собственность то, что, по существу, является достоянием всего народа. Это способствовало разделению ренессансной культуры сначала на несколько главных стволов (барокко — классицизм — рококо), а позднее — и превращению ее в настоящий kaleidoscope направлений, течений, группировок и школ, стремящихся в своем пределе к тому, чтобы каждый художник стал самому себе школой, ее основателем, главой и единственным последователем (модернизм). Таково закономерное следствие рынка идей, по закону которого полностью строится идейно-художественная жизнь капитализма уже с конца XIX века. Кубизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм, имажинизм, конструктивизм, абстракционизм, лучизм, гиперреализм и даже социалистический реализм — все идет в ход на нынешнем Западе в качестве товара, противореча одно другому идейно, но зато полностью соответствуя друг другу финансово как способ извлечения прибыли. В этом-то и состоит одна из главных иллюзий современного буржуазного общества — иллюзия плюрализма. Считается само собой разумеющимся, что истина как таковая недоступна людям (сколько голов, столько умов), и потому единственно возможная и необходимая задача художника в XX веке — это его проявление как уникальной и абсолютно свободной индивидуальности. Эта мысль настолько въелась в буржуазное миропонимание, что, по существу, стала его единственной объединительной, не подлежащей критике силой, приводя и в искусстве и в философии к «субъективистскому сумасшествию», как писал выдающийся английский мыслитель Б. Рассел.

И поскольку каждый из писателей или художников толкует эту истину по-своему, то формально ему ничто не препятствует усмотреть ее в вине или просто в падали, о которой еще в прошлом веке слагал стихи Бодлер и которой отдали пышную дань уже в веке нынешнем, например, С. Беккет или Б. Виан.

Настораживает все-таки одно обстоятельство. В сознании современного западного человека эти абсолютные антиценности, помноженные к тому же на абсолютную свободу выбора, удивительно сочетаются с культом здоровья, успеха и благополучия. Скажем, международные конгрессы по эстетике, на которых профессора развенчивают классический реализм как устаревшее искусство, происходит обычно где-нибудь в старинных замках или на роскошных курортах, оформленных по последнему слову дизайнера. Как тут не вспомнить Ф. М. Достоевского, называвшего подобные взгляды «пищеварительной философией», согласно которой искусство (да и вообще жизнь) представляется как совокупность угощений — эстетических, интеллектуальных, религиозных, эротических, кулинарных и т. д. Сошлемся в этой связи на небольшое исследование, предпринятое Б. Н. Тарасовым в области биографий, переведенных у нас в серии «Жизнь замечательных людей». Б. Тарасов показывает, что пером их авторов водило вполне определенное представление о целях избранных ими героев. Творческие и бытовые «измерения» жизни известных художников, пишет Тарасов, «соотнесены друг с другом через пронизывающую их ось индивидуалистическо-



го самоопределения, выражающегося соответственно в стремлении к наслаждению и удовольствиям, к успеху и славе, к самовыражению и самоутверждению»<sup>4</sup>.

Истины — поэтической, философской, жизненной — нет ни в божестве, ни в добре, ни в общей цели, ни в каких-либо социальных движениях. Особенно невыносима для буржуазного сознания мысль об истории как драме, развертывающейся во имя ценностей, выходящих за пределы натуралистически понятых интересов отдельного лица. Кто любит идею, тот убивает людей — таково главное обвинение истории, например, у Альбера Камю. И если героический подвиг, скажем, в бою за отечество оправдан в глазах писателя-экзистенциалиста как акт личной гордости, то этот же подвиг представляется чем-то чрезвычайно устаревшим обывателю, который давно забыл о тех «варварских» временах, когда на подвиг благословляли, и боится только за свое неотъемлемое право самосохранения. Позиция Камю есть, так сказать, элитарный вариант индивидуализма (напоминающий, по выражению А. В. Гулыги, позу козявки, которую она может принять или не принять перед тем, как ее раздавят), и позиция обывателя в известном смысле глубже ее, так как прямо выражает собой онтологический корень буржуазного мирочувствия со всеми его эстетическими и мыслительными обертонами — отношение к жизни под знаком собственности.

Как бы то ни было, самоутверждение во всех сферах, от художественно-философской и политической до эротической и кулинарной, представляет собой сегодня центральную опору буржуазного миропорядка, определяющую так или иначе идейный горизонт модернистского и постмодернистского искусства. Бытие и субъект здесь смотрятся друг в друга как равновеликие, «равночестные», в результате чего модернизм получает возможность делать за истиной что угодно, даже приравнивать ее к пустоте, к чистому отрицанию: «совершенно только ничто». В этой системе отсчета эротическое фото в модном журнале абсолютно не противоречит — и, напротив, даже помогает — ученой статье на религиозную или экологическую тему. Грубо говоря, современный индивидуалист (и художник-модернист как его эстетический представитель) пришел к тому, чтобы сидеть дома, пить кофе с коньяком, а у него бы при этом все бытие было «подручным вытием», как выразился бы М. Хайдеггер... Иллюзия плюрализма нуждается в реальности потребления как своей социальной почве и тайной движущей силе. Следствием их духовной (и практически жизненной) близости оказывается идея всеобщего абсурда, Ничто, якобы изначально свойственного человеческой жизни. (Еще Л. Н. Толстой в трактате «Что такое искусство?» писал о гордости, похоти и тоске как трех китах искусства богатых классов.)

И вот тут закономерен вопрос: а в какой степени то, о чем говорилось выше, свойственно нашему отечественному искусству? Разумеется, в те «баснословные года», когда русский авангард отрицался, а картины современных художников-«конформистов» сметались с лица земли бульдозерами, было легче утверждать, что у нас ничего подобного быть не может. Но сегодня... сегодня дело обстоит иначе.

Хорошо известны слова В. М. Шукшина, произнесенные им после прокатного неуспеха его раннего фильма «Странные люди»: «Завяжись узлом, но не кричи в пустом зале». Действительно, это была мечта Шукшина: дойти до всех и одновременно до каждого, объединить народ (и «умника», и «простого» человека) при свете совести. Подобно Н. Рубцову в поэзии или А. Вампилову в драматургии, Шукшин стремился понять и показать всем, что с нами происходит, без скидок и без подкупа публики с помощью приемов коммерческой культуры...

Нынешнее искусство живет по новым законам. Сегодня можно то, о чем вчера даже думать было нельзя, а уж описывать в романе или показывать на экране недавно. Мы прочли замечательные сочинения А. Платонова и Б. Пастернака, мы увидели долгие годы лежавшие в запасниках картины П. Филонова, посмотрели снятые за рубежом фильмы А. Тарковского. Мы увидели в «Покаянии» Т. Абуладзе, как кровавого диктатора выбрасывают из могилы. Мы увидели очень многое... И все же шукшинский отчаянный призыв к истине не только не утратил своего значения, но стал теперь, на мой взгляд, еще актуальнее.

Некоторое время назад по Центральному телевидению был показан фильм А. Германа «Мой друг Иван Лапшин». На следующий день газеты буквально захлестнул поток протестов — вплоть до требования посадить автора в тюрьму. Многомиллионный

<sup>4</sup> Борис Тарасов. Поиски правды. М. 1984, стр. 106. Речь идет о следующих книгах: А. Моруа. Жорж Санд. М. 1967; А. Перрюшо. Эдуард Мане. М. 1976; Т. Вальенси. Берлиоз. М. 1969.

зритель не понял кинематографической виртуозности режиссера, не оценил вроде бы непреднамеренных — «как в жизни» — композиций кадров, словно подсмотренных скрытой камерой в трагической повседневности 30-х годов. И проголосовал против.

В чем тут дело? Большинство критиков видят тут одну причину: незрелость зрительских масс, неподготовленность их к восприятию подлинно художественных произведений, говорящих современным языком и отсылающих зрителя к многосложному опыту мирового экрана. И вот в попытке «достучаться» до публики многие нынешние режиссеры, писатели, музыканты пошли на решительный пересмотр таких элитарных кодов, вплоть до точно рассчитанной по конечным целям эксплуатации секса, насилия и смерти. Такова «Асса» С. Соловьева, где этот автор глубокомысленных полижанровых лент о «потерянном» предыдущем поколении выстраивает многослойную композицию, в которую на равных правах входят и уголовная мелодрама, и эротика, и «протестующий» рок... Выше упоминалась уже знаменитая «Поп-механика» С. Курехина, умело сочетающая приемы карнавального шоу с театром абсурда, наложенным на синхронное звучание джаза, рока, симфонического оркестра и оркестра народных инструментов...

Быть может, наиболее показательный и вместе с тем драматический пример развернувшейся у нас «авангардистской революции» — творчество Александра Сокурова. Вспомним его фильм «Скорбное бесчувствие» (по мотивам пьесы Б. Шоу). В некоем доме-корабле под командой вечно пьяного отца-капитана живут (а точнее кривляются, прелюбодействуют, умирают и вновь «воскресают») его дети, гости, прислуга. Атмосфера действия колеблется между светским салоном, пародийным буддистским обрядом и лечебницей доктора Калигари.

Бывший революционер оказывается управляющим «босса промышленности». Врач сожалеет о том, что его пациентка жива, ибо больше всего на свете любит вскрывать трупы. Когда один из персонажей все-таки умирает и доктор наконец кладет его на стол для вскрытия, «покойника» возвращают к жизни две женщины с помощью каких-то мистико-эротических манипуляций. Между героями на равных правах бродит личный боров капитана и т. п.

Режиссер время от времени перемежает этот дьявольский маскарад мастерски смонтированными с помощью хроники и комбинированных съемок «сценами из первой мировой войны», в которых солдаты с искаженными пропорциями лиц и тел все время в кого-то стреляют, кого-то убивают... «Покайтесь, пока не поздно», — призывает капитан-отец, но, оказывается, уже поздно. Над домом проплывает военный дирижабль, и обреченный дом-корабль взрывается в вихре взметнувшегося к небу пламени.

Перед нами — фильм-предупреждение, фильм об угрозе конца. А. Сокуров как бы доводит до предела изъясны современного мира, воочию демонстрируя зрителю предсмертные корчи гедонистической цивилизации. Путем шокового воздействия режиссер хочет как бы подвести повинное в «грехе буржуазности» человечество к краю пропасти и показать, куда, собственно, оно идет. Здесь я его понимаю. Сверхзадачу авторского замысла Сокурова можно было бы передать некрасовскими словами: он проповедует любовь враждебным словом отрицанья.

Однако после очередного нагромождения извращений ловлю себя на мысли: а достигнет ли режиссер таким путем своей цели? Не окажется ли фильм, так богатый всякого рода людскими пороками, не столько борцом против мирового зла (а именно таков масштаб заявленной в фильме проблемы), сколько его невольным проводником? Отрицать нельзя без утверждения — в темноте все кошки серы. Борьба с потребительски-чувственной («мозаичной») цивилизацией не тождественна демонстрации ее всеобщего торжества. Зло, показанное как безусловно властвующая сила, завладевает в конце концов и самим художником. Нельзя играть со злом, превращая его носителей в карнавал беснующихся шутов. Карнавал в любой его форме — от циркового трюкачества до политически заостренного соцарта или трагифарса — это всегда риск переворачивания ценностной иерархии. В минувшие столетия карнавал происходил, как правило, на соборной площади, которая своими строгими, устремленными вверх очертаниями вводила эту стихию в определенные берега, ценностно оформляла ее. Вне подобного оформления карнавальная стихия переходит в безбрежную «веселую относительность», способную поглотить что угодно...

Если Шукшин в свое время хотел «завязаться узлом» как режиссер, который чего-то еще не умеет, то некоторые сегодняшние авторы не прочь «завязать узлом»

как раз зрителя, читателя, слушателя, который, с одной стороны, до многого не дорос, а с другой — требует от искусства несравненно более сильных, без всякой сентиментальности и фигур умолчания средств воздействия на его сознание и подсознание. Особенно это касается современного рока, который давно перешел границы музыки как таковой, превратившись в самостоятельную и чрезвычайно мощную область субкультуры. Осуществляя при помощи электронного звука, бешеной громкости и нечеловеческого ритма агрессивное вторжение в психику, рок буквально разваливает ее, подключает к разбухенным им потокам отрицательной духовно-космической энергии, своего рода «пляске черных племен»...

Как видим, процессы, происходящие ныне в нашей литературе, кинематографе, музыке, столь значительны, что позволяют ставить вопрос о начале нового этапа отечественной культуры. При всем отличии исторических условий, социальных обстоятельств и т. п. — при всем этом у нас развиваются процессы, в известной мере близкие тем, которые переживал Запад на протяжении XIX века, а если иметь в виду их духовно-мировоззренческие истоки — то и гораздо раньше. Абсолютизация таланта, успеха, новизны — разве не на этом зиждилась западноевропейская художественная практика со времен Ренессанса и особенно романтизма? Разве не гений, по Канту, дает правило искусству — именно потому, что красота есть якобы целесообразность без цели? Вот что писал Лев Толстой почти сто лет назад: «Мы окружены произведениями, считающимися художественными. Рядом напечатаны тысячи стихотворений, тысячи поэм, тысячи романов, тысячи драм, тысячи картин, тысячи музыкальных пьес... весь наш мир загроможден произведениями, претендующими быть произведениями искусства», ибо появляются они теперь не по несколько в каждом искусстве за время одного поколения, «а каждый год в каждой столице... являются сотни тысяч произведений так называемого искусства по всем его отраслям». Сегодня статусом искусства автоматически обладает все, что показывается на выставке или исполняется в концерте. «Художественной литературой» одинаково считается чтение вроде «Детей Арбата» и романы А. И. Солженицына или В. Г. Распутина. Реклама «новый художественный фильм» на равных правах относится и к садистскому боевику, и к фильму Г. Паафилова или О. Иселвани. Видеоклип как мироощущение — вот хорошая тема для аналитической статьи сегодня. Как выразился С. С. Аверинцев, оптика пешехода в наше время стала в массовом порядке сменяться оптикой автолюбителя, который на большой скорости пронесется по самым различным путям жизни, соединяя их в духе коллажа и не успевая, разумеется, ни продумать их, ни прочувствовать. Возник так называемый андерграунд, сочетающий в себе поп-арт, характерный для «старой» «массовой культуры», и «монтаж смыслов», превращающий историю (в том числе историю культуры) в карикатуру. Модернистские направления вроде абстракционизма или додекафонии кажутся безнадежно устаревшими этому постмодернизму, опирающемуся уже не на какую-либо определенную — пусть самую изысканную — позицию, а именно на плюрализм позиций, методов, стилей, относительно которого в принципе исключена оценка «хуже — лучше».

Вот эти-то процессы, отрицать которые столь же невозможно, сколь легкомысленно, позволяют нам говорить о призывах нового этапа отечественной культуры. Когда я выше напомнил о бурной реакции многочисленных зрителей на премьеру «Ивана Лапшина», тем самым я никак не подвергал сомнению работу талантливого режиссера Алексея Германа. Другая, более существенная сторона дела заключается в том, что ваш зритель привык видеть на экране не столько личный творческий почерк режиссера («авторскую модель мира»), сколько всеобщий духовно-этический образец, воплощенный традиционными художественными средствами. Красота есть добро, а добро есть красота — вот основной эстетический закон подобного вертикального типа художественной культуры, разрушенного в Европе уже в эпоху Ренессанса, но на Руси просуществовавшего вплоть до нашего времени. Это предполагает четкое различие ценностного верха и низа, правого и левого, осуществляемого как на уровне идей, так и на уровне поэтики вплоть до устройства мельчайших ее ячеек. Поэтому, когда зритель не находит в «Лапшине» ни линейного сюжета (что за чем?), ни выстроенной мизансцены (кто с кем?) — не будем спешить осуждать его, потому что в его наивных требованиях к языку и жанру произведения еще живы воспоминания о столетиями живших в коллективной народной душе правилах иконописи и житийной литературы вплоть до обратной перспективы, выдвигающей на передний план главное и отодвигающей второстепенное.

Таковы же, если вдуматься, и принципы русского классического реализма XIX—XX веков от Пушкина и Гоголя до Булгакова и Пастернака. Применяя реалистические, то есть сложившиеся в постренессансную эпоху, поэтические средства (личное пространство-время, прямую перспективу, чувственную передачу фактуры бытия и др.), святая русская литература, как назвал ее Томас Манн, решала, по существу, ту же задачу, что и безымянные строители древних софийских соборов — обретение духовной истины и обнаружение ее перед всеми людьми. Позволю себе воспроизвести слова западногерманского слависта, доктора богословия и философии Ф. фон Лиленфельда об одном из образцовых произведений социалистического реализма: «Если тщательно прочитать «Молодую гвардию» Фадеева, особенно ее первый, не вынужденно обработанный вариант, сплошь и рядом ощущаешь присутствие прежней духовной традиции — в идее жертвенности, искупления, в видении, когда героине кажется, что ангелы с неба благословляют ее поступок» («Литературная газета» от 13 апреля 1988 года). Эту традицию Ф. фон Лиленфельд возводит к «северной Фиваиде» — эпохе Сергия Радонежского и Серапиона Владимирского, оказавшей столь мощное духовное влияние на культуру, какого на Западе монашество никогда не имело. Укажем в этой связи и на учение известного философа П. Сорокина о двух типах культуры: идеальном и чувственном. Для первого характерна устремленность искусства к сверхчувственным ценностям, господствующим методом является духовный символизм, нет места эротике, иронии, скепсису, практически отсутствует комедия, сатира, фарс, творчество анонимно, нет художественной критики, поскольку и творцы и публика исходят из одного канона. Что касается чувственного типа культуры, то все приведенные характеристики, по Сорокину, прямо противоположны: высшие ценности имеют утилитарный характер, искусство понимается как инструмент утонченного наслаждения, сюжеты берутся не из священной истории, а из жизни, господствуют натурализм и сюрреализм, расцветает эротика, смех во всех видах, художник становится собственником своих произведений, широкое развитие получает критика как «перевод» искусства с языка живописца или музыканта на язык публики. С точки зрения циклической схемы Сорокина, Западная Европа переживает в XX веке закат чувственного типа культуры, начало которому положило именно Возрождение.

Таким образом, мы приходим к более определенным, во всяком случае достаточно существенным чертам той сложной культурно-исторической драмы, которая происходит на наших глазах. Главные ее действующие лица сформировались задолго до нынешней поры гласности и перестройки, позволившей им открыто выявиться в глазах общественного мнения на правах состоятельности. С одной стороны, это принцип самостоятельной свободной личности, смело полагающей себя судьей истины, добра и красоты. Это ренессансно-романтический образ человека, не нуждающегося ни в чьем разрешении на пользование бытием, обладающего на него как бы естественным правом («мыслю, следовательно, имею право»). Обратной стороной этого процесса субъективизации и мира оказывается повсеместно наблюдаемое сейчас в искусстве стремление к архаике, к мифу, к архетипам «коллективного бессознательного» (Хайдеггер и Юнг). С другой стороны — это принцип «соборного» отношения к истине не как к собственности, а как к началу, которое владеет тобою в гораздо большей степени, чем ты владеешь им. Это идея всеобщего нравственно-эстетического порядка, пронизывающего собой все существующее, включая и человека. Беря свое начало в античности и в средние века, указанная идея не устояла перед титанизмом Возрождения, разветвилась на более мелкие художественно-мировоззренческие русла и к настоящему времени представлена в культуре в качестве материала для игры.

Постмодернизм — это именно «после модернизма», хотя по своему духовному истоку это тот же модернизм, дошедший по пути субъективистского отрицания мира до разрушения самого себя. Традиции искусства, отвергаемые модернизмом, парадоксально восстанавливаются в постмодернизме, но уже в качестве особой игры смыслами, «игры стеклянных бус». Постмодернизм смеется там, где модернизм был серьезен: идеями — даже нигилистическими — можно жить, тогда как «смыслами» можно только играть. Постмодернистское искусство представляет собой как бы бескачественную плоскость, где вещи и слова не имеют «своего места», а лишь отражаются друг в друге, благодаря чему комедия приравнивается к трагедии, страх — к смеху, красота — к уродству, реальность — ко сну. Если модернизм был, так сказать, еще невинен, то есть честен, совпадая в своем отрицании благодатного бытия с самим собой, то постмодернизм — это искусство, осознавшее потерю невинности: он постоянно ко-

леблется в зазоре между «да» и «нет», в некоей, говоря философским языком, дифференции. Как бы то ни было, понятия вроде «действительности» «искусства», «истины» для постмодернизма суть допотопные мифы, еще доживающие свой век где-то на задворках догматического сознания, но уже к современности относящиеся примерно так же, как, скажем, оперетта «Прекрасная Елена» к неомессианству Майкла Джексона.

Иначе сложились отношения искусства и истины в России. Быть может, единственная из европейских стран, Россия не испытала в полной мере влияния Возрождения, Реформации и Просвещения, хотя зачатки того, другого и третьего у нас имелись<sup>5</sup>. Значительно отставая от цивилизованного Запада в формировании активного начала культуры — довлеющей себе индивидуальности, Россия в условиях последних столетий сумела сохранить и претворить в новую форму общенародный и даже всечеловеческий (Ф. М. Достоевский) характер своей духовной жизни — содержательное начало культуры. В этом плане можно говорить о небуржуазном пути исторического развития России. Вплоть до февраля 1917 года буржуазия не имела у нас политической власти. Что же касается духовного авторитета в области мировоззрения, искусства, науки, нравственности — то таким авторитетом она не обладала никогда.

Конечно, в России был «свой Ницше» (К. Леонтьев), «свой Шпенглер» (Н. Данилевский) и даже «свой Фрейд» (В. Розанов). Чего у нас не было, так это разделения целостности народного сознания на замкнутые сферы, имеющие каждая свою цель и оплачиваемые по законам самолюбия. Вяч. Иванов мог много писать о культе Диониса, этого греческого Ярилы-Хмеля, а Арцыбашев — шокировать публику своим «Саниным», но в целом чувственность не была и не стала господствующей темой русского искусства. Д. Мережковский мог проповедовать свою теорию двух бездн — верхней, духовной, и нижней, плотской, уравнивая их в божественных правах, но в основном стволе русской культуры верх оставался верхом, а низ — низом. Можно утверждать, что в России вплоть до последнего времени — до нарастающей ныне волны рок-поэзии, рок-живописи, рок-кино, рок-театра и рок-музыки — не было принципиального оправдания героев, переворачивающих ценностную вертикаль, будь то байроновский Кайн, гётевский Фауст или лермонтовский Печорин — Демон. Если европейская интеллигенция со времен Леонардо и до «Доктора Фаустуса» Томаса Манна почти свыкла с мыслью, что для успеха в искусстве необходима определенная жертва Люциферу (причем отказ от нее часто рассматривается как покушение на свободу творчества), то наша культура всеми силами сопротивлялась такой участи. Вспомним типично русские представления о литературе и театре как кафедре, трибуне и даже храме.

Потому мы и уделили много места рассмотрению предыстории модернистского движения, что по отношению к русской культуре оно явилось чем-то новым, неизвестным, к которому еще нужно знать, как подойти. Так было в начале XX века — в пору зарождения отечественного авангарда, так, по существу, осталось и сейчас — в период шумного праздника рокеров и «митьков». Формулируя основной философский исток этого движения, мы говорили об абсолютизации субъекта как альфы и омеги, начала и конца мироздания. Мы проследили, как эволюционировала эта идея от обожествления человека (Возрождение) через абсолютизацию его разума (Просвещение, рационализм) к выделению в псевдосамостоятельную силу буквально каждой его телесной и душевной способности (авангард). Теперь, после всего сказанного, мы имеем основание заключить, что в русской истории и в русской судьбе осуществлялось осознанное (и еще в большей степени неосознанное) противостояние подобному «человекобожескому» низложению истины. Ценность личности предполагает сверхлические ценности — отсюда, при всем различии их мировоззрения и творчества, исходили Рублев и Аввакум, Пушкин и Толстой, Мусоргский и Рахманинов, Блок и Есенин, Шостакович и Прокофьев, Кисев и Твардовский, Распутин и Солженицын. Если угодно, из такого рода сверхлических ценностей исходила и русская государственность, какие бы уродливые формы она при этом ни принимала. Только в последние десять — пятнадцать лет можно говорить о превращении философского и нравственно-эстетического модернизма в серьезную силу на нашей почве. Литературный, музыкальный и кинематографический «андерграунд» — это сигнал подспудных изменений в исторической жизни нации. Предсказание будущего — неблагоприятное занятие, но уже сейчас можно предположить дальнейшее обострение споров между исходным, соборным,

<sup>5</sup> Углубляясь еще дальше в историю, следует учесть различие между православным — более одухотворенным и гармоничным, и католическим — напряженно антиномическим — пониманием человека.

и индивидуалистическим началами во всей нашей цивилизации. Во всяком случае нас ждут трудные времена, если мы свое законное стремление к вольному мыслию, к разному мыслию, к открытому плюрализму мнений и оценок не сумеем соотнести с вековой духовной традицией, до сих пор поддерживавшей русскую культуру. Ибо что может быть бесперспективнее искусства, отвернувшегося от духовной красоты, — разве что наука, отказавшаяся от истины, или нравственность, равнодушная к добру?

Ленинград.

## И. РОДНЯНСКАЯ

★

### Заметки к спору

«Вот вы считаете, что семнадцатый год разрушил, разорил прежнюю культуру, а он как раз не разрушил, а законсервировал ее и сохранил... И авторитеты там замерли несвергнутые, неподвижные. там все на том же месте — от Державина до Блока... Все перевернулось, а Россия осталась заповедной страной. Туда не попадешь. ...И эта окончательная остановка, этот запрет, который сейчас все клянут, даст вам тем не менее видимость духовной жизни лет на десять — пятнадцать... вы будете обжираться каждым следующим дозволенным понятием в отдельности — будто оно одно и существует — обжираться до отвращения... Чего нет и не будет, так это умного, не потребительского отношения к действительности».

*Андрей Битов. «Пушкинский дом».*

**Ж**урнал — не дискуссионный клуб. У каждого серьезного периодического издания есть своя позиция, направление. Авторы привлекаются из круга если не единомышленников, то во всяком случае — тех, кто не чужд реализуемой позиции. Однако литературно-критический раздел настоящего номера предлагается читателю в качестве исключения из общепринятой журнальной политики. Здесь потребны пояснительные слова.

Представлены не просто два противоположных взгляда на новую — поставангардистскую, постмодернистскую, как угодно, — волну в современной культурной жизни, волну, накатившую и на наше отечество, а два взаимоисключающих (по всей видимости) мировоззрения, которые ныне укореняются и сталкиваются в разных сферах. Их очевидная противоположность без труда укладывается в словесные пары, заранее готовые в любом мозгу: авангардизм — традиционализм, свобода — необходимость, западничество — почвенничество, индивидуализм — коллективизм, ирония — патетика и тому подобные противостояния, суммарно образующие «левый» и «правый» — два замкнутые мира.

Нынешний читатель уже привык выбирать между ними, приучен к неизбежности и даже обязательности этой альтернативы. Как правило, он и читателем-то оказывается только в отношении одной из двух сторон — той, которой заранее приготовился сочувствовать, меж тем как другая, демонстрирующая себя обыкновенно в «несимпатичном» для него окружении, на страницах «отвергаемых» изданий, фактически даже не достигает его раздраженного слуха.

А вдруг, подумалось тут... А вдруг, выслушав обе тяжущиеся стороны вне привычного издательского, а значит — идеологического давления на психику, уделив им, по нейтральным условиям нашей публикации, равное внимание, читатель придет на сей раз к неожиданному для себя выводу? А вдруг он заметит не только крайние различия, но и сходство между спорящими — например, в произвольности блистательных внешне аргументов, в стремлении обеспечить свою точку зрения максимально почетной и вместе с тем достаточно модной родословной? А вдруг обнаружит эффект взаимной аннигиляции противоборствующих идей и выйдет мыслью за пределы навязываемого «или — или»? (Кстати, это не означало бы перехода к эклектическому, соглашательскому, «надсхваточному» «и — и»; скорее — к сурово-разборчивому «ни — ни», без чего невозможен никакой последующий синтез.)

Конечно, решившись предоставить место для сопоставления несовместимых взглядов, никто не задумывал специального эксперимента над читательской душой и умом. Обе статьи появились в редакции, что называется, самотеком. И печатаются они в порядке поступления, а не в оценочном порядке вопроса — ответа. Обе возбудили интерес как по-настоящему дейные сочинения, где красноречивая защита любимой мысли не замутнена посторонними соображениями — официозными, литературно-тактическими, клановыми и т. д. Случай свел здесь лицом к лицу яркие, даже убедительные в своем роде образцы внутри объективно существующего культурного антагонизма. Стороны противостояли друг другу и принялись опровергать одна другую непреднамеренно — без предварительного знакомства кого-либо из двух авторов с текстом оппонента. Трудно было удержаться от того, чтобы этот пример идейной борьбы, не отягощенный никакой посторонней враждой, никакими вывихами литературных нравов, — не представить на читательский суд.

...А теперь — несколько слов по существу спора. Нет, это не «третья позиция», думаю, самая жизнь культуры к ней еще не подвела, но намек на ее возможность и, главное, на нужду в ней.

Минули пятнадцать лет, предреченные суровым дедом Одоевцевым из битовского романа, и мы можем констатировать, что старик не ошибся: ангелы истории, приставленные к отечественному культурохранилищу, снимали одну за другой печати с его заказников. И куда все это попало, куда хлынуло? Согласимся с Казиным — на рынок, «рынок идей». То есть в такое уличное, площадное, выставочное пространство, где каждый волен выбирать без ограничений, без предварительной присяги на верность чему бы то ни было, без страха перед «органами», да и без страха Божьего. В короткий, шоковый срок мы пришли к тому, что на Западе утверждалось в результате долгого неоднозначного процесса (вспомним, что в момент ее создания «Лолита» не могла быть напечатана в Америке; а если говорить о католическом мире, то ведь Священная канцелярия, выпускавшая, в частности, списки книг, не рекомендуемых верующим для чтения, была упразднена, если не ошибаюсь, сравнительно недавно — в начале 60-х годов). Главное же для нас: по-видимому, кончился — или кончается — великий «роман» художника и власти. Начиная с прошлого века это героическое противостояние во многом дополняло, а порой и заменяло для русского художника связь с надличными сферами культа и народного обычая, каковой связью питалось искусство в традиционных, патриархальных обществах — античном и средневековом. Противостояние это служило гарантией не только независимости, но даже истинности художественного высказывания: благополучием, свободой и порой даже жертвуют не по своей воле, а по прихоти, а Истине — так это рисовалось. Что говорить, еще недавно те, кого газеты именовали «прогрессивными художниками Запада», завидовали своим советским коллегам: у вас, дескать, за свободный жест расплачиваются репрессиями, а у нас, что ни скажи, общество и государство даже ухом не ведут, писательское слово ничего не весит. Теперь больше завидовать нечему. Вместе с освобождением слова и образа пала последняя преграда, отделяющая их от «рыночной» ситуации. Совокупно с остальным, как теперь принято говорить, цивилизованным миром мы оказались в конце огромной культурной эры, который субъективно и обманчиво — в силу своей для нас внезапности — переживается нами как начало: многоверье, разноверье, «полистилистика», гиперкультурность и рядом циническая (киническая) нагота новых Диогенов, претензия каждого кружка на то, что именно он воздвиг уже алтарь Неизвестному богу будущего, — все это не без оснований сравнивают с умирающей античностью, с александрийской эпохой.

То, что произошло, думаю, естественно. И, как всякий не насильственный, не абортный плод истории, имеет и дурные и хорошие стороны. А значит, требует избирательного, творческого, мужественного ответа — не паники и не апологии. Невозможно признать итог многовекового развития чисто отрицательным — ни у себя на родине, ни применительно к Западу, ни к человечеству в целом. Это не значит, что он, данный итог, идеаличен и не таит в себе угрозы. Человеческая история — это трагедия со своим смыслом и чаемым катарсисом, но трагизм ее неотменим.

Одна из очевидных исторических трагедий культуры — невозможность вернуться в прошлое, к тому прекрасному, что уже было создано, остановить мгновение, самоповториться; неизбежность расставания с преемде достигнутым совершенством. Все попытки обойти этот закон сводились к запретам, к «подмораживанию», к нетворче-

скому консерватизму, рано или поздно отступающему со своих позиций. Прямое выражение в искусстве святости, соборной Истины привело его в старину к величайшей славе. Но... это миновало: миновало необратимо «единство культуры внутри храмовой ограды». «Та пора в истории человечества, действительно, может рассматриваться как потерянный рай культуры... Однако нельзя вернуться к золотому детству... Да и вообще никакой реакцией и реставрацией нельзя утолить новых запросов и исканий... Искусство сквано было аскетическим послушанием, которое не вредило ему лишь до тех пор, пока выполнялось искренно и свободно, но стало невыносимым лицемерием и ложью, когда аскетический жар был им утрачен... Всякая гетерономия целей (то есть привнесение целей, посторонних художественным.— И. Р.) противоречит природе искусства, оно существует только в атмосфере свободы и бескорыстия. Оно должно быть свободно и от религии (конечно, это не значит — от Бога), и от этики (хотя и не от Добра)». Это пишет — к сведению А. Казина — не отъявленный какой-нибудь кантианец, упершийся в свое «незаинтересованное созерцание», отгородивший искусство от Истины: это пишет русский конфессиональный мыслитель С. Н. Булгаков, преданный вечной правде, но способный мыслить исторически.

А произошло в истории то, что искусство, перестав быть «органом», как сказал бы Шеллинг<sup>1</sup>, небесных истин, стало органом смятенной человеческой души со всеми ее борениями и несовершенствами. Это было падением, после которого, вероятно, уже невозможны фрески Джотто и тем более «Троица» Андрея Рублева. Символизирующие внутрибожественную полноту три ангела негнелной иконы — те же самые ангелы, что, согласно Библии, шли истреблять Содом и Гоморру и по пути посетили праотца Авраама; на иконе они исполнены тихой любви, запредельного покоя, невозмутимой тишины: иконописец не отразил в них ни библейских, ни русских ужасов и бурь... А уже для художественного сознания XIX века характерен возглас: «Писатель, если только он вола, а океан Россия, не может быть не возмущен, когда возмущена стихия». И тут мы понимаем (сколь ни нелепо сравнивать величайшее художественное творение и скромную строфу «второстепенного» поэта Я. Полонского), что «падение» не было только падением. Теперь погруженная в историю человеческая душа через искусство достигает самоосознания: в искусстве Нового времени не только отрицательно обособляется, но и положительно взрослеет, созревает человеческая личность, ищет всякий раз собственных, неповторимых путей к целому и высшему, берет на себя ответственность за эти поиски, за их риск. Таково приобретение искусства, наряду с утратой им культового канона, непосредственного выхода к сверхличной истине. И приобретение, кстати, не оторванное от христианских корней европейской культуры, в которую возрастания личного начала, обнаружение высочайшей ценности человеческой души были вложены как постепенно проникающая закваска.

На нынешнюю ситуацию, когда искусство, освободившись от внешних обязательств перед «религией» и «этикой», стало уже на извилистом своем пути внутренне отделяться от «Бога» и от «Добра», ответ, может быть, на мой взгляд, только один: посреди всех блужданий постараться сохранить неотрывность искусства от лица человеческого, от судьбы человека в мире, от судьбы самого мира как человеческого дома,— то, что когда-то было обретоно дорогой ценой разрыва с исходной трансцендентной обеспеченностью. Человек еще постоит за себя, еще найдет дорогу к небу, а вместе с ним — и искусство, если не станет бесчеловечным и безличным. Недаром все отрицательные, подрывные духовные силы современности направлены, видится мне, не против Истины и Добра как таковых (они легко могут быть извращены без прямого отрицания), даже не против Бога как их, по давним понятиям, седалища (для обмирщенного сознания Он в истории «умер» и перестал быть реальным противником), а против человеческого лица, и еще — против Красоты как воплощенного, чувственно осязаемого «небесного» достоинства человека и мира. Если воспользоваться формулой-проговоркой Эпштейна, «наглядному стиранию и уничтожению» подлежит «лик вочеловечившегося Бога», лик человеческий в его абсолютном значении.

Не могу не указать с сожалением на некую причастность обеих публикуемых статей этому разрушительному делу, которое вершится тут прямым образом «слева» и косвенным — «справа». Любопытно, что обоим авторам в прежние, недалекие времена совсем не понадобились бы ни те аргументы, ни те авторитеты, к каковым они

<sup>1</sup> Шеллинг, столь сильно повлиявший и на мысль славянофильскую, и на В. Соловьева, но Казиним пропущенный, ибо в его схеме «заката Европы» вопиюще лишний!



нынче прибегают. Чтобы пофилософствовать вокруг писсуара Дюшана («свиток накануне великого преобразования», «реализм апокалиптического века» — все это, в конечном счете, вытекает из означенного писсуара!), не обязательны ни Моисеевы заповеди, ни Псевдо-Дионисий Ареопагит, ни даже исследование о древнерусских юродивых; когда-то для таких эскапад вполне подходящим «метафизическим» трамплином служил набор левореволюционных анархистских фраз. Точно так же, проповедуя «антибуржуазность», не нужно было обрамлять известную цитату из «Коммунистического манифеста», приведенную Казиным, высказываниями о Павла Флоренского и профессора теологии Ф. фон Лилиенфельд. То, что и авангард, и борьба с ним обосновываются теперь не мировой революцией, а религиозной мыслью, опять-таки подтверждает справедливость ехидного пророчества: «...вы будете обжираться каждым следующим дозволенным понятием...» (Отношу это грубоватое «вы» Одоевцева-деда не к конкретным авторам, а к духу времени.)

Такого рода обоснования неосуществимы без заметных перекосов и подгонки. Скажем, в конструкциях Эпштейна — всего и не перечислишь. Тут намеренные или невольные «богословские» ошибки: так, отец апофатического, «отрицательного» богословия Псевдо-Дионисий Ареопагит был в то же время родоначальником положительного религиозного символизма, учения о явленной тайне, без которого было бы невозможно средневековое искусство; Эпштейн же делает из него нигилиста, попирающего во имя неизреченности Абсолюта все «высокое, истинное, святое». Тут и неверное понятие о древнерусском «юродстве во Христе», парадоксальном, притчеобразном поведении, демонстративном отказе от земного благообразия во имя красоты и сладости небесной — у Эпштейна это понятие распространяется на любой безобразный и бесноватый жест, лишенный идеального полюса. А что написано на покаянии, к которому, как и к юродству, подверстывается современное «антиискусство!» — это состояние души сведено к разглядыванию праха, из коего мы все, дескать, состоим. Нас методично загоняют в ловушку, расставленную отчаянием. Подлинное же, плодотворное раскаяние невозможно без знания идеала, без сопоставления себя, недостойного, с ним — мысль, которой Эпштейн противится с нечеловеческим, я бы сказала, упорством.

Не обошлось без манипуляций над русской историей. Достоевский, справедливо или нет, противопоставлял Петербург, «умышленный» город, остальной, неумышленной, почвенной России, в которую веровал. Теоретик концептуализма превращает Петербург Достоевского в нечто обратное — в наиболее выразительный знак в сей России, будто бы извечной потемкинской деревни с ее будто бы фиктивной действительностью, находя здесь самый подходящий полигон для «апокалиптического искусства», «искусства конца».

Но тягостен прежде всего общий пафос — пустить в распыл мир, стереть человеческий и всякий «фигуративный» образ под предлогом его недолговечности и «несовершенства». Автор жадно ловит «мощное дуновение Духа, очищающего мир от коросты материи»; «предметный мир расчленяется на потоки энергий», — ликует он. По мне, все это, хоть Эпштейн заранее отводит подобные укоры, — чистейший сатанизм, то есть нечто прямо противоположное «религиям спасения», в особенности христианству (которое при случае используется в статье), религиям, учащим о преобразении, а не о ликвидации человека и мира. «Увидеть мир как очередной повтор», — рекомендует Эпштейн новым художникам, совсем уже следуя карамазовскому черту («Да ведь теперешняя земля, может, сама-то биллион раз повторялась... Скучища непримечательная...») или, в романтической версии, Демону («Презрительным окинул оком творенье Бога своего...»). А больше всего эпштейновские апелляции к скрытой, ничто-образной, лишенной всех идеальных свойств «Сверхценности» напоминают высмеянное В. Соловьевым в «Трех разговорах» сектантское «дыромоляйство»; проверить в стене дырку и приговаривать: «изба моя, дыра моя, спаси меня» — чем не занятие для нынешних концептуалистов? Впрочем, последние не обязаны отвечать за своего теоретика, и жалко становится не лишенного поэтического обаяния Д. Пригова<sup>2</sup>, который в рассуждениях Эпштейна вынужден играть ту же роль, что в доктрине Гегеля — прусское государство, — роль апофеоза и финала мирового развития.

Проповедуемое «искусство конца» есть конец искусства и, что подразумевается, конец человека. Искусство только и может быть «искусством середины», хоть это и вызывает особое недовольство Эпштейна. Его место — посередине между идеалом

<sup>2</sup> Некоторые образцы авангардной поэзии представлены в этом номере журнала.

и земной реальностью, между духовным и телесным в человеке, между временным и вечным. Его не пугает мимолетность бытия, ибо сквозящая в мгновении красота не мимолетна, она онтологична и может быть запечатлена: «Этот листок, что иссох и свалился, золотом вечным горит в песнопеньи» (А. Фет). Покидая свое срединное место, искусство становится либо магией, оккультным действием (этого сейчас развелось предостаточно), либо хулиганством, вакханалией (что тоже в избытке). Всякий раз в подобных случаях происходит расчленение искусства, его «дьяволизация».

И вот эти-то игры расшалившегося кота Бегемота («примус починяю!» — чем не юродивый жест, хоть и попрличней дюшановского) А. Казин, подобно команде, что прибыла кота арестовывать, встречает маузером. Но, как показано в бессмертном романе, нечистую силу маузером не возьмешь.

Роль маузера в рассуждениях Казина играют упорно повторяющиеся слова «буржуазность», «буржуазный». Насколько можно понять, как «буржуазность», поглотившая Запад и теперь подбирающаяся к нам, квалифицируется слишком многое: всякое свободное самостояние личности (оно отождествляется с самоутверждением); всякое личное достояние (это «собственность», ведущая прямиком на «рынок», — слова-пугала, которые вызывают у Казина такую же неприязнь, как у Эпштейна — «мир» и «материя», а в сущности, эти две ненависти сродни) и всякое личное достижение («успех»). Я прекрасно понимаю, что протесты Казина против «плоскостной» культуры во многом верны, что в его схеме превращения искусства из общезначимого дела в частное производство есть известная правда, но я опасаясь наличествующей тут же большой неправды.

«Абсолютизация таланта, успеха, новизны — разве не на этом зиждилась художественная практика со времен Ренессанса?» Неправда! Не на этом — у «Отца нашего — Шекспира», у Гёте («с природой одною он жизнью дышал» — Е. Баратынский), у Бальзака, рисовавшего «человеческую комедию» с высоты своего идеала, у Диккенса, «великого христианина», по слову Достоевского. Не на этом — даже у Камю: о далеком от цинизма, «скорбном неверии» экзистенциалистов сострадательно говорил отечественный мыслитель С. Л. Франк. «Начиная с Возрождения, главной фигурой, заказывающей музыку, стал богач-меценат, делающий это по своему вкусу...» Опять неправда! Меценат обычно доверял художнику, его вкусу; и в западноевропейском, и в русском искусстве велика позитивная роль просвещенных меценатов. Хуже, когда музыку заказывает тоталитарное государство (а вообще говоря, государство призвано быть тем же благосклонным меценатом).

Лет десять назад взгляды Казина на мотивы творческой деятельности в западной части мира могли оттолкнуть как всем уже к тому времени поднадоевшая «вульгарная социология»; но теперь, когда они получили новое оформление, их, вероятно, следует и назвать по-новому. Православным марксизмом, что ли? Но не хочется жонглировать этими понятиями.

Знаменательно, как совпадают Эпштейн и Казин в своем неприятии Возрождения. Да, колоссальные надломы можно найти в этой культурной эпохе, и есть замечательная русская философская линия ее критики, которой Казин старается следовать. Но печально, когда в искусстве Ренессанса под видом борьбы с его «антропоцентризмом» и «человекобожием», с его «плотскостью» и «натурализмом» уничтожается сама его приверженность к человеческому. Эта глубокая человечность положительно окрасила последующее европейское художественное развитие. Да и русское тоже. Ибо и Пушкин, и Достоевский уникальным образом соединили русскую духовную высоту с постренессансной человечностью, и другого такого плода нет нигде.

Сейчас, когда в искусстве — говоря названием одной антиавангардной статьи, читанной мною в юности, — человек за бортом, грустно смотреть, как авангардист и традиционалист, тыча в него сообща шестью превратного «религиозного сознания», силятся потопить его окончательно. Мне же, пожалуй, близка точка зрения, отчасти выразившаяся в недавно опубликованной статье В. Потапова («Новый мир», 1989, № 10): сдержанно-трезвое отношение к «рынку идей» и «рынку школ», сопротивление агрессивному теоретизированию их менеджеров и надежда на возвращение здоровых, то есть человеческих, элементов «андерграунда» в русло отечественной духовной традиции, которая, разумеется, жива и переживет конец непрекрасной эпохи.

# ЖИЖНОЕ ОБЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Андрей Зорин, Насылающий ветер. — Вячеслав Сербиненко, «Словом, все было по-хорошему».

### Литература и искусство

### НАСЫЛАЮЩИЙ ВЕТЕР

Саша Соколов. Школа для дураков. «Октябрь», 1989, № 3.

Саша Соколов. Между собакой и волком. «Волга», 1989, № 8, 9.

«„Школа для дураков“ — обаятельная, трагическая и трогательнейшая книга» — эти слова не слишком, мягко говоря, благосклонного к собратям по русской прозе Владимира Набокова, напечатанные на обложках ардисовских изданий двух первых романов Саши Соколова, не только способствовали его мировой известности, но и оттиснули в сознании русских читателей привычную схему литературной приемственности: «И в гроб сходя, благословил». Мастер как бы передавал сбереженную в изгнании лиру долгожданному наследнику.

Отсюда и возник естественный соблазн, которому поддаются многие, пишущие о «Школе для дураков», — видеть в Саше Соколове одною из питомцев набокковского гнезда. В этом есть свой резон; хотя в интервью журналу «Октябрь» (1989, № 8) писатель утверждает, что он не читал ко времени создания первого романа ни одной книги Набокова, — мало кому из прозаиков, искавших в 70-е годы новые способы работы с русским словом, удалось избежать прямого или косвенного, словно бы разлитого в воздухе, воздействия автора «Дара» и «Лолиты». И все же в самом отношении к языку у обоих писателей трудно не заметить разительное несходство. Нигде у Саши Соколова мы не почувствуем стремления отшлифовать слово до абсолютной прозрачности, до иллюзионистского слияния с

предметом, стремления, которое в сочетании с изощренными, безукоризненно симметричными сюжетными конструкциями и создает реальный до фантазмагории мир набоковских романов. Напротив, слово Соколова выпукло, пестро и многосоставно, оно постоянно отслаивается все новыми значениями.

Так, пригородная железнодорожная ветка, по которой герой некогда ездил на дачу, обращивается цветшей там веткой акации, в свою очередь, превращающейся в школьную учительницу ботаники Вету Акатову — предмет безысходной мальчишеской страсти рассказчика. Принадлежность детству и готовность к страданию, жажда жизни и безропотность, красота и продажность («вот берите меня берите я все равно отцветаю это совсем недорого я на станции стою не больше рубля и продаюсь по билетам а хотите ездуйте так бесплатно ре-визора не будет») стягивают в единый смысловой узел эти три разных персонажа. Персонажа — ибо в мире Саши Соколова вроде бы неодушевленные предметы и явления, будь то велосипед, бочка или флюгер, не говоря уже о ветре, реке и лилии, наделены характером и способностью воздействовать на сюжет.

Можно, пожалуй, сказать, что если авторский жест Набокова определяется чувством безусловной власти над материалом («слова еще голосуют», — сетует на недо-

статок писательского мастерства герой «Дара»), то Саша Соколов стремится полностью подчинить себя языковой стихии. «...Выкатим на свет Божий бочку повествования — и выйдем, наконец, затычку», — рассуждает его литератор, Запойный Охотник из романа «Между собакой и волком». Дальше освобожденный словесный поток движется уже как бы по своей воле. Подвластный только силе ритмического импульса, он обрушивается многостраничными каскадами однородных периодов и, прорывая русло сюжета, уходит вбок, чтобы, кружа и петляя, высочить где-то рядом с истоком, когда мы уже не ждем возвращения, да и почти забыли, с чего, собственно, автор начал.

Впрочем, نابоковские эпитеты «обаятельный», «трагический», «трогательнейший» говорят не о мастерстве Саши Соколова — оно как бы подразумевается, — а об эмоциональном воздействии его книги. Проницающая «Школу для дураков» поэзия детства — времени подлинной близости к природе и наибольшей полноты жизни — родственна мотивам, звучащим во многих русских романах Набокова, и наиболее отчетливо — в «Других берегах».

Однако место дворянской усадьбы занимает в «Школе для дураков» дача отца героя, товарища прокурора, представителя отечественной номенклатуры среднего уровня. По законам расщепления смысла, строящим художественный мир Саши Соколова, рядом с ним немедленно появляется персонаж с дореволюционной должностью «товарищ прокурора». Как и полагается настоящему товарищу, «товарищ прокурора», пользуясь полной взаимностью, пылает ненавистью к «товарищу прокурору» и ворует у него дерьмо на удобрения из тщательно охраняемого дачного гальюна. Соответственно, продажа дачи оказывается в «Школе для дураков» равнозначной Октябрю 1917 года для Набокова.

По той же логике, в роли домашних гувернеров и преподавателей привилегированного Тенишевского училища выступают здесь учителя школы для умственно отсталых детей, а функции повествователя, или главного героя, облюбленные спортивным نابоковским барчонок с чертами гениальности, берет на себя воспитанник этой школы, подобно своему предшественнику обожающий бабочек и велосипедные прогулки, но страдающий раздвоением личности и «избирательной памятью», не способной различать происшествия важные и незначительные, реальные и вымышлен-

ные, а главное, предшествующие и последующие.

Разумеется, душевное расстройство рассказчика мотивирует повествовательную технику писателя, строящего свой текст как непрерывный внутренний монолог, обращенный к другому себе. В монологе этом начисто стираются все временные и причинно-следственные связи, и события, о которых идет речь, ощущаются как одновременные, а вернее — как единое многомерное событие. Автор то и дело ставит в скобках после глаголов их формы прошедшего и будущего времени, не давая забыть, что все, происходящее в книге, происходит (происходило, будет происходить) сейчас и всегда. Так, герой продолжает жить на проданной даче и учиться в оконченной школе, а его любимый учитель географии Павел (Савл) Петрович Норвегов, сидя на подоконнике в школьном туалете, пытается припомнить обстоятельства собственной смерти. Любые попытки выстроить последовательный сюжет оказываются заведомо бессмысленными, а повествование скользит по кругу одних и тех же лиц, подробностей и впечатлений, в направлении, определяемом динамикой ритма, линией извива и сцепления фонетических и грамматических ассоциаций.

Давно сказано, что преодоление времени и его естественных следствий: расставания с детством, юностью, угасания любви, потери близких, старения, смерти — составляет одну из важнейших задач литературы, переводящей эфемерное вещество жизни в более прочную материю слова. Саша Соколов ставит под сомнение самый ход времени, растворяя человеческое существование с его неотклонимым вектором от рождения к смерти в субстанциях природы и языка.

В принципе о том же говорит писатель в своей второй книге «Между собакой и волком». Однако романное время организовано в ней иначе и сложнее, чем в «Школе для дураков»; оно не стоит на месте, но идет, изменяя скорость движения в разных точках художественного пространства. «...Давай с тобой не время возьмем, а воду обычную... — поучает героя книги, точительщика Илью Петрикеича, егеря Крылобыл, — в заводи она практически не идет, ее риска души, трава, а на стрежне стремглав; так и время фукцирует... В Городнице шустрит махом крыла стрижа, приблизительно, в Быдогоще — ни шатко ни валко, в лесах — совсем тишь да гладь... Принял я это к сведению, — радуется точительщик, — и заездил на будущем челноке в

позапрошлое». Получающийся контур времени напоминает не столько кольцо, сколько ленту Мёбиуса, перемещаясь по которой ты возвращаешься к исходной точке развернутым в направлении, противоположном первоначальному.

«Теперь зима в саду моем стоит. Как пустота, забытая в сосуде. А гот, забытый, на столе стоит. А стол, забытый, во саду стоит. Забытом у зимы на белом блюде», — выстраивает эту цепь автор в одном стихотворении из романа. Не случайно точильное колесо героя в самом начале книги разваливается, принимая на полу очертания буквы «ж», напсминающие и о звуке, издаваемом этим колесом при работе, и о траектории повествования, узорные петли которого уже не разрывают ход времени, но выражают его.

Тем же маршрутом должен следовать и читатель, вынужденный, если он хочет понять, что же все-таки произошло в книге, постоянно возвращаться назад, к уже пройденному. При этом перспектива событий, открывающаяся из каждой точки текста, непрерывно смещается по мере изменения ракурса. Такой оптический эффект очевидным образом передает атмосферу книги, само название которой, происходящее от привитой русскому языку Пушкиным французской поговорки, означает время сумерек. Именно в сумерках точильщик Илья принимает на замерзшей реке охотничью собаку за волка и вступает с ней в бой, становящийся в одном из сюжетных сцеплений причиной его гибели от рук разъяренных егерей.

Среди убийц Илья Петрикаича — охотник и поэт Яков Ильич Паламахтеров, второй герой книги. Изысканно книжный, намеренно архаизированный слог посвященных ему глав перемежает в романе грубовато-цветистый, инкрустированный забытыми сокровищами диалектной речи сказ точильщика. Энергия стилистического контраста была использована Сашей Соколовым еще в «Школе для дураков», где основная часть повествования с ее бесконечно льющейся фразой оттенена главой «Теперь», состоящей из кратчайших, в духе Л. Добычина, новелл, написанных нарочито бедными, в один-два периода, предложениями. Во втором романе столкновение двух повествовательных пластов подчеркнуто поэтическими «Записками Запойного Охотника», занимающими в общей сложности приблизительно треть книги.

В отличие от стихотворений Юрия Живого или в меньшей степени Федора Годунова-Чердынцева («Дар») произведения Якова

Паламахтерова не просто плоды вдохновения его создателя, по щедрости душевной подаренные герою. Это в полной мере лирика Запойного Охотника, неотделимая от его личности, сознания и образа жизни, совершенно непонятная вне прозаической части романа и, в свою очередь, служащая к ней комментарием. Начинаясь как поэт, Саша Соколов наделяет своего косноязычного персонажа недоуმიным стихотворческим даром и в особенности феноменальным чутьем к звучанию слова: «Неклен. Наклюкался — клен. Клен. Оклемаешься — неклен. Сумерками ослеплен, медленной тлею облеплен». Способность точно следовать за движением языка принимает облик беспомощного неумения с ним совладать — прием, уже отчасти знакомый нам по «Школе для дураков» с ее умственно отсталым рассказчиком.

Преемственность между обеими книгами Саши Соколова проявляется порою в самых неожиданных деталях. Так, в ландшафте «Между собакой и волком» нетрудно угадать приметы уже знакомой читателю первого романа местности: реку, пруд, кладбище, железную дорогу. Однако весь пейзажный реквизит перемещен здесь из окрестностей большого города в глубь и в глушь России, в верховья Волги, носящей на страницах книги свое древнее тюркское название Итиль.

Интересно, что в «Школе для дураков», где ни место, ни время действия не обозначены, легко угадывается Подмосковье второй половины 50-х годов. Необходимыми ориентирами здесь могут служить хотя бы статуи двух меловых стариков в школьном дворе и дача академика Акатова, которого «люди в заснеженных пальто» сначала надолго увели и «били по лицу и в живот», а потом «решили отпустить... а также выдать ему поощрительную премию, чтобы он... спокойно, без помех, исследовал галлы».

Между тем во втором романе прямо именованная Заитильщина, или Заволжье, служит лишь условным обозначением затерянного угла земли. Конкретные топографические реалии здесь нарочито скудны, а исторические столь тщательно перепутаны, что приурочить описываемые события к какому-либо определенному отрезку нашего столетия оказывается решительно невозможно. И это стремление писателя к предельной универсализации времени и пространства своего романа находит наиболее яркое выражение в той роли, которую играет в его художественном мире живопись Питера Брейгеля Старшего.

В середине 70-х годов Саша Соколов некоторое время жил в Австрии. Трудно сказать, в какой мере это обстоятельство повлияло на его решение поселить своих персонажей в пейзаж гениальных брейгелевских «Охотников на снегу», находящихся в Венском музее истории искусства. Впервые описание картины возникает во второй главе романа, когда Яков Ильич Паламахтеров рассказывает о своем возвращении с охоты, а потом повторяется в стихотворении «К незнакомому живописцу», где вид, запечатленный Брейгелем, оказывается чуть приукрашенным изображением Городнища, города нищих, поблизости от которого обитает Яков Ильич. Так получает свое объяснение яростная приверженность всех героев романа к катанию на коньках, едва ли в такой мере свойственная нынешним обитателям волжских берегов, но связанная мощным пучком культурных ассоциаций с Нидерландами XVI века. Да и самый сумеречный колорит книги несет на себе отблеск ускользающего свечения полотен Брейгеля.

Более того, брейгелевский субстрат в романе «Между собакой и волком» отнюдь не ограничивается «Охотниками на снегу». В романе оживают излюбленные герои Брейгеля: нищие уродцы, калеки и слепые. И на этот раз не стоит искать здесь аналогий с душевной болезнью мальчика-рассказчика из «Школы для дураков».

Рискну признаться, что в прямолинейности такой бытовой мотивировки важнейших особенностей повествования мне видится известный конструктивный изъян первой книги Саши Соколова. Надсад, с которым фундаментальное философское содержание поднимается столь элементарным приемом, отдает по всему тексту легким призвуком избыточной сентиментальности.

Нигде в романе «Между собакой и волком» мы не ощутим этого лирического тремоло, так взволновавшего Набокова. Инвалиды у Саши Соколова, как, собственно, и у Брейгеля, менее всего вызывают к нашим патерналистским чувствам милосердия и сострадания. «Се жизнь: к инвалидному дому, пред коим зимою — каток, удад подошел и хромому, точней, одноногому гному, горбатому, слепонемому, единственный точит конек. Взгляни — и ступай себе мимо, чужая беда — не беда, тем паче что неутолимы печали фортуной гонимых, и если уж солнцем палимы, им ливень — как

с гуся вода», — цинически философствует на некрасовские темы Яков Ильич Паламахтеров.

Тема физического ущерба становится в романе еще одним воплощением Заитильщины, края, где ничего не строится, не производится и лишь изредка чинится, а чаще ветшает, приходит в негодность, ломается и крадется. Оскудение земли от Брейгеля до Паламахтерова напоминает о судьбе Божьего мира, постепенно погружающегося в полумрак. В этих «растацивших очи, затушевавших перспективу и упразднивших згу» сумерках мелькают раздробленные обломки великих мифов: Яков Ильич, оказывающийся в одном из сюжетных изводов потерянным сыном Ильи Петрикеича, по трагическому неведению убивает своего отца; Орина, погибшая на рельсах вечная любовь точильщика, возвращается с того света в поисках суженого и высматривает его среди собразников и собутыльников, готовых радостно уйти в небытие, повинувшись манящему жесту ее руки. Символическая вязь этой книги становится внятной только тогда, когда мы почувствуем, что перед нами литература, обращенная, как писал Набоков в эссе о Гоголе, «к тем тайным глубинам человеческой души, где проходят тени других миров, как тени безымянных и беззвучных кораблей».

Что можно к этому добавить? В сущности, очень немного. Было бы неуважительно по отношению к писателю, завершая рецензию, не сказать, что в своем третьем романе «Палисандрия» (Ардис, Анн-Арбор, 1985) ему, на мой, разумееется, взгляд, не удалось поддержать уровень, достигнутый в первых двух. Но это не главное. А главное, пожалуй, вот что.

В описанном в «Школе для дураков» дачном поселке временами появляется самый загадочный персонаж книги. Никто никогда не видел его, но все убеждены, что в «одни из самых солнечных и теплых дней лета» именно он насыляет на местность, «где слишком уж много дач и дачников», ветер, сметающий мусор, переворачивающий лодки, выплескивающий реку из берегов и напоминающий обитателям поселка, что в мире есть что-то, кроме их повседневных дряг и кажущихся столь важными забот. Саше Соколову удалось наслать ветер на русскую прозу. Я думаю, что он долго не уляжется.

Андрей ЗОРИН.

## «СЛОВОМ, ВСЕ БЫЛО ПО-ХОРОШЕМУ»

А. В. Ча я н о в. Венецианское зеркало. Повести. М. «Современник», 1989. 236 стр.

**Б**ережно отнестись к творческому наследию А. В. Ча я н о в а обязывает уже простое внимание к памяти замечательного ученого, одного из немногих, кто, не считаясь с политической конъюнктурой, искренне, убежденно и последовательно защищал на несправедливом судилище истории российское крестьянство и сам был с тупой безжалостностью уничтожен политической машиной. И, конечно, публикация его прозы — шаг совершенно естественный и необходимый. Но данный случай из того ряда, когда, возвращая из забвения имена и книги, мы не долги отдаем, запоздало поминая героев прошлого, а принимаем наконец завещанные нам духовные дары. Не только экономические идеи Ча я н о в а оказываются сегодня нужными. Как считал сам ученый, чисто экономические преобразования бесперспективны при отсутствии в обществе «культурного прогресса во всех областях жизни духа». Последний период нашей истории служит еще одним горьким подтверждением и этой бесспорной аксиомы. Вся жизнь Ча я н о в а — своего рода культурное служение. Это в полной мере относится и к его многочисленным трудам по истории культуры и искусства, истории Москвы и к художественной прозе.

В сборник вошли пять романтических повестей Ча я н о в а и «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии». Последней, можно не сомневаться, читательское внимание гарантировано: впечатляющий образ крестьянской России 1984 года, ясно и откровенно высказанные оригинальные философские и политические идеи, «еретические» отнюдь не только для своего времени, — все это плюс уровень литературного мастерства не может не вызвать интереса. Иначе обстоит дело с романтической прозой. Повести Ча я н о в а на прямой диалог с современностью явно не рассчитаны. И хотя они по-настоящему увлекательны, хотя фантазии и интриги в них с избытком, во это, конечно, та проза, которая при сколь угодно быстрой фабуле не предполагает быстрого и легкого чтения. Однако и читатель вдумчивый, если он рассчитывает окунуться в идейную атмосферу романтического жанра, может испытать определенное разочарование. Бережно и тонко воссоздает Ча я н о в стиль русской романтической повести, своеобразные черты ее поэтики, но вызвать к жизни самый дух романтизма, его философию он не стремится. Его замысел состоит в другом.

..Вспоминаешь знаменитые ахматовские

строки, датированные 1921 годом: «Все расхищено, предано, продано, черной смерти мелькало крыло, все голодной тоскою изглодано...» — и думаешь о том, что в эти годы крупнейший русский экономист и общественный деятель решал задачу, кажущуюся совершенно камерной на фоне всего происходившего в стране и мире. Надо было обладать глубочайшей убежденностью в необходимости сохранения культурной традиции в любые времена и при любых обстоятельствах, чтобы продолжать кропотливый труд по восстановлению деталей истории Москвы, создавать прозу, воскрешающую романтический облик горсада, то волшебство, без которого торжествующий урбанизм окончательно сводит городскую жизнь к абсурду механической рутинности существования. «Совершенно несомненно, что всякий уважающий себя город должен иметь некоторую украшающую его Гофманиаду, некоторое количество своих „домашних дьяволов“», — писал А. В. Ча я н о в. Лишенные эстетического смысла, покинутые своими «домовыми», города обречены. Они становятся препятствием к развитию культуры. Романтические повести Ча я н о в а — это настоящий гимн старой городской культуре, что отнюдь не противоречит созданной им утопии крестьянской.

Роль традиционного романтического персонажа-эгоцентрика, постоянно плутающего в лабиринте собственных и чужих страстей, кажется здесь сомнительной. Хотя формально это центральная роль, и, повинаясь зову сердца, мечется такой персонаж, например старейший московский Казанова «архитектор М.» («История парикмахерской куклы...»), по улицам Москвы, Коломны, Венеции и других российских и европейских городов в поисках «конечной женственности». Но этот Пигмалион, покоренный прелестью «рыжеволосой восковой куклы» и неукротимо добивающийся любви от оригинала, никоим образом одушевить не может, потому что сам едва ли не кукла, муляж. (Герой смутно ощущает это, чувствуя себя в редкие минуты рефлексии «манекеном, марионеткой, которую невидимая рука дергала за веревку».) Он — стилизованный дубликат классического романтического героя со всей его атрибутикой, но лишенный главного — романтической души.

Стилизации, как известно, сопутствует ирония, нередко обрезающая форму откровенной пародии (вольной или невольной). Присутствие иронии в прозе Ча я н о в а со-

вершено очевидно и весьма существенно. Писатель не настаивает на романтической подлинности своих персонажей, не без пародийности описывая их фантастические приключения, происходящие в атмосфере постоянного любовного возбуждения. Забывает обо всем на свете и даже о «гостиничной солянке из стерляди» вышеупомянутый «архитектор М.», увидев в витрине парикмахерской свою Галатею. Преследуемый роком граф Федор Бутурлин («Необычайные, но истинные приключения...») носится по Москве и Европе, непрерывно влюбляясь, и ситуация, несмотря на страшные опасности, подстерегающие несчастного графа, становится в высшей степени комичной, когда ему, охладевшему к одной из своих избранниц, приходится бросить ее, охваченную ревностью, «связанной и с заткнутым ртом в комнате брюссельской гостиницы». Роковые романтические страсти писатель в XX веке всерьез ренимировать не пытается. (И здесь, как мне кажется, немаловажное отличие его повестей от литературы неоромантизма и, в частности, от прозы русских символистов, например В. Брюсова.) Тем не менее подлинное романтическое чувство живет в повестях Чайнова.

Именно город, в первую очередь Москва (но не только), — настоящий романтический герой этих повестей. Изображенная в них Москва начала нынешнего и первых десятилетий прошлого века яркостью и чистотой романтических красок нисколько не уступает магии «великого города масок» Венеции, «окрестностям Фонтенебло» и храпачим «вековую мудрость» «библиотекам монастырей, дворцов и университетов» Европы. «Я люблю ночные московские улицы, люблю, друзья мои, бродить по ним в одиночестве и не замечая направления. Заснувшие домики становятся картонными. Тихий покой садов и дворигов не нарушает ни шум моих шагов, ни лай прснувшей дворовой собаки... Смотрю, как церковки думают свою думу, в пустых улицах часто неожиданно всплывают то мрачные колоннады Апраксинского дворца, то уносящаяся вывесь громада Пашкова дома, то иные каменные тены великих екатерининских орлов...» («Венедиктов...»). Вполне вписывается в романтический городской ландшафт повестей Чайнова и «славный городок» Коломна, где пресыщенный впечатлениями большого города герой обретает душевный покой, перечитывая Лажечникова и не оставляя без внимания скромное гостиничное угощение: пиво в «желтой калинкинской бутылке», «белый судо-

чек с хреном и горчицей, традиционно поданный к ветчине». Поутру его ожидают также вполне традиционные «самовар и калач с икрой». Среда обитания для домашних вполне подходящая. Верный традиции русской романтической повести XIX века, Чайнов показывает романтику жизни, протекающей на «склонах берегов москворецких», жизни «человека обыденного, российского».

Собственно, и в своей утопии «Путешествие моего брата Алексея...» (1920) ученый отстаивает те же ценности. И столь любимая им русская романтическая культура становится основанием для положительного ответа на едва ли не центральный вопрос: «Возможны ли высшие формы культуры при распыленном сельском поселении человечества?» Как утверждает в этом сочинении один из лидеров крестьянской России 1984 года: «Эпоха помещичьей культуры двадцатых годов прошлого века, давшая декабристов и подарившая миру Пушкина, говорила нам, что все это... возможно». В утопический мир автор отправляет Алексея Кремнева, «старого социалиста» и «крупного советского работника», у которого на четвертом году победоносной революции болит-таки голова от происходящего вокруг тотального, грубо-идеологизированного насилия над жизнью: «...в голове болезненно горели... фразы, обрывки фраз... „Разрушая семейный очаг, мы тем наносим последний удар буржуазному строю!“ „Наш декрет, запрещающий домашнее питание, выбрасывает из нашего бытия радостный яд буржуазной семьи и до окончания веков укрепляет социалистическое начало!“. Кремнев испытывает определенные сомнения, осознавая, что реализованная мечта «добрых и милых утопистов» прошлого («На четвертый год революции социализм может считать себя безраздельным владыкой земного шара») — это «далеко не социалистический рай», а нечто ему прямо противоположное. Но иных идеалов он и представить себе не может, «с сожалением» констатируя: «Увы, либеральная доктрина всегда была слаба тем, что она не могла создать идеологии и не имела утопий». И вот автор предоставляет ему возможность перенестись на шесть десятилетий вперед и непосредственно познакомиться с альтернативой социалистической утопии — утопией крестьянской.

Чайнов в целом следует канонам жанра. Все в России будущего — общественная и частная жизнь, экономика и культура, детали быта — выдержано в тонах исключительно идиллических. Не нарушает общей



гармонии и легкая ирония в описании походов Кремнева, напоминающего скорее традиционного жизнерадостного и влюбчивого героя чаяновской романтической прозы, а не «крупного советского работника». Впрочем, ирония, как известно, вообще отнюдь не чужда литературной утопии начиная еще с Т. Мора. Есть, однако, достаточно оснований видеть в крестьянской России Чайнова не попытку создания очередной идеологической утопии, а нечто совсем иное. Это проект спасения культуры, природы и человечества от катастрофы, немалую роль в подготовке которой сыграла и утопическая идеология. Не эпохальная задача «строительства нового мира» волновала мысль и воображение ученого в 1920 году, а возможность сохранить в невероятно драматических условиях мир человека в его самого. Он находит перспективу в обществе крестьянской культуры, сохраняющей традиционные ценности, вековой уклад жизни и в то же время способной к прогрессу. Это общество сможет обойтись без тотальной идеологии и обслуживающих ее репрессивных механизмов. «...Эпоха государственного коллективизма наглядно доказала... что духовная монополия ничего, кроме сожжения духовной жизни, принести не может», — говорит один из деятелей будущего. Не идейный плюрализм, бесстрастно и отвлеченно фиксирующий равноправность любых взглядов, отстаивается в данном случае, а абсолютное значение для общественной жизни духовной свободы, только при условии которой и возможна борьба подлинных идеалов с идеалами и ценностями мнимыми. «История иезуитов XVII века, франкмасонов XVIII и XIX и антропософов XX века указывает нам, что существуют методы социального воз-

действия, при помощи которых небольшая кучка лиц может повергать в духовное рабство широкие народные массы. Причем идеи и волевые импульсы, внушаемые этими организациями народным массам, нередко ими самими не разделяются, а лишь используются как средства для осуществления иных идейных заданий». Но, заявляет герой Чайнова, «в духовной жизни только духовно слабый нуждается в духовной защите своих идей методами внешнего воздействия». В России будущего благодаря прочному фундаменту органично развитых экономических и культурных связей духовная свобода не стеснена. И неизбежные идейные споры ничем иным как спором идей быть там не могут. Немаловажно и то, что никакого переходного периода к грядущей свободе Чайнов не предполагал. Духовная свобода не «конечная цель», а естественное условие и предпосылка прогресса в нарисованном им обществе крестьянской культуры.

Нельзя не заметить, что уже через несколько лет после написания «Путешествия...» возможность возрождения и развития сельской России стала как будто реальной и потребовались гигантские усилия новосозданной политической машины, невероятный террор, чтобы предложенный Чайновым путь остался непройденным. Остался еще одной русской утопией.

«...Все было по-хорошему», хотя слова эти автор относит к происходящему в мире своей крестьянской утопии, они во многом выражают суть гуманной философии Чайнова, его взгляд как на возможное будущее, так и на прошлое отечественной культуры.

Вячеслав СЕРБИНЕНКО.

# ИЗ РЕДАКЦИИ ИОННОГО ПУЧКА

Это письмо выбрано нами из обширной почты «Нового мира», поскольку оно затрагивает много лет не обсуждающуюся в нашей философской литературе тему. В нем рассматриваются наиболее общие вопросы мироздания, те, которые в нашей философии считаются априорно решенными. Эта тема пересекается с дисциплиной, которая традиционно именуется научной апологетикой. Широкому читателю она вряд ли знакома; так еще со времен Тертуллиана называется искусство доказывать верность религиозного миропонимания, опираясь на материал науки. Одним из крупнейших специалистов в этой области был наш соотечественник П. А. Флоренский, читавший соответствующий курс в Московской духовной академии; однако эта линия русской культуры была насильственно оборвана и возродилась сравнительно недавно; одним из тех, кто участвовал в ее возрождении, является Виктор Николаевич Тростников (р. 1928), живущий в Москве, математик и философ, автор многих книг и статей, к сожалению, более известный зарубежному читателю, чем отечественному.

Факт публикации этого письма в журнале не означает, естественно, что редакция полностью разделяет эти идеи, хотя сама возможность метафизического или сприорного постижения действительности и сегодня не утратила своей ценности. Мы считаем, что живой (а не только посмертный) голос русской религиозной мысли тоже может и должен органично и свободно вписаться в нынешнее многоголосие, обогащать нашу культуру.

## НАУЧНА ЛИ «НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА»?

**В**ажнейший вес науки в жизни современного общества огромен. Поэтому может показаться, что уточнять смысл термина «наука» незачем — ведь каждый из нас произносит или слышит его по нескольку раз на дню. В действительности же эта очевидность есть иллюзия, которая рассеивается, когда начинаешь вдумываться в существо вопроса глубже. Оказывается, под единой вывеской «наука» разместились два совершенно разных предприятия. Одно из них можно назвать наукой-исследованием, а другое — наукой-мировоззрением.

Наука-исследование есть то, что определяется как «наука» во всех словарях и энциклопедиях: «объективно-достоверное знание, максимально проверенное по содержанию и максимально систематическое по форме». Наука-мировоззрение — это так называемая научная картина мира. Считается, что она есть прямой результат науки-исследования. Но это совсем не так, в чем мы скоро и убедимся. Это — совершенно самостоятельная концепция, основанная на трех философских презумпциях, которые условно можно назвать редукционизмом, эволюционизмом и рационализмом. Иногда эти термины употребляются в более широком смысле, и тогда сказанное нами дальше не будет верно, но мы просим читателя помнить, что на протяжении статьи мы будем вкладывать в эти слова тот узкий смысл, который сейчас разъясним.

Редукционизм есть предположение, что низшие формы бытия более реальны, чем высшие его формы, которые могут быть сведены к комбинации низших. Здесь мир уподобляется детскому «конструктору», в котором винтики и стерженьки более значимы, чем собираемые из них сооружения, ибо последние можно снова разобрать, а некоторые из них остаются лишь принципиально возможными, но не реализуются, в то время как стерженьки и винтики суть нечто постоянное и неизменяемое.

Эволюционизм есть предположение, что сложные формы бытия естественным образом, то есть под действием незыблемых законов природы, не ставящих перед

собой никаких целей и работающих как автоматы, образовались из исходных простых форм<sup>1</sup>.

Рационализм есть убежденность во всемогуществе человеческого разума, наиболее полным воплощением которого являются математика и логика. Разум способен проникнуть во все тайны природы и поставить обретенные знания на службу человеку, сделав его таким образом властелином Вселенной.

Пока читателям, наверное, еще не ясно, в чем же состоит различие между наукой-исследованием и наукой-мировоззрением. Ведь нам с детства внушают, что картина мира, включающая в себя три названных постулата, как раз и основывается на данных научных исследований. Это написано во всех научно-популярных книгах, это утверждают школьные учебники. Но авторами этих изданий являются, как правило, не ученые, а люди совсем другой специализации, которых точнее всего можно обозначить как идеологов. Именно они и создают науку-мировоззрение. При этом они действительно постоянно апеллируют к науке-исследованию. Но как они это делают? Берут то, что им подходит, что можно использовать для защиты их концепции, а остальное либо провозглашают несущественным, либо просто замалчивают. Но даже и то, что берут, трактуют по-своему, иногда очень вольно. А такими методами с помощью науки можно доказать все что угодно. Чтобы это обвинение не было голословным, проиллюстрируем их метод примерами, относящимися к каждому из трех основных компонентов научной картины мира.

Редукционизм был подсказан ньютоновской физикой, которая изображает Вселенную состоящей из «материальных точек», взаимодействующих между собой по имеющим четкое математическое выражение законам. Но в космологии Ньютона предполагалось и существование Бога-Творца, а помимо математических методов он использовал в познавательных целях Священное писание, пытаясь расшифровать пророчества Даниила, и т. п. Все это было отброшено как нелепость, а вот за физику идеологи ухватились обеими руками.

Эволюционизм был подсказан космогонической теорией Лапласа, согласно которой Солнечная система под действием законов сохранения энергии, импульса и момента импульса сама собой образовалась из первичной газовой туманности. Хотя даже эта конкретная модель не была доведена до количественного расчета и так и осталась голый идеей, ее сразу обобщили, преобразовав в некий всеобщий закон автоматического превращения простого в сложное, а затем распространили и на живую природу, чего Лаплас, конечно, и не думал делать.

Рационализм был подсказан программой создания универсального алгоритма вычисления истины Лейбница. Но тот же самый Лейбниц разработал учение о монадах — восходящей последовательности неделимых духовных единиц, каждая из которых управляет определенным фрагментом видимого мира. Однако монадологией Лейбница пренебрегли, а идею чисто логического познания безо всяких дополнительных обоснований или подтверждений приняли за абсолютно верную.

Как видите, поведение идеологов, выступающих от имени науки, похоже на поведение гоголевского Головы из повести «Майская ночь, или Утопленница». Когда писарь начал читать «Приказ голове Евтуху Макогоненку. Дошло до нас, что ты, старый ду...», он закричал: «Стой, стой! Не нужно! Я хоть и не слышал, однако ж знаю, что главного тут дела еще нет. Читай дальше». Их обращение с научным материалом такое же: что им приятно слышать, они слышат, а если что-то им не нравится, они притворяются глухими или кричат: тут главного нет! В книге, которая во времена моей молодости провозглашалась вершиной философской мудрости всех времен и народов, было даже сказано, что, какими бы хорошими специалистами ни были ученые в своей конкретной области, им нельзя верить ни в едином слове, когда речь заходит о мировоззрении. Чувствуете, как ставится вопрос: вы нам только поставляйте материал, а интерпретировать его будем мы сами — вы в это дело не лезьте.

Таковыми-то методами гоголевского персонажа и была построена к концу прошлого века научная картина мира, которая с тех пор в главных чертах совершенно не изменилась. А наука-исследование шла тем временем своим путем. Подчиняясь своему внутреннему правилу, которое, как верно отмечается в словарях, состоит в установле-

<sup>1</sup> К термину «эволюционизм» особенно относится наше замечание об условности понимания. В трактовке Л. С. Берга или Тейяра де Шардена в эволюции участвует некое творческое начало. Но мы будем говорить именно о концепции автоматизма развития.

нии объективно достоверных сведений, максимально проверенных со стороны содержания, она добыла массу новых интереснейших данных. И сейчас мы приподнимем покрывало над материалом науки-исследования и посмотрим, насколько он сегодня соответствует науке-мировоззрению. Может быть, идеологи оказались великими провидцами? Может, они интуитивно ухватили самую суть дела и теперь их обобщения подтверждаются лучше и полнее, чем сто лет тому назад? Чтобы вывод был надежным, нужно взять те отрасли науки, которые, по единодушному мнению ученых, являются самыми важными и наиболее результативными. Таковыми считаются три отрасли: физика, биология и математика. Что же открылось этим наукам за последние десятилетия?

Физике открылась ложность редукционизма. Она полностью его опровергла. Более сильно опровергнуть что-либо просто невозможно. Уже довольно давно выяснилось, что ньютоновская концепция материи неверна, что «материальная точка» есть лишь художественный образ, притом такой, который даже приблизительно не соответствует ничему реальному. Открытая в 1927 году Дэвиссоном и Джермером дифракция электронов показала, что у частиц нет определенных траекторий, а принцип неопределенности Гейзенберга отменил само понятие частицы как объекта, локализованного в пространстве и имеющего определенную скорость. Но это привело к такому взгляду на окружающую действительность, который противоположен прежнему не в каких-то деталях, а в самом своем существовании. Речь идет уже не о поправках, а об отмене предыдущей концепции. Такую постановку вопроса нельзя сгладить разговорами о какой-то диалектике или о необходимости синтеза двух точек зрения, ибо, как сказал Фейнман, у нас нет двух миров — квантового и классического, — нам дан один-единственный мир, в котором мы живем, и этот мир квантовый. И если поставить целью дать самую краткую характеристику принципов его устройства, то ему будет слово «антиредукционизм».

Начнем с того, что идеальное оказалось реальнее материального. Тут невольно вспоминаются космологические представления индуизма, согласно которым материя есть майя — род иллюзии. Не будем сейчас вдаваться в анализ понятия материи как философской категории, но если говорить о том, что физики называют наблюдаемыми, то индусы, пожалуй, правы. И это не плод каких-то косвенных соображений, которые можно понимать и так и сяк, на этот счет имеется теорема. В квантовой физике центральным понятием служат не частица, а пси-функция, которая принципиально не может быть зафиксирована никаким прибором, то есть является невещественной данностью. Но жизнь Вселенной есть именно жизнь пси-функций, а не наблюдаемых. Во-первых, законам природы подчиняются не наблюдаемые, как полагали раньше, а пси-функции; наблюдаемые же управляются пси-функциями, да и то не в строгом, а в статистическом смысле. Все законы природы суть не что иное, как уравнения Шредингера, а они определяют лишь эволюцию пси-функций, материя в них не фигурирует. Во-вторых, Джон фон Нейман доказал математически (как раз в этом и состоит упомянутая только что теорема), что классической модели Вселенной, адекватно описывающей ее экспериментально установленные свойства, существовать не может. Какими бы ухищрениями мы ни пытались свести мир к наглядным понятиям, у нас заведомо ничего не получится. Только признав главной мировой реальностью умозрительное, мы обретаем шанс понять поведение чувственно воспринимаемого. Узлы тех нитей, на которых держится видимое, завязываются и развязываются в невидимом. Идеалисты всегда были убеждены в этом, однако никто из них, даже сам Платон, не могли и мечтать, что когда-нибудь появится столь неопровержимое подтверждение их правоты. Но оно появилось, и теперь то решение основного вопроса философии, на котором нас воспитывали, становится в высшей степени сомнительным.

Любопытно отметить, что пси-функции современной физики очень родственны лейбницевским монадам. По иронии судьбы Лейбниц был прав как раз в том, что идеологи у него отвергли. Дальше мы увидим и другое: в том, что они с восторгом у него заимствовали, он здорово ошибся.

Но это еще не все. Из квантовой теории с несомненностью вытекает и то, что целое реальнее своих частей. Дело в том, что пси-функция системы всегда адекватнее описывает ее свойства, чем совокупность пси-функций, относящихся к ее частям, взятым по отдельности. При объединении частей в систему вступают в силу совершенно новые законы природы, предсказать которые заранее невозможно. Простейший пример тому — атом. Как бы мы ни изучили свойства электронов и нуклонов порознь, мы никогда не смогли бы предвидеть, что в состоящем из них атоме вступит в силу «запрет Паули», формирующий всю менделеевскую таблицу. Строго говоря, само выражение

«атом состоит из электронов и нуклонов» неверно, надо было бы сказать иначе: «электроны и нуклоны исчезли, и на их месте появился новый физический объект с новыми свойствами — атом». Так же надо понимать и переход к объемлющим системам в других случаях; скажем, группа атомов может «исчезнуть» и «превратиться» в новую реальность, называемую полупроводником или плазмой, своеобразии которой нельзя извлечь из особенностей атомов. В общем, чем обширнее фрагмент Вселенной, тем истиннее его пси-функция, то есть для приближения к познанию нужно идти не вниз, как на этом настаивают редукционисты, а, наоборот, вверх; надо не разлагать систему на составные элементы, а изучать ее как часть более обширной системы — в пределе всего сущего. Только в этом предельном случае, который, разумеется, недостижим, нам открылись бы все законы природы и мы получили бы точную модель наблюдаемых. Это было бы то, что называется фоксовской универсальной пси-функцией (по имени нашего выдающегося физика В. А. Фока). Понятно, что написать эту функцию мы не в состоянии, но сам этот принцип сформулирован современной физикой абсолютно недвусмысленно и представляет собой чистейший принцип антиредукционизма.

Биологии открылась ложность эволюционизма. Главной опорой эволюционистов служила, конечно, теория естественного отбора, то есть дарвинизм. Но на фоне сегодняшних данных биологической науки он выглядит просто-таки неприлично.

Собственно, уже в момент своего появления в 1859 году дарвиновская теория была подвергнута суровой критике самыми выдающимися специалистами того времени — Агассисом, Вирховом, Дришем и др. Но ученые меньшего калибра ею соблазнились, ибо она претендовала на простое объяснение сложнейшего феномена появления жизни на земле. Широкая же читательская публика была от нее в полном восторге. Так наметилась закономерность, которая неуклонно выполнялась и дальше: чем меньше человек разбирается в биологии, тем тверже он верит в дарвинизм. Самыми же убежденными его сторонниками являются те, кто вообще в ней не разбирается. Этим людям достаточно взглянуть на рисунок пород голубей или на изображение костей динозавра и им уже все ясно: человек произошел от обезьяны. Не правда ли, подозрительна та теория, которая боится знаний, относящихся к предмету, ею обобщаемому? Но если в прошлом веке знание материала позволяло обнаружить в теории естественного отбора отдельные несообразности, то сегодня ее абсурдность достигла уровня, не допустимого не только для науки, но и для бытовых разговоров.

Всякая теория опирается на две вещи: на логику и факты. Логическая схема дарвинизма проста. В живой природе имеется изменчивость — признаки детей несколько отличаются от признаков родителей, и особи, которые вследствие этого оказываются наиболее конкурентоспособными, побеждают в жизненной борьбе своих собратьев и передают полезные признаки потомству. Так приспособленность постепенно накапливается и за миллионы лет достигает высочайшей степени. По словам самого Дарвина, эту мысль подсказало ему наблюдение за деятельностью селекционеров, выводящих породы домашнего скота. Ясность рассуждения подкупает, а аналогия делает его правдоподобным. Но если вдуматься глубже, оказывается, что рассуждение безграмотно, а аналогия незаконна.

Прежде всего тут совершенно игнорируется тот факт, что всякое животное имеет не только индивидуальные, но и видовые признаки, а они состоят не в параметрах, а в совокупности жестко взаимосвязанных между собой конструктивных принципов, образующих идею вида. У разных видов эти идеи отличаются не в меньшей степени, чем идея черно-белого телевизора отличается от идеи телевизора цветного. Если по черно-белому телевизору стукнуть кулаком, он может начать работать лучше, но сколько по нему ни бей, улучшение не достигнет такой степени, чтобы он превратился в цветной. Так же и с отбором случайных мутаций. Признаки, на которые воздействует отбор, есть отдельные параметры, не более того. Собаковод топил щенков с короткими ушами и оставляет длинноухих и в конце концов получает спаниеля. Но спаниель при всем внешнем своеобразии остается типичной собакой — с собачьими повадками, собачьим обменом веществ, с собачьими болезнями. И можно ли поверить, что если достаточно долго топить одних щенков и сохранять жизнь другим, то когда-нибудь мы получим кошку? А то и ящерицу? А ведь эти допущения есть то самое, на чем зиждется весь дарвинизм. Безграмотность состоит здесь в том, что животное мыслится как сумма параметров, тогда как на самом деле оно представляет собой систему, состоящую из многих уровней. И если на низших уровнях действительно имеется

изменчивость, которая может привести к образованию разных пород одного и того же вида, то на более высоких уровнях изменчивость просто недопустима, ибо она сразу же привела бы к разлаживанию тончайше подогнанных друг к другу функциональных и структурных механизмов.

Факты полностью подтверждают этот теоретический аргумент. Эксперименты показали, что никаким отбором нельзя создать нового вида. В некоторых лабораториях селекция бактерий ведется непрерывно с конца прошлого века, причем для усиления изменчивости применяется излучение, однако за этот период, который по числу сменявшихся поколений равносителен десяткам миллионов лет для высших форм, так и не возникло нового вида! А у высших форм за эквивалентный промежуток времени появились новые отряды! Похоже, живая природа устроена по принципу «атома Бора» — в ней имеются «разрешенные» наборы генов, промежуточные между ними «запрещены», а то, что мы воспринимаем как эволюцию, есть внезапное заполнение новых «разрешенных» уровней в результате какого-то таинственного творческого импульса. Картина костных останков, извлекаемых палеонтологами, соответствует именно этому предположению. Дискретность живых форм выражена необычайно резко. Никаких кентавров, грифонов и алконостов, которыми наши предки пытались ее смягчить, в земных слоях не обнаружено. А недавно по концепции непрерывной эволюции был нанесен удар еще с одной стороны. Наш кинолог А. Т. Войлочников догадался сделать то, что прежде никто не делал: получив помет волка и собаки, он начал скрещивать гибриды между собой. И что же? В последующих поколениях стали рождаться либо чистые собаки, либо чистые волки! Насильственно перемешанные гены, как только их предоставили самим себе, тут же разошлись по «разрешенным» наборам. Этот блестящий эксперимент, который по важности можно сопоставить с опытом Майкелсона, единодушно замалчивается нашими популяризаторами науки, а ведь его одного уже достаточно, чтобы признать дарвинизм несостоятельным. Кстати, из него следует, что собака не произошла от волка, и к загадке происхождения человека добавилась теперь загадка происхождения его четвероногого друга.

Все приведенные до сих пор аргументы полностью находились в рамках классической биологии. Конечно, если бы дарвинизм и вправду был научной теорией, то он давно должен был честно признать их силу и добровольно уйти со сцены. Но после того как Уотсон и Крик в 1953 году открыли механизм синтеза белков на рибосомах под управлением нуклеиновых кислот, учение о естественном отборе стало более несуразным, чем утверждение, будто земля плоская и стоит на трех китах. Это великое открытие, положившее конец донаучному периоду существования биологии, показало, что жизнь совсем не то, что мы про нее думали. Оказалось, что она не химическая лаборатория, а издательство, где идет непрерывное распечатывание и редактирование текстов, их перевод с одного языка на другой и рассылака по разным инстанциям.

Почему этот новый взгляд окончательно уничтожает дарвиновскую теорию? Во-первых, потому, что вероятности случайного возникновения полезных мутаций превратились из геометрических в комбинаторные и тем самым сразу уменьшились на тысячи порядков, так что их теперь нужно считать равными нулю. Во-вторых, выяснилось, что программы синтеза белков, посылаемые в цитоплазму каждой клетки из ее ядра, не только согласованы между собою, но и учитывают программы синтеза других организмов, так как в них имеются распоряжения, явно сообразующиеся с иммунологическими требованиями и структурой цепочек питания. В сочетании с данными экологии животных этот факт наводит на предположение, что стопроцентно жизнеспособным является только геобиоценоз, обладающий необходимой полнотой, а всякая меньшая экосистема, если ее изолировать, была бы обречена на вымирание. Первым к этой идее пришел, кажется, Вернадский, сформулировавший гипотетический закон постоянства биомассы. И вот свежий научный результат: анализ изотопного состава древней серы подтвердил, что общая масса всех живых существ Земли миллиарды лет тому назад была точно такой же, как и сегодня. Это значит, что живая природа возникла сразу во всем своем объеме и многообразии, ибо иначе она не могла бы выжить...

Осталось сказать несколько слов о рационализме. Его абсурдность открылась математике — той самой науке, на которой он пытался утвердиться. Пока идеологи внушали нам, что возможности человеческого разума безграничны, а мы радовались этому и распевали «нам нет преград ни в море, ни на суше», математическая логика, в которой разум сконцентрирован в наиболее сжатом виде, начала

выяснять, так ли это на самом деле. И в ходе своего расследования натолкнулась на большие сюрпризы. В 1931 году австриец Курт Гёдель сконструировал истинное арифметическое высказывание, которое, как он доказал, нельзя ни доказать, ни опровергнуть, то есть нельзя вывести дедуктивным путем из аксиом арифметики ни само это высказывание, ни его отрицание. Уже одного этого примера было бы достаточно, чтобы разрушить восходящее к Лейбницу и Декарту мнение, будто множество выводимых формул совпадает с множеством истинных формул. Но оставалась надежда, что выводимость лишь на немного меньше истинности, что недоказуемыми являются только экзотические формулы гёделевского типа, в которых зашифрованы утверждения, относящиеся к самим этим формулам. Но через пять лет был получен значительно более сильный результат — польский математик Тарский доказал, что само понятие истинности логически невыразимо. Это означает, что послать дедуктивный метод на поиски истины — то же самое, что сказать ему: «Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Теорема Тарского, включающая в себя теорему Гёделя как частное следствие, наталкивает на мысль, что различие между истинностью и выводимостью довольно значительно. Но установить, насколько оно велико, удалось только сравнительно недавно, после многолетней совместной работы математиков многих стран, регулярно обменивавшихся промежуточными результатами. Все математические формулы были вначале разбиты на классы сложности, причем таким образом, что они расширялись, то есть в каждом следующем классе имелись не только все формулы предыдущего класса, но и некоторые новые. Значит, тут при поднятии верхней границы сложности количество формул реально возрастает. Затем было показано, что множество выводимых формул целиком содержится в нулевом классе. И, наконец, доказано, что множество истинных формул не помещаются даже в тот предельный класс, который получается при стремлении показателя сложности к бесконечности. Известный математик Ю. Манин так прокомментировал эту ситуацию: «Выводимость находится на нижней ступеньке бесконечной лестницы, а истинность располагается где-то над всей лестницей». В общем, расстояние от выводимости до истинности настолько громадно, что, говоря в целом, ролью строгой логики в деле познания можно просто пренебречь. Похоже, она нужна лишь для придания результату общепонятной и убедительной формы, а механизм получения результата совсем иной. Недаром от математиков нередко можно услышать фразу: сначала я понял, что эта теорема верна, а потом начал думать, как бы ее доказать. На что же опираются они в своем творчестве, природу которого объяснить, как правило, не могут? Ответ на этот вопрос подсказывается замечательной теоремой, доказанной в конце 70-х годов американцами Парисом и Харрингтоном. Из нее следует, что даже относительно простые арифметические истины невозможно установить, не прибегая к понятию актуальной бесконечности. Что это такое? Это категория уже внеарифметическая. В арифметике есть, конечно, бесконечность, но потенциальная — возможность к любому числу прибавить единицу. Это не очень высокий уровень абстракции. Гусар заявляет в оперетте, что он может выпить шампанского сколько угодно и еще две бутылки — это и есть потенциальная бесконечность. Даже в случае с гусаром мы почти готовы в нее поверить: на то он и гусар, чтобы всегда выпить «еще две бутылки». Но если бы гусар сказал, что он уже выпил бесконечное число бутылок, мы бы отнеслись к такому заявлению как к абсурдному. А именно это и есть актуальная бесконечность — бесконечность, существующая как реальный объект сразу всеми своими элементами. Ясно, что в материальном мире она пребывать не может. Но в том дополнительном пространстве, где парит наша мысль, она существует, и не только существует, но, как удостоверяет нас теорема Париса—Харрингтона, является необходимым источником творчества.

Так вскрылась ложность картины мира, на которой мы выросли сами и растим своих детей. И в этом одна из главных причин наших бед и кризисов.

Можно ли считать безобидным редукционизм, если он ведет к охлократии, власти, управляемой сиюминутными страстями толпы, вслед за которой неизбежно приходит власть тиранов? Уродливы и плоды эволюционизма. Он заставляет смотреть на человеческую историю как на закономерное восхождение от дикости к цивилизации, а отсюда происходят все формы расизма, терзающего ныне нашу планету. По чисто произвольным критериям одни народы объявляются другими народами стоящими на более ранней стадии развития, а ранний, с точки зрения эволюционизма, есть более примитивный, то есть неполноценный, недочеловек. Иногда можно услышать, как ев-

ропеец говорит о неграх: «Только что слезли с деревьев, а туда же». Тут уж в явной форме присутствует первоначальный дарвинизм (который как раз и вызвал восторг атеистов), сводящийся к утверждению, будто человек произошел от обезьяны.

Что касается рационализма, то токсичность этого духовного яда мы, русские, испытали на себе в большей мере, чем кто бы то ни был. Когда-то нам сказали, что учение Маркса всеильно, потому что оно верно. А в чем состоял критерий верности? Хотя марксисты постоянно заявляют, что самым надежным должен быть признан критерий практики, тут они его не применили; хотя учение не было опробовано даже на лягушках, его уже вознамерились приспособить ко всему человечеству... Конечно же, здесь пленились именно ясностью и простотой теории, в чем и проявился типичный рационализм. Что из этого вышло, мы знаем... Так что недооценивать пагубность ложной философии никак нельзя. Такую философию надо сразу же отбрасывать. Но отбросить ложь или заблуждение, разумеется, полдела, надо еще понять истину. Поиски ее — уже другая, очень сложная тема. К истине надо идти не только разумом и чувством, но и жизнью. Это великое искусство, овладев которым человек получает самую драгоценную награду. Здесь у нас нет уже места и времени начинать этот серьезный разговор. Но некоторые намеки, содержащиеся в новейшем научном материале, хотелось бы в заключение немного раскрыть.

Положительным утверждением квантовой физики является тезис, что наивысшая реальность бытия есть универсальная пси-функция, управляющая всей Вселенной как единой и целостной системой. то есть актуальная бесконечность в функции объективного творчества. Положительное утверждение молекулярной биологии состоит в тезисе, что жизнь всякого отдельного существа организуется текстом ДНК, представляющим фрагмент какого-то бесконечно мудрого Слова, обладающего полнотой. Положительным утверждением математической логики служит тезис, что для математического творчества самой ценной идеей является нематематическая идея актуальной бесконечности, к которой человек приобщается не путем освоения ее своим сознанием, а путем мистического с ней соединения.

Прочитав это, всякий почувствует, как тут вдруг повеяло чем-то очень знакомым. Чем же? Вспомним хотя бы: «Вначале было Слово, и слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1, 1). И дальше: «В Нем была жизнь». Тут уместно вспомнить, что сказал когда-то Александр Поуп: «Недостаточное знание — опасная вещь. Пей вволю из его источника или вовсе к нему не подходи. Выпьешь мало — только опьянеешь, выпьешь больше — снова отрезвеешь». Справедливость этих слов продемонстрировала история науки. Когда наука была молодой и одерживала первые успехи, у нее закружилась голова от собственного мнимого всеилья, и она объявила свою монополию на истину. Сейчас, войдя в пору зрелости, она узнала больше и стала медленнее, но верно возвращается к тому миропониманию, которое когда-то было дано человечеству через Откровение. Но возвращаться уже на новом уровне, наполняя общие религиозные и этические истины конкретным содержанием, что-то уточняя и дополняя. И именно понимание этой динамики должно помочь нам правильно решить вновь ставший актуальным вопрос о соотношении знания и веры. Во-первых, динамично само понятие «знания», и если вчера в него входило лишь рациональное «постижение», то сегодня оно начинает охватывать уже и «метатеорию» — изучение условий постижения интуитивного и даже «сверхъестественного». Во-вторых, неправомочен сам спор о примате разума или чувства, ибо в нашей душе одно постоянно переливается в другое или подготавливает в нем важные изменения, даже если мы этого не осознаем. Святая Варвара пришла к религии, глядя из окна своей башни на тварный мир, но от этого ее религия не стала гностической. Ньютон открыл закон всемирного тяготения, пытаясь расшифровать божественный замысел в отношении тварного бытия, но от этого написанная им формула не стала ненаучной. Всякий волен избрать тот путь к Истине, которым ему легче пойти, — важно, чтобы имелось само стремление к Истине. В современной науке-исследовании такое стремление есть, и мы постарались показать, к каким замечательным результатам оно приводит. Похоже, все-таки прав был Бердяев: атеизм оказался лишь диалектическим моментом Богопознания.

**В. ТРОСТНИКОВ,**

*доцент математики, кандидат философских наук, действительный член Американского научного общества.*



## КОРОТКО О КНИГАХ



**А. С. ХОМЯКОВ. О старом и новом. Статьи и очерки. М. «Современник». 1988. 462 стр.**

Еще недавно с наследием славянофилов можно было познакомиться лишь по дореволюционным книгам — изданиям труднодоступным и во многом устаревшим. В последние годы ситуация меняется: сборники статей братьев Аксаковых, Ивана Киреевского, а теперь и Хомякова радуют недоступной прежде возможностью беспрепятственно обращаться ко многим из их текстов. Но духовные лакуны не заполняются подобно книжным полкам, и, как ни обнадеживает появление этих изданий, наше длительное отлучение от славянофильской мысли долго еще будет мстить за себя — и мстить тем основательнее, чем более изощренные формы принимало это отлучение, способное породить иллюзию осведомленности и даже искушенности в славянофильстве. Дело в том, что в последние десятилетия выходило немало работ о славянофилах — статей, монографий и даже адресованных широкому читателю книг, заменивших, по сути, издания трудов самих славянофилов, которые по-прежнему оставались за семью печатами. Но ведь даже глубокие и точные концепции (а таковых, увы, вовсе немного) не способны ни заменить первоисточника, ни разрушить все еще бытующие упрощенные схемы и однозначные приговоры.

Исправить положение могут лишь научно подготовленные издания, освобождающие нас от исторически сложившихся аберраций и представляющие наконец возможность самим прикоснуться к славянофильской мысли, сильной и притягательной уже своей фактурой — характером аргументации, своеобразием формулировок, динамикой и экспрессией.

Рецензируемый сборник, составленный Б. Ф. Егоровым, являет в этом отношении исключительно удачный пример. Отбор статей продуман таким образом, что материал как бы сам собой спротивляется облепленным схемам. И дело не только в том, что, скажем, отношение Хомякова к допетровской Руси оказывается куда сложнее, чем найвная идеализация, в которой нередко скопом упрекают всех славянофилов, или что вместо национального самодовольства читатель столкнется с острейшей национальной самокритикой. Важнее, пожалуй, то обстоятельство, что уже состав сборника обнаруживает специфическую природу славянофильской мысли.

Открывается книга трактатом «О старом и новом», который считается первым документом славянофильского учения, запечатлевшим период его становления, а завершается поздними работами, подводящими

предварительные итоги «самобытной жизни русского ума». Славянофильская система взглядов, хотя и не претерпевшая решительных изменений, предстает как бы в процессе кристаллизации, формирования живой своей стороной. И, что особенно важно, в сборник вошли те статьи Хомякова, где он оспаривал некоторые идеи своих единомышленников — тем самым выявлена своеобразная недоформулированность, внутренняя полемичность или, как выражался сам Хомяков, «постоянная совещательность» славянофильской идеологии. Книга позволяет убедиться, что позиция Хомякова — при всей справедливости прочно установившегося мнения о цельности его творческой биографии — вовсе не была догматичной, отличалась внутренней подвижностью, постоянной готовностью к самообновлению. Иначе говоря, рецензируемый сборник (как бы мощью самого материала, без видимых усилий составителя) противостоит господствующей в оценках славянофильства тенденции к генерализации, игнорирующей нюансы и вариации славянофильской мысли.

Но, конечно, подобный эффект достигается ценой немалого труда — не только строгой продуманностью состава, но и тщательной текстологической работой, гарантировавшей достоверность текстов. Случая различные издания Хомякова, легко заметить, что Б. Ф. Егоров восстановил обширные купюры, позволившие сравнить первопечатные тексты, прошедшие через суровую николаевскую цензуру, с посмертным собранием сочинений, выпущенным уже в александровскую, относительно либеральную эпоху и подготовленным по рукописям. Кроме того, с некоторыми рукописными вариантами, как правило, изъятными также по цензурным соображениям, Б. Ф. Егоров познакомил нас впервые, либо введя их прямо в текст, либо процитировав в комментариях. Обогащенная этим материалом, книга воспринимается как памятник не только славянофильской мысли, но и одновременно — истории ее бытования, точнее, официального дозирования.

Грустно признать, но в этом отношении в сборнике отразилось и недавнее время (похоже, книга долго вылеживалась в издательстве). Составителю — скорее всего не по собственной инициативе — пришлось пойти на некоторые изъятия, к счастью, крайне немногочисленные, но чуждые всему духу его работы. Так, из статьи «Об общественном воспитании в России» выпали обширные рассуждения о религиозном воспитании — для Хомякова бесспорно ключевые. Трудно здесь не вспомнить изгнанную из сборника, не иначе как замеченную ревнителями атеизма, но как будто к ним прямо обращенную афористичную фразу Хомякова о вере: «Заставляя другие на-

уки лгать или молчать, она подрывает не их авторитет, а свой собственный».

Нет нужды подробно говорить о том, что во вступительной статье Б. Ф. Егорова личность и наследие Хомякова всесторонне проанализированы и вписаны в контекст общественно-литературной борьбы. Славянофильство предстает в итоге как внутренне неоднородное, динамичное явление, неотделимое от его носителей, от русской жизни 30—50-х годов прошлого века. Очевидно, только такой подход способен izbavit нас и от обветшалых схем, и от новоконструированных мифов о славянофильстве.

О. Майорова.



**ПОЭЗИЯ ИРЛАНДИИ.** Переводы с ирландского и английского. М. «Художественная литература». 1988. 479 стр.

Когда-то, в раннем средневековье, родилась песня «Я родом из Ирландии», название которой как бы стало эмблемой всей культуры многострадального острова, начиная от легендарного Амергина Глунгела, чьи стихи открывают антологию, и заканчивая поэтами наших дней, которые размышляют о судьбе родины, потрясенной ольстерской трагедией. Америкин и Гормфлат (эта поэтесса жила на грани IX—X веков) — наиболее известные средневековые авторы. Конечно, от поэзии тех времен — безымянной и устной — не все дошло до нас. Но и то, что удалось сохранить собирателям фольклора, и то, что записано в средневековых монастырских рукописях, убеждает со всей непреложностью: это гордая и самобытная нация! И как ни пытались англичане «окультурить» захваченный остров, как ни боролись с бардами и друидами, традицию «героического века» заглушить не удалось.

Вполне закономерно, что центром антологии стала поэзия так называемого Ирландского возрождения (иначе «Кельтского ренессанса») — широкого культурного и политического движения за независимость страны, развернувшегося на рубеже XIX—XX столетий. К этому времени «первая английская колония» стала придатком, или, по выражению борца за автономию Ч. Гриффитса, «скотоводческим ранчо» метрополии. К концу прошлого века резко сократилась территория, где говорили по-гэльски. Возник болезненный национализм как реакция на великодержавный шовинизм. Видя опасность узконационалистических лозунгов, один из вождей Возрождения, крупнейший лирик XIX—XX веков Йейтс, призвал к преодолению «сухой риторике» поэтов «Молодой Ирландии» (Т. Дэвис и др.). Лекарство от пропагандистского зуда при этом признавалось в мудрой красоте сагового эпоса. Полемизируя с руководителем Гэльской лиги Д. Хайдом, Йейтс обратился к «животворному фонтану кельтских легенд», к поэзии «героического века». Характерно, что при этом он впитал в себя опыт критикуемых «младоирландцев», горечь насмешника Дж. Свифта, патетику сентиментального О. Голдсмита, романтику Т. Мура, которого тоже поругивал за сле-

зоточивую «сарафанную» народность. Протестный гений автора «Странствий Ойсина» роднит его с нашим Пушкиным.

После гражданской войны 1919—1921 годов творчество лауреата Нобелевской премии, члена правительственной молодого Ирландской Республики Уильяма Йейтса приобрело мировой статус. В его стихах 20—30-х годов клокочет драматический XX век.

Современные поэты подхватывают многие мотивы Йейтса, но отнюдь не копируют его опыт и опыт поэтов Ирландского возрождения. В стихах Ш. Хини, П. Фэллона, Р. Мэрфи, Дж. Монтего национальный колорит ощутим не столь явственно, как у их предшественников. Сельская Ирландия с ее торфяными болотами уступает место Ирландии, протестующей и страдающей, переживающей ольстерскую трагедию.

Диалог с музой Ирландии ожидался давно. Заслугой составителей и переводчиков следует считать прежде всего удачный выбор имен и произведений — выбор, позволивший вместить в сравнительно небольшую книгу дух нации, дух Эрина, «зеленого острова». Уловить и передать этот трудноуловимый дух удалось переводчикам Г. Кружкову, А. Сергееву, В. Топорову, О. Волгиной, Д. Веденяшину и другим.

В. Хорольский.

Запорожье.



**Е. Н. ИЛЬИН.** Путь к ученику. Раздумья учителя-словесника. М. «Просвещение». 1988. 223 стр.

В чем причина поразительного успеха, который получила сразу же по выходе эта книга? Магия телевизионной популярности ее автора? Интерес к спорам об Ильине и системе преподавания литературы, им утверждаемой?

Конечно, не в последнюю очередь в этом. И еще в том, наверное, что учитель, привыкший к стандартным наборам мыслей и слов в серых методических пособиях, на сей раз слышит речь свободную, живую, образную...

Основной порок современной школы — ее обезличенность. Практически на всех уровнях педагогического процесса было забыто, что «человек есть мера всех вещей». Пафос же книги Е. Н. Ильина как раз и отвечает потребности повернуть школу к ученику, преодолеть отчуждение учителя от ученика и ученика от урока. Но как приблизить восьмиклассника к Пушкину, девятиклассника к Достоевскому, десятиклассника к Блоку? Что для этого нужно делать на уроке литературы?

Ильин в своей книге предлагает идею «открытой этики». Для него сделать урок литературы воспитывающим — это, прежде всего, сделать его прикладным. «Моя «аудитория», — пишет Ильин, — требовала не знания литературы как таковой, а знания тех знаний, которые дает нам литература. Все меньше хотелось говорить о ее роли, и все чаще появлялось желание практическое воздействовать ее опытом». Литература, по мысли автора должна дать именно сейчас, на этом уроке реаль-

ную, осязаемую, практическую пользу — вот центральная идея книги.

Именно такая позиция определяет подход учителя, например, к Некрасовской Матрене Тимофеевне: «Саму же Матрону уже на «пятом годку» приучали к нелегкой крестьянской работе. Подсчитали трудовой стаж Матрены: если ей сейчас тридцать восемь, значит... Вся жизнь в труде! Не в этом ли секрет ее здоровья, выносливости, душевной и женской красоты? (Позволю себе все-таки краткий комментарий насчет «здоровья»: «Нет косточки неломаной, нет жилочки нетянутой, кровинки нет непорочной»...— Л. А.). Может, и в самом деле на «пятом годку» приобщать ребенка к производительному труду?» Вот уровень восприятия художественного произведения, который способен сформировать «практический» подход к литературе.

Еще пример — «Евгений Онегин» на уроках Ильина. Что, по его мнению, деформировало личность героя, определило судьбу? «Губернер, воспитывавший Евгения, „не докучал моралью строгой. Слегка за шалости бранил...“ По натуре «резвый» ребенок фактически оказался вне ограничений — материальных, нравственных, каких угодно. Это и развило в нем бешеную, безудержную страсть наслаждений». Выходит, именно в «морали строгой» видит автор книги главную цель школьного урока литературы?

Автор не замечает, насколько обедняется сама литература, если ее содержание сводится к сумме назиданий и рекомендаций!

Я не знаю, какие практические советы относительно повседневного поведения можно, например, позаимствовать из «Медного всадника», но полагаю, что раздумья над трагическим конфликтом личности и государства важнее и нужнее для старшеклассников, чем какие бы то ни было нравouchения.

Ильин убежден: книги на уроках литературы «работают теми страницами, которые

востребованы сегодня». Но такой подход обрекает на приспособление классики к утилитарно понятным потребностям текущей повседневности. «Кому, в самом деле, нужна книга, в которой разрушена иллюзия жизненной правды и оставлена правда художественная? Если это называется «литературным образованием», то, честное слово, лучше уж быть необразованным, как наши бабушки и деды». Неужели это написано учителем литературы? Разве не страшно, если сегодняшний старшеклассник закончит школу в полной убежденности, что жизнеподобие выше художественной правды? Впрочем, Ильину не откажешь в последовательности: ведь если художественное произведение — «справочник нравственных проблем, «каталог» острых жизненных ситуаций», то, действительно, чем более жизнеподобно произведение, тем удобнее оно для каталожно-справочного использования. Борясь с отчуждением уроков литературы от ученика, не пришел ли Ильин к отчуждению ученика от глубин самой литературы?

Почему же исходно верный путь — не к классному журналу, отметке, отчету, экзамену, а к ученику — приводит автора книги все-таки не туда? Думаю, дело вот в чем. Читая книгу, видишь, что нет для Е. Н. Ильина большего врага, чем филологическое, литературоведческое знание. «Знарок метафоры, онегинской строфы, жанровых и прочих своеобразий может оказаться весьма примитивным и недалеким в вопросах жизни». В принципе это не исключено: научное знание, увы, может сочетаться с бездушием. Но для Ильина их связь имеет характер едва ли не причины и следствия.

...И все-таки хорошо, что эта книга вышла. Выбирая путь, надо знать все дороги и видеть, куда они ведут.

Л. Айзерман.

# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



## ПОЛИТИЗДАТ

**К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин.** Об историческом опыте и его уроках. 283 стр. Цена 45 к.

**В. И. Ленин.** О национальном вопросе и национальной политике. 557 стр. Цена 1 р. 10 к.

**А. Блех.** Подумаем вместе. («Библиотечка семейного чтения») 159 стр. Цена 35 к.

**Обратного хода нет.** Перестройка в народном хозяйстве. Под общей редакцией Г. Х. Попова. 548 стр. Цена 2 р. 10 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Н. Глазков.** Избранное. 541 стр. Цена 2 р.

**Н. Гумилев.** Стихи. Письма о русской поэзии. («Забывтая книга») 447 стр. Цена 2 р.

**Б. Можаяв.** Собрание сочинений. В 4-х тт. Т. I. 558 стр. Цена 2 р. 40 к.

**А. Стругацкий, Б. Стругацкий.** Град обреченный. Фантастический роман. 384 стр. Цена 3 р.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**К. Кедров.** Поэтический космос. С полемическими заметками Г. Куницына. 480 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Б. Лившиц.** Полутораглазый стрелец. Стихотворения, переводы, воспоминания. Л. 719 стр., с илл. Цена 3 р. 70 к.

**Э. Скобелев.** Катастрофа. Свидетель. Романы. 656 стр. Цена 2 р. 60 к.

**В. Ходасевич.** Стихотворения. («Библиотека поэта. Большая серия») Л. 463 стр. Цена 5 р.

## «РАДУГА»

**Д. Латтман.** Братья. Роман. Перевод с немецкого. 460 стр. Цена 2 р. 90 к.

**Д. Левертв.** Избранное. Перевод с английского. 287 стр. Цена 1 р. 60 к.

**Современная проза Сингапура.** Сборник. Перевод с английского. 304 стр. Цена 1 р. 30 к.

**Чжан Цзе.** Тяжелые крылья. Роман. Перевод с китайского. 352 стр. Цена 2 р. 30 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Г. Грин.** Монсеньор Кихот. Роман 240 стр. Цена 1 р. 30 к.

**Процессы.** Гласность и мафия: противостояние. 191 стр. Цена 1 р.

**В. Савельев.** Любовь как любовь. Новые стихи. 176 стр. Цена 65 к.

**М. Чулани.** Прощай, Зеленая Пряжка! Повести. 430 стр. Цена 1 р. 40 к.

## «НАУКА»

**К. Абульханова-Славская, А. Брушлинский.** Философско-психологическая концепция С. Л. Рубинштейна. К 100-летию со дня рождения. М. 246 стр. Цена 3 р.

**Византия и Русь.** 335 стр., с илл. Цена 2 р. 40 к.

**Философия и политика в современном мире.** 205 стр. Цена 2 р.

**Б. Шнайдер.** Золотой треугольник. Перевод с чешского. («Рассказы о странах Востока») М. 319 стр. Цена 2 р. 50 к.

## «КНИГА»

**К. Бальмонт.** Стихотворения. Репринтное воспроизведение. 554 стр., с илл. Цена 12 р.

**Е. Замятин.** О том, как исцелен был отрок Еразм. Репринтное воспроизведение. 46 стр., с илл. Цена 10 р.

**Лекарство от задумчивости, или Сочинения Михаила Дмитриевича Чулкова.** 383 стр., с илл. Цена 10 р.

**Н. Эйдельман.** «Революция сверху» в России. 173 стр. Цена 55 к.

## МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**А. Вулис.** Вакансии в моем альбоме. Рассказы литературоведа. Ташкент. Издательство литературы и искусства. 368 стр. Цена 1 р. 30 к.

**Как больно...** Обращения, письма, статьи. О чем тревожится, к чему зовет, за что борется интеллигенция республики. Кишинев. «Литература артистикэ». 630 стр. Цена 1 р. 70 к.

**В. Набонов.** Весна в Фиальте. Рассказы. М. «Прометей». 144 стр. Цена 3 р. 95 к.

**Дж. Оруэлл.** Скотский Хутор. Сказка. Перевод с английского. Таллинн. «Периодика». 78 стр. Цена 90 к.

## СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1989 ГОД

**Сергей Зальгин.** К вопросу о бессмертии. Из заметок минувшего года. I—3.

**Григорий Медведев.** Чернобыльская тетрадь. Вступительное слово — С. Зальгин, А. Сахаров. VI—3.

### РОМАНЫ. ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

**Федор Абрамов.** Поездка в прошлое. Повесть. Подготовка текста, публикация и статья-послесловие Л. Крутиковой-Абрамовой. V—5.

**Валерия Алфеева.** Джвари. Повесть. VII—3.

**Е. Анджеевский.** Страстная неделя. Повесть. Перевела с польского С. Тонконогова. Предисловие С. Ларина. XII—89.

**Виктор Астафьев.** Людочка. Рассказ. IX—3.

**Василий Белов.** Год великого перелома. Хроника девяти месяцев. III—6.

**Андрей Волос.** Лаваш. Рассказ. III—132.

**Леонид Габышев.** Одлян, или Воздух свободы. Предисловие А. Битова. VI—149; VII—85.

**Зуфар Гареев.** Когда кричат чужие птицы. Рассказ. XII—75.

**Борис Екимов.** Пастушья звезда. Рассказ. II—5.

**Олег Ермаков.** Благополучное возвращение. Рассказ. VIII—156.

**Сергей Зальгин.** Незабудка. Небольшая повесть в трех частях от первого лица. XI—7.

**Сергей Каледин.** Стройбат. Повесть. IV—59.

**Анатолий Ким.** Отец-Лес. Роман-притча. IV—5; V—42; VI—111.

**Юрий Красавин.** Полоса отчуждения. Повесть. VIII—97.

**Владимир Набоков.** Изобретение Вальса. Драма в трех действиях. Предисловие С. Зальгина. II—58.

**Анатолий Найман.** Рассказы о Анне Ахматовой. I—160; II—98; III—98.

**Джордж Оруэлл.** 1984. Роман. Перевел с английского В. Гольшев. Послесловие В. Чаликовой. II—132; III—140; IV—92.

**Л. Петрушевская.** Новые Робинзоны (Хроника конца XX века). VIII—166.

**Евгений Попов.** Рассказы. X—8.

**Вячеслав Пьецух.** Новая московская философия. Повесть. I—54.

**Александр Солженицын.** Нобелевская лекция. Предисловие С. Зальгина. VII—135.— Архипелаг ГУЛАГ. Опыт художественного исследования. Главы из книги. Предисловие С. Зальгина. VIII—7; IX—68; X—25; XI—63.

**Николай Струдюмов.** Прощая неделя. Рассказ. V—159.

**Игорь Тарасевич.** Земляные яблоки. Рассказ. II—34.

**Виктория Токарева.** Первая попытка. Рассказ. I—131.

**М. Хвильевый.** Иван Иванович. Перевел с украинского А. Руденко-Десняк. IX—28.

**Варлам Шаламов.** «Новая проза». Из черновых записей 70-х годов. Публикация И. П. Сиротинской. XII—3.

### СТИХИ И ПОЭМЫ

**Мария Авакумова.** Свидание. II—55.

**Сергей Аверинцев.** Из духовных стихов. X—150.

**Елена Аксельрод.** Возвращение. V—156.

**Мargarита Алигер.** Два стихотворения. IV—3.

**Вадим Антонов.** Помиловка. Рассказ в стихах. IV—49.

**Елена Благинина.** О береге милом. XII—72.

Благодаря стиху: **Виктор Василенко,** **Моисей Цетлин,** **Лев Горнунг.** XII—155.

**Сергей Васильев.** В этот день. XI—60.

**Лариса Васильева.** Санитарки, святые сестрички... VIII—165.

**Андрей Вознесенский.** Грань. I—125.

Голоса: **Виктор Смирнов,** **Лев Кокин,** **Александр Тимофеевский,** **Борис Сиротин,** **Равиль Измаилов.** XI—176.

**Юрий Гончаров.** Так хочется оставить всех в живых! XI—3.

**Глеб Горбовский.** Исцеление. IV—90.

Дань живым: **Игорь Чинов,** **Валерий Перелешин,** **Николай Моршен.** Подготовка текста и предисловие Е. Витковского. IX—57.

Другое время года: **Дмитрий Пригов,** **Вадим Степанцов,** **Владимир Ивелев,** **Сергей Терентюк.** XII—85.

**Владимир Захаров.** Превращения. VII—134.

**Александр Зорин.** Прогулка по городу. VIII—3.

**Георгий Иванов.** Стихи разных лет. Публикация Е. Витковского. VI—238.

**Яков Козловский.** С волшебным фонарем. II — 96.

**Надежда Кондакова.** Кунсткамеры. III — 130.

**Н. Коржавин.** Пять стихотворений. III — 137.

**Григорий Кружков.** И страшный Стикс, и будничная Припять. VI — 146.

**Юрий Кузнецов.** Свеча закона. II — 53.

**Александр Кушнер.** Пять стихотворений. XI — 4.

**Леонид Латынин.** Ночные мысли. III — 96.

**Владимир Леви.** Автографы. XI — 61.

**Владимир Леонович.** Объяснительная записка. VII — 145.

**Татьяна Лещенко-Сухомлина.** Переправа. X — 24.

**Семен Липкин.** Вячеславу. Жизнь переделанная. VIII — 149.

**Елена Матусовская.** Два стихотворения. VIII — 95.

**Лев Озеров.** Мастерской старинной школы. II — 3.

**О к н а:** Полина Иванова, Галина Нерпина, Анна Бердичевская, Ирина Семенова, Елена Крюкова, Ольга Гречко, Светлана Сырнева, Анеа Саед-Шах. X — 3.

**Евгения Перепелка.** Современные ямбы. V — 173.

**Марлена Рахлина.** Во имя лада. VI — 109.

**Валерий Рубин.** Репортаж. I — 129.

**Геннадий Русаков.** Родные имена. V — 3.

**Глеб Семенов.** Остановись в потоке. Вступительное слово Виталия Шенталинского. I — 154.

**Геннадий Ступин.** Свет мой безмерный. I — 51.

**Владимир Тихомиров.** Ночь в сугробе. V — 39.

**Борис Чичибабин.** Мой лес вечерний. VII — 83.

**Лидия Чуковская.** Сверстнику. II — 33.

**Игорь Шкляревский.** Из книги «Чертополох». III — 3.

### ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

**Виталий Вульф.** Мария Ивановна Бабанова: письма и встречи. VIII — 207.

**Борис Гусев.** Мой дед Жамсаран Бадмаев. Из семейного архива. XI — 199.

**Анатолий Марченко.** Мои показания. Главы из книги. Подготовка текста и публикация Л. И. Богораз. XII — 159.

### ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

**Андрей Битов.** Близкое ретро, или Комментарий к общеизвестному. IV — 135.

### ПУБЛИЦИСТИКА

**С. С. Аверинцев.** «Но ты, священная свобода...». Отзвуки Великой французской революции в русской культуре. VII — 185.

**Атомная энергетика — надежды ведомств и тревоги общества.** IV — 185.

**Игорь Клямкин.** Почему трудно говорить правду. Выбранные места из истории одной болезни. II — 204.

**Станислав Кондрашов.** Из мрака неизвестности. Проблески гласности в царстве военных тайн. VIII — 178.

**Роберт Конквест.** Жатва скорби. Советская коллективизация и террор голодом. Перевод с английского Исаэля Коэна и Нелли Май. X — 179.

**С. Меньшиков.** Экономическая структура социализма: что впереди? Опыт прогноза. III — 190.

**А. Мигранян.** Долгий путь к европейскому дому. VII — 166.

**Борис Пинскер, Лариса Пияшева.** Собственность и свобода. XI — 184.

**Василий Селюнин.** Черные дыры экономики. X — 153.

**Ю. Черниченко.** Поднявшийся первым. IX — 178.

**И. Шафаревич.** Две дороги — к одному обрыву. VII — 147.

**Владимир Шубкин.** Трудное прощание. IV — 165.

### Аральская катастрофа

**Григорий Резниченко.** «Мы знаем, что ныне лежит на весах...». V — 182.

**«Круглый стол» журналов «Новый мир» и «Памир» по результатам экспедиции «Арал-88».** V — 194.

**Василий Селюнин.** Бремя действий. V — 213.

### В МИРЕ ИСКУССТВА

**Владислав Иванов.** Полуночное солнце. «Федра» Александра Таирова в отечественной культуре XX века. III — 233.

### ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

**Даниил Андреев.** Роза мира. Фрагменты. Публикация и комментарий А. Андреевой и Б. Чукова. Предисловие С. Джимбинова. II — 176.

**Татьяна Ефименко.** Жадное сердце. Стихи. Публикация и предисловие Е. Витковского. XI — 179.

**Михаил Львов.** Четыре стихотворения. Публикация А. А. Глобы. Предисловие Марка Соболя. II — 173.

**Андрей Платонов.** Антисексус. Публикация М. А. Платоновой. Предисловие Андрея Битова. IX — 166.

**«Русская революция».** Неизвестные стихи Бориса Пастернака. Публикация и комментарий Е. Б. Пастернака. IV — 131.

**Александр Солодовников.** Сад, наполненный плодами. Стихи. Публикация Е. Е. Даниловой. VIII — 173.

**Георгий Шенгели.** Шесть стихотворений. Публикация М. Шаповалова. V — 176.

### ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

**Сергей Клычков:** переписка, сочинения, материалы к биографии. Публикация и составление Н. В. Клычковой. Вступительная

статья, подготовка текстов и комментарии С. И. Субботина. IX — 193.

**Николай Ключев.** Соловки. Публикация **Н. Б. Кирьянова**. Вступительная статья, подготовка текста и примечания С. Субботина. III — 229.

**Ирма Кудрова.** Последние годы чужбины. Марина Цветаева: Ванв — Париж, 1937—1939. III — 213.

**Переписка В. И. Вернадского и П. А. Флоренского.** Публикация, вступительная статья и примечания П. В. Флоренского. II — 194.

**Н. Покровский.** Мирская и монархическая традиции в истории российского крестьянства. IX — 225.

«Разговор наш мне очень памятен...». Непубликованные письма Л. Н. Толстого. Публикации и комментарии Е. Меламеда. VII — 236.

«Я верю в силу свободной мысли...». Письма В. И. Вернадского И. И. Петрункевичу. Публикация и комментарии доктора философских наук И. И. Мочалова. XII — 204.

#### Из истории русской общественной мысли

**С. Н. Булгаков.** Моя родина. Статьи. Очерки. Письма. Составление, предисловие, комментарии и публикации архивных материалов И. Б. Роднянской. X — 201.

**В. В. Розанов.** Русский Нил. Подготовка текста, вступительная статья и комментарий Виктора Сукача. *Мариэтта Чугакова* — Плывающий корабль. VII — 188.

**Владимир Соловьев.** Статьи и письма. Составление Р. Гальцевой. Публикации Р. Гальцевой и И. Роднянской, Александра Носова, Марка Смирнова. Комментарии Александра Носова, Марка Смирнова. С. С. Аверинцев — К характеристике русского ума (вступительная статья). I — 194.

**Г. П. Федотов.** Историческая публицистика. Вступительная статья и комментарий Вадима Борисова. IV — 207.

#### ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

**Р. Гальцева.** Русское христианство между миллениаризмом и сегодняшней духовной жаждой. XI — 227.

#### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

**Вл. Гусев.** Свободы сеятель пустынный... VIII — 221.

**Игорь Золотусский.** Крушение абстракций. I — 235. — Гоголь и Блок. IV — 244.

**В. Камянов.** Где тонко — там не рвется. VIII — 226.

**Н. Коржавин.** Анна Ахматова и «серебряный век». VII — 240.

**В. Непомнящий.** Дар. Заметки о духовной биографии Пушкина. VI — 241.

Новая проза: та же или «другая»? — **Петр Вайль, Александр Генис.** Принцип матрешки; **Владимир Потапов.** На выходе из «андерграунда». X — 247.

**Поставангард:** сопоставление взглядов: **Михаил Эпштейн.** Искусство авангарда и религиозное сознание;

**А. Л. Казин.** Искусство и истина; **И. Роднянская.** Заметки к спору. XII — 222.

**Ст. Рассадия.** Последний чегемец. IX — 232.

**Светлана Семенова.** «Всю ночь читал я твой завет...». Образ Христа в современном романе. XI — 229.

**В. Сербиненко.** Три века скитаний в мире утопии. Читая братьев Стругацких. V — 242.

**Лев Тимофеев.** Феномен Вознесенского. Опыт анализа одного поэтического мотива. II — 239.

**В. Турбин.** Сын отчества. К 175-летию М. Ю. Лермонтова. X — 258.

**Ю. Шрейдер.** Сознание и его имитации. XI — 244.

**Анатолий Якобсон.** О романтической идеологии. Предисловие Анатолия Гелескула. *И. Роднянская* — Вместо послесловия. IV — 231.

#### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

##### Литература и искусство

**Александр Архангельский.** Строгость и ясность (Георгий Владимов. Верный Руслан. История караульной собаки. Георгий Владимов. Не обращайтесь вниманья, маэстро. Рассказ для Генриха Бёлля). VII — 262.

**Андрей Василевский.** Разорение (Константин Воробьев. Друг мой Момич. Повести). III — 245. — Разорение. II (Арво Валтон. Отчаяние и надежда. Главы из романа. Хейно Кийк. Мария в Сибири. Главы из романа. Вийви Луик. Седьмая мирная весна Роман). VI — 261. — Опыты занимательной футуро(эсхато)логии (Станислав Лем. Профессор А. Донда. Из воспоминаний Ийона Тихого. Станислав Лем. Мир на Земле. Из воспоминаний Ийона Тихого. Станислав Лем. Футурологический конгресс. Из воспоминаний Ийона Тихого). XI — 259.

**Елена Ермилова.** Там осеняет землю сад... (Анатолий Передерев. Стихотворения. Анатолий Передерев. Любование на окраине. Стихотворения). VIII — 241.

**М. Злобина.** Версия Кёстлера: книга и жизнь (Артур Кёстлер. Слепящая тьма). II — 257. — Ключи Пантелеймона Романова (Пантелеймон Романов. Избранные произведения. Пантелеймон Романов. Черные лепешки. Рассказы). IX — 253.

**Андрей Зорин.** Пригородный поезд дальнего следования (Венедикт Ерофеев. Москва — Петушки). V — 256. — Насылающий ветер (Саша Соколов. Школа для дураков. Саша Соколов. Между собакой и волком). XII — 250.

**Сергей Иванов.** О «малой прозе» Искандера, или Что можно сделать из настоящей мухи (Фазиль Искандер. Три рассказа; Два рассказа; Кролики и удавы. Философская сказка; О движении к добру и технологии глупости). I — 252.

**Евг. Иванова.** О слепых поводырях... (Виктор Астафьев. Зрячий посох. Книга прозы). VII — 264.

**Юрий Карабчевский.** «...до былой слепоты не унизимся» (Константин Симонов. Глазами человека моего поколения (Размышления о И. В. Сталине). I—256.

**А. Кушнер.** Музыка во льду (М. Кузмин. Стихи и проза). X—264.

**С. Ларин.** «Книги Алданова будут читать...» (М. А. Алданов. Девятое термидора. Роман). IV—252.

**Марина Новикова.** Дети барака (Руслан Киреев. До свидания, Светополю! Повести). I—247.—Круг и путь (Л. А. Аннинский. Три еретика). VIII—244.

**А. Панков.** Анатомия террора (Владимир Зазубрич. Щелка. Повесть о Ней и о Ней). IX—248.

**Миров Петровский.** Жизнь и судьба Михаила Булгакова (М. Чудакова. Жизнеописание Михаила Булгакова). XI—256.

**Г. Померанц.** Человек без маски на маскараде истории (Марк Харитонов. День в феврале. Повести). V—259.

**Вячеслав Сербиненко.** «Словом, все было по-хорошему» (А. В. Чаянов. Венецианское зеркало. Повести). XII—254.

**Вл. Славецкий.** «Теперь-то я поэт!» (Георгий Шенгели. Вихрь железный. Поэмы. Георгий Шенгели. Из литературного наследия). IV—256.

#### Политика и наука

**Павел Басивский.** К Горькому — единому и цельному (М. Горький. Несвоевременные мысли. Заметки о революции и культуре). III—249.

**Михаил Буянов.** Образцы великих (Г. Е. Померанцева. Биография в потоке времени). I—267.

**В. Вахрушев.** Когда Адам пахал, а Ева прядла... (М. Оссовская. Рыцарь и буржуа. Исследования по истории морали). I—264.

**Вс. Вильчек.** Зигзаги и ловушки теории (Иного не дано. Сборник). II—265.

**Сергей Исаев.** Возвращение к контексту (Историко-философский ежегодник. 1986—1988). IV—260.

**Виктор Леглер.** Одна на всех экономика (Л. И. Пияшева, Б. С. Пинскер. Экономический неоконсерватизм: теория и международная практика). III—256.

**Р. Музафаров, Г. Федоров.** Рассчитано на неведение (Крым: прошлое и настоящее). VII—267.

**Светлана Неретина.** Человек в истории (О. А. Добиаш-Рожественская. Культура западноевропейского средневековья. Научное наследие. О. А. Добиаш-Рожественская. История письма в средние века. Руководство к изучению латинской палеографии. В. М. Ершова. О. А. Добиаш-Рожественская). III—252.

**М. Одесский, Д. Фельдман.** Целесообразность или необходимость? (Смертная казнь: за и против). XI—262.

**Б. Равдин.** За пределом человеческого (Я. Л. Рапопорт. На рубеже двух эпох. Дело врачей 1953 года). VI—265.

**Сергей Ушанов.** Меж информацией и интуицией (Ускорение и перестрой-

ка в системе научно-технической информации СССР. 1988. Заграничная практика оперативного использования научно-технической информации, 1988). VIII—248.

**Петр Черкасов.** Государство СС (Д. Мельников, Л. Черная. Империя смерти. Аппарат насилия в нацистской Германии 1933—1945). I—261.—Три цвета времени (В. П. Смирнов. Франция: страна, люди, традиции). V—262.—Мифология или история? (Н. А. Троицкий. 1812. Великий год России). IX—258.

**Сергей Яковлев.** Особая причина (В. Кантор. «Средь бурь гражданских и тревоги...». Борьба идей в русской литературе 40—70-х годов XIX века). IX—262.

#### ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

**А. И. Воробьев.** Цена мнений: неспециалиста и специалистов. III—260.

**Виктор Кожевников.** Имела ли место «рассеянность»? VI—268.

**Виктор Пекелис.** Можно ли назвать удачей? IX—267.

**Ф. Ф. Перченко.** Список расстрелянных. IV—263.

**М. Петров.** Культура в провинции. VIII—257.

**Револют Пименов.** Как мне видятся сегодняшние задачи. VIII—251.

**В. Тростников.** Научна ли «научная картина мира»? XII—257.

**Д. Фельдман.** Дело Гумилева. IV—265.

**Уильям Эджертон.** Толстой и толстовцы. Перевел с английского Д. А. Карельский. III—266.

#### КОРОТКО О КНИГАХ

**Вячеслав Кондратьев.** — Вилен Сальковский. Смоленская дорога. Роман. А. В. Михайлов. — Арсений Гулыга. Путь Фауста. Этюды германиста. М. Киселева. — В. Г. Горохов. Знать, чтобы делать (История инженерной профессии и ее роль в современной культуре). I—269.

**Павел Басин.** — Виктор Курочкин. Записки народного судьи Семена Бузыкина. С. Ларин. — Русская общественная библиотека имени И. С. Тургенева. Сотрудники. Друзья. Почтатели; Русская эмиграция. Журналы и сборники на русском языке. 1920—1980. И. Зорич.— П. К. Чудинов. Иван Антонович Ефремов. 1907—1972. II—269.

**Михаил Золотонос.** — Юрий Стефанович. Натуральная школа. Повесть и рассказы. И. Вянокорова. — Александр Кушнер. Живая изгородь. Книга стихов. Г. Корнилова. — Владимир Успенский. Тайный советник вождя. Роман. III—268.

**Ст. Рассадин.** — Ю. Овсянников. Доминико Трезини. Илья Заславский. — Краткий миг торжества. О том, как делаются научные открытия. IV—270.



Андрей Василевский. — Николай Олейников. Перемена фамилии; Лидия Гинзбург. Николай Олейников. Ксения Бродер. — Юрий Пороиков. «Ехали медведи на велосипеде...». Повесть. Георгий Кубатьян. — Леонид Григорьян. Вечернее чудо. Стихи разных лет. И. Мочалов. — Историко-астрономические исследования. Выпуск XX. А. Каманин. — О. Л. Дубовик, А. Э. Жалинский. Причины экологических преступлений. Виктор Бердинских — А. А. Формозов. Следопыты земли московской. V — 266.

Александр Носов. — Владимир Сергеевич Соловьев. Сочинения в двух томах. Сергей Яковлев. — Реабилитирован по смертно. Выпуск первый. VI — 270.

Л. Бусуек. — Мария Белкина. Скрещение судеб. И. Питляр. — Тамара Хмельницкая. В глубь характера. О психологизме в современной советской прозе. VII — 270.

Н. Дмитриева. — Б. Зингерман. Театр Чехова и его мировое значение. С. Кормилов. — Вяч. Полонский. О литературе. Избранные работы. А. Кредер. — И. Хейзинга. Осень Средневековья. VIII — 269.

Павел Басинский. — Александр Семенов. Похоронный марш. Роман в рассказах.

Сергей Дмитренко. — В. Г. Боборыкин. Об истории создания романа А. А. Фадеева «Молодая гвардия». Роман Белосусов. — Александр Дюма. Кавказ. IX — 269.

А. Даева. — Анатолий Королев. Ожог линзы. Повесть. Рассказы. Роман. Елена Степанян. — Райнер Мария Рильке. Записки Мальте Лауридса Бригге. Роман. Новеллы. Стихотворения в прозе. Письма. X — 270.

Г. Кружков. — Алексей Королев Экслибрис. Стихи Д. Урнов. — Тимур Гайдар. Голиков Аркадий из Арзамаса. Документы, воспоминания, размышления. Н. Кирющенко. — М. М. Сафонов. Проблема реформ в правительственной политике России на рубеже XVIII и XIX вв. Ю. Дмитриевский. — Население СССР. 1987. XI — 268.

О. Майорова. — А. С. Хомяков. О старом и новом. Статья и очерки. В. Хорольский. — Поэзия Ирландии. Л. Айзерман. — Е. Н. Ильин. Путь к ученику. Раздумья учителя-словесника. XII — 264.

Книжные новинки. I—XI—272; XII—267.

В тексты стихотворений С. Клычкова «Есть в этом мире некий...» и «Я не видал давно Дубравны...» («Новый мир», 1989, № 9, стр. 204 и 207) по моему недосмотру вклялись неточности: 1) строка третья первого стихотворения должна читаться — «Что движут к морю реки...»; 2) строку пятую второго стихотворения следует читать — «Упали деревья покровы...». Приношу извинения читателям журнала.

С. Субботин.

Редакция рукописи не рецензирует и объемом меньше 2 печатных листов не возвращает.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

**Ф. К. Видрашку** (зам. главного редактора), **Р. Г. Гамзатов**, **Д. А. Гранин**, **И. Я. Зиедонис**, **В. А. Костров** (зам. главного редактора), **В. Н. Крушин**, **Д. С. Лихачев**, **П. А. Николаев**, **Б. И. Олейник**, **Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **И. Б. Роднянская**, **В. И. Селюнин**, **М. В. Тимофеева**, **О. Г. Чухонцев**, **В. А. Ярошенко**

Адрес редакции: 103806. ГСП. Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20.09.89 г. Подписано к печати 17.11.89 г. А 09940.

Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл.-печ. л., 24,0 усл. кр.-отт.), 27,02 уч.-изд. л.

Тираж 1.600.000 экз. (4-й завод 670.001—1.020 000 экз.). Зак. 385. Цена 1 р. 20 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»  
103798, Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Набрано и сматрировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», 103798, Москва, Пушкинская пл., 5. Отпечатано в типографии ордена Ленина «Красный пролетарий», 103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

1 р. 20 к.

Индекс 70636

ISSN 0130-7673 Новый мир, 1989, № 12, 1—272.